



ВРЕМЕННОЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО

# ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕРЕНСКИЙ



КЕРЕНСКИЙ

**ВРЕМЕННОЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО**



**КЕРЕНСКИЙ**





# ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО



Издательский проект  
·РОССИЯ·





**Александр Федорович  
КЕРЕНСКИЙ  
1881-1970**

# **ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО**



**Валентин Ерашов**

## **КЕРЕНСКИЙ**



**ИСТОРИЧЕСКИЙ  
РОМАН-ХРОНИКА**



**Москва  
АРМАДА  
1998**



УДК 82-311.6(02)  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я5  
К 36

Оформление серии  
**В.И.Харламов**

Художник  
**Ю.В.Иванов**

ISBN 5-7632-0647-9

© Ерашов В. П., 1998  
© Сост., художественное оформление,  
АРМАДА, 1998

**КЕРЕНСКИЙ** Александр Федорович (22.4.1881, Симбирск — 11.6.1970, Нью-Йорк), общественный и политический деятель, юрист. Из дворян. Отец — директор мужской гимназии и средней школы для девочек. В 1904 г. окончил юридический факультет (первый год обучался на историко-филологическом факультете) Петербургского университета, принят в коллегия адвокатов в Петербурге; присяжный поверенный. В годы революции 1905 — 1907 гг. вошел в созданный коллегией комитет по оказанию помощи жертвам Кровавого воскресенья, сочувствовал партии социалистов-революционеров, редактировал ее газету «Буревестник». По подозрению в принадлежности к Боевой организации партии эсеров в декабре 1905 г. арестован и 3 месяца находился в тюрьме. В последующие годы приобрел известность выступлениями на политических процессах в качестве защитника (член Петербургского объединения политических адвокатов), в т. ч. по делу партии «Дашнакцутюн» (кон. 1911) и по делу большевиков — депутатов IV Государственной думы (1915). В 1912 г. возглавлял Комиссию V Государственной думы по расследованию трагич. событий на золотых приисках в Восточной Сибири; в октябре 1913 г. один из инициаторов резолюции протеста, принятой коллегией адвокатов Петербурга, против нарушения основ правосудия в связи с делом Бейлиса, за что был приговорен к 8-месячному тюремному заключению. В 1912 г. избран депутатом IV Государственной думы (по списку Трудовой группы от г. Вольск Саратовской губ.); товарищ председателя, с 1915 г. председатель фракции Трудовой группы. Выступая с острокритическими речами в адрес правительства, приобрел славу одного из лучших ораторов левых фракций; будучи членом бюджетной комиссии, постоянно выступал в прениях по бюджетному вопросу, а также по запросам Трудовой группы, по вопросу о всеобщем избирательном праве и др. Стронник и активный пропагандист идеи объединения народнических течений и партий России, считал, что «спасение государства возможно только объединенными силами всего народа» и что революция для этого — единственный метод и средство (это заявление Керенского с думской трибуны вызвало гнев



императрицы Александры Федоровны, убеждавшей Николая II, что за подобные речи Керенский должен быть повешен).

В 1912 г. принят в думскую масонскую ложу «Великий Восток народов России», с 1916-го по февраль 1917 г. генеральный секретарь «Великого Востока»; входил в Верховный Совет масонов России. В начале 1-й мировой войны подписал пацифистскую декларацию меньшевистской фракции IV Государственной думы, затем перешел на позиции «революционного оборончества», считая, что поражение России в войне грозит ей потерей экономической самостоятельности и международной изоляцией. Призывая к мобилизации общественных сил и экономических средств на оборону страны, указывал на необходимость продолжать через Думу борьбу за восстановление демократических свобод, провозглашенных Манифестом 17 октября 1905 г., политическую амнистию, демократизацию избирательного закона, широкую гласность в освещении истинного положения дел на фронте и т. п.

Во время Февральской революции вошел во Временный комитет Государственной думы и избран заместителем председателя Петроградского совета. С марта эсер. Во Временном пр-ве занимал посты министра юстиции, военного и морского министра, с июля — министра-председателя, с августа — Главнокомандующего. В сентябре возглавил Директорию. Во время Октябрьского вооруженного восстания покинул Петроград; пытался с помощью казачьих частей генерала П. Н. Краснова прорваться в город, однако потерпел неудачу; жил в России на нелегальном положении.

В июне 1918 г. выехал за границу, осуждал интервенцию союзных держав в Россию. В 1922 — 1932 гг. жил в Берлине и Париже, с 1940 г. — в США. В 50 — 60-х гг. работал в Стенфордском университете, в Гуверовском ин-те войны, революции и мира, составитель и редактор ряда документальных публикаций по истории русской революции, автор мемуаров.

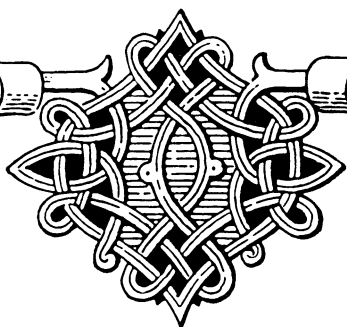
Соч.: Речи Керенского о революции, П., 1917; Речи, беседы, письма, М., 1917; Дело Корнилова, М., 1918; Издалека. Сб. ст. (1920 — 1921), Париж, 1922; Из воспоминаний, «Совр. записки», Париж, 1928, № 37, 1929, № 38 — 39; Накануне Версаля, «Новый журнал», Нью-Йорк, 1945, № 11; О революции 1917, там же, 1947, № 15; Два Октября, там же, 1947, № 17; Как это случилось, там же, 1950, № 24; Моя жизнь в подполье, там же, 1966, № 84; Россия на ист. повороте. Мемуары, М., 1993.

Лит.: Трудовая группа в IV Гос. думе. Обзор деятельности 1913 — 1914 гг., СПб, 1914; А. Ф. Керенский. По мат-лам Деп-та полиции, П., 1917; Сын Великой рев-ции А. Ф. Керенский. Его жизнь, полит. деятельность, речи, П., 1917; Ассиар Л., Керенский в тылу, М., 1917; Варшавский В. С., А. Ф. Керенский, П., 1917; Высоцкий В., А. Керенский, М., 1917; Сверчков Д. Ф., Керенский, Л., 1927; Вендзягольский К., Савинков и Керенский, «Новый журнал», Нью-Йорк, 1961, № 65; Добровольская О., Имп. Николай II и А. Керенский, там же, 1974, № 114; Спирин Л. М., Россия, 1917 г. Из истории борьбы полит. партий, М., 1987; Старцев В. И., «Взлет» и падение А. Керенского, в кн.: Встречи с историей, М., 1987; е го ж е, Керенский: шарж и личность, «Диалог», 1990, № 16.



**Валентин Ерашов**

# **КЕРЕНСКИЙ**



**ИСТОРИЧЕСКИЙ  
РОМАН-ХРОНИКА**



Qualis artifex pereo!  
(Какой великий артист погибает!)  
*Claudis Caesar Nero*  
Клавдий Цезарь Нерон,  
римский император (37 — 68 гг.)

— Папа, кто такая — Берия? — спросила девочка-подросток в наши дни.

— Кто такой Керенский? — спрашивал я у многих и двадцати- и сорокалетних...

История лаврами победителей увенчивает своих лауреатов обычно много лет спустя. Ленин казался победителем на все времена, но в его октябрьском триумфе Милюков, Мартов, Плеханов, Керенский и другие пронинательные россияне увидели смутные очертания неизбежного исторического поражения. Сегодня мы знаем, что именно они оказались правы.

*Д. А. Волкогонов, 1995 г.*

## ОТ АВТОРА

Имя Александра Федоровича Керенского (1881, Симбирск, ныне Ульяновск — 1970, Нью-Йорк) знают сейчас лишь специалисты, любители исторической литературы, прилежные студенты-гуманитарии и добросовестные старшеклассники. Подавляющее большинство ныне здравствующих о нем либо прочно забыли, а если и помнят, то в лучшем случае что-нибудь вроде: «Ну, был такой... Президент, что ли... А может, министр царский...»

Между тем на протяжении примерно десятилетия, условно говоря с 1910-го по 1920 год, это имя было, как говорится, на устах и на слуху каждого грамотного — и не только грамотного — жителя России, да и всей Европы, доносилось и до Америки. О Керенском говорили сперва с интересом и уважением, потом с надеждою и восторгом (и одновременно со злобою и усмешкой) и, наконец, с презрением, ненавистью, иногда — сожалением. Его именем пестрели страницы газет и журналов, листовок, о нем кричали плакаты и ораторы... Позже появились статьи, главы в мемуарах, исследованиях, книги воспоминаний и фрагменты в них. Литература о Керенском необозрима. Можно с полной уверенностью утверждать, что ни один научный труд любого направления, посвященный событиям 1917 года в бывшей империи, не обошелся без хотя бы краткого упоминания об Александре Федоровиче.

Не так уж много политических деятелей того периода — разных толков и убеждений — пользовались подобным вниманием, вызывали столько суждений и оценок, попыток выяснить, описать, оценить его роль в жизни великой страны, в великих потрясениях, случившихся с нею.

Но только на его родине, которой он отдал безответно все лучшее, что было в нем, и которой объективно принес множество бед, желая одного лишь добра, в лживой, протитуированной советской историографии он изображался не как трехмерная живая фигура, но неким подобием картонного силуэта, повернутого к зрителю ребром и снабженного хлесткими, оскорбительными л е н и н с к и м и этикетками: хвастунишка, краснойбай, герой фразы, балалайка.

Вот, к примеру, официозные характеристики Керенского, взятые из квазинаучных официозных справочных изданий, выпущенных на разных этапах отечественной истории.

«Вообразив себя вождем миллионных масс, он надеялся с помощью революционной фразы увлечь революцию за собой, но вместо этого сам был увлечен в поток контрреволюции. Поборник демократии и враг классовой диктатуры на словах, он оказался на деле врагом диктатуры пролетариата и ярым защитником диктатуры буржуазии. Проповедуя эсеровскую «социализацию земли», он посылал карательные отряды в бунтующие деревни отвоевывать помещичьи земли от «захватчиков». Песнопевец «бескровной революции», он спас голову Николая отменой смертной казни, но восстановил ее для солдат на фронте... Оказался ничтожной песчинкой в круговороте великих событий, которыми хотел управлять» (Малая советская энциклопедия. 1-е изд., 1930).

«Классический тип беспринципного политического демагога, исторического выскочки» (Т а м ж е, 2-е изд., 1937).

«Активно проводил политику, направленную на сохранение власти в руках крупной буржуазии и помещиков, на продолжение империалистической войны и подавление революции в России... Мемуары, «исторические» исследования Керенского, документальные публикации, в составлении и редактировании которых он отличался тенденциозностью и фальсификацией фактов, враждебностью к большевикам, социалистической революции, советскому народу» (Советская историческая энциклопедия, 1965).



Да, к большевикам и их власти он относился так же, как они — к нему: мягко выражаясь, без объективности, тем более без дружелюбия — не он один. Действия ленинской клики считал — по справедливости, — направленными против установления демократии, на воцарение диктатуры (даже диктатуры не пролетариата, а одной партии, еще точнее — ее аппарата). Разве история не показала его правоту? И разве только этим характеризуется политическая деятельность Керенского, начатая в первые годы XX века?

Попыткой разобраться — через отдельные сюжеты и эпизоды — в том, что представляла собой сложная, противоречивая личность Александра Федоровича, того, кто «зажигает толпу по поводу победоносной революции», кто при царизме «приобрел популярность в политических процессах», кто «выступал против царизма с оппозиционными речами», — и является эта книга, по сути, первая в России, написанная не им самим, если не считать открыто тенденциозной брошюры большевистского агитатора Ф. Сверчкова, изданной в 20-х годах.

Несмотря на узорь основанной источниковой базы (архив Керенского практически утрачен во время его бегства из Петрограда и скитания по России; материалы последующего — эмиграционного — периода частично похищены НКГБ, остальные отложились в хранилищах США и Парижа, притом значительная часть их рассредоточена в фондах частных лиц), автор, ограниченный в своих возможностях, не считал допустимым отойти от правдивости повествования (какой она ему представляется), позволить себе, как пишет о собственной работе современный российский ученый-историк В. И. Старцев, «поместить рядом с действительно существовавшими людьми вымышленных героев, сочинять «исторические документы» или сводить вместе людей, никогда и нигде не встречавшихся, смещать во времени и пространстве факты и события». Диалоги, приведенные здесь, либо заимствованы из мемуаров их участников или свидетелей-слушателей, либо реконструированы на документированном авторском пересказе их содержания, либо поданы в форме несобственно прямой речи. Автор считал недопустимым излагать м ы с л и того или иного персонажа, сопроводив ремаркой типа «он подумал», что было бы чистой выдумкой; в крайне необходимых случаях говорится: «возможно, он подумал», «он мог подумать».

Это — не роман в наиболее распространенном смысле термина, тут нет любовных линий, переживаний героев, неожиданных переплетений судеб (за исключением действительно бывших), всякого рода приключений.

История сама по себе — увлекательнейшая наука, не требующая выдуманной, надуманной «занимательности», равно как и описание жизни выдающегося (в любом смысле) человека.



## ПРЕЛЮДИЯ

(1887 г.)

Симбирск напомнил о себе Санкт-Петербургу весьма неприятным образом, когда был раскрыт заговор с целью убийства Александра III. Осуществить заговор предполагалось 1 марта 1887 года, и одним из заговорщиков был сын директора симбирского департамента народных училищ и брат Владимира Ульянова (Ленина)... И хотя Александр Ульянов был связан с моей жизнью лишь косвенно, в детском воображении он оставил неизгладимый след не как личность, а как некая зловещая угроза... Тревожные разговоры взрослых об этих ужасных событиях проникли в нашу детскую, а тесные отношения нашей семьи с семьей Ульяновых привели к тому, что мы скоро узнали о казни их высокоодаренного сына...

*А. Ф. Керенский<sup>1</sup>*

Он ощутил приближение опасности — смутной, темной, таинственной. И испытал страх, тем более унижительный, что за несколько минут до того совершил подвиг — первый в своей шестилетней жизни.

Минувшей осенью в доме, где все были приветливы и ласковы друг с другом, ему стали перепадать особые нежность

<sup>1</sup> Этот и все последующие эпиграфы к главам взяты из кн.: Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М.: Республика, 1993 (переиздание).



и заботливость, его задаривали игрушками, книжками — читать он умел с четырех лет, никем к тому не побуждаем и не обучаем, — лакомствами, посещениями любимого дядюшки, в чьем доме удивительно вкусно и необычно пахло. Уговаривали быть осторожным, не бегать без присмотра, лучше же не бегать вообще, не играть в лапту и пряталки с мальчиками во дворе и в серсо — с гимназистами-первоклашками. Мама каждый вечер и утро вкладывала под мышку протертый, дурно пахнувший спиртом термометр; для чего-то осторожно ощупывала приятными пухлыми пальцами его правую, — а левую нет, — ногу выше колена. Чуть не всякий день приходил хорошо знакомый, тоже приветливый и ласковый доктор, его звали смешно — Самсон, а отчество обыкновенное — Николаевич, и он трогал и осторожно мял ногу, а после мама и папенька закрывались в кабинете, подслушивать и в голову не приходило, но и так понимал — говорят о нем. Старшая сестренка, Наташа, кажется, что-то знала, но в семье существовало строгое правило: не выпрашивать, если тебе о чем-то не хотят говорить. И он помалкивал, вообразив, будто его вознамерились, когда придет — уже недалекое — время, определить в кадетский корпус, не так давно учрежденный в их городе. В кадеты ему не хотелось, и он обрадовался, когда, спроведив сестер и младшего брата, мама что-то слишком уж весело и «по секрету» объявила, что, как только Волга станет и лед укрепится, — они вдвоем, только вдвоем, понимаешь? — поедут в Казань. На тройке с колокольчиками, добавила мама, словно заманивая, будто он и без того не обрадовался, еще не побывав ни в одном городе, кроме родного, а Казань, по рассказам, представлялась ему огромной и сказочно прекрасной (и в самом деле, из восьми приволжских губернских городов она по населению стояла на первом месте, а Симбирск в парочку с Костромою — на последнем).

Ехать предстояло не далеко, не свыше двухсот верст со всеми извилинами и загибами накатанных дорог, но первое путешествие показалось долгим, а Казань — больно уж громадной и, в отличие от тихого и складного Симбирска, шумной и бестолковой. Осматривали ее неспешно, но по младости своей Саша не оценил и даже не запомнил красоты ее кремля, татарской башни Сююмбеки, Благовещенского и Петропавловского соборов. И притом возгордился: Волга тут не видна — в семи верстах, не то что у них прямо в городе. Мама и папенька поженились здесь, и матушка восторгалась каждым самым невзрачным домишком, вдруг присаживалась на вовсе неприметную лавочку у ворот, а после громко читала стихи

Гавриила Романовича Державина возле памятника ему на главной площади, — Саша остался равнодушным, скучал и нудил, скоро ли домой, и не получал, против обыкновения, прямого ответа.

Наконец однажды после утреннего чая к ним в гостиничный номер «Казанского подворья», торопливо и резко поступав, уверенно ступил веселый, громкоголосый, с широкой бородою человек; пока он старательно мыл руки, мама шепнула, что это знаменитый профессор Николай Иванович Студенский, объяснять незнакомое слово не стала, хотя после в разговоре повторяла его без конца взамен имени-отчества; видимо, это означало нечто важное, выражало почтительность, вот и папеньку посторонние именовали не Федором Михайловичем, а — вашим высокородием, некоторое же время спустя — вашим превосходительством, что означало производство в чин гражданского генерала, действительного статского советника. Профессор оказался доктором, он, как симбирский Самсон, шупал несчастную ногу, и не просто шупал, а сгибал, разгибал, растирал жесткими ладонями, заставлял приседать, то вытягивая ногу вперед, то — самое трудное — назад, пока не объявил торжественно, будто священник «Христос воскрес» огласил: туберкулез бедренной кости. Мама ахнула, хотела заплакать, но удержалась.

Назавтра профессор сам привел молодого человека, тот словно сапожник снимал с ноги какие-то мерки, через день явился уже без профессора, и не как сапожник, а на манер кузнеца, рывком уложил несчастную ногу себе на колена, безжалостно втискивал в какой-то железный сапог, согнуть ногу стало невозможно, ни встать, ни сесть.

Он провалялся в постели, дома, до конца лета (металлическую оболочку сняли только в июле, но вставать не разрешали), после учился ходить, опираясь на палочку, затем отбросил и ее и, наконец, став от скуки и одиночества неслухом, улучил момент, удрал на волю и совершил первый в жизни подвиг. Запомним: 10 августа 1887 года<sup>1</sup>.

Осторожно, однако легко, не касаясь для пушшего проявления смелости надежных перил парадной лестницы, он спустился от самой верхней точки берега к урезу Волги, уже попредосеннему прохладной и тяжеловатой на вид. Узкая при-

<sup>1</sup> Все даты в книге даются по старому стилю, за исключением отмечающих события за рубежом, а также в России после 1 февраля 1918 года.

брежная полоса отделяла реку от крутояра; всяк симбирец знал: если меряно было наотвес, со всякими премудростями, учеными людьми, то от макушки до основания высота ската, именуемого «Венец», — шестьдесят семь сажений, то есть по-заграничному чуть поболее ста сорока метров. А ежели тянуть веревку по земле — выйдет раза в полтора поболее.

Откос — запрокинь, стоя внизу, голову, чтобы увидеть верхушку, — щедро усадили деревьями, а природа сама усеяла разнотравьем, стебли метровых ромашек огрубели, гладкая тимофеевка отличалась прочностью, колючки всякие здесь не росли. Однако... В шесть с небольшим лет, да после болезни, с еще не отмученной ногой... Он вздохнул, отстегнул ремешки сандалий, снял носки, сунул все это за пояс, попробовал голый подошвой пригретую землю, перекрестился в сторону Троицкого собора, невидного отсюда, снизу, еще постоял, набираясь духу, опять напоследок осенил себя крестным знаменем — и полез на четвереньках, не то позабыв, не то сознательно — семь бед, один ответ — подвернуть штанишки и рукава, чтобы меньше оцарапаться.

На такой подвиг решались, конечно, и другие, но всегда при людях, напоказ, да еще — парни те были постарше и прихлебывали для храбрости, а он, маленький, вина, конечно, и не отвеживал, и нога болела, и никто не глядел на смельчака, подбадривая и подшучивая; он хотел быть героем для себя, обдирая колена, локти — штанины и рукава, конечно, задрались, — ладони, соскальзывая вниз и опять подтягиваясь, наугад цепляясь за жесткие, прочные, а иногда и вовсе слабые стебли, задыхаясь, боясь сорваться, скатиться — быть может, уже недвижимым — к урезу безразличной, тяжеловатой Волги.

И вот наконец он лежал на спине, раскинув руки, даже не залепив ссадины и порезы листочками целительной травы подорожника, лежал, понемногу утишая дыхание, гордясь собой и страшась папенькиного гнева. Ему было сладко, больно от царапин, и он впервые ощутил острую потребность побыть одному, он радовался одиночеству, не зная, разумеется, что оно будет сопровождать его всю долгую-долгую жизнь.

Он наслаждался солнышком, далеким ровным рокотом-плеском мощной реки, тишиной, чувством победы над собой, не испытанной ранее собственной силой и горделивостью, он испытывал ощущение взрослости, уверенности в себе, готовности к каким-то неведомым делам, он не боялся ни отцовского наказания, ни испуганных слез мамы, ничего не боялся, ничего.

Он лежал на мягкой здесь, ласковой траве возле литой решетки вокруг единственного в городе памятника — этой почести удостоили симбирцы память великого историографа Николая Михайловича Карамзина, хоть малость при этом слукавили: писатель и ученый родился не в самом городе, а в селе Михайловке, неподалеку, и, значит, по праву считался все-таки их земляком. Это был первый памятник в городе, не считая кладбищенских, и единственный монумент Карамзину в России, восславленной им. На высоком гранитном постаменте знатный гражданин, государев историограф и пансионер стоял во весь рост, почему-то облаченный в античные одежды, долговязая осенняя тень ложилась на шестилетнего мальчугана, одинокого, гордого собою и своим Симбирском, давшим Отечеству также литераторов Николая Михайловича Языкова, Дмитрия Васильевича Григоровича и знаменитейшего из них троих Ивана Андреевича Гончарова...

И никто, конечно, не предполагал, что в XX веке станут известны всему миру еще двое здешних уроженцев — Александр Федорович Керенский и Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Они жили тут в одно время, семьи их родителей дружили, отцы занимались одним и тем же благородным делом, да и сами они, тогдашние юноша и мальчик, разделенные сперва разницею в годах, а затем в убеждениях, окажутся неразрывно связанными, хотя с младых лет они долго не видывались, а встретившись в первый раз после разлуки, не перемолвились и словечком, а после общались только с трибун и газетных страниц, и вражда их длилась до смерти одного — страшной, не иначе как Божией карою смерти, — и после кончины другого.

Он приподнялся, оберегая саднящие локти, увидел неказистый, о два этажа, домишко, где ему доводилось бывать с родителями, чего он, во младенчестве, разумеется, не запомнил. И, опустившись опять в траву, он послюнил несколько ссадин и отчего-то осознал приближение опасности, вовсе не грозной домашней выволочки, но страха — смутного, темного, таинственного. Случись такое в другое время — он съежился, сжался, вдавился бы в разнотравье, а то дал стрекача, прихрамывая, неведомо куда, ибо неведом был этот страх, эта опасность, и непонятно, откуда она исходила, но он удрал бы, если бы не первый совершенный в жизни подвиг, он заставил себя преодолеть постыдный испуг и выпрямился во весь рост навстречу угрозе.



Еще саженой за пятьдесят он без ошибки определил знаковую фигуру — встречались ведь то в одном, то в другом доме, на богослужении, просто мимоходом; тот, кто шел сейчас наперерез ему, застывшему столбиком, как суслик, должно быть, как всегда, не обратит на мелюзгу никакого внимания, и он, отменно воспитанный, обычно обижался такому пренебрежению, хотя и помнил об одиннадцати годах разницы. Но теперь, когда весь город ахал, судачил, сплетничал, рассказывал небылицы об этой семье, боялся каждого из них, бранился, переходил на другую сторону бульвара или проулка, злобно шипел в спину и лишь немногие соблюдали приветливый или строго почтительный тон, теперь он был бы рад такому отношению: ему — маленькому, в безлюдье, с глаза на глаз — сделалось невыносимо страшно.

А Ульянов — в гимназической еще тужурке, синей, с нечищенными теперь за ненадобностью блюсти порядок серебряными пуговицами, накинутой поверх полотняной, навыпуск, рубахи, перехваченной витым шелковым, с кистями, пояском, — шагал размашисто, охлестывая макушками трав и полевыми цветками штанины тоже гимназических, донашиваемых брюк, он шел, кажется потихоньку насвистывая, не глядя перед собой, склонив слишком крупную лобастую голову, ветер отдувал густые пышные волосы на пробор, и, невысокий, но ладный, пускай и с коротковатыми ногами, он поравнялся с Керенским и остановился просто так, как задерживаются на секунду возле ничем не примечательного места. Следовало, конечно, поздороваться, привычно назвав Владимиром Ильичом, но теперь Ульянов сделался иным, не сыном почтенного директора народных училищ Ильи Николаевича, приветливого и любимого в семье Керенских, а братом повешенного Александра, чужим, чуждым, опасным, внушающим ужас даже на расстоянии, даже будучи невидимым, и, желая уязвить его в отместку за только что перенесенное чувство опасности и обороняясь от этого чувства, еще усилившегося, Саша Керенский собрал все душевные силенки, не кинулся прочь, а сказал внятно, глядячи в упор: у б и в е ц. Слово он услышал от няньки, относимо оно было к Александру, но ведь брат вора — тоже вор, и вся семья теперь воровская, клейменная, чуждая, меченая. И чтоб закрепить себя в победе над страхом, побороть непереносимое желание броситься в шибкий бег, он повторил внятно, раздельно — у б и в е ц.

Лицо Ульянова сделалось белым, татарские узкие глаза из равнодушных — злобными, истекающими угрозой; левой ру-

кой он притянул мальчика к себе, пальцы правой — сжал, однако не ударил кулаком наотмашь, а, не отведя руки, приложил согнутый указательный палец к мякоти большого и, словно курок спустил, щелкнул, как делают это с проигравшим в карты, однако не шутя, вполсилы, и не по лбу, а в глаз, мощно и злобно. И, отшвырнув мелюзгу так, что он свалился наземь, засвистел известную каждому здешнему песенку на слова, сочиненные земляком-пиитом Языковым: «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно...» — двинулся своей дорогой поперек лужайки.

Мать ждала на крыльце и, когда он предстал перед ней, расхристанный, исцарапанный, горделивый и перепуганный, лишних слов тратить не стала, сказала то, что произносилось в минуты крайней необходимости: ступай к отцу.

И он предстал в домашнем кабинете, как был — неумытый, в ссадинах, в разодранной будничной летней одежде, увенчанный огромным на ощупь ф о н а р е м, он знал, что бить не станут, ограничатся лишь словесным, притом незанудливым, поучением. Ну-с, рассказывай, велел отец, и он, гордясь подвигом и стыдясь пережитого страха и унижения, доложил, словно на уроке, как лез от приплеска Волги до макушки Венца, зашибившись в пути о камень. Лжешь, сказал отец, он в подобных случаях, когда умалчивали, сразу угадывал — спорить, упорствовать было бесполезным. И, еще подтвердив насчет восхождения на Венец, он теперь прибавил святую истинную правду про встречу с Ульяновым, не заменив другим слово у б и в е ц.

Отец вынул из стола и раскрыл кожаную, с тисненными своими инициалами папку, извлек лист плотной, с блеском, бумаги, исписанной не чиновничьим, с завитушками, а собственным учительским округлым и вмятым почерком, велел сесть и читать внимательно — хорошо грамотный Саша легко разбирался в рукописных строках. Внимательно читай, а не чтоб поскорей отделаться, прибавил отец.

И он читал.

«Ульянов Владимир

Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развиту и поведению.

Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвального о себе мнения.

За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители, а с 1886 года, после смерти отца, одна мать, сосредоточившая все заботы и попечения свои на воспитании детей. В основе воспитания лежали религия и разумная дисциплина.

Добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова. Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости, чуждаемости от общения даже с знакомыми людьми, а вне гимназии с товарищами и вообще нелюдимости. Мать Ульянова не намерена оставлять сына без себя во все время обучения его в университете.

Директор Симбирской гимназии

*Ф. Керенский».*

Внизу сбоку помечено карандашом: 10 августа 1887 года.

Запомни, сказал отец, никогда брат за брата не отвечает, как и сын за отца. Ты сейчас многого не понял, в том числе из этой бумаги. Придет время — поймешь...

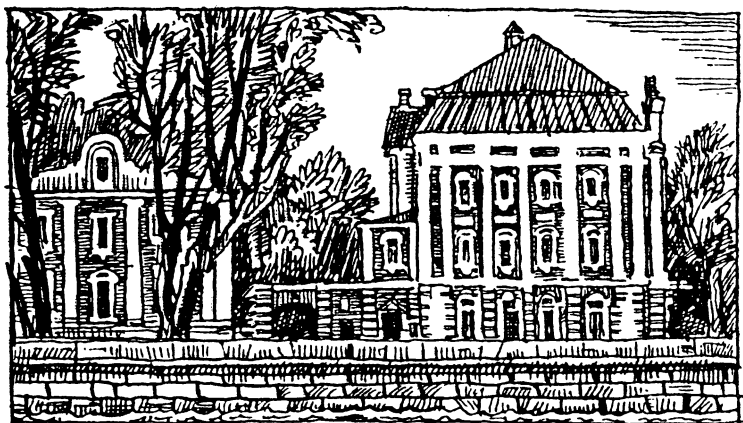
Да, после Александр понял: статский советник, директор гимназии и женского училища сорокатрехлетний Федор Михайлович Керенский рисковал карьерой, а то и просто службой, судьбою семьи: сын за отца, брат за брата отвечали и тогда. А министром народного просвещения был в ту пору мракобес Иван Давыдович Делянов, во вверенных его попечению учебных заведениях он установил невиданные порядки, и уж если туда не принимали по его повелению детей кучеров, прачек, мелких лавочников (интеллигенция тотчас окрестила их — кухаркины дети), если круто сократили прием в гимназии лиц недворянского происхождения, установили процентную норму для обучения евреев и прочее, — то уж брат царевны (точнее — покусителя на Священную Особу) не то что золотой медали, но и аттестата зрелости, вероятнее всего, не увидал бы, если бы не высочайший авторитет Ф. М. Керенского и его незапятнанная репутация. И еще: говоря чистую правду, Федор Михайлович как бы слукавил — в характеристике подчеркнул особую религиозность Ульянова, весьма сомнительную, и его нелюдимость, необщительность, — разве такой вступит в любое сообщество, благонадежное, преступное ли, — и намерение маменьки глаз с сыночка не спускать (чего не было, того не было, а случись так — не помогло бы: кроме умершей в юности Ольги, две сестры и брат Владимира стали революционерами).

И еще, заключил отец, заруби на носу: ты сегодня сделал подлость. Постарайся не повторять. А перед Владимиром Ильичом извинись при встрече.

(Их встреча состоялась только в 1906 году, и они то ли узнали, то ли не захотели узнать друг друга. Что ж касается подвигов и прямых подлостей, Александр Федорович вроде не повторял, по крайней мере, о них не упоминается. Впрочем, он главную часть сознательной жизни занимался политикой, а в ней сосуществуют и подвиги и подлости. Так что кто может поручиться.)

Аттестацию же, данную отцом Ульянову, он сохранил — не подлинник, конечно, отправленный куда надо и весьма сгодившийся Владимиру Ильичу, а копию, точнее — отпуск, что на канцелярском языке до недавнего времени означало: не первый экземпляр.

А день 10 августа он вспоминал в жизни не раз, и вспоминал не все.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (1881—1916 гг.)

### Глава первая

С чувством глубокого удовлетворения возвращаюсь я мыслями к детству, проведенному в России, в стране, где повседневную жизнь питают религиозные верования, укоренившиеся в народе за тысячелетие христианства... Конечно, в религиозной вере была и другая сторона — официальная, казенная сущность которой выражал Святейший (у автора: Священный.— В. Е.) синод — бездушный, бюрократический институт. Своей борьбой с инакомыслием, своим бездушным отношением к нуждам людей он лишь укреплял позиции атеизма. Но в детские годы мы ничего не знали об этой стороне Церкви.

*А. Ф. Керенский*

#### 1

Родился Александр Керенский 22 апреля 1881 года, ознаменованного в России кризисом производства и продолжением начатых двадцать лет назад реформ, убийством царя-освободителя, законом о чрезвычайном положении (действовал до 1917 года) и первой волной массовых еврейских погромов, продолжением империалистических завоеваний в Средней Азии,



пробуждением общественного сознания. Если верить всякого рода предсказателям, появившегося на свет в таком насыщенной событиями году ожидает бурная, богатая духовно и долгая жизнь. Можно верить и не верить пророчествам, но земное бытие Александра Керенского оказалось именно таковым.

Отец его, Федор Михайлович Керенский (родился в 1842 году), происходил из семьи бедного приходского священника в захолустном Керенском (отсюда и фамилия) уезде Пензенской губернии. По тогдашней, редко нарушаемой традиции, а также по воле батюшки окончил духовное училище, затем духовную семинарию, что давало право и на поступление в университет, о чем и мечтал молодой священник. Однако ему не посчастливилось: после революции 1848 года в странах Европы царское правительство закрыло доступ в университеты всем, кроме дворян, отменив это правило только через семь лет, с восшествием на престол императора Александра II. Когда подошел возраст, Федор Керенский сделался студентом одного из лучших и старейших российских университетов — Казанского, а получив диплом по специальности история и классическая филология, оставлен был преподавателем на той же кафедре. Одновременно он преподавал на Высших женских курсах, где и нашел себе верную подругу жизни — Надежду Александровну, дочь начальника топографической службы штаба Казанского военного округа. Богатое приданое невесте, — а вскорости и наследство, — обеспечил ее дед, преуспевающий купец из бывших крепостных.

Несомненный педагогический дар, административные способности, ровный характер, благородство, справедливость, глубокая вера христианина Ф. М. Керенского не остались незамеченными: его назначили служить в губернский город Вятку — убогий по сравнению с Казанью, но с повышением: сперва инспектором, потом директором гимназии. Здесь Керенские жили с 1872-го по 1881 год. Здесь — в 1875-м — родилась Наталья, за нею Елена и Анна; Александр и Федор появились на свет уже в Симбирске (примечательно, что все дети имели меж собой разницу в возрасте в два года).

Симбирскую гимназию, которую возглавил затем Керенский, числили образцовой среди 181 гимназии России. При ней имелись не только женская школа и пансионат, что не было редкостью, но и прекрасная санатория в пятнадцати верстах от города, на волжском лесистом берегу.

Среди ее выпускников (окончил с золотой медалью в 1883 году) особо выделялся Александр Ильич Ульянов, юноша одаренности необычайной, широкого умственного кругозора. Еще в шестом классе он заинтересовался естествознанием, устроил дома настоящую лабораторию, изучал курс химии, не предусмотренный учебной программой. Превосходно знал литературу. Увлекался философией, проштудировал труды англичанина Генри Бокля, Чарлза Дарвина, немецкого философа и физиолога Якоба Молешотта... На третьем курсе Санкт-Петербургского университета написал научный труд, удостоенный золотой медали. Профессор Дмитрий Иванович Менделеев и его коллега прочили Александру Ильичу будущность великого ученого-естествоиспытателя. Несомненно, он был талантливей и шире брата Владимира, не интересовавшегося никакой наукой и получавшего «круглые пятерки» прежде всего за счет усердия, усидчивости, старательности, целеустремленности. А участие Александра в террористическом акте носило тоже, если так уместно выразиться, научно-испытательский характер: стать боевиком он и не помышлял, а увлекся чисто научно-прикладной целью: оборудовал лабораторию, изготавливал, экспериментируя, динамит, проводил опыты с разными его видами и с конструкциями снарядов. Безусловно, в лице Александра Ульянова Россия потеряла выдающегося деятеля науки. Зато обрела Владимира Ульянова, который, если верить апокрифу, узнав о казни брата, с ходу объявил родным: «Нет, мы пойдем не таким путем...» Кого он имел в виду, говоря «мы», — неведомо, что же касается пути, он России он как хорошо известен, столетие расхлебываем...

Здесь имеется повод заметить, что между семьями Керенских и Ульяновых существовала некая почти мистическая связь, начинающая с дедов.

Илья Николаевич Ульянов (1831 — 1886), как и Ф. М. Керенский, родился в провинции (первый — в Астрахани, второй — под Пензой), в семье небогатого ремесленника Николая Васильевича Ульянова и крещеной калмычки Анны Алексеевны, урожденной Смирновой. Отец жены Ильи Николаевича — доктор медицины, крещеный еврей Александр Дмитриевич Бланк, ее мать — полунемка, полушведка, в девичестве Грошофф. (Весьма показательно, что, заполняя различные анкеты своей партии — автобиографий он не оставил ни одной, — В. И. Ульянов в графе о дедах и бабушках неизменно отвечал: «не знаю». Видимо, пролетарский интернационалист не желал обнародо-

вать сведения о наличии у него еврейско-немецко-шведско-калмыцких кровей.)

Вернемся к отцам. Оба закончили Казанский университет, оба в свое время жили в Пензе. Потом занимали равнозначные должности в Симбирске, оба дослужились до чина действительного статского советника и потомственного дворянства...

Сыновья Ульянова — Александр и Владимир — учились в одной и той же гимназии при директоре Ф. М. Керенском, оба получили дипломы Санкт-Петербургского университета. Владимир Ульянов и Александр Керенский там же стали юристами, принадлежали к л е в ы м политическим партиям — большевиков и эсеров — и, будучи непримиримыми политическими противниками, участвовали, каждый по-своему, в одних и тех же политических событиях. Оба были женаты на дочерях офицеров. Тому и другому довелось стоять во главе правительства России.

Случайность? Мистика? Одни говорят, что случайностей в природе, обществе, человеческих судьбах не бывает. Другие верят в Провидение.

Автор этой книги принадлежит к числу вторых.

Но вернемся к детству Александра Керенского.

Семья была глубоко религиозной. Правда, церковные каноны и обряды выполнялись далеко не строго (отмечали только праздники, ходили к воскресным богослужениям, пренебрегать коими было бы неприличным для столь заметных в городе людей), молились дома по своему усмотрению и поврозь. Но дух христианства господствовал у них, определял отношения между собой и с посторонними. «Религия была и навсегда осталась составной частью нашей жизни. Эти ранние впечатления, образ замечательного человека, пожертвовавшего своей жизнью ради блага других и проповедовавшего лишь одно — любовь — стали источником моей юношеской веры, которая впоследствии воплотилась у меня в идею личного самопожертвования во имя народа. На этой вере зиждился и революционный пафос — и мой, и многих молодых людей того времени», — вспоминал Керенский.

Семья была высокоинтеллигентной. Духовному и культурному развитию детей способствовало прочное, хотя и далекое от излишеств, благосостояние: директор гимназии имел годовое жалованье в две тысячи рублей, получал шестьдесят рублей за годовой урок (выражаясь современным языком, учебную нагрузку), пользовался бесплатно казенной меблированной квар-

тирой, форменной одеждой, выплатами на дорожные расходы. К этому надо прибавить жалованье в женской школе. Собрали и постоянно пополняли домашнюю библиотеку. Мать, Надежда Александровна, ежедневно (пока дети не поступали поочередно в школы) читала остающимся дома сказки, стихи, повествования о русских героях, жития святых, доступные книги по отечественной истории, естествознанию; читала и Новый Завет, но подавала его не как сборник религиозных догм, но как рассказ о праведной жизни и заповедях Богочеловека, пример всем земным людям... С двумя старшими девочками занималась гувернантка-француженка.

Александр рано научился читать (вероятно, как это часто случается в многодетных семьях, под влиянием старших сестер), причем, судя по всему, в доме не держали сентиментально-нравоучительных журнальчиков вроде «Задушевного слова» или глупейшей, переведенной с немецкого книжонки про Макса и Морица. Пока болел, Саша, как он вспоминает, «проглатывал исторические романы, описания путешествий, научные брошюры, рассказы об американских индейцах и жития святых. Я познал обаяние Пушкина, Лермонтова и Толстого, не мог оторваться от «Домби и сына» и проливал слезы над «Хижиной дяди Тома»... Тут вряд ли абберрация памяти; ну, может, по склонности натуры прихвастнул, однако лишь малость: это — обычный круг чтения интеллигентного подростка того времени. Но — подростка, а Саша был еще мальчик, дошкольник по-теперешнему. И зря злобствовали некоторые из его политических недругов, утверждая, будто уже в зрелом возрасте депутат, министр, премьер не мог осилить ни одной мало-мальски серьезной статьи.

Он был музыкален, обладал хорошим слухом, подолгу сидел рядом с матерью, когда она играла на фортепьяно и пела — глубоким контральто. Оставаясь один, он пытался разобраться в нотах или на слух подбирал знакомые мелодии. Когда мальчишеский дискант сменился у него — кто говорит, что тенором, кто — баритоном, — он стал петь снова в одиночку: почему-то стеснялся своего артистизма.

Он любил и понимал природу, любил прогулки по городскому парку, любил навещать дядюшку, брата отца, священника, тот жил при церковке на пути к реке, в окружении яблонь и вишен. Когда они цвели, казалось, что не только береговой склон, но и весь город украшен этим бело-розовым нарядом.

Каждое лето проводили в деревне — он запомнил зеленоватые рассветы, щекотанье босых ног молодой травкой, лас-

ковый коровий мык и вкус парного молока, прикосновение резиново-пушистых лошадиных губ, купанье в прохладной воде, приятный запах свежего навоза, поездки в ночное с сельскими мальчишками, печенную на костре картошку, нестрашные, хотя и таинственные, звуки темного леса, подрагивание гн у т к о г о удилица, ранний петушинный клик, вкус молодых гороховых стручков, сорванных у пыльной дороги, лихую лапту и удалые бабки, пряталки и догонялки, вечерний чай со свежим вареньем прямо в саду под посвист зеркально сияющего доброго самовара, словно равноправного, одушевленного участника уютного семейного застолья...

Он был, несомненно, художественной натурой, и его митинговое, отчасти пошлое актерство сливалось с подлинным артистизмом речи, мимики, манер, одежды, и самым обидным прозвищем из тех, коими его награждали, было — а к т е р и ш к а.

Вспоминая о прошлом, он после написал, пережив тяжелую болезнь: «До сих пор все мои чувства и ощущения сливались в одну гармоническую, но весьма зыбкую субстанцию, название которой я не знал. Теперь же я знал, что имя ей было — Россия. В глубине души я чувствовал, что все, окружающее меня, все, что происходило со мной, изначально было связано с Россией...»

У него и мыслей не было учиться за границей, годами жить в эмиграции, он не мог жить нигде, кроме своего отечества, кроме России, частицы его самого, России, частицей которой он был.

Э т у, европейскую, приволжскую, сугубо р о с с и й с к у ю Россию ему вскоре предстояло покинуть — на целых десять долгих лет.

В начале 1889 года Федор Михайлович Керенский, теперь уже действительный статский советник и потомственный дворянин, получил назначение на высокую должность инспектора учебных заведений огромного Туркестанского края, завоевание которого завершилось в основном четверть века назад, столицей его стал Ташкент, куда и держало дальний и неудобный для путешествий путь семейство новоиспеченного гражданского генерала.

В дорогу отправились по весне. Пароходом — до Астрахани, там пересели на другое судно, пересекли Каспий, высадились на его северо-восточном берегу, в захолустном городке Узун-Ада, отсюда через пустыню по однокорейной железной дороге до Самарканда, где провели три дня, любуясь и дивясь



красотами древнего поселения: мечетями, мавзолеями, гробницами — почти все они были выложены разноцветными изразцами с тончайшими узорами, витиеватыми надписями, увенчаны куполами, крытыми глазурью, оживлены высоко бьющими фонтанами. Никто из Керенских, конечно, не видел прежде ничего подобного. Из центра Европейской России они переместились в совсем иной мир, в Среднюю Азию, тоже ставшую частью великой многоязычной империи — не по своей воле.

Еще трое суток в конных экипажах через пустыню с оазисами, барханами, бестолково шатающимися по пескам шарами травы перекаати-поле — и вот он, Ташкент, где в красивом новом доме из кирпича Александру предстояло жить до окончания гимназии.

Русские завоевали город в 1865 году, обратив в столицу Туркестанского генерал-губернаторства с неохватной, неоглядной территорией, простиравшейся от берегов Каспия до границ с Персией, Афганистаном, Китаем. На этом, в сущности, завершились колониальные захваты России, здесь происходили сложные процессы становления государственного управления, налаживания отношений с местным населением, развития промышленности, — мальчик всего этого не понимал, хотя многое впитывал душой, впечатлительным и наблюдательным умом. Не вникал он, понятно, и в события, происходившие в стране.

Но одно из них он запомнил, и то лишь потому, что весть о случившемся представилась таинственной, чем-то привлекательной для любознательного и начитанного, привычного слушать разговоры взрослых гимназиста начальных классов.

За обеденным столом — были гости — какими-то полупамятками, полупшепотом говорили о том, что в Европейской России ходит по рукам размноженное на «мимеографе» (непонятное слово!) письмо графа Льва Николаевича Толстого к самому государю (до чего же смелый он, этот знаменитый писатель!). Когда после десерта детей отправили по своим комнатам, Саша сотворил грех: укрылся за тяжелой портьерой в столовой и не дыша, хоть в том и не было надобности, все равно не услышали бы, внимал словам отца, тот читал гневные слова, какими писатель обвинял императора в нарушении принципов справедливости и свободы. Как может допустить

подобное сам Александр III! И еще он сообразил, что речь идет о только что заключенном — дело было в 1892 году — договоре между Францией и Россией. Они обязывались оказывать помощь друг другу в случае нападения Германии или Австро-Венгрии на Россию или Италии и Германии на Францию. В Европе образовывались два мощных военных союза, и намерения их шли далеко. Обратите внимание, говорил Керенский, договор бессрочный и обе стороны берут обязательство не заключать сепаратного мира, если война начнется. Это будет большая война, господа, и, возможно, произойдет она скоро...

Даже если бы одиннадцатилетний Саша Керенский понял замыслы двух могущественных держав, конечно, ему и в голову не пришло бы, что это событие непосредственно отразится лично на нем. Он и в мальчишеских фантазиях не воображал, что через четверть века он, Александр Федорович Керенский, станет правителем России, что в стране может быть иная власть кроме царской, и он искренне горевал и плакал, когда Александр III скончался 20 октября 1894 года...

В гимназии юный Керенский учился средне, не выделялся и внешностью (роста среднего, отчасти неуклюжий, черты лица неправильны, слегка вислый нос, вялые большие губы, неопределенно-светлого цвета глаза), но он вовсе не страдал, как бы сказали теперь, комплексом неполноценности, отличался общительностью, приветливостью, доброжелательством, незлобностью; по собственному признанию, увлекался общественными делами и девочками (они, девочки, отвечали взаимностью), усердно посещал гимназическую церковь, пел на клиросе, увлеченно танцевал на балах, — об этом вспоминал педагог Ф. Дукмейстер, ревнитель гимназических правил и нравственности учащихся. Особенно любил он участвовать в спектаклях, ему удавалась роль Хлестакова, и, видимо, тому способствовало не только сценическое дарование (невысокого класса), но и природные черты натуры, что ярко выделилось впоследствии и раздражало, вызывало справедливые насмешки и врагов, и друзей, и печати. Литературные и музыкальные кружки, «интеллектуальные» игры, прогулки верхом, «мужская» болтовня с кавалерами сестер (от ухажеров отбою не было, в городе стоял воинский гарнизон, а сестры, в отличие от брата, были не только умницы, но и хороши собой и уже не в е с т и л и с ь).

Далекий от коренной России, представлявшийся из Европы диким азиатский Ташкент с его труднопереносимым климатом не отпугивал, а, напротив, привлекал высокообразованных, мыслящих, порядочных русских — чиновников, врачей, учителей. Что греха таить: играли роль и немалые льготы, и возможность задешево, а чаще бесплатно обрести хорошее жилье в строящемся Новом городе, и изобилие чуть не дармовых фруктов и овощей. Но вела сюда многих и известная тяга российских интеллигентов к миссионерству, к просветительству, благо местные жители относились к уродам без подобострастия и неприязни, с искренним уважением (завоевание сих мест уже выветривалось из памяти, в жизнь вошло новое поколение).

Если в России гимназическое обучение часто (и даже весьма) сопровождалось бессмысленной регламентацией, чиновничьим надзором, формализмом и скукой, то здесь, вдали от неусыпного контроля, преподаватели отклонялись от учебных программ, обязательных концепций, позволяли (и поощряли) самостоятельность мыслей и взглядов, дружили со старшеклассниками и уважительно относились к младшим. Перед выпуском педагоги в товарищеских, на равных, беседах обсуждали с каждым из своих воспитанников планы на будущее, достоинства и недостатки всех университетов (в конце века их было десять с четырьмя факультетами в каждом), а также институтов, военной и гражданской службы.

По примеру отца Александр решил заняться историей и филологией, присовокупив к ним одновременно и второй факультет, юридический. Но не в Казани, как ни расхваливал отец и город, и свою *alma mater*, а Санкт-Петербурге, благо там, на Высших женских курсах, уже училась вторая по старшинству сестра Леля (Елена) и туда же собиралась нынче Нюта (Анна).

Правда, Александра отчасти смущал собственный провинциализм, отсутствие представления о том, чем живет столичная молодежь, что ее волнует. Однако ему вскоре предстояло понять («Мемуары») некий парадокс: «особый социальный, политический, психологический климат, сложившийся в Ташкенте, и наша оторванность от жизни молодых людей в Европейской России» привели к тому, что «учившиеся в школах Ташкента, за редким исключением, смотрели на мир без всяких предубеждений. Над нами не тяготели шаблонные, навязанные нам стереотипы, мы были вольны делать свои собственные выводы

из происходящих событий. Именно это позволило мне постепенно изменить свои взгляды и освободиться от веры в благодетельного царя».

Ранней осенью 1899-го трое Керенских уехали в столицу.

## 2

Вряд ли сыщется, начиная, скажем, с середины XVII века, хоть один мало-мальски о с м ы с л е н н ы й человек, который не испытал бы потрясения, впервые увидев город святого Петра, а придя в себя от ошеломления, не полюбил бы его восторженно, трепетно и почтительно. И едва ли найдутся многие, кто станет спорить с тем, что лучшим местом в Северной Пальмире считаются набережные Невы примерно от Литейного моста до моста Николаевского. Здесь — и сердце, и мозг, и ясный лик парадного Питера, всего и не перечить: по левому берегу — Сенат и Синод, Адмиралтейство, Медный всадник, Зимний дворец и Эрмитаж, начало стремительного Невского проспекта, Главный штаб; по правому — Петропавловская крепость с храмом и кронверками, Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера, Академия наук, Меншиков дворец и, конечно, университет, удивительное здание Двенадцати коллегий, по ступеням парадной лестницы коего поднялся и замер в четырехсотсаженном, с одной стороны остекленном коридоре — если стать в одном конце, другой теряется вдали, в чем на собственном опыте убедился вечером, когда коридор опустел, — Александр Керенский, только что зачисленный студентом двух факультетов — историко-филологического и юридического, в новеньком мундире, сшитом спешным порядком — не хотелось являться сюда под видом постороннего. Лекции, занятия в семинарах закончились, нетерпеливые стражи с колокольчиками изгоняли самых говорливых, никак не могущих закончить бесконечные споры, гасили бесчисленные светильники. Александр деликатно и даже с робостью вручил одному из церберов монету, таясь заглянул в актовЫй зал, был здесь отловлен и вежливо спроважен («наглядитесь еще, наглядитесь, молодой человек») и, посидев на лавочке в саду, разросшемся на внутреннем дворе, отправился в общежитие, расположенное в отдельном здании, тут же.

Большинство первокурсников, только что оторвавшихся от родительских нежных и тягостных забот, жажда и страхась желанной и пугающей свободы и самостоятельности, предпо-

читали жить в почти семейной обстановке, но без хозяйского надзора — в меблированных комнатах (можно и с пансионом) поблизости, на Васильевском (питерцы фамильярно называли — Васином) острове. Других пугала молва, что за общежитием зорко следит полиция (это по многим причинам не соответствовало истине, но молва не утихала). Александр, поразмыслив и посоветовавшись со старшей сестренкой — она предпочла общежитие, — последовал ее примеру и не прогадал: здесь он обрел друзей, многое узнал из заплочных разговоров от студентов, приехавших с разных концов страны. Здесь он был сам себе хозяин, хотя это требовало некоторых дополнительных забот.

Он поступил в университет не только потому, что это было наиболее частым выбором среди людей его круга, гуманитарной интеллигенции среднего или несколько выше достатка. Но еще не без подсказки и примера отца, конечно; еще и с пониманием большей, нежели в другом учебном заведении, широты познаний, разносторонности их, традиционно более высокого уровня преподавания. Когда он ходил в старшие классы, отец внушил ему, что именно университет не только обучает, не только дает навык и потребность мыслить самостоятельно, но и побуждает приводить свои знания и суждения в систему, прослеживать закономерности природных и общественных процессов.

Вот почему с восторгом вчитывался он в перечень предметов, которые предстояло изучать.

На историко-филологическом: философия, классическая филология, сравнительное языковедение и санскритский язык, русский язык и литература, славянская филология, география и этнография, история всеобщая, история русская, история западноевропейских литератур, история Церкви, теория и история искусств, богословие догматическое и нравственное (обязательное для всех факультетов).

На юридическом: римское право, гражданское право и судопроизводство, уголовное право и судопроизводство, государственное право, история русского права, международное право, полицейское право, финансовое право, торговое право и судопроизводство, церковное право, политическое право и статистика, энциклопедия права (учение о государстве и праве) и история философии права.

Какой восторг! Какая широта (и, конечно, глубина, но это уж зависит от него) познаний! Какие горизонты!

Не отличаясь особой решительностью и волей, он взалхлеб верил: осилит, одолеет, он одолел бы еще и судебную медицину, но этот курс, коль скоро его нет здесь, можно прослушать на медицинском факультете. Да, учебные планы хорошо продуманы, представить только: разносторонне образованный специалист, наделенный притом эрудицией в истории, литературе, искусстве; недоставало только иностранных языков, но, если поднатужится, — а он постарается! — изучит самостоятельно. Не зря в университетах, не считая Гельсингфорского, почти половина всех студентов избрали юридический (вдобавок ко всему — к а р ь е р н ы й: на государственной службе выпускникам открывалась широкая дорога).

Как и все первокурсники, он не без труда пережил переход из среднего в высшее учебное заведение: лекции вместо уроков, семинары и коллоквиумы, а не каждодневный опрос, возможность посещения лекций на других факультетах, непривычное обращение профессоров и доцентов к студиям — «коллега», ощущение взрослости, независимости, свободы времяпрепровождения.

Устраивали литературные вечера, концерты — чаще всего благотворительные, — поручив это дело Керенскому. Он обрадовался: доводилось приглашать, встречать, провожать домой — извозчик в складчину — таких знаменитостей, как Вера Федоровна Комиссаржевская (она играла пока что на любительской сцене, но слух о ней уже шел по столице), Мария Гавриловна Савина (идти боялся: об изысканных ее манерах и подчеркнутой воспитанности рассказывали безобидные анекдоты, а тут он, ташкентец-пошехонец; ничего, обошлось, даже ручку отважился поцеловать, взяв урок у сестренки, и, кажется, не оскандалился), Николай Николаевич Ходотов (друг Комиссаржевской, восходящее светило Александринского театра; оказался всего на три года старше Керенского, даже на «ты» сошлись чуть не с первого раза).

У сестры Елены, в общежитии Бестужевских курсов, тоже бывали подобные вечера, на одном из них Александр слушал, как читают свои стихи молодые зачинатели нового направления в российской поэзии, символизма, супруги Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский; сказать по совести, стихов не понял, а вот красоту Зинаиды Николаевны оценил, и даже весьма.

В женских прелестях он для своих лет разбирался куда как недурно, влюблялся напрапалу, нравился барышням, даром что лицом неказист, зато уверен в себе, говорлив, в меру уменья

галантен, живчик и, вдосталь похлышив без особого разбору, — то была не столько любовь, сколько юношеская потребность в любви, ее ожидание, — влюбился-таки по-настоящему, не сразу это заметив и поняв.

С госпожой Барановской, нестарой дамой, познакомился случайно (кажется, помог перейти улицу, в лужах после проливня, ее дом находился здесь же, почти рядышком, на Васином). Пригласила любезного молодого человека на чашку чаю, словно мимоходом, вежливости ради, а он возьми да явись. Сидели вдвоем. Повела, что — разведенная жена Льва Барановского, полковника Генерального штаба; вздохнув, похвасталась все-таки и отцом (скончался нынче, 27 апреля, на восемьдесят третьем году, знаменитым был синологом, профессором, академиком — Василий Павлович Васильев, — Саша почтительно привстал, выразил соболезнование). Похвасталась сыном Владимиром, гвардейским офицером, дочерьми — Ольгой и Еленой... А Ольга тут и сама объявилась — семнадцатилетняя (возраст матушка не скрыла), премиленькая, развеселая, без кокетства, однако не простушка, только большущие глаза не по годам грустны. Понравилась, сначала не так чтобы очень особо, но что-то, видимо, зацепило, стал захаживать. Оля училась на Бестужевских, поступала вместе с Нютой, сестрой Саши, Леночка еще подросток, а Владимир, изредка появлявшийся, — вполне взрослый мужчина.

Как бы членом семьи был племянник покойного главы дома, студент-путеец Сергей Васильев, он вскорости станет членом только что образованной партии социалистов-революционеров (эсеров). В этот «семейный кружок» вошли еще несколько студентов и курсисток, здесь, на вольных, раскованных сборищах, мало болтали о пустяках (хотя и болтали, конечно, и танцевали, и украдкой целовались). Но главным, чего они ради собирались, было о б с у ж д е н и е п р о б л е м. Запомнились жаркие дискуссии об англо-бурской войне 1899 — 1902 годов, которую британцы вели против двух южно-африканских республик, Трансвааля и Оранжевой, война эта, захватническая и жестокая, вызвала неожиданный отклик и в далекой России, в других цивилизованных странах. Повсюду слышалась песенка: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне», уезжали добровольцами, собирали подписи под декларациями протеста.

Много толковали об угаснувшем движении народников, радовались появлению партии эсеров, возрождавшей традиции «Народной воли». Резкое ограничение гражданских свобод в



боксерское восстание<sup>1</sup> — все это волновало Керенского и его друзей.

И в этой домашней, почти родственной среде Александр чувствовал себя свободно, раскованно, уютно, и много-много лет спустя, в Америке, старый, больной, одинокий, он вспоминал с нежной печалью и неизбывной тоской о невозвратном — и эти споры без ссор, и необидные шутки, и дружеские поцелуи, и первый настоящий поцелуй с Ольгой, их настоящую любовь... И то, как, встречаясь нечасто в семнадцатом с тогдашними друзьями, знал: и теперь они друзья, словно расстались вчера, надежные, верные, готовые выслушать, понять, помочь. И понимал, что этот умный и веселый семейный кружок был для всех них необходимым, важным, и, как знать, стали бы они без него теми, кем стали... Наверное, именно там произошло то, о чем он писал много лет спустя: «Я пришел к выводу, что по вине верховной власти России ждут великие беды и испытания», — и пошел навстречу этим испытаниям и бедам — спасать ее, Россию, родину, отчизну...

Александр часто читал вслух, — а читал он отменно! — чеканные строки Валерия Брюсова, находя в них особый, сокровытый смысл:

Я — вождь земных царей и царь Ассаргадон.  
Владыки и вожди. Вам говорю я: горе!  
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.  
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.  
Египту речь моя звучала как закон,  
Элам читал судьбу в моем едином взоре,  
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.  
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Ему вторила — из Тютчева, глядя уже откровенно влюбленно, Оля:

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,  
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!  
Над вами безмолвные звездные круги,  
Под вами немые, глухие гроба.  
Пускай олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец.  
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец.

---

<sup>1</sup> Боксерское восстание — ихэтуаньское антиимпериалистическое восстание в Северном Китае в 1899 — 1901 гг.

Пели и «Трансвааль», и русскую «Марсельезу», сами переложили на музыку кое-что из Некрасова... Пока что это были только с л о в а, да и те не выходили за стены просторной квартиры Барановских...

### 3

Размашисто, истинно по-русски, с фейерверками, с лихими тройками, с раблезианским обжорством и чукотским винопитием, с хмельным беспамятным мордобоем и изысканными либеральными речами, с благодушными витиеватыми тостами и стоном голодающих после очередного недорода, с выстрелами шампанских пробок и пушечными салютами, звоном разбитых бокалов и благовестом колоколов, с мазуркою, полонезом и разудалой, вспотык, «барыней», с печалью об уходящем и хулою его, с верой в милости Божии и государевы и неверием ни во что, с восторженно-слащавой светской хроникой в газетах и набранными мельчайшей нонпарелью известиями о самоубийствах забулдыг и обыкновенных простолюдинов, с поздравительными почтовыми карточками, украшенными слащавыми дед-морозами и снегурочками, и с первыми шершавыми прокламациями, с блеском еще не совсем привычных электрических огней и чадом родной лучинушки, с исконной славянской печалью о чем-то несбывшемся и отчаянной отмашкой «авось образуется», — оставляла сонная и суматошная Россия девятнадцатый век.

Его начало — год 1801-й (хотя некоторые охотники до праздников календарю и разуму вопреки исхитрились встречать дважды, нетерпежка брала, в 1800-м) — в просторном и неотлаженном государстве предстало знаменательным и жутким: в ночь с 11-го на 12 марта для Руси привычным манером — ударом по черепу, только на сей особый случай не дубинкой, кистенем или ружейным прикладом, а зысканно — литою золотой табакеркой — отправило ко Всевышнему причудливого педанта и самодура сорокачетырёхлетнего императора Павла I, того, кто, еще не воссев на престол, поинтересовался однажды у французского посла графа Луи-Филиппа Сегюра, историка и пиита: «Отчего это в иных европейских монархиях государи спокойно вступают на престол, а у нас иначе?» Вопрос не был лишен здравого смысла.

Шестеро императоров всероссийских сменились за девятнадцатое столетие. Двое — убиты (Павел и Александр II), один

скончался столь скоропостижно, что смерть его вызвала живучую легенду, будто удалился он от власти и суетного мира в глухомань под именем старца Федора Кузьмича (Александр I), один, есть версия, добровольно лишил себя жизни, не стерпев позора в Крымской войне (Николай I), один умер, как говорилось официально, естественной смертью, — похоже, от последствий алкоголизма (Александр III), последний же в том веке и оказавшийся последним в истории государства (Николай II) ознаменовал коронацию кровавой Ходынккой и был бессудно и зверски пристрелен большевиками...

Деятнадцатый, з о л о т о й век. Век Пушкина и декабристов, Герцена и народников, родившейся и стремительно вырастающей буржуазии и первых рабочих стачек, век позорной Крымской войны, покорения национальных окраин, век русского Ренессанса и мрачной реакции. Век мракобесов Бенкендорфа и Аракчеева, кажущегося безумцем террориста, считавшего себя революционером, — Нечаева и нежной девушки-царевубийцы Перовской, век отмены крепостного права и нового закабаления крестьян, век невиданного наводнения в Петербурге и страшных голодоморных засух в Поволжье, первой Всероссийской выставки и первых массовых еврейских погромов, век паровых машин, железных дорог и сохи, — он завершился, и начинался двадцатый.

«Немытая Россия, страна рабов, страна господ» вступала в последний век тысячелетия — единственная в мире ц и в и л и з о в а н н а я страна, где не существовало конституции (ее, правда, не было и нет в Великобритании, но по иным причинам), парламента, политических партий (провозглашенная в 1898 году подельщиками В. Ульянова была тотчас призадушена), империя, где министр финансов граф С. Ю. Витте, не из худших в правящей элите, с обескураживающей откровенностью высказался: «Невысокая заработная плата является для русской предприимчивости с ч а с т л и в ы м (подчеркнуто мною.— В. Е.) даром, дополняющим богатства русской природы».

Страна, беременная революцией. Страна, где множилось признаки общественного пробуждения, где петербургскими стачками еще робко обозначалось участие пролетариата в революционно-освободительном движении, где возгорались крестьянские волнения и восстания, где характерным моментом становились требования демократических свобод, достигнутых в начале 1917-го и — по историческим масштабам — вскоро-

сти большевиками залитых кровью, заморенных голодом, обманно замененных жесточайшей из жестоких диктатур...

И опять, словно уже по традиции, новый век начался с пролития крови, политическим убийством, правда, не царствующей особы, но видного сановника, министра народного просвещения Николая Павловича Боголепова, добившегося высочайшего дозволения немедля сдавать в солдаты всех студентов, замешанных в беспорядках. Ему не простили. 14 февраля 1901 года в него стрелял исключенный за участие в запретных студенческих организациях из Московского и Юрьевского университетов Петр Владимирович Карпович, эсер; приговоренный к двадцати годам каторги, он в 1907 году бежал.

Незадолго до гибели министра Керенский принял участие в молчаливой демонстрации против февральского приказа. Боголепову вздумалось, не ко времени, посетить их университет. Высокий, худощавый, подтянутый, сорока с небольшим лет, в сопровождении ректора министр (доктор права и профессор) уверенно шел по людному коридору. Не оборачиваясь, сделал вид, словно не замечает его превосходительство, ни один студент не поклонился, не снял фуражку, не опустил рук по швам. Керенский сделал над собою усилие, посмотрел министру в глаза, ничего не выражающие. С натугою, не ускорив шаг, Боголепов свернул в первую попавшуюся дверь, это была библиотека. Там тоже никто не встал, не обернулся от шкафов.

А после панихиды (Боголепов скончался не сразу, через две недели) Александр, войдя в университет через парадный вход, увидел, что лестница снизу доверху, от перил до перил, забита студентами. Что-то подтолкнуло его пробиться вперед, и он выпалил свою первую в жизни политическую речь. От неожиданности и волнения он ее не запомнил, даже Оле не смог ничего пересказать, знал только, что призывал коллег к политической борьбе.

Не запомнил он — запомнили другие: наутро стоял (сестры не было предложено) в кабинете ректора, тот говорил: молодой человек (вместо принятого коллегам), если бы вы не были сыном столь уважаемого педагога, каков Федор Михайлович, я, несомненно, выгнал бы вас вместе с шестерыми, наградив волчьим билетом; извольте взять академический отпуск и до следующего учебного года пожить в семье, одуматься; семья, убежден, окажет на вас благотворное влияние.

Наказание польстило, он да и друзья восприняли эту ссылку как награду в борьбе за свободу. Оленька при всех даже поцеловала; впрочем, о их любви все знали.

Зато отец встретил сурово. Ты решил последовать примеру Ульяновых? Тебе известно, что их Владимир третий год в ссылке? (Тот наказание отбыл в благодатном, под стать курорту, уголке Енисейской губернии, теперь обретался в европах, выпускал никем не виданную газету с каким-то пожарным названием.) Если хочешь сделать что-то полезное для России... Да что я тебе втолковываю, не мальчик, но считаю долгом напомнить прописную истину: в ссылках многому не научишься, для того существуют университеты... Александру наставления показались слишком уж гимназическими, а свое будущее он, кажется, уже определил. Но спорить с папенькой не стал, он его любил и относился с уважением.

#### 4

На первом курсе — еще не предполагая, что один из факультетов ему придется покинуть, — начальство запретило учиться на двух (он после долгих размышлений остался на юридическом), — Александр, посоветовавшись со старшекурсниками, решил с самого начала вплотную заняться государственным правом; особенно заинтересовала его проблема природы власти, проблема «государство — народ», вопросы происхождения и сущности демократии. Подтолкнули его к этому ясные, четкие лекции профессора Сергея Федоровича Платонова и проведенные под его руководством поездки в Псков и Новгород, где студенты услышали — многие впервые — об устройстве древнерусской демократии. Привлекала необычностью, даже парадоксальностью концепция совсем молодого ученого и наставника Михаила Ивановича Ростовцева о существовании «капитализма», «пролетарских революций» в древности, о том, что истоки демократизации Древней Руси уходят в глубь истории, куда дальше, нежели считалось ранее, и что существовала непосредственная связь между ранней русской государственностью и древнегреческими республиками.

Студенту Керенскому были интересны, побуждали к размышлениям лекции философа Николая Ануфриева-Лосского, чье учение исходило из предпосылки, что человек, как существо от природы независимое, должен развивать в себе голос совести

и поступать в соответствии с внутренними побуждениями, свободными от всяких догм, несовместимых с его духовностью.

На юридическом Александр узнавал о том, что прежняя Русь не ведала постулата о божественном происхождении власти (до него еще не дошло пока, что именно такой убежденностью был проникнут царствующий император Николай II и это оказывало решающее влияние на его политику, немало бед принесло стране и народу); существует, читал и слушал Керенский, универсальный, обязательный для всех закон, которому должны соответствовать все выпускаемые верховные властью акты,— это он впервые вычитал в записях лекций недавно ушедших из университета Василия Ивановича Сергеевича и Николая Михайловича Коркунова.

Он увлекся воззрениями Льва Иосифовича Петражицкого и даже лично сблизился с ним (позднее, когда Керенский занимал посты в правительстве, профессор не раз приходил к бывшему ученику с весьма полезными советами и предложениями в сфере законодательства и политики; к сожалению, они тогда оказывались неосуществимыми. Не найдя применения своим знаниям, Петражицкий в 1918 году эмигрировал в Польшу — каких людей теряла большевистская Россия!). В лекциях профессор утверждал, что право и мораль суть два компонента, существующие в сознании человека и формирующие его внутреннюю жизнь; подлинная мораль есть внутреннее сознание долга, которому каждый обязан посвятить свою деятельность, при одном условии — чтобы на него не оказывалось никакого внешнего давления. Лев Иосифович решительно отвергал идею марксизма о том, что государство есть орудие в руках господствующего класса, чье предназначение — лишь в подавлении его оппонентов.

Соглашаясь с учителями, Александр решил ознакомиться с первоисточниками, для начала проштудировал вполне доступные статьи марксиста Петра Бернгардовича Струве: «Когда я дошел до той страницы, где он пишет, что индивидуальности нет места в природе и ее не следует принимать в расчет, я понял, что марксизм не для меня» (кстати, к такому же выводу впоследствии пришел и сам автор статей). А когда Керенский изучил «Манифест Коммунистической партии», где, в частности, утверждалось, что общечеловеческая мораль лишь орудие в классовой борьбе, а мораль рабочего класса не имеет ничего общего с моралью капиталистического мира, — он окончательно потерял интерес к Марксу и его сподручному Энгельсу, равно как и к материалистическим воззрениям этих

основоположников: ему близки были убеждения Владимира Сергеевича Соловьева о том, что материалистические теории превращают человеческие существа в винтики чудовищной машины. «Мне всегда были по душе социалисты-революционеры, а также народники, которые были убеждены в том, что стремятся к освобождению человека, а не к превращению его в орудие классовой борьбы», — резюмировал Александр.

Свои соображения, еще эклектичные и дилетантские, — признаться, в области теории он таковым и остался, не занимаясь ею всерьез, — Керенский изложил в некоем трактате об историческом развитии России, давал его читать участникам бывшего кружка Барановских (б ы в ш е г о, ибо он распался, когда семья переехала с Васильевского в район Таврического сада). Ольга, считавшаяся уже официально невестой, пришла в восторг, одобрил и ее кузен Сергей Васильев, теперь один из ближайших друзей и без пяти минут свойственник.

После окончания им университета в июне 1904 года Александр и Ольга обвенчались в поместье Барановских близ деревни Каинки Казанской губернии, провели медовый месяц там, в глуши и почти в одиночестве.

Газеты получались здесь раз в неделю, и Саша и Оля с опозданием узнали о том, что 15 июля эсер Егор Сергеевич Созонов убил бомбой в Санкт-Петербурге ненавидимого всеми министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, кстати, занявшего этот пост в 1902 году после убийства своего предшественника Дмитрия Сергеевича Сипягина, каковое совершил член той же партии студент Степан Валерианович Балмашев, казненный через повешение.

Вот когда Керенский решил: после университета, получив диплом и место присяжного поверенного (не сразу, придется сперва побыть в помощниках), он станет принимать участие защитником только в п о л и т и ч е с к и х процессах. А пока будет зарабатывать стаж, необходимый для зачисления в коллегию адвокатов, — бездельничать нельзя, не примут в коллегию, найдет такую службу, что позволит ему вплотную ознакомиться с жизнью низших слоев населения, прежде всего рабочих.

Говоря близким об этом — несомненно, благородном — решении, он конечно же умолчал о другой, сокровенной причине: его неудержимо тянуло к славе, ко всероссийскому признанию, каким обладали его старшие коллеги. Как Петр Аки-



мович Александрович, прогремевший на всю страну участием в процессе по делу 193-х (1877 — 1878) и делу Веры Ивановны Засулич (1878). Как Николай Платонович Карабчевский, защитник в нашумевшем обвинении мултанских вотяков (1895 — 1896). Как, разумеется, великий судебный оратор Федор Никифорович Плевако. Или Владимир Данилович Спасович, известный не только как выдающийся практик, но и ученый-теоретик. Как Александр Иванович Урусов, яростный обличитель организаторов и исполнителей еврейских погромов. Словом, думая о благе народа, Керенский не забывал и о себе, о собственной карьере, не предполагая, как блистательно она осуществится и сколь унижительно закончится.

## Глава вторая

Я уже тогда понимал, что мое место среди тех, кто борется с самодержавием, ибо я был твердо убежден, что ради спасения Родины необходимо как можно скорее добиться конституции. Не социологические доктрины порождали революционное движение в стране. Мы вступали в ряды революционеров не в результате того, что подпольно изучали запрещенные идеи. На революционную борьбу нас толкал сам режим.

*А. Ф. Керенский*

### 1

То, что будет рассказано на первых страницах этой главы, можно было изложить менее пространно. Но велика потребность ознакомить читателя с подробностями необычной жизни одного из благороднейших людей России первой половины XX века, тем более что о нем слышали теперь считанные единицы. И, забегая вперед, пополнить книгу еще одним эпизодом из необъятного списка преступлений большевиков.

Софья Владимировна Панина родилась в 1871 году.

Ее дед — граф Виктор Никитич Панин — в 1841—1862 годах — министр юстиции при Александре II, ярый противник проводимых тогда реформ.

Другой дед — со стороны матери — дворянин, крупнейший землевладелец и промышленник Сергей Иванович Мальцов.

На его многочисленных крупнейших заводах были изготовлены первые в России рельсы, паровозы, пароходы при собственной выплавке чугуна, стали, железа. При заводах существовали несколько ремесленных и одно среднетехническое училище. Капиталы С. И. Мальцова составляли миллионы рублей.

Мать Софьи Владимировны вторым браком была за Иваном Ильичом Петрункевичем, дворянином, богатым помещиком, юристом, одним из основателей и бессменным на протяжении многих лет руководителем партии кадетов, депутатом I Государственной думы.

В двадцать лет Софья Владимировна вышла замуж за блестящего офицера, сына Александра Александровича Половцева, сенатора, государственного секретаря, члена Государ-

ственного совета, миллионера. Посаженым отцом (замещающим родного на свадебном обряде) был сам император Александр III. Брак вскоре распался.

Окончив Высшие женские курсы, молодая красавица отдалась общественно-благотворительной деятельности, щедро тратя доставшиеся в наследство и в приданое несказанно огромные средства. Она — председатель и член различных обществ помощи женщинам и детям, организатор столичной Биржи труда, меценат (теперь сказали бы — спонсор) Московского художественного театра. Материально помогала Земскому союзу. Через мать и отчима, И. И. Петрункевича, была связана с либеральными крутами. В жандармских донесениях ее разнообразная деятельность не могла не вызвать подозрений, там она фигурировала под кличкой К р а с н а я Графиня (тут стражи порядка переборщили, к социал-демократам, как утверждали они, Софья Владимировна никогда не принадлежала).

Пожалуй, самое значительное дело, свершенное ею, — постройка и организация Лиговского (или графини С. В. Паниной) Народного дома, культурно-просветительного учреждения, своего рода клуба, одного из существовавших в России с 1880-х годов. Но о нем — чуть дальше.

Политическая же деятельность Софьи Владимировны началась, если так уместно выразиться, нестандартно. 27 февраля, в день революции, она явилась в Государственную думу — еще не зная, что Дума распущена одним из последних указов царя, — и потребовала от депутатов... взять в свои руки стихийно возникнувшее движение...

В эти дни графиня стала членом партии кадетов, в мае вошла в ее ЦК. Не кто иной, как Ленин, печатно обозначил Панину как одного из самых влиятельных членов этой организации. Затем она входила в состав двух созывов Временного правительства Керенского — товарищем (заместителем) министра государственного призрения и товарищем министра народного просвещения. Была членом действовавшей и после Февраля городской думы Петрограда. 25 октября это почтенное сообщество, опасаясь обстрела Зимнего дворца орудиями крейсера «Аврора», решило отправиться на защиту Временного правительства. Отважные мужи поручили возглавить депутацию... Софье Владимировне. Доблестных защитников повернули назад несколько матросов.

Активная сторонница монархии, Софья Владимировна враждебно встретила Октябрьский переворот. Она вошла в антибольшевистский «Комитет спасения родины и революции», созданный с целью свержения Советской власти. Была членом подпольного Временного правительства (26 октября — 16 ноября 1917 года), заседавшего в ее квартире и руководившего забастовкой бывших государственных служащих.

28 ноября Софью Владимировну арестовали на основании декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР о «предании суду ревтрибуналов членов руководящих учреждений партии кадетов» (объявленной «партией врагов народа») и как одну из руководителей кампании за созыв Учредительного собрания (примечательно это обвинение: ведь большевики созыв Собрания официально не отвергали и не отменяли, выборы в него происходили уже при их власти!).

Следственная комиссия предъявила ей конкретное обвинение — в саботаже, в том, что Панина отказалась передать новой администрации 93 тысячи рублей, принадлежавшие бывшему Министерству народного просвещения. Касса министерства оказалась пуста. На вопрос следствия Софья Владимировна отвечала: «Куда я приказала отправить эту сумму, я указать не желаю. Сочту своей обязанностью представить отчет Учредительному собранию как единственной законной власти». От предложения комиссии освободить ее под денежный залог Панина принципиально отказалась.

На месте разрушенной (весьма совершенной после реформы 1864 года, проведенной Александром II) судебной системы большевики наспех сколотили новую, в ней ведущее место занимали революционные трибуналы, избираемые Советами. Упразднив все царские законы и не создав новых (Уголовный и Гражданский кодекс утвердили только в 1922 году), Совнарком предложил трибуналам и народным судам при вынесении приговоров руководствоваться так называемой революционной совестью, то есть, по существу, творить произвол.

Трибуналам поручалось разбирать дела по борьбе с контрреволюцией, саботажем, мародерством, взяточничеством, спекуляцией, дезертирством и т. п.

Неведомо почему, — словно в городе недоставало бывших царских генералов, заядлых монархистов, участников реальных

заговоров против Советской власти,— первое заседание Петроградского ревтрибунала посвятили рассмотрению дела «бывшей графини» С. В. Паниной. Суд задумывали как показательный, демонстрирующий беспристрастность, гуманность, справедливость новорожденной карательной системы.

Заседание проходило в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича, прежнего Верховного главнокомандующего, затаившегося в Крыму.

С раннего утра 10 декабря зал переполнился бастующими адвокатами, старыми судебными чиновниками, друзьями и близкими подсудимой, корреспондентами, специально подобранной «пролетарской» публикой. Напоминало митинг: произносили речи, спорили, перебрасывались репликами. Все ожидали, что приговор окажется жестоким.

В час дня председатель трибунала, отнюдь не юрист, а потомственный пролетарий, большевик Иван Павлович Жуков при шестерых заседателях-рабочих открыл заседание, огласил кем-то написанную для него речь со ссылками на Французскую революцию, с проповедью справедливости, гуманности и прочего в том же роде.

Желающих выступить обвинителем, как предложил Жуков, не сыскалось, пришлось сразу предоставить слово защитнику, директору гимназии В. Я. Гуровичу. Как впоследствии писал советский «историк» (в прошлом «чекист, следователь по особо важным делам прокуратуры УССР, РСФСР, СССР», сказано в аннотации к его книге) Давид Львович Голинков, внезапно объявившийся защитник «принялся восхвалять достоинства подсудимой, оправдывая ее действия и одновременно дискредитируя процесс». Мало того, Гурович воспользовался случаем и публично заявил, что настоящим хозяином страны должно стать Учредительное собрание, которое («якобы» уточняет Голинков) является выразителем воли всего народа.

Спектакль, отрежиссированный большевиками, явно разваливался. Голинков задним числом злобствует: «Выступление защитника нашло благодатную почву среди части публики. В зале раздавались крики, возгласы, кто-то устроил истерику. «Некий (!) Иванов, назвавшийся (!) рабочим, потребовал слова и заявил, что подсудимая помогла ему, дотоле темному человеку», научиться «любить науку и жизнь». Он подошел к скамье подсудимых, театрально (!) поклонился Паниной и

воскликнул: «Благодарю вас». Буржуазная публика устроила ему овацию».

Да, спектакль явно проваливался. Хотя, как пишет далее Голиков, антисоветские выступления возмутили находившихся в зале рабочих. Один из них, рабочий Наумов (уже не «некий» и не «якобы»), потребовал слова и произнес обычную большевистскую агитку, общие слова о преступлениях буржуазии, о пролитой рабочей крови.

Других выступлений не оказалось, суд поспешил удалиться на совещание. Вскоре Жуков объявлял приговор. «Именем Революционного Народа» гражданку Софью Владимировну Панину обязывали вернуть в кассу Наркомпроса деньги (которые она там не брала и порога нового наркомата не переступала ни сама, ни ее бывшие подчиненные по министерству) и, признавая подсудимую виновной, но с учетом ее положительного прошлого — предать ее... общественному порицанию.

Вместо жестокого наказания — мыльный пузырь... Ничего, вскоре большевистские ВЧК и трибуналы, а за ними т р о й к и покажут свою силу!

Деньги (что для нее, богатейшей женщины, 93 тысячи, сразу же не отдала лишь из принципа!) Софья Владимировна вернула, а точнее, ш в ы р н у л а 19 декабря и тотчас вышла на свободу.

Вскоре она бежала на Юг, увозя в чемоданчике бесценные фамильные драгоценности родов Паниных, Мальцовых, Половцевых, чтобы передать их до последнего камушка Белой Армии. К несчастью, где-то в дорожной суматохе щедрый дар графини пропал.

До весны 1920-го С. В. Панина пробыла на Дону, входила в состав филиала кадетского «Национального центра», боровшегося против Советской власти, активно помогала «белому делу». Стала гражданской, невенчанной женой Николая Ивановича Астрова, сотоварища по ЦК партии кадетов. В том же году эмигрировала, жила во Франции, Швейцарии, США, где и скончалась в 1957 году, когда в эмигрантском «Новом журнале» печатались ее воспоминания...

Все рассказанное здесь — тогда, в 1904-м, — еще только предстояло, о Софье Владимировне Керенский знал только немного: графиня, богачка, благотворительница, интеллигентка; а если бы и ведал большее, все, вероятно, вылетело

бы у него из головы, когда, загодя представленный и приглашенный по телефону, он переступил порог изысканного кабинета устроительницы и владелицы Народного дома ее имени.

Она настолько была совершенна и красива, что Александр Федорович перед нею как бы растворился, растаял, исчез, и как от знаменитого Чеширского кота из сказки Льюиса Кэрролла про Алису осталась одна развеселая улыбка, витающая в воздухе, так и от Керенского тоже, однако не лукаво-шаловливая, а растерянная, почти виноватая. Да еще нелепая мысль: как обращаться? Ваше сиятельство? Милостивая государыня? Или неужто просто — Софья Владимировна? Последнее выглядело бы так, если бы Афродиту обозначили Фросей...

Привычная к подобному эффекту, не на таких простаков производимому, и зная, как выводить потерявших всякое соображение мужчин из смутного состояния, она вышла из-за изящного дамского письменного стола, сделала несколько кратких шагов навстречу, обретая земной облик, протянула ладонь — естественно, не для пожатия, и Керенский приложился губами к ручке — вполне телесной, живой, мягкой, собрался с духом и уверенно, так ему, по крайней мере, казалось, произнес: здравствуйте, С о ф ь я В л а д и м и р о в н а, и услышал приветливое — рада познакомиться, понаслышана о вас, Александр Федорович, прошу... И она легко опустилась в кресло, еле заметным движением указав место напротив, он сел, ощущая мешающие длинные свои ноги, взял предложенную папиросу из деревянной резной шкатулки.

Софья Владимировна, тоже закуривая, дала возможность еще полюбоваться собой и, не тратя времени на пустяки, приступила к делу, обоим заранее известному, речь шла о должности юридического консультанта, чьей главной заботой предполагалась помощь беднякам, особенно из рабочих поселков и отдаленных от центральной части города кварталов. Именно этого — реальной денежной помощи, выдачи одежды и прочего, а не составления прошений и ходатайств, как правило, неисполняемых, жаждал Керенский, а графиня — держать при себе надежного, знающего законы человека, кто мог бы при попечительском совете обосновать и по личным наблюдениям, и по государственным установлениям выбрать наиболее нуждающихся. Жалованье она предложила вполне пристойное, хотя он согласился бы и на

меньшее — не торговаться же, да и некоторое наследство у Ольги и Александра тоже имелось.

А затем хозяйка предложила осмотреть свое детище, Дом; сказала, что покажет сама, чему Керенский обрадовался, конечно, а ей, очевидно, доставляло удовольствие — лиш- ний раз потешить душеньку, еще не нарадовалась за год после открытия. До приема посетителей оставалось еще два часа, в коридорах и комнатах занималась своими делами обслуга, на первый взгляд весьма немногочисленная. Угадав его мысли, графиня не дождалась вопроса, объяснила: кое- что по дому делают и г о с т и (так, видимо, принято было называть посетителей).

Основное здание Народного дома на Тамбовской, под номером 63/10, начали строить в 1899 году и только что завершили, хотя с кое-какими недоделками, — помешала начавшаяся нынешним февралем война с Японией, — однако оставалось доделать пустяки, Дом действовал.

Место Панина выбрала хорошее — близко и к центральной части, встык Лиговке и Обводному каналу, недалеко от Царскосельского вокзала, и — с другой стороны — к району пролетарскому: Шлиссельбургскому тракту, Озерковой и Ямской слободам. За углом, на Прилукской, купили целиком второе здание, соединили переходом с главным.

Сооружали все по проекту Ю. Ю. Бенуа, одного из членов прославленного семейства зодчих, живописцев, художественных критиков.

Трехэтажное, красного кирпича, с рустовкой, украшенное огромным арочным окном над входом, снаружи здание казалось небольшим, вовсе не производило впечатления общественного, напоминая богатый особняк. Но это была иллюзия: внутри находился зрительный зал (известно, что однажды в него вместились, правда встык, три тысячи человек), аудитории для вечерних занятий, помещения для самодеятельных кружков, кабинеты-лаборатории (физический, химический и другие), учебные мастерские, сберегательная касса и даже — в башенке — астрономическая обсерватория. Все новехонькое, обставленное специально изготовленной мебелью, снабженное лучшим оборудованием и пособиями.

Возле двери с медной табличкой «Юридическая консультация» графиня сказала: вот и ваши владения, прошу, и сама хозяйской рукою открыла. Превосходно! Ни дать ни взять кабинет преуспевающего адвоката: дубовый стол, дубовые за-



стекленные шкафы (заманчиво поблескивают золоченые корешки свода законов Российской империи, Уложения о наказаниях, Энциклопедии Брокгауза и Ефрона), телефонный эриксоновский настольный, — не настенный, — аппарат (еще новинка, дорогая игрушка), кожаные кресла для посетителей, темный деловой ковер. Ах, как хорошо!

Заглянули в буфет, — ни бутылки спиртного, даже пива, — выпили отменного чая с лимоном и баранками, графиня рассказывала, что в Большом зале постоянно работает Общедоступный театр режиссера и актера Павла Петровича Гайдебурова, молодого и энергичного энтузиаста, вскоре предполагается открыть Передвижной театр, обслуживающий всю Европейскую Россию.

Галереей прошли во второе здание. Здесь основную площадь занимал Подвижной (Педагогический) музей учебных пособий, переданный известным просветителем Николаем Александровичем Рубакиным, — богатейшие коллекции по минералогии, геологии, кристаллографии, ботанике, они постоянно пополняются, а изготавливают экспонаты — кто бы вы думали? — узники Шлиссельбургской крепости, они лет шесть-семь назад получили дозволение заниматься ручным трудом, спасающим их душевное и физическое здоровье. Платить им запрещено, однако поставлять материалы и инструмент разрешается, что я и делаю. Вы представьте только, кто на наш Дом трудится! Вера Николаевна Фигнер, Николай Александрович Морозов, Герман Александрович Лопатин, Петр Владимирович Карпович...

Они провели вдвоем (больше таких случаев не представлялось) часа полтора, и вполне допустимо представить, что Керенский испытал радость не только от того, что ему доведется теперь работать рядом, ежедневно видеться с этой прекрасной, умной, благородной женщиной, но и просто от возможности хоть раз увидеть ее. Ну и, конечно, восхититься бескорыстной щедростью, с какой она потратила огромные средства для создания и содержания Народного дома.

И не исключено, что в самом конце жизни мог ему попасть в руки (он интересовался литературой о Советской России) некий якобы научный справочник-путеводитель, где трое питерских «ученых» дам с докторскими степенями и профессорскими званиями писали: «Графиня С. В. Панина начала строительство Народного дома... Она ярко выразила устремления своего класса. Буржуазия, стремясь взять в свои руки формирование политического сознания пролетариата, отвлечь его от

революционной деятельности, усиленно, не жалея средств, культивировала среди рабочих свою мораль, имевшую целью укрепление своего господства». И далее упоминается: «Народный дом Паниной, построенный с целью идейного закабаления рабочих...» Если бы Керенский читал эту книгу, то нетрудно представить его реакцию...

Но пока что на дворе стояла тяжкая для России осень 1904 года, — а какая осень, какие лето, весна, зима, месяц, год не были для России тяжкими: японцы, которых ура-патриотически в газетах именовали не иначе как *мартышками*, лупили почем зря доблестное русское воинство под командою бездарных генералов, посланная на выручку из Кронштадта эскадра начала свой постыдный путь на Восток к позорной гибели, родился долгожданный наследник престола, нареченный Алексеем, в стране бастовали, пили, провожали на убой новобранцев, а двадцатитрехлетний Александр Керенский в ничем не примечательный для других денек, сам ничем не выдающийся пока выпускник столичного университета, ныне сотрудник изумительного Народного дома, служащий отныне красавице, умнице, аристократке графине Софье Владимировне Паниной, мчался пешком по грязному мокрому снегу к себе, на Загородный, к юной жене, задыхаясь от бега и от счастья, и душа его была сейчас чистой, ясной, распахнутой навстречу любви и свету, лишенной корыстолюбия, честолюбия, славолюбия, полной неудержимой чистой и высокой влюбленности в Софью Владимировну...

И он, вероятно, тогда, в эти минуты, дал бы пощечину, двинул в морду, вышиб зубы тому, кто сказал бы, пророча: 25 октября 1917 года поутру он, Александр Федорович Керенский, фактически еще даже не свергнутый, не отрешенный, не отстраненный председатель низложенного Временного правительства и не уволенный в отставку Верховный главнокомандующий, он, попросту повисшая в воздухе — теперь растерянная и трусоватая — улыбка Чеширского кота, позорно бежит от наступающих, вырвавших власть большевиков, бежит, сыграв напоследок этюд жалко-торжественного объезда в открытом автомобиле пустынной и равнодушной Дворцовой площади, бежит, бросив своих коллег на произвол Ленина и его ушкуйников, не подумав о спасении своих товарищей, не

вспомнив, что среди них, обреченных, жалких, беспомощных, останется и единственная в том н и з л о ж е н н о м правительстве женщина, все так же красивая в свои почти полсотни лет, умница, аристократка не только родом, но и духом. Заповедь отца: не делай подлостей! — он тогда наверняка не вспомнил... А место в автомобиле еще для одного нашлось бы...

## 2

Он полагал, что за пять лет столичного житья хорошо узнал великий город. Теперь он понял, что заблуждался.

Городов этих было — два.

Был САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, украшенный гениально задуманными и блистательно воплощенными архитектурными ансамблями, дворцами, храмами, куполами, арками, мостами, набережными, оградами, садами, — все это, взнесенное из тьмы лесов и топи блат, порожденное и вдохновением художников, и каторжным трудом безвестных российских мастеровых, поставленное на костях сотен тысяч уж вовсе безымянных, не считааемых за людей мужиков, — радовало взор, веселило сердце, наполняло его светлой пушкинской печалью, порождало гордость соотечественников, изумление и зависть иноземцев, запечатлевалось в бесчисленных полотнах, гравюрах, воспевалось прозою, стихами, музыкой, воспроизводилось в театральных декорациях и медальонах, украшало переплеты и страницы книг.

Оставался незапечатленным и невоспетым другой, попросту Питер, «что народу бока повытер», он существовал в тех же пределах, молился единому Богу, повиновался одной власти, но был как бы сам по себе, ничуть не схожий с величественной столицей, рабочий Питер; приземистый, закопченный, ревуший заводскими безжалостными гудками, содрогающийся от грохота паровых машин, пахнувший угольной гарью, окалиной, дымом, сивухой, шами из прокислой капусты, портянками, по воскресеньям угрюмо или натужно-весело хмельной, испохабленный рвотой и бессмысленно-отвратительными частушками, в будни — озлобленный, измотанный, намаившийся чумазой Питер. Не град Святаго Петра, не Санкт-Питербурх, не Северная Пальмира, не ясное, в белых цветах парусов окно в Европу, не город Невского проспекта и Летнего сада, Марсова поля и Медного всадника, безудержных

Клодтовых коней Аничкова моста и тяжелых, приземистых, приманчивых Гостиных рядом, плеска веселой воды на Островах,— а Питер, скопище Галерной гавани и Чекушей, Большой и Малой Охты, острова Голодай и Ямской слободы, Невской и Московской застав, верфей, лесоторговых бирж, гигантских, с зарешеченными пыльными окнами корпусов, рабочих казарм, трущоб, кабаков, смрадных речушек наподобие Таракановки, вонючих скотобоев и мерзких, дышащих м и а з м а м и, свалок — крысиных царств и кошачьих кладбищ...

И далеко не каждый родившийся, допустим, на Голодае или в Чекушах, пускай и не было на то формального запрета, хоть одной ногою ступил, одним глазом узрел н е с в о й, д р у г о й город, они существовали рядом, разделенные чертою только на топографических планах...

Пока не налачился с приемом посетителей в консультации,— прослышав про своего защитника, у которого и должность называется — з а щ и т н и к,— стали постепенно собираться возле кабинета очередишки, но это случилось не враз, а пока на первых порах через день, а после дважды в неделю, когда до полудня, когда после, он брал извозчика, и, скрипя полозьями по истертому донизу снегу, тот трюхал помалу, ну, допустим, сегодня на Шлиссельбургский тракт, начинавшийся, как водится в городе, заставой.

Пожалуй, городовых здесь торчало больше, нежели в других частях Питера. Оно и понятно. Где-то на двенадцатой версте кончались редкие особняки — извозчик сказал, что в прежние времена их было здесь полным-полно, облюбовали себе места богатеи, но пришлось потесниться, уступить заводчикам, фабрикантам, купцам. И теперь там и тут чернели промышленные корпуса, высились трубы, лепились рабочие поселенья, похожие друг на друга бараки, хибарки, церквушки; питейные лавки, гнилые заборы, убогое бельишко 'на веревках, узкие, в грязи, улочные тупики. Едва миновали Рожковские провиантские склады, как явственно переменилась и Нева: из чистой, просторной, благовидной, в гранитных берегах сделалась неряхой, замарашкой, замордованной трудягой. Обыкновенно замерзала она в середине ноября, а сейчас завершался октябрь, по замедленной реке влачили баржи, межеумки, тихвинки, унжаки — большие и малые суда. Остались позади Чугунный завод и село Смоленское, фарфоровый — возле него река сделалась узкой и вовсе мутной,— сливали остатки белой

глины, — но чуть выше по течению она опять расширялась, еще издали виднелись краснокирпичные сооружения Обуховского... Въехали в село Александровское, Керенский отпустил извозчика...

Он вскоре понял, что в основе пропаганды большевиков — они постепенно разворачивались, давали о себе знать, хотя, слышно, партию эту раздирали внутренние противоречия и склоки, — лежали надуманные, умозрительные представления о тех, кого они именовали пролетариатом. Понятие «сознательный рабочий» отражало не реальность, а благие пожелания, таких, сознательных, набирались только кучки, а те, кто, по словам Ленина, призваны были привносить сознательность в стихийное рабочее движение, в основном отсиживались в Женеве, Цюрихе, Лондоне, Париже, предавались обычной эмигрантской грызне, выпускали газету из написанных ими же, оторванных от России, статей и полученных с родины писем немногих рабочих корреспондентов, часто ошибались в оценках событий, отставали, забегали вперед. Не зря и власти, и общественное мнение на большевиков не обращали особого внимания: куда более опасными, г р о м к и м и представлялись эсеры, они в 1901-м оформились в политическую партию, достаточно многочисленную, продолжая при этом заниматься не только пропагандой, но и террором. На рабочий класс они не слишком уповали, предпочитали о б р а б а т ы в а т ь, в традициях народников, крестьянство.

Пролетарская масса, убеждался Керенский, оказалась разношерстной, разноликой: и к а д р о в ы е, хлебнувшие городской культуры, и воспитанники ремесленных и среднетехнических училищ, и достаточно образованные самоучки. А рядом — едва умеющие читать, а то и вовсе неграмотные, они трудились там, где квалификации не требовалось, доставало только навыков, но за тяжелую работу не так уж плохо, по их понятиям, платили, туда валили обнищавшие крестьяне. Темные, с деревенскими обычаями и привычками, скованные семейными связями, замкнутые в них, — следом за отцом перебирались в город сыновья, переманивали двоюродных братьев, свояков, кумовьев, сватов, — жили в Питере сельским укладом, сохраняли свой местный говор, обычай, всем выделялись от остальных. Коренные питерцы над ними посмеивались, далеко не всегда невинно, — и в первую очередь над еще совсем не-

отесанными новичками, им дали кличку пестрые... Почти все поголовно они были истово верующими, не пропускали ни единой субботней и воскресной службы, если читали — то лишь духовные книжки, а когда попадались светские — то самого низкого пошиба, всякие там цари францисканы, атаманы Епанчи да Кудимычи. Жили артельно, стол вели общий, деревенская еда — решетный грубый хлеб, специально для них выпекаемый, завариха, толокно, квасная тюря, мятая картошка. Зарабатывали прилично, а мясо потребляли редко, считалось праздничное лакомство, грех тратить каждый день, накопленное утаивали в кису. Обычай тоже блюли сельские: переступив порог, осеняли себя крестным знамением, чтили старших, что в семье, что в заводе. По вечерам устраивали посиделки, воскресным днем играли в бабки, в лапту, ходили на похороны и к чужим... Темный народ, такой не скоро встряхнешь, господа большевики, не вам их поднять, тем более появился сильный конкурент, некий священник Гапон...

До него у Керенского пока ноги не доходили, он честно исполнял данный себе обет: ходил по баракам, общежитиям, рабочим казармам, изредка заглядывал в квартиры тех, кто был образованней и в быту культурней, кто вел иной образ жизни (такие и посещали, многие регулярно, Народный дом, сделались знакомыми). И везде, кроме тех, кто жил по квартирам, он как ни старался одеться попроще, приноровиться к их скудной речи, — он оказывался чужим, чуждым, глядели исподлобья, отвечали кратко, на хозяев не жаловались, ни о чем не просили, втянуть в общий разговор их не удавалось, — вот когда Александр Федорович уразумел трагедию народников, трагедию взаимного непонимания, толкнувшую их к террору...

Он стыдился себя, понимая: надо эти запоздалые народнические хождения прекратить, не смущать зря людей, не терять времени, не унижать себя, не заниматься тем, к чему явно не приспособлен. Он был достаточно умен и смел, чтобы признаться: они, интеллигенция, одно, а народ — совсем другое, и, как вода и масло, помещенные в общий сосуд, никогда не соединятся, не сольются воедино.

Роясь в шкафах библиотеки Народного дома, он случайно вытащил светло-коричневую брошюру со знакомо бросившимся в глаза названием «Что делать?». Ниже стояло имя автора,

отнюдь не Николая Гавриловича Чернышевского, а все того же малоизвестного в Петербурге Н. Ленина. Полистал. Для кого это написано? Язык сложный, построение фраз громоздкое, ход рассуждений, видимо, понятен лишь участникам их внутривнутрипартийной борьбы. А вот мысль, совпадающая с его, Керенского, суждениями: «социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть внесено только извне...» То-то и оно, господа. А кто его внесет, это сознание? Не вы ли, сидючи за границей? Или ваши агитаторы — много ли их у вас здесь? А вы лично, вот вы, господин Ленин, — кто вы? Интеллигент, разумеется. Вы можете говорить непосредственно с рабочими на доступном им языке? Ох, сомневаюсь. Я пробовал, и не я один. Не получается. И не получится, будь вы семи пядей во лбу. Может быть, именно потому, что семи, хватило бы и одной, но отчетливой, внятной, излучающей мысль, понятную любому...

Он повертел в руках брошюру, листанул еще. «Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи — и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями...» Вот именно, кустарями, господин Ленин! «И чем чаще мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я испытывал...» Что ж, спасибо за откровенность, вот это я понимаю и разделяю ваши чувства, господин Ленин. Как бы узнать, кто вы?

На обложке — место издания: Stuttgart, 1902. Тираж не указан. Вряд ли велик. Многие ли прочли за два года? Вот в нашей библиотеке экземпляр явно нетронутый... Ну, да Бог с ним.

Свои «хождения в народ» Керенский прекратил. С народом он так и не сумел, не смог сблизиться никогда, хотя очень здорово научился произносить речи на митингах перед толпой. Но толпа — не народ.

### 3

От полужнакомых, но явно расположенных к нему рабочих, постоянных посетителей Дома, он разузнал подробности о Гапоне. Зовут — Георгий Аполлонович. Говорят, крестьянский

сын — при таком-то литературно-изысканном отчестве — странно. Лет тридцати пяти. Образован: духовная семинария, академия. Недавно пострижен в сан священника, служит в тюрьме «Кресты». После краха предприятия жандарма Сергея Васильевича Зубатова, пытавшегося взять рабочее движение под полицейскую опеку, Гапон организовал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» с отделениями во всех частях (административных единицах) города, куда привлек несколько десятков тысяч человек. «Собрание» не просто легальное, а существует на средства полиции, чего Гапон не скрывает. Прекрасный оратор, знает психологию и отдельного рабочего, и толпы, которую может подчинить своему влиянию, поговаривают даже — магнетическому. Сейчас затеял нечто грандиозное — похоже, шествие к царю, то ли на поклон, то ли с угрозою.

Заодно повыспросил — как бы ненароком — про большевиков. Из обрывков сложилась такая картина: их сейчас в Питере наберется, если считать по фабрикам и заводам, пожалуй, несколько сотен, городской их комитет расколот распрями с меньшевиками, многие рабочие выходят из партии, особенно семейные, боятся ареста, на заводах к большевикам отношение враждебное, агитаторов, случается, лупят, листовки — в клочья. Всем рабочим движением в столице заправляет Гапон.

Дышать становилось труднее и труднее. Казалось, не только в Петербурге, не только по России, но и во всем мире, даже во Вселенной зреют недовольство и тревога, бурлит гнев, души одолевает неосознанный страх. В начале зимы по разным городам бастовали, устраивали демонстрации против войны — рабочие, студенты, новобранцы. 13 декабря забастовал весь Баку. Через неделю японцы взяли Порт-Артур, большинство понимали, что война проиграна, сколько людей погибло зря...

Тускло, как бы принужденно, без гостей встретили в семье Новый, 1905 год. Александр Федорович не ложился, просидел в домашнем кабинете, пытался что-то почитать, брал наугад одну, другую книгу, скользил глазами по страницам, не улавливая смысла. Сегодня, знал он, будет п о с л е д н е е перед событиями общее собрание у Гапона. Обязательно пойдет туда...



Потертый, мехом вовнутрь, треух, демисезонное, без каракулевого ворота, пальто, брюки заправлены в сапоги, шарфом закрыт галстук. Посмотрел в зеркало. Кажется, годится.

Старался зря: никто бы не обратил внимания, набралось, наверное, около тысячи человек, это не все, конечно, а представители от районов. Пробрался вперед: начиналась близорукость, но очков не носил, а разглядеть л и д е р а — недавно вошедшее в российский обиход слово — хотелось.

Вот он на авансцене, Георгий Аполлонович. В рясе, прикрывающей и так выше среднего рост. Наперсный крест явно серебряный, ручной выделки. Каштановые волосы, как полагается, до плеч, аккуратная, скорее адвокатская, нежели поповская, борода. И — не видно, однако ощущаются даже отсюда, глаза — пламенеющие и в самом деле похожие на м а г н е т и ч е с к и е. Красив, ничего не скажешь. И — ощутимо — излучает флюиды: несомненно, за таким пойдут. Лидер. Вожак. Может — в о ж д ь?

Тряся школьным колокольчиком, отец Гапон установил тишину. За кафедрой тотчас возник оратор, по виду заводской, из грамотных конечно. Товарищи, заговорил он, путиловцы решили завтра или, крайний срок, послезавтра объявить стачку. Если администрация по-хорошему не уступит, нам в подмогу встанет весь трудовой Питер!

С хоров посыпались подобные голубиным крыльям листовки, подхватывали, передавали, но большинство, едва взглянув, рвало в клоки. Керенский поймал, вгляделся: сверху обозначено — Российская социал-демократическая рабочая партия. Усмехнулся: не учли обстановки, хотя бы подпись поставили не вначале, а снизу, не отвращали, не дразнили, может, кто-то и прочитал бы текст, господи большевики.

Говорили с трибуны еще, коротко: надо кому-то начинать, мы поддержим. Если путиловцы готовы — с Богом!

Довольно, прервал властно Гапон, четвертого или пятого петиция будет готова, митинговать не станем, обсудим с руководителями отделов, доверяете? Доверя-яем! Так благослови вас Господь.

И красивым, плавным жестом всех отпустил.

Что-то подтолкнуло: шагнул навстречу выходящему последним Гапону, можно вас на минутку, батюшка? Замялся, не зная, можно ли протягивать руку священнику. Георгий Аполлонович, позвольте представиться... И назвал. Адвокат?

По диплому да, юрист, но служу в Народном доме, на Лиговке. А, у графини Паниной, Софьи Владимировны, достойнейшая дама, встречаться доводилось. А вы, Александр Федорович, к каким изволите принадлежать, не большевик, смею надеяться? Оба посмеялись чуть. Какими ветрами к нам, прошу покорно извинить? На душе тревожно, признался неожиданно Керенский, чему быть, святой отец, победе, беде? По воле Всевышнего, но, скажу как на исповеди, идея вооруженной борьбы против власти богомерзка, идея самодержавия искони присуща русскому человеку, и наши скромные деяния к добру и взаимному пониманию направлены. Приглашаю вас пятого, послушаете, что скажут наши представители... Адрес вот какой. Я приду. Благословите, святой отец... И Гапон его перекрестил. Полагалось поцеловать в ответ руку, но Керенский воздержался: все-таки в данном случае не со священником разговаривал, а с политическим деятелем. Лидером. Вождем.

Громадный Путиловский завод, производитель железа, стали, рельсов, пушек, паровозов, вагонов, стал разом, третьего января, а следом замерли Невский судостроительный, Франко-русский, мануфактуры — Невская, Екатерингофская... Был понедельник. Оставалось ждать воскресенья.

Ему было плохо, тоскливо, одиноко, собственное существование казалось пустым, мелким, убогим. Ну, поездил на экскурсии и в бараки и казармы, ну, писал прошения и жалобы, ну, читал большевистскую литературу, стараясь понять и х, зовущих к революции и оказавшихся здесь, в столице, малочисленными банкротами накануне несомненно грозных событий. Но они, незнакомые и заведомо чуждые большевики, что-то делали или хотя бы пытались делать, черт их разберет, а он... Впрочем, а куда ему податься, если кроме полумифической РСДРП существует одна только настоящая партия, эсеры, туда тянет единственный друг со студенческой скамьи, тезка Саша Овсянников, туда зовет кузен Оли — Сережа Васильев, надежные, умные сверстники, почти во всем единомышленники, а он упирается: где эсеры, там бомбы и наганы, он же против кровопролития, даже против смертной казни по суду, он с ними дружит, с Сашей и Сережей, верит им, но, сделавшись членом их организации, перестанет быть для них только другом,

превратится в соучастника, и в любой момент милейшие эти люди скажут: Саша, н а д о...

Но, может, и в самом деле — н а д о? Да, террор, хладнокровное, продуманное убийство (чаще всего — беззащитного, не подозревающего об опасности), отвратителен, однако не корысти ради, не из садистских побуждений он вершится; и не разбойниками с большой дороги, не подонками общества были Софья Перовская, Андрей Желябов, Игнатий Гриневицкий да еще Александр Ульянов, сын близкого их, Керенских, человека, старший брат Владимира Ульянова, тоже, кажется, ставшего революционером, неизвестно, правда, террористом ли...

Постой-постой, ведь на днях доставили новый том Большой энциклопедии, не успел просмотреть, как делал всегда. Вот... Телеманн... Тимирязев... Тропинин... Угодия... Ага, «Ульянов. 1) Александр Ильич, политический деятель. Род. 1866... гимназии в Симбирске...» и так далее, кажется, все правильно... Далее. 2) У., Григорий Карпович...». Явно не то. Дальше. 3) У., Николай Ильич, брат казненного Ал. Ил...» Почему — Николай? «...политический деятель, известен под псевдонимом Н. Л е н и н, род. около 1870, вместе со старшим братом принял участие в последних вспышках народо-вольческого движения...» Сомнительно. «...был сослан в Восточную Сибирь». Да, папенька что-то подобное говорил. «По возвращении примкнул к марксизму, вскоре стал одним из видных деятелей фракции большевиков. Когда начались преследования социал-демократов — скрылся». И все. Что-то поднапутано здесь, произвольно расшифровали псевдоним. Но основное совпадает. Он!

...Симбирск, 10 августа 1887 года. Ощущение опасности. Запомни этот день, сынок... шел набычившись. Поднял голову. Посмотрел в упор. Узкие, злые глаза. Такой не станет палить из нагана...

«Н. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Stuttgart, 1902». Тираж не указан. А если — пятьдесят, сто тысяч? А листовки — сегодня рвут, завтра прочитают...

Господи, Всеблагий и Всемилостивейший Господи, спаси и оборони Россию...

Пятого по телефону в Народный дом Керенского известили: отец Георгий просил передать — собрание переносят на чет-

верг, шестого, в трактир «Старый Ташкент», за Нарвской заставой, просим пожаловать.

Вошел в зал — столики вынесены, рядами стулья, самодельная, наспех, кафедра, близ нее — Гапон. Изменился почти до неузнаваемости. Исхудал, лицо из бледного сделалось иссиня-белым, в подглазьях черно. Переменил рясу на гражданское — то ли ради конспирации, а возможно, полы мешали в бесконечных разъездах по городу, в метаниях по комнатам, как метался сейчас он, Керенский. Сам подошел, протянул руку — в гражданском платье вел себя соответственно. Деловито извещал, что петиция готова, однако окончательного решения о манифестации не приняли, покуда не получат окончательных и полных гарантий от правительства относительно полной безопасности... Почему он так доверяется незнакомому, чужому здесь человеку, ему, Керенскому? Провокация? Хочет втянуть в сомнительное предприятие? А, черт возьми, да потому, что — а д о к а т, вдобавок — из Народного дома. Вполне может понадобиться. И, человек умный, Гапон, безусловно, все, что нужно, о нем узнал.

Комната постепенно заполнялась, явились десятка три-четыре. Один — в темных очках, с палочкой, бородатый, уселся в сторонке, как бы и присутствует, и нет.

Выслушивали представителей отделов. Настроение всюду одно: к Зимнему — и д т и! Гапон, в истерической взвинченности скорый на решения, тотчас забыл сказанное Керенскому насчет гарантий, подхватил: да, да, идем, товарищи!

Хорошо поставленным голосом — низкий баритон — Георгий Аполлонович оглашал текст петиции: «Мы... пришли к Тебе, Государь, искать правды и защиты... Нет больше сил, Государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук... Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы...»

Так ли надо было писать? Не слишком ли смиренно, верноподданнически, жалостливо? А как иначе? Языком большевиков, как в их листовке: дескать, наше требование — свержение самодержавия? Тогда это будет призыв к бунту. Революция. Кровь. А Россия бунта не перенесет, не выдержит, расколется, развалится, она к революции не готова, нет партий, способных возглавить ее, не эсеры же, умеющие пока только п а л и т ь да звать к убийству, к тому самому бунту, который

губителен для отечества. Нет законодательной выборной власти — и не будет, бунт не создает власти, он ее опрокидывает. Нет, вероятно, Гапон прав. И знает, как те крестьяне, жалеючи которых народники п р о с в е щ а л и, обличали помещиков, урядников, мужички слушали, пока не доходила речь до обличений ц а р я, тогда вот пропагаторов лупили, вязали руки, волокли в участок, приговаривая: ты чашки-то бей, а самовар не трожь! Пока что лучше попробовать мирно: против силы государства им не совладать.

Какой-то полуинтеллигент, видимо из окружения Гапона, начал пояснять, подделываясь — или она такая и есть у него? — под простонародную речь. Государь выйдет на балкон, говорил он, чтобы принять наше всеподданнейшее прошение... Придется, может, его подождать малость, у государя делов невпроворот. Надобно вести себя смиренно, не шуметь, не беспокоить публику. Вон социалисты подымали красные флаги, лезли на рожон, потому их полиция прижимала. А нас не тронут, мы со священными хоругвями перед государем на колени станем, он там же и велит издать высочайший манифест... А ежели не велит, крикнули сзади. Тогда, не задумавшись отвечал оратор, отец Георгий укажет, что нам делать... Гапон кивнул... Так ведь государь, слышать, в Царском, выпалил кто-то. Ничего, приедет к своему народу, успокаивал агитатор, надо только смиренно, не безобразничать.

Тут поднялся в углу бородач в темных очках, попросил дозволения. Гапон сказал внятно: милости просим, Василий Андреевич. Застучала палочка, неловко взошел на кафедру, отовсюду заорали: шпик, фараон, ишь, черные окуляры напялил, чтобы рожу прикрыть, и борода, поди, наклеенная... Тот крепко дернул себя за волосы — раз, другой, третий. Засмеялись. Тогда снял круглые очки в жестяной оправе, ближние ахнули, увидев незрячее левое око. Да он слепошарый, братцы! Дак это ж наш, обуховский, Васька Шелгунов... Видимо, Гапон знал его хорошо — обратился по имени-отчеству, — только почему не объявил собранию? Кто это, спросил Керенский соседа. Да социалист он, этот самый — большевик.

Шелгунов привычно забубнил о том, что пролетариату мало бороться за сокращение рабочего дня, прибавку жалованья, отмены косвенных налогов, это мелкие требования, повседневные, а надо настаивать на Учредительном собрании, до-

бываться свободы слова и печати, неприкосновенности личности, освобождения политических заключенных.

Все это было правильно, однако вовсе неуместно здесь и сейчас, и тут с места крикнули: а того и просить не надо, царь-батюшка про наши нужды знать должен, а политику он и без того ведает. Слепой не понял насмешки, ввязался было в спор, дескать, не даст нам царь свободу, ее завоевать надо, а царя скинуть, да, верно говорю, скинуть!

Что поднялось! Орала, свистали, топали, некоторые вскочили, неужели станут бить — с в о е г о, да еще вдобавок увечного? Гапон быстро загородил слепого, поднял руку, разом смолкли. Да, лидер. Вождь.

Смеют ли солдаты и полиция не допустить нас к государю, спросил Гапон. Не смеют, гаркнули в ответ. Братья, нам лучше умереть, чем так жить, как живем сейчас! Умрем, батюшка! Все ли клянетесь? Все! А как с теми, кто сегодня поклялся, а завтра струсит? Проклятье им, позор!

Друзья, товарищи мои, говорил Гапон уже спокойней, отечески наставляя: идти долго, потеплей оденьтесь, еды возьмите, а водки в рот ни-ни, стыдно в такой день. И чтоб оружия никакого — даже карманного складного ножичка. А солдат не опасайтесь — христолюбивое воинство, свои же братья.

Расходились возбужденные, радостные, на ходу шутили — без злобы — над Шелгуновым, тот отмалчивался.

Пойдете с нами, спросил Гапон. Да, ответил Керенский. А насчет Учредительного собрания и демократических свобод мы в петицию вставим, не лишнее, — хотя многие все равно не поймут.

#### 4

В тот же день, 6 января, после всеподданнейшего доклада министра внутренних дел князя Петра Даниловича Святополк-Мирского, слывшего либералом, решено было, что государь останется в Царском Селе, полиция известит о том население и предотвратит с к о п л е н и е перед Зимним.

7-го в городе бастовали свыше ста тысяч человек. Вся промышленная жизнь столицы замерла, Санкт-Петербург остался без освещения, без газет. Николай II объявил военное поло-

жение, передав полноту власти своему дяде, великому князю Владимиру Александровичу, главнокомандующему войск гвардии и столичного военного округа. На фабриках и заводах продолжались митинги и собрания.

8 января «Правительственный вестник» и «Вестник градоначальства» напечатали объявление градоначальника Ивана Александровича Фуллона о недопустимости сборищ и шествий, однако про гапоновскую манифестацию тут прямо не говорилось, а применение силы о б е щ а н о было только в случае массового беспорядка. Депутации рабочих Фуллон вполне официально заявил: в мирное шествие стрелять не позволит. Заявил п о с л е того, как на совещании у министра П. Д. Святополк-Мирского утвердили план боевых действий против манифестантов.

Большевики распространили более чем странную прокламацию, ее принесли Керенскому, он ужаснулся: эти безумцы призывали не просить царя, а призывали сбросить его с престола и выгнать вместе с ним всю самодержавную шайку. «Свобода покупается кровью», — провозглашали они. Правда, в другой листовке они же уговаривали солдат не стрелять в народ и переходить на его сторону — интересно бы знать, к а к они себе это представляли? На митингах же большевиков гнали прочь, костыляли по шеям, вышвыривали за ворота.

Примчался Володя Барановский, сбросил в передней шинель, вошел в комнату, важно повел плечами, чтобы заметили — погоны без звездочек, произведен в капитаны, потребовал вина, пока все разливали по бокалам, из горлышка, лихо, по-гвардейски выдул бутылку пиногри, только после этого, не захмелев, без предисловий рассказал: у него точные сведения: в городе сосредоточено сорок тысяч солдат и полицейских, вводятся двадцать батальонов пехоты, чуть больше — эскадронов кавалерии, восемь казачьих сотен, главноначальствующим по подавлению беспорядков удостоен быть их командир гвардейского корпуса генерал Васильчиков, с-с-сука, извините. И ты будешь, спросил Александр, нет, пока Господь миловал, артиллерию приказано держать в резерве... Попросил еще вина и опять не захмелев. А стрелять — будут? Почти

наверняка, больницы оповестили о возможном поступлении раненых, разворачивают у застав три полевых лазарета... А у них в дивизионе — происшествие, солдатики в р е з а л и вольноперу, за большевиков агитировал...

Олю — ходила на пятом, по их расчету, месяце — отвез к маме, защита, конечно, слабая, но все ж не одна останется. Она плакала, уговаривала его никуда завтра не ходить, он твердо возразил: нет, буду там... Хотел добавить: с народом, но устыдился выпренности. Вернулся домой, тоже взял вина, уселся у телефона ждать известий, а от кого — не знал. Душила тоска, мучил страх — что будет? Телефон молчал.

Аппарат зазвонил, когда собирался идти за второй бутылкой, не сразу узнал голос графини Паниной — редко с ней говорил по телефону. Почему вдруг она, на что он ей? Я вас слушаю, Софья Владимировна. Не трать лишних слов, она сказала: в правительство отправляется из моей квартиры делегация общественных деятелей. И перечислила фамилии, он торопливо, сокращенно записывал, не зная еще, к чему клонится... Так вот, один заболел, не желаете ли вы пополнить взамен, я предложила вас, господа уже собираются, могу выслать авто навстречу... Он молчал растерянно: известнейшие имена, куда ему среди них... Графиня, видимо, по-своему расценила паузу, попрощалась — даже без имени-отчества, — дала отбой. Что наделал, что наделал, почему тянул... И тут же мелкая мыслишка: а ведь мог бы п р о г р е м е т ь среди таких имен...

Он бессмысленно вчитывался в листок, начал переписывать, подставляя знакомые имена — старшие коллеги, юристы Арсеньев Константин Константинович, Гессен Иосиф Владимирович, Кедрин (как зовут, не вспомнил), историки Семевский Василий Иванович, Мякотин Венедикт... Александрович, Кареев Николай Иванович, писатели, публицисты Анненский Николай Федорович, Пешехонов Алексей Васильевич, Иванчин-Писарев Александр Иванович... Какой-то неведомый Шнитников... А глава депутации — Максим Горький...

Ах, дурак он, дурак, надо же так опростоволоситься... И поди доказывай, что не струсил... Разве попозже протелефонировать наиболее близкому Николаю Ивановичу Карееву, попросить добавить свою подпись хотя бы... Да что она значит, подпись...



На часах пробило два пополуночи — ложиться или пересидеть до рассвета? Все равно — не уснуть. Еще выпить вина? Тогда можно и не очнуться вовремя. Но тут в трубке возник голос Саши Овсянникова. Слушай новости, сказал Саша, ты про депутацию слышал? Так вот, они сперва явились к генералу Рыдзевскому, ну, товарищу министра внутренних дел, просили принять меры, чтобы предотвратить кровопролитие. Тот им — бац! — правительство знает, что делает, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения. Поехали к Сергею Юльевичу Витте, он ведь и есть правительство. Ответ: решение о применении силы не входит в его, председателя Комитета министров, компетенцию (а ведь и верно: Комитет — совещательно-распорядительный орган при царе, всего лишь), да, а, дескать, мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа. На что Горький сказал: вот мы и предлагаем с ф е р а м понять — если завтра прольется кровь, они дорого за это заплатят. Витте помолчал, посоветовал обратиться к Святополк-Мирскому (а они только что оттуда, из министерства, от Рыдзевского), тот их не принял, либерал, называется. Зато, между прочим, петицию из рук Гапона взял, поп для него поважнее Максима Горького! А ты что это над Гапоном иронизируешь, спросил Керенский, не веришь? Не верю, провокатор он, в нашей партии все так говорят. В какой вашей? Как — в какой? Социалистов-революционеров. С ума вы посходили, господа эсеры, у вас все на подозрении, вам бы только бомбой шарахнуть... Ладно, ладно, перебил Овсянников, где завтра встречаемся? Договорились: в полдень, на Литейном, возле лавки «Букинист», чаще именуемой к л о ч к о в с к о й — основатель и владелец В. И. Клочков привечал двоих Александров, постоянных своих покупателей.

## 5

В пять утра, так и не уснув, он оделся потеплее и вышел. За ночь выпал снег, лежал нетронутый, пухлый, теплый, следы отпечатывались как бы выпукло. Чтобы не ждать здесь случайного извозчика — хотя куда бы торопиться? — дошагал, рукою подать, до Царскосельского вокзала, там стоянка и в а н е к (в Питере их звали — в е й к и, искаженно по-фински) и лихачей. Выбрал что-то среднее. Велел — без спешки — на Дворцовую.

На площадь не позволили солдаты-караульные, отпустил извозчика, свободно прошел под аркою Главного штаба, за-индевелой изнутри, свод ее казался красным, высверкивал инеем.

Безлюден был спозаранку здесь, в Адмиралтейской части, министерской, чиновной, аристократической, торговой части великий град. Лишь дворники в белых, не замаранных свежим снегом фартуках с тускло блестящими бляхами шкрябали деревянными лапатами, лишь трусили по Невскому в сторону Николаевского вокзала извозчики, редкие, сонно-унылые; брели, пошатываясь, из тайных ночных заведений гуляки. Пес высунул морду из подворотни дома напротив; у парадного подъезда на углу Дворцовой и Невского — Керенский перешел на проспект — стыл городской, толсто обложенный ваточной шинелью, накрытый башлыком, очнулся, попросил, извинившись, папиросочку, в благодарность сказал почти на ухо: ежели на Дворцовую, так не ходили бы, ваше степенство...

Площадь предстала снежна, бела, пространственна. Во дворце светились редкие, затхлые какие-то огни. Ступил на снежок, двинулся зачем-то к колонне, солдат юношески-повелительно остановил: не велено допускать, господин, ступайте... У него было, как и у городского, что просил закурить, простое крестьянское лицо, но в нем виделось нечто тревожное, настороженное, не злобное еще, но старательно подготавливаемое к злобе. И Керенский опять понял всем существом: б у д у т, о н и б у д у т с т р е л я т ь.

Полыхали костры, красновато подсвечивая Александровскую колонну, вверху она сверкающе белела от инея, и под белесым предрассветным небом, черный, грозно распростерся крылатый ангел с ликом Александра I, победителя Наполеона Бонапарта. Прочно стояли в козлах ружья с примкнутыми штыками. В свежем воздухе тяжелой волною плыл дух дымка, древесного и махорочного, шинелей, казарменных шей, ременной кожи, ружейной смазки. Солдаты грелись у огня, и был диковинным этот неуместный полевой бивак — и тем, что раскинулся он под стенами государевой парадной резиденции, и давящей тяжелой тишиной. В Ташкенте Керенскому доводилось бывать на полевых учениях у знакомых офицеров, в казармах, он видывал, как там поют, гогочут, балагурят. А здесь, где собралась не одна сотня грубых, сильных, здоровенных мужиков, в морозном воздухе нависла, мрачно и грозно,

но, пугающая, а не по-лесному, полевому пугливая тишина. Проходите, проходите, господин, поторапливал караульный, вскинув ружье на изготовку, и Керенский, такой неуместный, нелепый здесь, столь же нелепо спросил, зная, что не получит ответа, и будучи уверен в нем: неужели стрелять будете? Да ступайте, ступайте вы с Богом, не грозно, а моляще попросил солдат, и он поплелся прочь неведомо куда, оглядываясь на кровавый отблеск костров, на свои выпуклые следы там, где не истоптали еще... Как бы сомневаясь, опасно возникал рассвет, он просачивался робко сквозь грязную пепельную мглу питерского плоского неба.

Он брел неведомо куда по вяло оживающим улицам, переулкам, проходным дворам, брел бессмысленный, бессильный, и, сколько себя помнил, свято верующий, он молча взывал: Господи, Всеблагий и Всемогущий, Всемилостивый Спаситель наш, ведь не Твоей волей свершится здесь злодеяние неслыханное и несправедное, яви же истинную Свою волю, останови карающую десницу, выбей меч у грешников, Всевышний, если Ты в самом деле вездесущ, всеблаг и всемогущ, как можешь Ты не видеть и не содрогнуться, Великий Боже! Спаси же, Господи, люди Твоя, спаси, Ты ведь тоже Сын Человеческий...

В полдень встретились на Литейном, тревожно притихшем. Овсянников, этакий былинный богатырь, весь в румянце, изысканно-простецкий нагольный полушубок в талию, барашковая полупапах набекрень, галифе, сапоги, некстати улыбчивый, уволок в подворотню, огляделся, извлек из-за пазухи плоский, серый с отливом револьвер. С ума спятил, тихо вскрикнул Керенский, ведь Гапон предупреждал, даже ни складного ножичка. А плевать я хотел на твоего попа, кощунственно высказался друг, это — для самозащиты, понятно? Но ведь сочтут провокацией, Саша, если обнаружат... еле уговорил, постучались в книжную лавку, хозяин Клочков жил тут же, богомольный старец, давний знакомый, не выдаст, молча взял и г р у ш к у, перекрестил обоих...

На Невском сразу повернули к Дворцовой. По проспекту — одиночкой, кучками — двигался рабочий люд, принаряженный, с иконами многие, с царевыми портретами, с хоругвями кое-кто. Кучки сбивались, сливались, ширились, густели, по-

степенно превращались в толпу. Двое Александров затесались в нее. Люди шли торжественно, важно, как следовает, истово они шли, недаром Гапон загодя назвал манифестацию крестным ходом. Однако, вслушиваясь в обрывки разговоров, Керенский и Овсянников начали понимать: уже свершилось... Не там, куда они идут, не у Зимнего, а в других местах (собирались тремя колоннами на окраинах, чтобы слиться здесь, на подходе к площади). То ли ранен, то ли убит отец Гапон...

(Странная aberrация памяти: в мемуарах Керенский пишет о том, что, когда они с Овсянниковым подходили к Дворцовой, они видели на Невском Гапона, шедшего с иконой во главе процессии. О том же говорят в воспоминаниях многие очевидцы, участники событий. Трудно доискаться, кто выдвинул первым эту версию, но в нее поверили, она пошла гулять по различным якобы документальным текстам, ее подхватили писатели, кинематографисты, даже некоторые историки. Между тем в соответствии с тщательно разработанным руководителями манифестации планом Георгий Аполлонович двигался с колонной Путиловского завода от своей штаб-квартиры, трактира «Старый Ташкент» в районе Нарвской заставы; у нарвских ворот попал под обстрел, был перекинут рабочими через забор, бежал дворами, укрылся в доме Максима Горького, там подстриг волосы, переделался и скрылся, вскоре обнаружившись за границей.)

Рассказывали, что стрельба была у Шлиссельбургской пожарной части, у Троицкого моста... А здесь... Кто верил слухам, кто нет, одни все так же торжественно двигались к цели, кто шустро отделялся, шнырял в подворотни, в парадные. Но большинство продолжали свой путь. Говорили, будто государь примет депутацию, выставит угощение и за праздничным столом все решит, как надо. Полиция стояла у тротуаров, ф а р а о н ы то и дело вытягивались во фронт, отдавали честь — царским портретам, конечно, а получалось — будто рабочим. Женщины несли на руках малых детишек, те, что постарше, цеплялись за мамкины юбки. Опираясь на костылики, кто степенно, кто с натугою, передвигались старики.

Никем не остановленные, ни о чем не предупрежденные вышли к Александровскому саду. Там собралась возле решеток ограды тьма любопытствующих, а в самом саду играла как ни в чем не бывало военная музыка, на ледяном кругу резвились, сверкая коньками, нарядные подростки, за ребятней помельче

присматривали тонные гувернантки и простоватые няньки. Хмельной шарманщик тащился вдоль ограды там, изнутри, накручивал жалостное: разлука ты, разлука... Летел к воротам, скуля, холеный пес. Царский штандарт реял над дворцом — официальное оповещение, что государь там, в Зимнем...

У Александровской колонны шеренга Московского полка развернулась фронтом к саду, ружья к ноге, вовсе не страшная полоска из серых шинелей. Высоко парил ангел, осеняя народ крестом, недвижно скакали кони над кровлей Главного штаба. Светило солнышко. Орала сдуру вороны.

Опустились на колени — Керенский и Овсянников тоже, чтобы не выделяться из всех,— выставили вперед святые образа, царские парсуны, уперли хоругви древками в снег. Мальчонка размахивал зажженным фонарем — непременной принадлежностью крестного хода. Обратившись лицами ко дворцу — темно-красному, хмурому,— запели неожиданно стройно:

Боже, царя храни!  
Сильный, державный,  
царствуй на славу нам,  
царствуй на страх врагам,  
царь православный.  
Боже, царя храни!  
Боже, царя...  
Бо-о-же...

Что-то неуловимо переменилось вокруг — что?

Возник радостный, чистый звук военной трубы, похожей на оркестровую. Он, такой ясный, солнечный, предвещал отчего-то беду. И смолк. И пропел снова. Все смотрели на дворец. Вился там государев штандарт. Ждали: вот появится государь! Крестились, вздымали хоругви, прижимали к груди его портреты.

Выступил вперед солдатской цепи не то полковник, не то генерал, зычно объявил: р-р-раззой-дись, не то прикажу стрелять.

Толпа стояла на коленях. Толпа молчала. Толпа запела:

Спаси, Господи, люди Твоя  
и благослови достояние Твое,  
победы православным христианам  
на супротивныя даруя,  
и Твое сохраняя крестом Твоим жительство...  
Спаси Гос...по...

Со стороны Главного штаба вылетел отряд кавалерии. Вдавливались в коленопреклоненную толпу, расталкивали, валили наземь, тех, кто сумел и успел вскочить, разили шашками, сперва плашмя, потом кое-кто и лезвиями, бился вопль — и отчаянный и грозный. Горячий запах лошади, всегда такой приятный, вонюче обволок бегущего вместе со всеми Керенского, возникло раздутое дыханием конское шаровидное брюхо, блеснули подковами копыта в тарелку величиной — пронесло. Куда-то запропастился Овсянников, а тут ударил залп с другой стороны, от Дворцового моста, конные отскакали прочь, снова залп, теперь слаженный, стройный, как на ученье, Керенский не то мчался сам, не то несла, приподнимала, роняла наземь лишенная рас-судка масса, свалился тот мальчонка, обозначавший крест-ный ход, он лежал на спине, а фонарик удержался стоймя в снегу, и не погасла, не погасла свеча, старик отбросил клюку, взял отрока на руки и понес — почему-то, обезумев наверное,— навстречу ружейному огню. Царские п а р с у н ы хрустели под ногами, испоганенные священные хоругви лос-кутьями обвивали ноги, лик Христа, изгвазданный, кое-где проглядывал в мерзком месиве. Стрелять больше не стре-ляли, незачем тратить пули, только окончательно потеряв разум можно было попробовать остановиться. Овсянников, Овсянников! Разве услышишь... Опять налетела конница, пошли в ход плетки, Са-а-ша, тщетно зывал он, а толпа металась, летела, падала, вздымалась, ползла на коленках, женщина шагала по телам, прижимая оголенного младенца, снова стреляли, люди вжимались в стены, отскакивали щепки, увеча, и нежно, ясно, звонко пропела труба — от-бой!

Убегавших догоняли верховые, размахивая нагайками, Керенский все вжимался в стену возле парадного и не мог отлепиться, он слышал, как офицер скомандовал своим вер-ховым закрывать ворота и не пускать туда п у б л и к у, гру-бая рука ухватила Александра Федоровича за ворот, потя-нула, сопротивляющегося, куда-то, сделалось тише и тесней и просторней, вверх — лестница, он уцепился за перила, грубые руки не дали скатиться, он вгляделся, трудно сооб-разил: городской, тот самый, утрешний, что просил закурить, покорнейше прошу извинить, ваше степенство, неладно по-ступил я с вами. А как иначе, вы себя не понимали, не то что... Позвольте, черным ходом на двор проведу, а там уж — Бог в помощь вам...

У Барановских, куда ввалился на дрожащих ногах, весь в ссадинах, расхристанный, без шапки, с полуоторванным рукавом, ничего не мог объяснить, — отмывался, отмякал в ванне, пил водку, валерьянку, вино, разом уснул в кресле под Олин плач, после, за столом, придя в разумение, рассказывал, сбиваясь, еще плохо соображая, спохватился, телефонировал Саше, тот откликнулся чересчур бодро — не то хлебнул лишку, не то еще не остыл, не то что случилось с ним... Тебя не ранило, спросил Овсянников. Нет, а тебя? Да так, задело малость, ну, если правду — руку прострелили, ерунда, левую в мякоть и навьлет, кость не задело. А Гапон твой улепетнул, сук-кин с-сын... А большевики. Их в Питере сейчас — знаешь сколько? Около четырех сотен, да и те в основном члены районных и городского комитета, постановили самим на манифестацию не ходить, послали с о ч у в с т в у ю щ и х парнишек, разбила на тройки — знаменосец, агитатор, охранник. Флаги за пазухой, вынуть приказали п о о б с т а н о в к е, один дурак вытаскивал свое боевое знамя, его пролетарий палкой по башке... Теперь станут орать во всю Ивановскую: и мы-де, пахали... А на Васином баррикады ладят, вот там большевички уж помашут флажками. Но дело, брат, серьезное, теперь не скоро утихнет... Выпью еще рюмашечку, пойду револьвер забирать свой, погляжу-послушаю, что где творится. Айда со мной? Не можешь? Ладно, отдыхай, еще успеется.

## 6

Потрясение оказалось сильным, нервы у Александра Федоровича смолоду были ни к черту. Два или три дня не мог прийти в себя, валялся в кабинете на диване, куда страшилась войти Оля: не протолкнешься через табачный дым. Прикладывался к вину, что вообще делал редко; не хмелел. Пролистывал газеты. Сообщалось официально: убито и ранено около тысячи человек; корреспонденты тут же опровергали — нет, четыре тысячи шестьсот. И, вспоминая все опять и опять, он, воспитанный в духе высокой религиозности, веры в царя, любви к нему, никогда не виденному, мучительно крутил проклятый вопрос: почему государь сделал это, ведь без его высочайшего повеления никто бы не посмел... Почему? Зачем? Ради чего?

Кто приказал открыть огонь по мирным скоплениям народа (общая численность — 140 тысяч человек, заведомо небооруженных и мирно, верноподданнически настроенных)?

Решение было принято вечером в субботу 8 января совещанием под председательством либерала князя Петра Даниловича Святополк-Мирского, генерал-адъютанта, министра внутренних дел. Присутствовали: градоначальник генерал от кавалерии Иван Александрович Феллон, генерал от кавалерии и генерал-адъютант, член Государственного совета и сенатор, родной дядя царя великий князь Владимир Александрович, министр финансов граф Владимир Николаевич Кокотцев, министр юстиции Николай Валерьянович Муравьев, несколько полицейских чинов. Присутствовал, не являясь участником совещания, начальник Департамента полиции Алексей Александрович Лопухин.

Приняли половинчатое решение: поначалу шествию рабочих не препятствовать, но толпу не допускать далее известных пределов, где манифестантов остановить и рассеять, в случае же неповиновения применить оружие, предоставив это на усмотрение Преображенского лейб-гвардии кавалергардского полка (кавалерия) и Семеновского лейб-гвардии полка (пехота). Таким образом, фактически решение об открытии огня отдавалось на совесть командиров полков. Но ведь они были только исполнителями.

Полиции предлагалось действовать «по обстановке», там распоряжались сравнительно малые чины, не слишком привычные рассуждать и действовать взвешенно, чем, видимо, и можно объяснить досрочную пальбу по рабочим на окраинах, далеких от Дворцовой.

Вечером П. Д. Святополк-Мирский и А. А. Лопухин в Царском Селе доложили план государю. Николай с ним согласился без колебаний, поручив великому князю Владимиру Александровичу возглавить операцию с наделением его чрезвычайными полномочиями.

Общепринято: ответственность за последствия любого решения (за исключением злонамеренного искажения его сути) несет не тот, кто его исполняет, а утвердивший его окончательно.

В данном случае — император Николай II, по общему мнению тех, кто его близко знал (от высших сановников до камердинеров), — человек незлой, уравновешенный, мягкий в обращении, деликатный в поведении, прекрасный семьянин,



вдумчивый правитель, не склонный к скоропалительным действиям.

Тогда почему же он приказал, по сути, стрелять? Почему отсиделся в Царском Селе, не вышел к народу или хотя бы не выслал на балкон кого-либо из приближенных, чтобы принять петицию, текст которой Гапон загодя вручил Святополк-Мирскому и с нею, вероятно, государь был ознакомлен?

Попробуем разобраться, не претендуя на безапелляционность и полноту в изложении причин и выводов.

Человек глубоко религиозный, Николай перенял от отца, Александра III, незыблемую веру в судьбоносность своей власти. Его призвание на престол, полагал он, исходило от воли Божией. Если вообще «нет власти не от Бога» (Св. Апостол Павел. К римлянам. XIII, 1), тем более это относится к власти верховной. За свои действия, считал Николай, он отвечал только перед собственной совестью и Всевышним. Не желая изначально быть государем, он тяготился в юношеском возрасте обязанностями, возложенными на него как на наследника, однако не пытался уклониться от царствования, что было бы противно воле Господней и освященному Ею Закону о престолонаследии. Отсюда, естественно, вытекало твердое убеждение в том, что «противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (там же, XIII, 2). Долг помазанника Божия — всеми силами защищать от нечестивцев то, что установлено и заповедано Господом.

Николай родился 6 мая 1868 года, когда Церковь отмечает день праведника Иова Многострадального (около 2000 — 1500 гг. до Р. Х.). Николай Александрович считал, что над ним тяготеет рок, что он обречен на страдания, применял к себе слова Иова: «Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне» (Иов, III, 25). Не исключено, что, склонный к мистике, он усмотрел в грозном для него шестивии народа именно явление рока.

Народа своего он не знал, не общался с ним. Если не считать традиционного путешествия, обязательного для наследника престола, которое он совершил в октябре 1890-го — августе 1891 года на Восток и обратно сухопутным путем (официальные церемонии, экскурсии, зрелища), то, живя безвыездно в столице и ее окрестностях, побывал лишь в Москве (коронационные торжества), Могилеве (Ставка Верховного

главнокомандования), часто навещал Крым (дворец Ливадия), накоротке посетил много городов, где не видел ничего, кроме пышных приемов; ни на заводах, ни тем более в окопах и блиндажах не бывал. Принимал лишь «народные депутации» из тщательно подобранных и проинструктированных рабочих или крестьян. Даже выход на балкон, о чем его просили приближенные 9 января, оказался для него непреодолимо страшен и стены Зимнего ненадежны.

Несомненно, его сильно травмировала гибель деда, Александра II, смертельно раненного 1 марта 1887 года, когда Николай был тринадцатилетним подростком, вполне осознающим происходящее. Безусловно, влияло странное, на грани душевного заболевания, поведение отца — после страшной кончины своего родителя Александр III страдал определенным психическим сдвигом: коллекционировал фотографии, другие изображения лиц, покушавшихся в России на царя, саморучно клеивал в специальный альбом, подолгу их рассматривал; смертельно напуганный (нервозность усиливалась выпивками — малыми дозами, но продолжавшимися по несколько часов), он почти безвылазно жил в уединенной Гатчине и удостоился прозвища «гатчинский пленник». Конечно, сказались на нем и наследнике совершенные покушения на высших сановников. С начала царствования Николая II до январских событий убиты министры: Н. П. Боголепов (1901), Д. С. Сипягин (1902), В. К. Плеве (1904), многие крупные чиновники.

Пережить ужас нападения Николаю довелось и самому. Во время упомянутого путешествия на Восток в японском городе Отсу полицейский Сандзо Цуда нанес его высочеству сабельный удар по голове; от сильного ранения или гибели спас путешествовавший вместе с российским престолонаследником греческий королевич Георг: когда сабля уже коснулась головы Николая, он сбил злоумышленника с ног.

И совсем незадолго до Кровавого воскресенья, когда события уже явно принимали крутой оборот, 6 января 1905 года, в день Святого Богоявления, Крещения Иисуса Христа, когда совершается особый обряд, включающий в себя освящение воды, царь в окружении свиты сошел к специальной проруби в невском льду возле Зимнего дворца. Едва митрополит Антоний обмакнул крест в ледяную купель, с противоположных кронверков Петропавловской крепости, по обычаю, стали производить орудийные залпы холостыми зарядами. Хлобыстнул

первый холостой выстрел, второй... А на третьем вдруг посыпались стекла в окошках дворца, кусками повалилась штукатурка, шрапнелью продырявило стенку временного царского павильона на льду, прямо рядом с Николаем, все шарахнулись кто куда, никому и в голову не пришло прикрыть собою государя. Рану получил городской — по фамилии Романов, что еще больше напугало склонного, как уже было сказано, к мистике самодержца. Спешное расследование показало отсутствие всякого умысла, солдаты по небрежению зарядили пушку боевым снарядом. Но страху Николай Александрович понатерпелся, уж больно все сходилось: волнения в столице, грозные слухи, прямой в государев павильон выстрел и этот городской Романов, которому отчего-то пожалована была медаль «За храбрость».

Незнание народа, отсутствие общения с ним породили у Николая боязнь незнакомых людей, особенно их групп, скопищ. Даже на официальных приемах у себя в резиденции, куда допускались заведомо надежные люди, он терялся, краснел, говорил невпопад — явно нервничал. А что касается толпы, то в непредсказуемости, неуправляемости ее действий царь убедился на страшном примере, тяжким грехом легшим на его богобоязненную душу. После их с Александрой Федоровной коронации в Москве на 18 мая 1896 года назначили народное гулянье, местом избрали воинский плац Ходынского поля. Привлеченные обещанными царскими, значит, невиданными богатыми подарками сюда еще с вечера собрались, по разным сведениям, от пятисот тысяч до полутора миллионов человек (приходили и с далеких окраин, из подмосковных деревень). Поле — всего в одну квадратную версту — было изрезано учебными траншеями, окопами, их прикрыли досками — гнилыми (свежие, специально завезенные, как водится на Руси, украли). Никто не удосужился толком проверить... С рассветом истомленная, взбудораженная толпа ринулась за подарками. От государевых щедрот каждому полагались завернутая в платочек с царским вензелем жестяная кружка, тоже с памятным знаком, сайка, ломоть колбасы, печатный пряник, пяток орехов да десяток леденцов. Трухлявые доски над траншеями моментально рушились, люди ломали ноги, падали туда, вниз, узкие ямы заполнялись в несколько слоев доверху телами, по ним шли, по живым людям, шли по плечам и головам, прижатым друг к другу, толпа не могла остановиться, она уже несла сама себя, двигались мертвецы, зажатые так,

что не упасть, шустрые бежали по головам идущих... Растерянные раздатчики стали швырять кульки подарков прямо в толпу, это лишь усилило сумятицу. Вой, вопль, слитный, единый, слышали и у Смоленского вокзала, и у Бутырской слободы, и возле Ваганьковского кладбища. Власти сообщили, что погибло 1389 человек (по другим подсчетам 1282 и от 9 до 20 тысяч раненых). Печать сообщала: отдали душу Богу от четырех тысяч до четырех тысяч восьмисот, несколько десятков тысяч зашибленных и изувеченных, три тысячи — с тяжелыми ранениями. Это не помешало Николаю с молодой царицей в назначенный час прибыть на Ходынку и присутствовать при раздаче оставшихся еще даров, а вечером лихо отплясывать на балу у французского посла, чем возмутился даже к у з е н Вилли, германский император Вильгельм II. Грех, великий грех свершился на Ходынском поле, но злого умысла не было, и приказа убивать тоже, и народ шел не к нему, самодержцу, а за прианиками. Нынче — совсем иное...

На государя оказывала огромное влияние царица. Еще невестой, в ожидании свадьбы, двадцатидвухлетняя Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, принцесса Гессен-Дармштадтская, принявшая в православном крещении имя Александры Федоровны, еще не будучи ни женой, ни императрицей,— а он, по закону, уже принял правление немедленно после кончины отца, еще не похороненного,— наставительно вписывала в е г о дневник (дал для прочтения в знак любви и полной доверительности): «Не позволяй другим быть первым и обходить тебя. Ты — любимый сын Отца, и тебя должны спрашивать и тебе говорить обо всем. Выяви свою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты». Назидание нелепое, если учесть, что оно адресовано не гимназисту, а зрелому человеку, имеющему безо всяких к тому усилий неограниченные права во всем, но важен сам факт такого наставления. Когда в 1905 году «государь принимал решения, которые я советовал не принимать,— вспоминал граф С. Ю. Витте,— я несколько раз спрашивал его величество, кто это ему посоветовал. Государь мне иногда отвечал: «Человек, которому я безусловно верю... моя жена».

А советы Аликс, как неизменно называл ее супруг, были, скорее всего, опасны. С детства она отличалась властностью, упрямством, религиозным фанатизмом. Став русской государыней, она не смогла или не захотела понять, полюбить чуждый ей народ, не научилась как следует его языку, хотя свободно владела несколькими европейскими. Она не умела — или не

желала — сближаться с людьми, была отчуждена даже в большой (одних только великих князей и княжон — около сорока!) семье. Была истерична, проявляла склонность к мистицизму, поддавалась влиянию проходимцев и шарлатанов и внушаемое ими старалась — небезуспешно — внушать мужу. Когда (в 1907 году) при дворе появился хитрый, умный, циничный Григорий Распутин, к его я в л е н и ю государыня была уже подготовлена. Кто может теперь сказать, к а к и е советы Аликс давала мужу в канун 9 января?

Очень и очень важным представляется в этом рассуждении то, что приблизительно можно бы назвать ф а к т о р о м А л е к с е я. Истоиво веровавший, как уже сказано, в Божий Промысел, благодаря коему Николай, как он был убежден, самим фактом своего появления на свет был Свыше предназначен править Россией, помнящий последние слова отца хранить Россию в целостности и сохранности, в благоденствии, новый государь весьма заботился о рождении наследника, заранее продумывая все мелочи его воспитания, достойного Божьего предназначения. Но в ноябре 1895 года царица родила девочку, нареченную Ольгой, а затем это начало повторяться с какой-то механической регулярностью каждые два года: в 1897-м — Татьяна, в 1899-м — Мария, в 1901-м — Анастасия. Только после продолжительных молитв у гроба святого Серафима Саровского и курса обставленных всяческими мистическими обрядами купаний в пруду Александра Федоровна «с опозданием на год» благополучно разрешилась от бремени. «Незабвенный, великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божия, в 1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> дня у Аликс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем», — записал царь в личном дневнике 30 июля 1904 года.

8 сентября он писал уже с тревогой: «Очень обеспокоен кровотечением у маленького Алексея». Весьма быстро выяснилось, что у малыша редкая и страшная болезнь — гемофилия, несвертывание крови, поражающая мужчин, но передаваемая наследственно только через женщин. Любой незначительный ушиб мог вызвать внутреннее кровоизлияние и неминуемую смерть. Отныне августейшие родители жили в постоянном страхе за жизнь единственного сына-наследника (помимо прочего, врачи твердо сказали, что царица больше не сможет забеременеть). Над ребенком, что называется, не дышали, с него буквально круглыми сутками не сводили многих глаз... Как тут было не утраститься шествия — нашествия? — многотысячной непредсказуемой толпы!

Тем паче, пример и неуправляемости, и одновременно единения толпы имелся прямо-таки в эти дни. Казалось бы, ничтожный, рядовой факт: на огромном Путиловском заводе уволили — поделом или зря, не важно — четверых рабочих. На таких промышленных махинах каждый день кого-нибудь да увольняют. А тут в одночасье забастовали тринадцать тысяч их сотоварищей, и дирекция даже не пикнула, и в тот же день в стачку начали включаться одно предприятие за другим, а к 6-му не работали то ли 100, то ли 130 тысяч. Выйдут ко дворцу такой массой, достаточно одному запустить булыжником в окно — и — начнется!

В преддверии близких событий большую роль сыграл великий князь Владимир Александрович, родной брат Александра III и, следовательно, дядя Николая. На 21 год старше племянника, он знал Ники (так именовали теперешнего государя в семье), естественно, со дня его рождения, оставался «дядей Володей», уважаемым и любимым. Умный, образованный, воспитанный, — в числе прочего президент Академии художеств, — великий князь входил в число очень немногих людей, кому царь доверял, с кем советовался, был, может быть, единственным, кого не только выслушивают, но и слушают, как слушаются уважаемых старших по возрасту и опыту. И, уехав, а по сути, удрав из Петербурга, трусливо подняв на Зимнем знак своего присутствия здесь, царский штандарт, Николай оставил Владимира Александровича, «дядю Володю», фактически своим наместником. И тот подписал решение, которое государь утвердил устно (и за которое, кстати, неумолимые эсеры приговорили Владимира к смерти, но покушения не удались; он умер своей смертью в 1909 году).

Но, с учетом сказанного, что, возможно, явилось последней каплей для царя, так это листовка, выпущенная ничтожным, не имеющим никакого влияния на рабочих Петербургским комитетом большевиков и наверняка доложенная государю через Департамент полиции вместе с покорнейшей петицией Гапона (есть не очень уверенные утверждения, будто текст последней писал Максим Горький). И если идущие за Гапоном просили, даже умоляли самодержца, то эта кучка, почти никому не известная и по мнению полиции не представлявшая решительно никакой опасности, обращаясь «Ко всем петербургским рабочим», наставляла: «Не просить царя, и даже не требовать от него, а сбросить его с престола и

выгнать вместе с ним всю самодержавную шайку... Долой самодержавие! Да здравствует вооруженное восстание народа! Да здравствует революция!»

Николай знал по жандармским, полицейским донесениям: большевики не опасны даже в столице, не говоря уже о провинции, тем более за пределами Европейской России; реальная опасность — эсеры. Он — знает. А они, рабочие, малограмотные люди, привыкшие верить печатной бумаге, плохо разбирающиеся в политике, едва ли понимающие разницу между социал-демократами и социалистами-революционерами... Правда, Гапон твердит одно, эти — другое, но кого слушать? И — спичка брошена в стог, хорошо, если погаснет или сено отсырело и не загорится. А если вспыхнет? Быть большой беде. Взрыв, а за ним — бунт. Ре-во-лю-ция!

(К слову, листовка эта, сочиненная на месте, не согласованная с руководством РСДРП(б), находившимся за границей, была явно левацкой, преждевременной, не основанной на реалиях обстановки: ни к какому вооруженному восстанию, революции пролетариат даже столицы не был готов и о том не помышлял.)

До большинства манифестантов бумажка попросту не дошла.

А государя, несомненно, напугала.

И последнее, следует учесть некоторые особенности личности царя. Вот один из «словесных портретов», достаточно краткий и емкий и, при сравнении со многими другими, близкий к истине.

«Внешняя скромность, даже застенчивость — и припадки самодурства и своеволия; наружная уравновешенность — и затаившийся в глазах невротический страх; чадолюбие в своей семье — и равнодушие к чужой жизни; любезность, обходительность, «шарм» в глаза — и заглазно крайняя резкость отзывов и суждений; подозрительность ко всему окружающему — и готовность довериться проходимцу или шарлатану; поклонение православию, щепетильность в исполнении церковных обрядов — и колдовское столоверчение, языческий фетишизм».

Все сказанное выше на этих страницах — один из возможных вариантов ответа на вопрос: почему он велел стрелять.

Уже за одно это преступление Николай и Александра, безусловно, подлежали самому суровому наказанию. Однако Вре-

менное правительство делало все возможное, чтобы вывезти царскую семью за пределы России, спасти от ответа перед демократическим судом, который только и мог определить степень вины и меру наказания бывшей царствующей четы. Эвакуация не удалась — подвели союзники. При большевиках Ленин как-то раз обмолвился о процессе над ними — но то ли забыл, то ли придумал нечто другое. В конечном счете Романовых зверски убили — без суда, следствия, хотя бы пресловутой тройки, на преступление ответив преступлением. Предчувствия Николая относительно судьбы Иова сбылись: ему выпало самое страшное, чем мог покарать его Господь: на своих руках он отнес больного четырнадцатилетнего, любимейшего из любимых детей своих наследника Алексея к месту дьявольской расправы.

Дети, служащие, родственники Николая не были повинны ни в чем. Он и Александра — безусловно преступны. Однако диву даешься, когда сейчас, после 1985 года, когда все, кому не лень, принялись пересматривать прошлое — оно и заслужило пересмотра, только разумного, — Православная Русская Церковь обсуждает вопрос о канонизации «невинно убиенных» Николая и Александры, а светские власти подшустрили и, обогнав святых отцов, водрузили царю-убийце памятник близ Москвы, в Можайске. Коротка память у нашего народа, велика его незлобивость, только всегда ли уместна? На Красной площади высятся памятники над могилами большевистских убийц, среди них выделяется гранитное изображение Сталина. Лежит в Мавзолее выставленный напоказ тот, кого славили как основателя великой партии, великого государства — страны-ГУЛАГа. Кого нам еще не хватает увековечить из главных преступников, истреблявших наш народ в миновавшем XX веке?



## Глава третья

На меня события Кровавого воскресенья произвели громадное впечатление... С того дня я навсегда порвал всякие мои отношения со всеми моими друзьями из бюрократических кругов.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Телефонировал Николай Дмитриевич Соколов, лично малознакомый, встречались случайно, — человек весьма известный, социал-демократ (или примыкавший к ним), один из основателей Петербургского союза адвокатов, сказал, что просит быть в собрании союза, зал Окружного суда, в воскресенье, шестнадцатого, к двум пополудни. Керенский удивился: его, непрaktикующего присяжного поверенного, звали туда редко, притом звонит сам Соколов. Осведомился, о чем пойдет речь и почему такая честь. Николай Дмитриевич отвечал кратко: извините, коллега, спешу, придете — узнаете.

Места в зале заседаний не пустовали; еле нашел свободный стул. Тридцатипятилетний Соколов, похожий на деревенского мужичка, если бы не одежда и манеры, невысокий, успевший располнеть, привыкший держаться на виду, был деловит и немногословен: предлагается образовать независимую комиссию адвокатов для расследования фактов и выработки доклада по поводу событий, имевших место в городе с шестого по одиннадцатое января. Есть ли вопросы и желательны ли прения? Нет? Прекрасно, спасибо, коллеги. Позвольте предложить список — в нем семеро будущих, с вашего согласия, членов и двое кандидатов.

Персонально каждого не обсуждали, но фамилия Керенского вызвала и вопрос, и заминку. Он собирался было встать и отказаться, поблагодарив за честь, но Соколов, весьма лестно отозвавшись о службе уважаемого Александра Федоровича в Народном доме (вот откуда, от графини Паниной опять, наверное, шла рекомендация, Софья Владимировна явно ему благоволила и п р о д в и г а л а), высказал главный аргумент: коллега Керенский лично принимал участие в шествии, его наблюдения, впечатления, свидетельства имеют особый вес. Керенский стоял, пока обсуждалась его персона, и все видели незажившие ссадины на лице, хотя он старательно припудрил. Выбрали единогласно.

Начал, как условились, с ознакомления, с опросов в квартирах, бараках, требовались показания точные, с адресами свидетелей и пострадавших, фамилиями, семейным положением, жалованьем, приверженностью к тем или иным политическим взглядам. Керенскому дело было знакомым, посещал нужные места как обычно. Жены погибших, плача, говорили одно и то же: за что их государь, они — с добром, а он — пулями да саблями. Женщины эти даже не гневались, не жаловались, не помышляли о мщении, они — недоумевали, как, впрочем, недоумевал и сам господин адвокат. Мужчины злобились, сжимали кулаки, высказывались открыто: царь нам показал, ну и мы ему покажем. Они, эти фабрично-заводские, мало теперь походили на прежних — молчаливых, предупредительных, порою даже заискивающих — каждый дорожил своим местом, — сейчас думали и говорили не о том и не так.

В один из первых дней Александр Федорович от собственного имени написал обращение к офицерам лейб-гвардейских Преображенского и Семеновского полков, напоминал им о славной их истории, корил за то, что ныне, когда Россия сражается на поле брани с Японией, они у всего мира на виду расстреляли беззащитных русских людей, пролили невинную кровь, опозорили честь Отечества и свою гвардейскую офицерскую честь. Размножив текст у знакомого ремингтониста, расписавшись на каждом экземпляре, он отдал их Владимиру Барановскому, его первая артиллерийская бригада, слава Богу, в боине не участвовала. Володя обещал эту, как он обозначил, прокламацию раздать кому надо, слово свое он всегда держал. Ответа ни от кого не последовало, но и доноса, видимо, тоже: Александра Федоровича не обеспокоили. Ты не обижайся, Саша, успокаивал шурин, господа гвардейские офицеры — люди гордые, а тут какой-то штаффика поучает да корит... Говорил шутливо, добрый, деликатный малый, но чувствовалось: и сам таким афронтом задет. Позволь спросить, отвечал Александр другу, а доведись тебе оказаться там, ты — стрелял бы? Володя сделался серьезным. Знаешь, я ведь присягал государю, притом лично присягал, перед его лицом. А присяга... Дело не только в чести, но и в законе, ты же юрист, ты понимаешь. Приказ есть приказ... Да, конечно, задумчиво протянул Александр.

Материалы собирали долго, тщательно, еще дольше сводили воедино написанное каждым, спорили по ночам, оттачивали каждое слово. Наконец-то завершили, переписали на отличном ремингтоне, вручили Николаю Дмитриевичу. Тот,

дока в политических делах, читал внимательно, хвалил, исхитрился доставить на самый верх, в с ф е р ы. Они остались глухи и немые, сферам было не до того.

Россия пошла в р а з д р о б ь. Бушевали забастовки и митинги, одни гасили — вспыхивали другие, от их искр впервые загорались деревни, где не обходилось без крови, без грабежа, никак не могла успокоиться ждущая любого повода для волнений Польша, в Баку резали друг друга армяне и татары (так называли азербайджанцев), эсеровский боевик, исключенный из студентов, двадцатисемилетний Иван Платонович Каляев по заданию боевой организации бомбой разорвал в клочья московского генерал-губернатора, дядю царя, великого князя Сергея Александровича и был повешен. 14 — 15 мая случилась великая трагедия и великий позор России — в Цусимском проливе японцы вдребезги разнесли нашу эскадру, потопив практически все корабли, а немногим оставшимся нанесли тяжелые повреждения; вместе с боевым судном, не оказавшим сопротивления, сдался в плен командующий эскадрой вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский, бездарно организовавший бой; военный суд оправдал его как раненого в бою, хотя при любых обстоятельствах, находясь в сознании, офицер такого ранга, вдобавок генерал-адъютант свиты его величества, обязан был покончить самоубийством, смыв тем с себя бесчестье. Цусимское позорище означало полный разгром великой империи крохотной по сравнению с нею Японией, пошла речь о мирных переговорах, уже известно было, что русские потеряли 135, японцы — 400 тысяч человек. Крах самодержавия, писал, преувеличивая, Ленин. До краха было еще далеко, однако удар был ощутимый, самодержавие к а ч н у л о с ь, накренилось и уже не выпрямилось.

18 февраля в е р х и дали залп: в один день обнародовали высочайшие документы: манифест, призывающий общество объединиться вокруг трона, содействовать в восстановлении порядка; рескрипт новому (Святополк-Мирский поплатился отставкой за Кровавое воскресенье) министру внутренних дел А. Г. Булыгину разработать статус законсовещательной Думы; указ, дающий право обращаться с петициями. Затем последовал указ о веротерпимости и свободе (никогда при царизме не исполнявшийся).

Первый из упомянутых здесь манифест вдохнул жизнь (выражение Керенского) в крайне правое движение, которое вско-

ре оформилось в «Союз русского народа», о чем речь будет впереди.

Возникло много объединений по профессиональному признаку, они образовали «Союз союзов» под председательством имеющего репутацию «начинающего политического деятеля» ученого-историка Павла Николаевича Милюкова. В Иваново-Вознесенске первый в стране общегородской (на предприятиях они были и прежде) Совет рабочих депутатов взял в руки власть и удерживал ее в течение двух с половиной месяцев. В октябре, в ходе всеобщей политической забастовки, образовался подобный Совет и в Петербурге; правда, реальной властью он не обладал и был вскоре разгромлен.

Что касается Керенского, то эти события как бы обходили его стороной. Убедившись в бесцельности не только своей прокламации и к офицерам гвардии, но и доклада адвокатской комиссии, он, человек неуравновешенный, легко переходивший от эйфории к депрессии, не определившийся политически — в принципе социалист, но социалист вообще, как бы платонически, — он впал в уныние и замкнулся в себе. Кровавое воскресенье потрясло, поколебало — как и у многих интеллигентов — его веру в царя, но любовь к государю, внушенная, укоренившаяся с детства, прочно держалась в нем, он искал виноватых в царском окружении, как юрист он понимал, что в каждом преступлении есть главный виновник (если, конечно, злодеяние коллективное), и не мог, даже не хотел заставить себя отвести эту роль императору: помимо прочего, подобное означало бы и личный крах, отречение от веры, пускай не самой высшей, веры в Бога, но весьма и весьма высокой.

Один-одинешенек он сидел дома, не прикасался к вызывной рукоятке телефона, и тот молчал. Любовался сынишкой Олегом, родившимся в апреле, помогал Оле купать и пеленать его, много читал, ища, как водится у российских интеллигентов, ответа на «проклятые вопросы». И не находил.

Народный дом опустел, рабочие занимались своими делами, графиня тоже своими, либеральными. Керенский взял расчет, хотя никто с должности его не гнал.

## 2

А в столице тем временем давили на царя. Давили стачками, перераставшими в политические, парализовавшими страну. Давили большевики — из Лондона, резолюцией своего

III съезда о свержении самодержавия посредством вооруженного восстания, а в России — листовками и митингами о том же, они понемногу набирали силу, эти экстремисты. Давили эсеры — теперь не бомбами ахали, стреляли дробью по дичи среднего масштаба, однако немалым числом. Давила — самим фактом создания — Партия народной свободы (будущие конституционные демократы, кадеты). Пуше всех давил самый опытный из царских бюрократов, ненавистный царю граф Сергей Юльевич Витте. Давил идиотически обнародованным ко всеобщему сведению приказом «патронов не жалеть» самим же Николаем возведенный в диктаторы полицейский генерал-майор Дмитрий Федорович Трепов. Давили родственники, прежде всего дядюшки, великие князья Николай Николаевич и Владимир Александрович. Царя загоняли в угол, давили, не позволяя поколыхаться, вынуждая действовать только в одном направлении. В обход государя поставили под пары царскую яхту «Штандартс», внушали ее владельцу, что, возможно, придется всей семьей укрываться у кузенов — германского императора Вильгельма II или английского короля Эдуарда VII.

Давили здорово, но он сопротивлялся долго. Настоящие переговоры начались в Петергофе 9 октября.

Накануне Витте вручил царю записку, совершив при этом странный для главы Комитета министров поступок: бросил как бы походя среди своих приближенных, что недурно было б, если бы знала этот документ вся Россия. Намек поняли легко, копии разлетелись словно «прелестные листки» Емельки Пугачева.

«Ход исторического процесса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует если не путем реформ, то путем революции. Но в последнем случае... русский бунт, бессмысленный и беспощадный, все сметет, все повергнет в прах... Идея гражданской свободы ничего угрожающего в себе не заключает».

Это была пропаганда, явно рассчитанная на возбуждение общественного мнения. Что касается решительного обращения к царю — граф проявил завидный лаконизм; не пропаганда, а ультиматум: или «1) облечь неограниченной диктаторской властью доверенное лицо...», или «2) перейти на почву уступок общественному мнению и... вступить на путь конституционный».

Наконец Николай сдался, уступил, капитулировал. Согласился... на первый вариант. Усталый Витте махнул рукой: ладно, будь посему, однако кого в диктаторы-то, не Трепова же,

тот диктаторствует с 11 января, девять месяцев, а результат? Подумали, посоветовались, остановились на великом князе Николае Николаевиче младшем, генерал-инспекторе кавалерии, который вмиг должен был стать то ли соправителем, то ли некоронованным властителем России.

Тот оказался не дурак. В разговоре с весьма сильной фигурой, министром двора и уделов Владимиром Борисовичем Фредериксом, вынул из кармана заграничный плоский револьвер и сказал: вот, я сейчас пойду к государю и буду умолять его подписать манифест (конституционный, «по второму варианту». — *В. Е.*), или он подпишет, или я у него же пушу себе пулю в лоб... А что, вполне мог. Умом он был невелик, но в политике соображал, отличался решительностью и смелостью, слов на ветер не бросал.

Царю доложили.

*«17 октября. Понедельник... Подписал манифест в 5 час. После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, умири Россию»*, — из личного дневника Николая II.

Из состояния тошной прострации, безделья, умственной жвачки вывел единым махом все тот же Саша Овсянников: явился около полуночи без предупреждения, картинный красавец, душа и пальто нараспашку, смачно расцеловался, шлепнул на стол шустовский коньяк, — знал, что в этом доме спиртного не держали, покупали только по праздникам или к приходу редких званых гостей, — достал из внутреннего кармана аккуратно сложенный оттиск полосы завтрашним числом помеченного «Правительственного вестника», развернул торжественно.

#### В ы с о ч а й ш и й М а н и ф е с т

Божиею милостью, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волнения в столицах и местностях Империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целостности и единству Державы Нашей.

Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты. Повелев подлежащим властям при-

нять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих предназначаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность нынешнего высшего Правительства.

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли.

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному государственному порядку.

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного надзора за закономерностью действий поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить свой долг перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе, в 17-й день октября в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое, Царствования же Нашего одиннадцатое.

На подлинном Собственной Его Императорского Величества рукою подписано: Н и к о л а й».

Конституция, возвестил шалый Сашка Овсянников, простецки оббил о край стола сургуч с горлышка «Шустова», стараясь ступать тихо сапожищами, чтобы не разбудить Олю и Олега, взял с горки фужеры, плебейски наполнил их до краев, сгреб из вазочки конфеты. За Конституцию! Наша взяла!

Похоже, сказал в задумчивости другой Александр и вслух поразмышлял: это слово в тексте не упоминается, но сам манифест и впрямь в какой-то мере напоминает Конституцию, но только напоминает, и в какой-то мере. Забыв, как это в точности учили в университете, взял энциклопедию. Нет, все вроде подходит, он прочитал вслух: закон, устанавливающий представительную систему в монархических государствах... Да, устанавливает: Государственная дума из законосоветательной превращается в утверждающую законы, высший орган. И нет упоминания об абсолютности власти монарха. И расширяется круг избирателей — до того в них не входили городские рабочие, городская интеллигенция. И даны — правда, не указаны гарантии — демократические гражданские свобо-

ды... Он был человеком настроения, человеком, чьи убеждения легко менялись. Это видно даже из его не слишком откровенных мемуаров, где он то писал о безграничной преданности и любви к царю, то — после Кровавого воскресенья — о том, что режим исторически изжил себя, долготерпению России пришел конец, и вот теперь «я чувствовал себя чуть ли не виноватым в том, что считал его прежде непримиримым врагом свободы. Теплая волна благодарности затопила мою душу, и я вновь ощутил давно утраченное чувство детского благоговения перед царем»...

### 3

Уже на следующий день стало ясно, что ликование интеллигенции, среднебуржуазных слоев, учащейся молодежи, в общем людей либеральных, — мягко говоря, преждевременно: во время демократического шествия в Москве, на Немецкой улице, черносотенец, агент царской охраны, зверски — ударом железной трубой по голове — убил одного из организаторов движения колонны большевика Николая Эрнестовича Баумана. Похороны его вылились в трехсоттысячную демонстрацию.

Одновременно очень быстро стало понятно: объявленные манифестом свободы развязали зрелые в мелкобуржуазной и люмпенпролетарской среде антиинтеллигентские и антисемитские настроения. Не требовалось большого ума и политической прозорливости, чтобы настроения эти направить в нужное властям русло.

Счет шел на дни.

В то же время, когда убили Баумана, в далекой от столицы Одессе начался и продолжался четыре дня, до 21-го, страшный еврейский разгул «героев вонючего рынка», «хулиганов самого низкого пошиба», помыслы у них были «самые эгоистические; цели желудочные и карманные». Из 400 тысяч жителей в городе насчитывалось около трети евреев. По данным полиции, убиты тысяча, ранены впятеро больше, сожжено 1632 дома евреев, убытки от грабежа и пожаров составили более 3,5 миллиона рублей (городские доходы за год равнялись 6 миллионам). Заодно досталось подвернувшимся под руку татарам, студентам, гимназистам, служивой интеллигенции. Погромы прошли в ста городах, унеся жизни четырех тысяч человек, изувечив более 10 тысяч, не пощадив ни стариков, ни женщин (в том



числе с явными признаками беременности), ни детей, вплоть до грудных младенцев.

Обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода (государственный чиновник, управляющий делами Русской Православной Церкви) Константин Петрович Победоносцев, крайний реакционер и мракобес, докладывал царю о перспективах решения еврейского вопроса: «Одна треть евреев эмигрирует, одна треть переменит веру, и одна треть погибнет».

Свобода, дарованная Николаем II, породила 21 октября «Союз русского народа», созданный в столице врачом А. И. Дубровиным и высокопоставленным чиновником Министерства внутренних дел В. М. Пуришкевичем (одним из убийц Григория Распутина впоследствии). «Союз» объединял реакционеров из числа мелкой буржуазии, помещиков, интеллигентов, часть кулачества и рабочих, деклассированных элементов, он получал правительственные субсидии, ему покровительствовал сам Николай II. В числе деяний Союза — организация массовых антиеврейских и антиинтеллигентских погромов, убийство трех членов I Государственной думы в 1906 году и два покушения на графа С. Ю. Витте.

Царь и его окружение то ли искренне полагали, то ли считали нужным утверждать, что во всех б е с п о р я д к а х в России повинны евреи: русский человек, дескать, на такое не способен.

В конце 1905 года Николай II писал матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне: «Народ возмутился наглостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из них — жида, то вся злость обрушилась на тех — отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким *единодушием и сразу* это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией — старая знакомая басня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам, инженерам и всяким другим скверным людям».

(Поразительное сходство: умалчивая, правда, о евреях, великий интернационалист, человек умственной профессии, сын выдающегося просветителя В. И. Ульянов-Ленин вслед за Николаем, некоторое время спустя, о «скверных людях» высказался лапидарно и выразительно: «Интеллигенция — не мозг нации, а говно». И обходился с нею соответственным образом, очищая от говна поверженную к его ногам Россию.)

Однако в передовых и более или менее образованных слоях интеллигенцию именовали — совестью и разумом России. Раз-

дираемая и ослабляемая внутренними разногласиями, она была объединена единой целью — устранением самодержавия (не обязательно монархии, это разные явления). Наибольшей сдержанностью отличались кадеты — их вполне устраивала конституционная монархия. Крайний левый фланг занимали в значительной мере чуждые народу большевики, требовавшие вооруженного свержения царизма и установления некоей мифической диктатуры пролетариата, с серьезными оговорками большевиков поддерживали их бывшие однопартийцы — меньшевики. Наиболее многочисленной, имеющей историческое прошлое (но и слабо выработанную идеологию), представлялась третья основная партия России начала XX века — эсеры. Если бы у руководителей партий достало способности к компромиссу, к терпимости по отношению друг к другу, объединению во имя общей цели — исторический путь России был бы иным...

(Как тут обойтись без сравнения с положением России в 1990-х годах, когда демократические силы страны не сумели прийти к консенсусу — модное словечко нашего времени, — не смогли объединиться и выработать единую политическую и экономическую программу, утонули в спорах по частностям, в личных амбициях, в неумении взять власть или, взяв, уверенно пользоваться ею, что в конечном счете и явилось главной причиной полного развала и краха страны, лишения ее статуса великой державы, обнищания трудового населения, расслоения общества, создало, по сути, революционную ситуацию.)

Наблюдая как бы со стороны за всем происходящим, Керенский в очередной раз пришел к окончательному и неотвратимому выводу о том, что будущее России — в свержении монархии.

Что тут скажешь? Часто и поспешно менял свои убеждения Александр Федорович, это в ряде случаев могло свидетельствовать о гибкости его ума, делало ему честь и выглядело достаточно логичным, порою же — двусмысленным и легковесным.

После Манифеста 17 октября, при отмене предварительной цензуры, количество периодических изданий в стране увеличилось в кратчайший срок с одной до полутора тысяч. Обещанная свобода печати осуществлялась-таки, притом достаточно смело (как тут не вспомнить знаменитую обложку «тонкого» популярного журнала «Пулемет», где факсимильно вос-

производился текст царского манифеста, п р и п е ч а т а н н о г о растопыренной окровавленной ладонью!).

15 ноября стал выходить — на шестнадцати полосах, дважды в неделю — «революционный социалистический» бюллетень «Буревестник», издаваемый группой под устрашающим названием «Организация вооруженного восстания». В группе этой (не имевшей никакого оружия и о скором вооруженном восстании не помышлявшей) собрались двоюродный брат Ольги Керенской, инженер-путеец Сергей Васильев, присяжный поверенный Александр Овсянников и сын богатейшего коммерсанта, молодой ученый-индолог Н. Д. Миронов. Кто-то из них, скорее всего Саша Овсянников, пригласил Керенского писать для журнала, и он, таким делом никогда не занимаясь, охотно согласился, хотя вся группа состояла из эсеров, партии, к которой он испытывал двойственное отношение. К слову, в 1904 году планомерный индивидуальный террор эсеры официально прекратили, зато Александр Федорович — очередной его зигзаг! — после событий осени 1905 года пришел к выводу, что революционный террор необходим, и был готов взяться за наган или бомбу. Но, человек совсем иного склада, боевиком-одиночкой Керенский не стал, а вот статьи в бюллетень организации с пугающим названием принялся сочинять с охотой и нарастающим профессионализмом.

Он писал о своих взглядах на подлинное отношение царя к Конституции, полагая, что Николай вовсе не собирается ее последовательно и полно выполнять. Выступал против абсурдного, как ему казалось, решения социал-демократов и эсеров бойкотировать выборы в Государственную думу (бойкот сорвался, голосование состоялось в феврале — марте 1906 года, победа досталась кадетам), считая, что такое решение только играет на руку врагам демократии и противоречит нуждам и чаяниям народа.

«Буревестник» пользовался успехом, но, малотиражный, он терялся в сонме подобного рода изданий и, даже став с номера пятого от 4 декабря официальным органом партии эсеров, реального влияния на политическую жизнь оказать не мог. Главным рупором партии оставалась (до декабря) газета «Революционная Россия», издававшаяся за границей. Но Керенский впервые оказался все-таки п р и д е л е, имея в виду революционное.

У него появились новые знакомства. Самым значительным он справедливо считал отношения, завязавшиеся с Борисом Викторовичем Савинковым — давним участником революци-

онного движения, одним из руководителей Боевой организации партии эсеров, человеком, несомненно, находчивым, смелым, самолюбивым, жаждущим авантюры (вскоре в 1906 году его арестовали, приговорили к смертной казни, он совершил головокружительный побег в Румынию). Впоследствии судьба надолго и прочно сведет их обоих.

В своем доме Александр Федорович принимал и подружку жены — слушательницу Высших женских курсов Евгению Николаевну Моисеенко. Ее брат Борис, член Боевой организации заграничного центра эсеров, время от времени тайно приезжал по делам в Россию, умудрялся конспиративно встречаться с сестрой. Александр Федорович решил попросить Евгению познакомить его с Борисом. Та очень удивилась, но, видимо заручившись разрешением брата, согласилась. Но сперва — не праздного же любопытства ради — поинтересовалась, а собственно, чего ради? Александр Федорович, не обинуясь, сказал: хочет участвовать в заговоре против царя, который, как он слыхивал, готовят боевики. Евгения Николаевна явно заколебалась, но в конце концов повторила, что все решает брат, ее же дело — устроить обещанное свидание. Это происходило в начале декабря.

И еще одна мимолетная, однако взволновавшая его встреча случилась в те дни.

В доме № 23 по Загородному, где жили Керенские, незадолго перед тем квартиру № 1 арендовало Санкт-Петербургское отделение союза инженеров; здесь стали проходить заседания и собрания. Однажды, выходя из дому, уже на тротуаре, Александр Федорович обогнал небольшую группу хорошо одетых, по виду интеллигентных людей. Один из них, видимо слышав позади шаги, обернулся — явно конспиративная привычка. Похож на остальных — пальто с каракулевым воротом, такая же шапка пирожком, ростом невысок, руки в карманах. На мгновение взгляды их встретились, тотчас незнакомец отвернулся, послышался его беглый картавый говорок. Керенский замедлил шаг, не желая невольно подслушивать. И почувствовал: он знает, он помнит эти слегка раскосые узкие глаза, этот быстрый, сглатывающий звук «р» говорок... Он перебрал в памяти нескольких знакомых, города, где доводилось бывать... Господи, неужели Симбирск, неужели — о н, Ульянов, ныне Ленин?.. Но ведь он за границей. Да, но и, к примеру, Борис Моисеенко там, однако приезжает. И многие эсдеки,

эсеры наведываются — в России революция — или что-то вроде нее...

(Это и в самом деле был Ленин, он вернулся в Питер 8 ноября, с ходу включился в работу; в частности, выступал трижды в доме Паниной, куда и Керенский заглядывал по старой привычке, и на Загородном побывал еще раз, но Керенский его не видел. Встретил он своего недруга и политического противника лицом к лицу много лет спустя, в апреле 1917-го.)

Вскоре Евгения Николаевна Моисеенко шепнула: завтра, в пять пополудни, пойдете с угла Невского и Литейного в направлении Аничкова моста, где свернете на Фонтанку по левой набережной, повстречается бритый мужчина в а с т р а х а н с к о й войлочной шляпе, попросит прикурить; папиросы вы должны иметь в серебряном портсигаре, это пароль; пока он будет прикуривать, быстро скажете о своей просьбе, он ответит и сразу удалится в противоположном направлении, а вы пойдете дальше, потом назад, все время поглядывая, нет ли за вами х в о с т а. Поняли?

Назавтра все произошло именно так. Борис Моисеенко, а это был он, похож на сестру как близнец, торопливо сказал: через три дня, на том же месте, в тот же час. И когда опять повстречались, проходя мимо Керенского, не глядя, бросил: ничего не получится.

Лишь через одиннадцать лет, на фронте, Александр Федорович спросил у Бориса Николаевича, комиссара Временного правительства, что произошло т о г д а. А дело в том, что в ту пору в городе находился руководитель боевой организации Евно Фишелевич Азеф, ну, вы знаете, его мы впоследствии разоблачили как провокатора, я доложил о вас, он отклонил просьбу, думаю, он многих отпугивал от нашей работы, чтобы, под прикрытием бдительности, ослабить организацию, не допускать в нее людей, искренне преданных революции; либо боялся провокации, боялся за себя, либо и то и другое...

Террористом Керенский не сделался. Да и не смог бы, окажись среди них. Еще в детстве, увидев, как кухарка режет курицу, а та с отрубленной головой бегаёт по двору, хлопает крыльями, разбрызгивает кровь, пока наконец не свалится замертво,— увидев это однажды, Саша упрятывался в дальней комнате, как только примечал кухаркины приготовления к куриной казни.

За Керенским (впрочем, как и за большинством политиков) немало грехов. Но собственной рукой, своим повелением он крови не проливал. Правда, подписывал приказ о восстановлении им же отмененной смертной казни на фронте, будучи ее убежденным и решительным противником, но это особые обстоятельства, особый разговор.

Не так уж много сделал для эсеров Александр Федорович, но расплачиваться пришлось.

Сергей Васильев попросил у Керенских разрешения хранить в их благонадежной квартире отпечатанные на мимеографе листовки. Те, конечно, согласились и вскоре заплатились за невинный (ведь свобода слова!) поступок.

#### 4

Несколько придя в себя от замешательства, вызванного событиями сразу после обнародования манифеста, власти принялись ретиво действовать. Подавили волнения солдат, возвращавшихся из японского плена и Сибири, когда завершилась постыдная война. Разогнали созданный 13 октября Петербургский Совет рабочих депутатов, судили его руководителей: присяжного поверенного Носаря (жил по паспорту рабочего Георгия Степановича Хрусталева), меньшевика; его преемника Льва Давидовича Троцкого, в то время беспартийного, приговорили к вечному поселению в Сибири, откуда он мигом сбежал. Жестоко расправились в Москве с декабрьским мощным вооруженным восстанием. Приступили к у м и р о т в о р е н и ю прибалтийских областей, Польши, Малороссии, Кавказа, Сибири. Разгоняли митинги, собрания. С трудом управлялись с разнузданным «Союзом русского народа» — погромы продолжались, теперь полиции приходилось наводить порядок. Свободную печать помалу, втихаря, не слишком заметно придушивали. За арестами рабочих последовали аресты интеллигентов, студентов.

Конфисковали девятый выпуск «Буревестника», где Керенский напечатал резкую статью. Журнал прикрыли. Сотрудников не тронули.

Александр Федорович предвкушал наступление Рождества, тихого, уютного отдыха с Оленькой наедине. 21 декабря весело наряжали елку для ничего еще не смыслящего восьмимесяч-

ного Олежки, до праздника оставалось еще три дня, но их, как маленьких, одолевала нетерпежка. Рождество в этом году впервые отмечали в т р о е м, с сынишкой.

...Одновременно позвонили в дверь и постучали с черного хода. Околоточный надзиратель (сосед, иногда на улице с ним беседовали по пустякам), ротмистр, четверо жандармских унтеров и с черного хода — полицейские, дворник, понятия. Словно за каким-нибудь злодеем вроде Ивана Каляева или Егора Созонова явились. Все как полагается: ордер на обыск, извинение за беспокойство, предписанная инструкцией вежливость. Рылись не один час, ничего, разумеется, не обнаружили, собирались, извинившись, уходить. Напоследок в прихожей разворошили кипу сваленных в углу газет, извлекли забытый сверток, спрятанный Сережей Васильевым, распотрошили. А, ерунда, сказал себе Керенский, листовки «Организации вооруженного восстания», совсем невинные по нынешним временам, устарелые, теперь в открытую куда как похлеще печатно высказывались. А все-таки криминал: на запретном мимеографе, без выходных данных, без даты, от организации с устрашающим названием... И доказательство усердия: не понапрасну хлеб едим, трудились, не понебрежничали.

Ордер на арест (подпись прокурора на чистом бланке), сборы, санки, запряженные парой шустрых лошадок, предрассветные пустынные улицы, мост, всем известная тюрьма «Кресты». Всякие формальности.

### ОДИНОЧКА

В общем-то отсидка оказалась нестрашной. Обращение почти деликатное (присяжный поверенный, законы знает, попробуй нарвись), передачи от родственников часты, книги в неограниченном количестве — прекрасная библиотека, собранная заключенными...

Единственное, что волновало: причина ареста. Ее не объявили, на допросы не вызывали. Только объявив голодовку, получил от прокурора формулу ареста: по статьям 101 и 102 Уложения о наказаниях «в причастности к подготовке вооруженного восстания и принадлежности к организации, ставившей своей целью свержение существующего строя». Чепуха, нет у них и не может быть никаких доказательств. Кружок их только своим названием и был грозен, так, скорее игра, да и распался он.

Ни суда, ни административной высылки. Подержали четыре месяца, отпустили с Богом — поступило распоряжение освободить всех политических, арестованных либо по ошибке, либо явно неопасных. Правда — на всякий, видимо, случай, — с запрещением проживать в столицах и таких-то местностях. Это Керенского не устраивало, конечно. Через знакомых он довольно просто получил аудиенцию у директора Департамента полиции Зволянского. Были немного знакомы. После дружеского внушения тот посоветовал отправиться к родителям в Ташкент до осени. Такое уже бывало.

В начале мая трое Керенских под стук поездных колес отбыли в столицу Туркестанского края.



## Глава четвертая

Четыре месяца уединения за счет государства расширили мой кругозор и позволили лучше разобраться в том, что происходит в стране. Теперь, полностью освободившись от юношеского романтизма, я понял, что в России никогда не будет подлинной демократии, пока ее народ не сделает шага к единению во имя достижения общей цели. Я твердо решил, что... отдам все силы делу сплочения всех демократических партий в России.

*А. Ф. Керенский*

### 1

В августе государь собрал великих князей (традиционный семейный совет, официально никак не конституционный), министров, высших сановников, устроил обсуждение проекта закона о выборах в I Государственную думу. Первым же возник курьезный, но показавшийся весьма принципиальным вопрос: допускать ли на избрание неграмотных депутатов. Многие высказались: да, это народ благонадежный и, как выразился кто-то, говорит эпическим языком. Исход обсуждения predetermined министр финансов Владимир Николаевич Кокцов: не следует увлекаться выслушиванием речей неграмотных, они станут своим эпическим языком пересказывать то, что им скажут другие... Предложение отклонили.

В результате двойного давления ни крайне правых, ни крайне левых, ни даже умеренных в Думе не оказалось. Относительное большинство депутатских кресел заняли представители конституционно-демократической партии (она же — Партия народной свободы), возглавляемой Павлом Николаевичем Милюковым. За ними следовали члены «Трудовой группы» («трудовики») — фракция депутатов от крестьян и интеллигенции народнического направления, близкая к эсерам, к ней впоследствии примкнет А. Ф. Керенский. Далее — автономисты (буржуазно-националистические группы окраин империи). Консервативные конституционалисты («Союз 17 октября», или «октябристы» — партия крупных помещиков, образовалась в ноябре 1905 года) завоевали считанные единицы мест, их лидер Александр Иванович Гучков оказался неизбранным. Восемнадцать социал-демократов, вопреки решениям своих партий о бойкоте, баллотировались индивидуально и поначалу вошли во фракцию «трудовиков». Остальные депутаты объявили себя беспартийными. Керенский воспринял эти итоги с восторгом,

считая, что в целом здесь представлена н о в а я Россия. Вскоре возникло прозвание: «Дума народного гнева».

Открытие Государственной думы происходило в Зимнем дворце, 27 апреля 1906 года, присутствовали император, высшая знать. Николай прочитал обращение, пожелал депутатам успехов и, уже зная, что вскоре Думу разгонит, — ее состав не сулил царю ничего хорошего, — держался чрезвычайно доброжелательно и приветливо. Манифест о роспуске последовал 9 июля, через два с половиной месяца, когда Керенский находился уже на воле.

Даже до далекого Ташкента дошло адресованное императору письмо князя Евгения Николаевича Трубецкого, философа, общественного деятеля. 24 июля он писал:

«Быть может, правительству удастся *теперь* репрессивными мерами подавить революционное движение, загнать его в подполье!.. Тем ужаснее будет последующий и *последний* взрыв, который ниспровергнет существующий строй и сроняет с землею русскую культуру!»

Царь принимал меры, только не те, какие от него с опаскою ждали. За несколько дней до созыва Думы он уволил в отставку С. Ю. Витте, назначив председателем Совета Министров почтенного по возрасту Ивана Логгиновича Горемыкина, крупного землевладельца. Тот правил недолго: накануне роспуска Думы он отправился следом за Витте, слав пост Петру Аркадьевичу Столыпину, министру внутренних дел, на которого уже через месяц эсеры совершили покушение, погибло 32, ранено 22 человека, среди них — сын и дочь премьера; самого его уберег Господь, чья милость оказалась, впрочем, не слишком продолжительной.

В этот день семья Керенских возвратилась домой.

И опять Александр Федорович маялся от безделья, неопределенности, тоски из-за того, что не осуществляются его благие порывы потрудиться на благо отечества. От гражданских и уголовных процессов он уклонялся, боялся завязнуть в их рутине, не выпутаться, когда настанет е г о день.

День настал наконец. На исходе сентября позвонил Николай Дмитриевич Соколов, председатель городского совета адвокатов, предложил заменить его в политическом процессе в Ревеле. Кратко рассказал о сути дела. На слова Керенского: но это же невозможно (ханжил, ханжил...)! я никогда не за-

нимался политическими делами (но ведь о том лишь и мечтал), — Соколов, почуяв, видно, неискренность и кокетство, ответил: что ж, воля ваша, придется просить кого-то другого, а ведь вам предоставлялся большой шанс... Соколов вел себя благородно: не уговаривал, но тянул время, дал возможность одуматься... Спасибо, Николай Дмитриевич, я поеду, да, непременно.

И в ту же ночь последним поездом отправился в Ревель (так до 1917 года назывался Таллин).

30 октября 1906 года началась деятельность двадцатипятилетнего адвоката А. Ф. Керенского. Она принесла ему ту широкую известность, в результате которой он впоследствии станет главой страны.

## 2

### ДЕЛО ЭСТЛЯНДСКИХ КРЕСТЬЯН

И ночью, в уютном купе второго класса, и весь день, в светлом номере отеля на Вышгородской горе «Domberge», со всяческими удобствами, то и дело приказывая принести крепкого отменного кофе, чтобы не клонило в дрему, он, в халате, домашних туфлях, дыша папиросочным дымом, изучал заявления обвиняемых, показания свидетелей той и другой стороны, всякие долженствующие справки. Делал заметки, выстраивал общую картину, старался не упустить ни один из политических и социальных аспектов. Листал статистические отчеты, подшивки газет, выписки из бухгалтерских книг.

После освобождения крестьян в 1861 году они не получили земли, вынуждены были арендовать ее у владельцев, здесь ими были в основном немецкие бароны, остзейские, как их называли по германскому наименованию Балтийского моря — Ostsee. Бароны сохраняли часть феодальных привилегий, а когда в декабре 1905 года в поместьях и на хуторах начались волнения, многие помещики обрели должности помощников уездных начальников и, следовательно, право самим расправляться с бунтовщиками.

Обвиняемые по врученному Керенскому делу разграбили м ы з у (баронское поместье), кое-что сожгли. Состав преступления был налицо, однако существовали и смягчающие обстоятельства. Прежде чем арестовать бунтовщиков, предать

суду, их по приказу барона жестоко выпороли, а нескольких застрелили. И лишь потом наугад похватали первых подвернувшихся под руку и поволокли в полицию. Главные зачинщики оказались в числе убитых или скрылись в лесу.

Местные коллеги, несмотря на явную молодость Керенского, проявили предельное внимание и уважение к столичному гостю,— надо отдать должное, Керенский не пыжился, держался достойно, однако скромно, но и без робости (поздними вечерами репетировал перед зеркалом),— попросили его взять на себя руководство защитой. Польщенный, он поотнекивался, впрочем, не слишком настойчиво, чтобы, не дай Бог, не приняли отказ. Глава коллегии адвокатов Я. Поска быстро уговорил.

Он старался изо всех сил, удалось не только провести защиту, но и назвать организаторов и участников карательной экспедиции, обнажить политическую, а не только уголовную сущность действий обеих сторон. Судья Муромцев проявил полную беспристрастность, большинство крестьян оправдали. И по ходу, и в конце защитительной речи, и по вынесении приговора зал аплодировал. Адвокаты, родственники, а затем и освобожденные в зале суда из-под стражи благодарили, поздравляли, покорнейше просили оказать честь отужинать — кто в ресторане, кто в своем доме. Поска и другие коллеги искусно разыгрывали неверие в то, что Керенский впервые вел дело такого характера.

Через два дня в Петербургском окружном суде повторилось то же самое: замечательно, коллега, примите сердечные поздравления. Оказывается, в Питер уж пришли ревельские газеты с отчетами о процессе, где особо выделяли и цитировали речь господина Керенского, подчеркивали его профессиональную эрудицию, отмечали незаурядные ораторские данные.

Вскоре на Александра Федоровича отовсюду посыпались предложения. За шесть лет, до осени 1912 года, когда он прекратил адвокатскую практику, Керенский не раз пересек всю страну... Ижевск, Рига, Маргелан (в Туркестане), города Кавказа, Поволжья, Сибири... Теперь, чего он так жаждал, его имя стояло близко к ряду таких знаменитостей, как Сергей Аркадьевич Андреевский, Оскар Осипович Грузенберг, Николай Платонович Карабчевский, москвичи Александр Робертович Ледницкий, Василий Алексеевич Маклаков, Николай Константинович Муравьев, Николай Васильевич Тесленко,—

защитников, прославившихся именно в политических процессах, специальные объединения их по ходу усиления репрессий создавались во многих крупных городах. По неофициальному соглашению между собой адвокаты по таким делам гонорар не брали, оплачивалась лишь стоимость проезда во втором классе и десять рублей суточных, работа была, в сущности, благотворительной. «Такого рода дела требовали особого, глубокого сострадания к обвиняемым и осознания политического значения этих процессов. Именно о такой работе я и мечтал», — писал Керенский.

### 3

#### «ТУКУМСКАЯ РЕСПУБЛИКА»

В конце 1905 года в Лифляндской губернии (ныне Южная Эстония и часть Латвии), объявленной на военном положении, произошли вооруженные выступления народа в крупных населенных пунктах, в том числе в Тукумсе (Туккуме), слушалось дело в специальном военном суде. Председательствовал генерал Кошелев, известный, в числе прочего, садистской причудой, извращением: во время судебных заседаний — обвиняемым грозил смертный приговор — этот сатрап тщательно и сосредоточенно разглядывал порнографические картинки. Дело о вооруженном восстании, в ходе которого несколько дней существовала управляемая Советом марионеточная республика, в суде с самого начала приняло дурной оборот: Керенскому, приглашенному осуществлять защиту, стало очевидным, что маньяк в генеральском мундире Кошелев стремится не столько к выяснению истины (вернее, вовсе не стремится), а к кошунственному применению библейской формулы возмездия: око за око (Левит, XXIV, 20) — за убийство пятнадцати драгунов-карателей повесить непременно столько же участников восстания. Полковники местного гарнизона, являвшие, по определению, независимое жюри (вместо заседателей, но без их права выносить вердикт о виновности), послушно кивали, когда председательствующий обращался к ним якобы за советом. Отстоять загодя предназначенных для петли Керенскому не удалось, но, добившись намеченного, генерал, по сути, больше не вмешивался, и некоторым подсудимым удалось смягчить меру наказания.

Жестокость военных судов, созданных согласно положению, представленному П. А. Столыпиным 19 августа 1906 года, вскоре сделалась известной и юристам, и населению: обвиняемым не предоставлялось никаких законных прав. Главный военный прокурор генерал Павлов открыто заявлял, что судьи обязаны исполнять свой долг, не обращая ровно никакого внимания на доводы защиты. Павлов боялся результатов собственных распоряжений, никогда не покидал здания Главного военного суда, где жил в казенной квартире. Ни высокий, с колючей проволокой, забор, ни усиленная охрана его не спасли: в саду при Главном суде Павлова убил террорист.

Министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново приказал казнить без суда и следствия не только за покушения, но и за хранение, приготовление и приобретение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

С начала репрессий в октябре 1905-го до апреля 1906 года число убитых карателями и казненных составило 14 тысяч, в тюрьмах томились 75 тысяч политических. В Государственной думе даже военный прокурор Владимир Кузьмин-Караваев почти кричал: за последние четыре месяца повешено, расстреляно и иными способами казнено без суда более шестисот человек, эта цифра ужасна! Тогда же Дума внесла законопроект об отмене смертной казни. При его обсуждении депутаты не дали говорить упомянутому генерал-прокурору Павлову, бросали ему в лицо: убийца, палач! 26 июня Дума приняла закон е д и н о г л а с н о. Царь его е д и н о л и ч н о не утвердил. Казни продолжались.

Государственный террор приобретал средневековый характер. В Екатеринославской тюрьме политического заключенного Гутмахера били сапогами до той поры, пока не повели вешать. Видимо, зная, что т а к о е случается, арестант Синьков, приговоренный к смерти, в последнем слове покорнейше просил, чтобы его н е били перед казнью, а в благодарность клятвенно обещал, что взойдет на эшафот и подставит голову под петлю, не выкрикнув никакого лозунга. В Лодзинской тюрьме зажимали головы в тиски, вырывали дочиста зубы. В Маргелане, что возле Ферганы, революционеру облили спину керосином и подожгли. В Риге у подследственного (!) Карла Легсина выдрали ногти. Там же одну из политических били в грудь, пока из горла не хлынула кровь. В Киеве — после запрета телесных наказаний — двадцатилетнюю девушку исхлестали кнутом — 500 (!) ударов... Этот перечень можно продолжать и продолжать, их много описано в литературе.

(Х о р о ш и х учителей имели впоследствии ленинско-сталинские чекисты, не было нужды изобретать велосипед! Впрочем, уже тогда большевики могли кое-чему поучить сами.)

#### 4

### ЭКСПРОПРИАЦИИ В МИАССЕ

Дело об экспроприации (попросту говоря — вооруженном ограблении, в данном значении — государственной казны) в небольшом промышленном городе Миассе, что в 90 верстах юго-западнее Челябинска, при золотых приисках, где и очистили казначейство, слушалось в начале 1907 года. Обвиняемые — молодые люди, члены большевистской группы во главе с Алексеевым. Военный суд заседал в ближайшем гарнизонном городе — Златоусте.

Принадлежность к партии большевиков и, следовательно, причастность РСДРП(б) к настоящему делу обвиняемые в ходе следствия и судебного разбирательства отрицали, ссылаясь на то, что Ленин и его печать заклеямили экспроприацию как «мелкобуржуазную практику» левых социалистов-революционеров и максималистов. Тут не было никакой логики, молодые люди запутались: если они — не большевики, то при чем тут ленинские директивы. А коли они дают ложные показания и на самом деле состоят в партии большевиков — почему не требуют привлечения к ответу ее руководства. Вся эта путаница юридического смысла не имела, факт ограбления был налицо, схвачены на месте преступления и с вещественными доказательствами. Но членство в э т о й партии само по себе неподсудно, обвиняемые действовали не по личному умыслу, на том и следовало строить защиту.

В деле Александр Федорович обнаружил вырезки из большевистской газеты «Пролетарий» от 21 августа и 30 сентября 1906 года, в них кое-что подчеркнуто по линейке. Вот, например, что партия «отвергает совершенно экспроприацию частных лиц. Она н е о т в е р г а е т экспроприацию казенных средств». Вторая цитата гласила: вооруженная борьба партии предусматривает, в частности, «конфискацию денежных средств как у правительств, так и у частных лиц» (и десяти дней не прошло, а позиция изменилась!). Да, вот на эти указания и упирал Керенский: обвиняемые действовали не по

личному почину и не ради личной наживы, а по указанию партии, отдавая ей же награбленное. А партия, по имеющимся в деле сведениям, направляла добытые таким образом средства не на преступные деяния, а использовала их для содержания школы (не сказал, что — готовящей партийные кадры из рабочих), ее возглавляет известный писатель Максим Горький, и расположена она на острове Капри, в Италии. Следовательно, если деяние является преступным, что несомненно, то судебной ответственности подлежат в первую очередь его организаторы, в данном случае партия большевиков. Однако законодателем не предусмотрено привлечение к уголовной ответственности п а р т и и в целом, как таковой, да еще действующей легально в соответствии с императорским Манифестом от 17 октября 1905 года.

То ли казуистика, то ли адвокатский ловкий ход, то ли снисходительность судей (четверо полковников на этот раз не подвергались давлению председательствующего, генерала с юридическим образованием), но так или иначе некоторым обвиняемым вынесли оправдательный приговор.

После завершения процесса Керенский privately побеседовал с руководителем группы Алексеевым, выходцем из уфимской богатой купеческой семьи. Все-таки ваша партия официально отрицает возможность экспроприации, значит, вы действуете вопреки ее воле, хотя мне сейчас удалось доказать противное. И в суде вы сперва отрицали принадлежность к РСДРП, только по моему настоянию признали ее. Как же обстоит все на самом деле?

Очень просто, отвечал Алексеев, приятный, открытый юноша, в партии по этому вопросу есть определенное правило. Недели за две, перед тем как пойти на э к с, так у эсеров говорится, мы выходим из партии, заявляя о несогласии с ее политикой. А дело сделали — снова вступаем, осудим свои заблуждения, нас и восстановят.

Нехороший осадок остался на душе у Керенского...

## 5

### ОПРАВДАНЫЕ АРМЯНЕ

Одним из крупнейших для себя процессов и одной из громких своих побед Александр Федорович считал дело армянской партии Дашнакцутюн (Союз), слушание его проис-



ходило в январе — марте 1912 года в Санкт-Петербурге, в специально учрежденном сенатском судебном присутствии.

Перед ним предстали армянские интеллигенты — писатели, врачи, юристы, даже банкиры и купцы (которые, как утверждалось, предоставляли партии денежные средства). Партия, основанная еще в 1890 году в Тифлисе, была националистической, ставила целью путем организации вооруженных восстаний и террористических актов, с помощью зарубежных держав освободить армян, живущих в Турции, и, воссоединившись с ними, создать собственное государство. Это намерение и вызвало преследование царскими властями. Некоторых арестованных держали в заключении около четырех лет. Следствием руководил следователь по особым делам Петербургского окружного суда П. А. Александров (запомним это имя, оно еще нам встретится), группа защитников: Александр Сергеевич Зарудный, Александр Федорович Керенский, еще десятеро.

Суд шел при закрытых дверях, под усиленной охраной. Опросили шестьсот (!) свидетелей. Один из подсудимых сделал заявление о ложности ряда свидетельских показаний. Керенский от имени сотоварищей потребовал экспертизы. Несмотря на явную угрозу председательствующего сенатора Кривцова в адрес адвоката, тот настоял на своем. В результате большая часть сказанного свидетелями действительно оказалась фальшивкой. Далее процесс принял отчасти комический характер: достаточно было Керенскому подняться, чтобы заявить какой-либо протест, как судья утвердительно кивал и говорил: принято.

Из 145 обвиняемых 95 оправдали, 47 приговорили к тюремному заключению, несколько десятков — к мягкой высылке в Финляндию, лишь троих — к каторжным работам. Такой исход, отмечал Керенский, поднял престиж России за рубежом, особенно среди армян в Турции и в диаспоре.

## 6

### ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ

В черной, сплошняком стоящей тайге на берегах притоков могучей реки Лены — Олекме и Витиме, в северо-восточной части Иркутской губернии, на удалении 2250 верст от железной дороги только что созданное (в 1908 году) англо-русское зо-

лотопромышленное товарищество «Лензолото» (английское название «Lena Goldfields») начало добычу драгоценного металла, рассчитывая — и без ошибки — на сверхприбыли (недаром среди акционеров оказалась мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна). Уже в 1909/10 хозяйственном году выдали дивиденды в размере пятидесяти шести процентов от стоимости акций.

Сравнительно легкого способа добычи и низкой себестоимости законам «Товарищества» было недостаточно. Явно ошалев от неожиданных богатств, они ради добавочных (мизерных по сравнению с себестоимостью) прибылей нещадно измывались над рабочими, которые жили в бараках, трудились тут же, на открытом всем ветрам голом плоскогорье, изрезанном бесплодными долинами и бешеными реками и речками. Находились на положении ссыльных: к железнодорожной магистрали (ближайшая станция — Иркутск) отсюда вела одноколейка, но ею владела администрация приисков, она контролировала и движение речного транспорта. При строгом пропускном режиме, неусыпной охране тем, кто не выдерживал, оставался единственный путь для побега — тайга (добром не отпускали), а тайга — это верная смерть.

Рабочий день продолжался 15 — 16 часов. В 1911 году количество травм на подземных работах достигло 700 на каждую тысячу человек. Мизерная зарплата выдавалась в основном продуктами скверного качества по завышенным ценам из приисковых лавок; других магазинов не существовало, бери, что дают. Душили штрафами, отбирая причитающиеся наличные чуть ли не до копейки.

Забастовка возникла стихийно, по случайному и не столь значительному поводу, 29 февраля 1912 високосного года на одном из приисков, Андреевском. В рабочей столовой суп оказался с гнилым мясом (по другой версии, раздатчик выудил черпаком из котла жеребьячий член). Поселок стал на дыбы. 4 марта избрали центральный забастовочный комитет (в него вошли и немногочисленные здесь ссыльные — эсеры, меньшевики, несколько большевиков). Он сформулировал требования: восьмичасовой рабочий день, увеличение жалованья (по категориям) на десять — тридцать процентов, полная отмена штрафов. Правление отказалось вести переговоры, объявило об увольнении всех бастующих, прекращении выдачи провизии в долг, выселении уволенных с семьями из казарм прямо на мороз. Последнего рабочие не допустили, выставили

пикеты, но в целом держались мирно, на уступки, однако, не шли.

В ночь с 3-го на 4 апреля, после получения приказа министра внутренних дел А. А. Макарова, из поселков Бодайбо и Киренска прибыли войска местных гарнизонов, арестовали многих членов комитета. В ответ утром 4-го три тысячи забастовщиков организованной колонной двинулись на прииск Надеждинский, место постоянного пребывания прокурора Преображенского, чтобы подать жалобу на незаконные действия администрации и с просьбой об освобождении арестованных. Начальник местной полиции жандармский ротмистр Н. В. Терещенко (по другим данным — Трещенков) приказал приданным ему войскам открыть огонь на поражение. Несколькими залпами 270 человек было убито, 250 ранено (цифры в разных источниках одинаковы).

Правительство вынуждено было послать для расследования полномочную комиссию под руководством недавнего министра юстиции сенатора С. С. Манухина. Однако (при том, что Манухин пользовался всеобщим уважением) это решение вызвало некоторое сомнение в непредвзятости отдельных членов комиссии, особенно в III Государственной думе, где незадолго перед тем министр Макаров в ответ на запрос о Ленском расстреле нагло заявил: так было и так будет впредь!

Дума оскорбилась, возмутилась, назначила собственную комиссию для независимого расследования во главе с А. Ф. Керенским (еще не бывшим депутатом). По его предложению в комиссию вошли двое знакомых ему юристов — С. А. Кобяков и А. М. Никитин, они, со своей стороны, добавили малоизвестных Керенскому коллег Татушинского и Тюшевского.

Ехали долго, словно путешествовали — до Иркутска поездом, после — пароходом, наконец пересели на ш и т и к и, некое подобие венецианских гондол. Красота ленских берегов не поддавалась описанию, а медведи, бродившие вдоль воды и таскавшие рыбу, казались только забавными, не более.

В Киренске (созвучие с фамилией Александра Федоровича — повод для довольно примитивных шуток), заштатном городишке о две тысячи жителей, с двумя сотнями дворов (азартно плодились сибиряки, в среднем десятеро на избу!) и несколькими присутственными домами, обнаружили вдруг негданное чудо — собственной персоной Екатерину Константиновну

Брешко-Брешковскую, революционерку с семнадцатилетнего возраста, прозванную эсерами, в чьей партии она состояла, почтительно-шутливо «бабушкой русской революции». Первая в русской истории женщина-политкаторжанка, познавшая и ссылку, и крепость, и нелегальную жизнь, и эмиграцию, она в очередную отсидку попала сюда, в Киренск, в 1910 году. Шестидесятивосьмилетняя «бабушка» оказалась бодра, мила, приветлива, жива умом. Керенский просидел с ней несколько часов, встреча сблизила их, а после Февраля она ездила по России, всячески прославляла и защищала от нападок его, «достоинейшего из достойных граждан земли Русской», как она обозначала.

В пути их догоняли сведения, передаваемые местным властям по телеграфу: в поддержку жертв Ленского расстрела, в память павших, в угрозу ленским и собственным предпринимателям в России объявили стачку триста тысяч промышленных рабочих, к 1 Мая — уже четыреста.

На прииске ситуация сложилась своеобразная: комиссии правительства (С. С. Манухин) и независимая адвокатная (А. Ф. Керенский) расположились в двух домах напротив друг друга, допрашивали — иногда перекрестно — одних и тех же. Местные власти (генерал-губернатор Восточной Сибири Князев и губернатор Иркутский Бантыш) равно содействовали обеим группам, позволяли пользоваться казенной связью и железнодорожной станцией...

Происходило, по сути, бегство рабочих с семьями: захватили железнодорожную ветку, покинули прииски от девяти до тринадцати тысяч человек. Усилиями комиссии Керенского удалось добиться ликвидации монопольного положения «Лензолота», перетряски его администрации, постройки приличных домов на месте бараков, повышения жалованья, улучшения условий труда.

Репутация Александра Федоровича поднялась скачком; не удивительно, что вскоре его выдвинули кандидатом и почти единодушно избрали депутатом IV Государственной думы. Уже в этом качестве он активно — в последний раз до Октября — участвовал в одной из весьма значительных общественных акций.

## ДЕЛО МЕНДЕЛЯ БЕЙЛИСА

Кто-то из выдающихся людей сказал: национальные различия будут — и то в необозримо далеком будущем — последними, что разделяют людей. В критические для себя моменты власти непохожих друг на друга стран и государств прибегали к распалению национальной розни в своих собственных интересах.

Не в туманной дали Средневековья, а в новое время, в 1894 году, когда во Франции достигла критической точки борьба между силами реакции и силами демократии, грозившая гражданской войной, правящая группа спровоцировала уголовное дело по обвинению в шпионаже тридцатипятилетнего офицера Генерального штаба е в р е я Альфреда Дрейфуса. Несмотря на отсутствие доказательств и обнаружение истинного виновника в передаче немецкой разведке секретных бумаг, Дрейфуса приговорили к пожизненной ссылке. Явно нацеленное на разжигание антисемитской и шовинистической розни, шитое белыми нитками, дело Дрейфуса вызвало протест передовой интеллигенции во всем мире и одновременно то, чего и ожидали организаторы судилища, — взрыв лжепатриотизма. Л ю б и м е ц н а ц и и, как его называли, писатель Эмиль Золя за гневную, в защиту Дрейфуса, статью «Я обвиняю!» был предан суду и выслан в Англию, а после возвращения внезапно скончался дома от отравления угарным газом (наиболее вероятна версия о том, что это был террористический акт). Под давлением общественности Дрейфуса в конечном счете помиловали, а затем и реабилитировали.

Пробный шар в этом направлении пустило и царское правительство, заведя в 1892 году так называемое мелтанское дело по обвинению жителей села Старый Мелтан Вятской губернии, вотяков (удмуртов), в человеческом жертвоприношении языческим богам (поводом послужила не такая уж редкостная в России находка: при дороге увидели труп бродяги нищего с перерезанным горлом). К следствию, — а оно длилось два с половиной года, — привлекли десятерых, не владеющих русским языком крестьян-вотяков. Их приговаривали к каторге, отменяли приговор, снова осуждали, опять оправдывали, пока наконец не признали полностью невиновными. Большую роль

в восстановлении справедливости, в создании общественного мнения в пользу оклеветанных сыграли русский писатель Владимир Галактионович Короленко и видный юрист, писатель, общественный деятель, крупный чиновник (в ту пору — сенатор, тайный советник) Анатолий Федорович Кони. Однако резонанса среди широких слоев интеллигенции, а тем более народа, процесс, заверченный в 1896 году, не вызвал (неведомый Мелтан, какие-то вотяки да еще, слышать, не приведи Господь, язычники, идолопоклонники). Правительство решило повторить жестокий спектакль, выбрав на сей раз более понятный, проверенный, надежный объект.

«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были евреи — обыкновенные евреи для погромов, для оклеветания и прочих государственных надобностей», — Максим Горький. Русские сказки.

Рассеянные по всему свету, они появились в России при Иване Грозном, осели, расплодились, несмотря на всяческие ограничения и преследования; по Всероссийской переписи 1897 года насчитывали в империи пять с лишним миллионов душ. Из них выбор (по принципу — «орел — решка») пал на одного — массовых погромов царизм уже боялся, а с плочени е н а ц и и ему крайне надобилось в преддверии явно близкой войны. Как и в деле вотяков, подвернулся криминальный и вполне понятный м а с с а м ф а к т. И место было подходящее — Малороссия, точнее Киев, где евреев среди прочих доставало.

30 марта 1911 года киевская полиция обнаружила тело убитого колющим или режущим инструментом православного мальчика Андрея Ющинского. Заранее сориентированные стражи порядка задержали, по сути, первого попавшегося еврея, тихого, семейного приказчика кирпичного завода Менахема Менделя Бейлиса, предъявив ему обвинение в убийстве с ритуальной, то есть связанной с проведением религиозного обряда, целью, в данном случае якобы добавлением евреями христианской крови в мацу — пасхальное иудейское праздничное блюдо. Версию поддержали (если не были ее инициаторами и авторами) черносотенцы, члены III Государственной думы В. М. Пуришкевич и Н. Е. Марков II. По их депутатскому запросу 12 июля М. Бейлиса арестовали. При поддержке Департамента полиции черносотенные «Союз Михаила Архангела» (председатель В. М. Пуришкевич, печатные органы «Колокол», «Пря-

мой путь», «Зверобой») и «Союз русского народа» (руководитель врач А. И. Дубровин, газеты «Русское знамя» и «Почаевский листок») развернули антисемитскую агитацию, угрожали погромами. Истинных двоих убийц, чье преступление раскрыло и пыталось довести до суда следствие, куда-то упрятали. Бейлис провел в предварительном заключении около двух лет. В его защиту публично выступали представители российской и зарубежной интеллигенции (неиудейского вероисповедания): писатели Александр Александрович Блок, Алексей Максимович Горький, Владимир Галактионович Короленко, Дмитрий Сергеевич Мережковский, Анатоль Франс, ученый Владимир Иванович Вернадский. В резкой полемике им противостояли министр юстиции И. Г. Щегловитов, министр внутренних дел Н. А. Маклаков, лидер крайних правых в Думе Г. Г. Замысловский, другие депутаты.

Начавшийся 25 июля 1913 года в Киеве судебный процесс подробно освещали газеты всего мира, даже «Киевлянин», издаваемый депутатом Думы, злобным, отъявленным антисемитом Василием Васильевичем Шульгиным, который в своей газете за собственной подписью заявил: «Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого человека, это есть обвинение целого народа в одном из тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых тяжких суеверий» (за статью В. В. Шульгина приговорили к трем месяцам тюремного заключения, а тираж конфисковали).

Бейлиса в процессе защищали лучшие адвокаты: Оскар Осипович Грузенберг (другие его процессы — по делам Петербургского Совета рабочих депутатов, о еврейских погромах в Кишиневе и Минске и т. п.), Александр Сергеевич Зарудный (дела революционера лейтенанта П. П. Шмидта, Петербургского Совета и др.), Николай Платонович Карабчевский (защита мелтанских вотяков, эсера-террориста Егора Созонова и пр.), Василий Алексеевич Маклаков, брат министра, одного из организаторов этого дела.

Гражданскими истцами выступали член фракции правых кадетов в Государственной думе Г. Г. Замысловский и адвокат А. С. Шмаков, экспертами обвинения, которому открыто подыгрывали, — ксендз И. Е. Пранаитис и профессор А. А. Сикорский; их «доводы» опровергали психиатр и психолог профессор В. М. Бехтерев, московский раввин Яков Мазе и другие. Деятели высшей иерархии Русской Православной Церкви под присягою решительно отвергли домыслы

о том, что убийства детей-христиан являются частью обрядов иудаистской веры.

Керенский непосредственно в процессе не участвовал. Но он, быть может, сделал большее, нежели если выступал бы в качестве одного из защитников обвиняемого в зале суда.

Он решил сделать так, чтобы голос его коллег прозвучал на всю Россию.

Он выступил инициатором заявления союза адвокатов столицы и сформулировал его основные тезисы. Текст написал Николай Дмитриевич Соколов. Заявление приняли за неделю до вынесения приговора.

«Пленарное заседание членов коллегии адвокатов Санкт-Петербурга считает своим профессиональным и гражданским долгом поднять голос протеста против нарушений основ правосудия, выразившихся в фальсификации процесса Бейлиса, против клеветнических нападков на еврейский народ, проводимых в рамках правопорядка и вызывающих осуждение всего цивилизованного общества, а также против возложения на суд чуждых ему задач, а именно сеять семена расовой ненависти и межнациональной вражды.

Такое грубое попрание основ человеческого сообщества унижает и бесчестит Россию в глазах всего мира. И мы поднимаем наш голос в защиту чести и достоинства России».

Сказано г р о м к о. И услышано широко и далеко.

В том числе и судом — не только тем, что через неделю, 30 октября, оправдал оклеветанного (он вскоре эмигрировал в Нью-Йорк).

Но зато к уголовной ответственности привлекли двадцать пять, выражаясь языком нынешних интеллигентов, п о д п и с а н т о в. Двадцать три получили по шесть месяцев тюрьмы, согласно закону времен Екатерины II — «за распространение клеветнических писем» (в новом законодательстве подобной или подходящей статьи не нашлось).

Керенскому (организатору) и Соколову (непосредственному исполнителю) срок определили в восемь месяцев. Это произошло 6 июня 1914 года. Однако посадить Керенского не имели права: он к тому времени был депутатом Думы и пользовался неприкосновенностью. Соколов же, опытный адвокат, приговор опротестовал и добился его отмены — для себя и для коллег.



Последним политическим процессом, в котором довелось участвовать Александру Федоровичу в качестве адвоката, было дело членов большевистской фракции IV Государственной думы, в их число вошли Алексей Егорович Бадаев, Матвей Константинович Муранов, Григорий Иванович Петровский, Федор Никитич Самойлов, Николай Романович Шагов.

Шестым, — а по сути, первым, — должен был сесть на скамью подсудимых наиболее активный, образованный, красноречивый и обаятельный Роман Вацлавович Малиновский, член ЦК партии большевиков. Однако по каким-то своим служебным делам или приятельским соображениям товарищ министра внутренних дел Владимир Федорович Джунковский 7 мая 1914 года «под честное слово» сообщил председателю Думы Родзянко, что Малиновский — полицейский провокатор, платный агент; Родзянко, не долго думая, отобрал у Малиновского депутатский мандат и выгнал его прочь, тот эмигрировал, после Октября вернулся и был расстрелян большевиками.

Что же касается остальных членов большевистской фракции Думы, с ними дело обстояло так.

В начале германской, как ее сперва называли, войны царизм решил нанести удар по большевикам, чья фракция в Думе отказалась голосовать за военные кредиты, а руководство партии выдвинуло лозунг поражения своего правительства в данной войне и превращения ее в войну Гражданскую. Осенью большевики подготовили созыв партийной конференции для обсуждения своей тактики во время войны. Через провокатора Департамент полиции был заранее осведомлен о предполагавшемся сборище, в котором участвовали все пятеро членов думской фракции (Малиновского уже изгнали), а также их «куратор» от ЦК Лев Борисович Каменев и представители Петрограда, Иваново-Вознесенска, Харькова и Риги. Заседание открылось в Озерках близ Петрограда 2 ноября и 4-го завершило работу, после чего тут же, на месте, все участники были задержаны полицией, сидевшей с самого начала в засаде. При обыске у членов фракции обнаружили ленинские тезисы о войне и газету «Социал-демократ» с антивоенным манифестом ЦК РСДРП. Пятерых участников конференции, в том числе Каменева, арестовали, думцев отпустили ввиду их де-

путатской неприкосновенности, но через два дня с согласия Думы взяли и их, что вызвало забастовки на отдельных предприятиях столицы.

ЦК партии запретил своим членам-адвокатам участвовать в процессе. Сделать это выразил желание Керенский (характерная деталь, выразительная черта его характера: защищает своих политических противников во имя стремления к справедливости, ради собственной независимости). К нему присоединился Василий Дмитриевич Соколов.

Дело слушалось 10 — 13 февраля 1915 года в Особом присутствии Петроградской судебной палаты. Прецедент уже был, хотя и давненько: в 1907 году по наводке полиции власти спровоцировали суд над социал-демократами, избранными во II Думу (около 50 человек из 65, принадлежащих к этой фракции), приговорив их к высылке в Сибирь.

Ныне положение складывалось куда более серьезное. Действовали законы военного времени. Обвинение по статье 102 Уложения о наказаниях формулировалось как участие в организации, ставящей задачей свержение существующего государственного строя, что рассматривалось как измена и грозило смертной казнью. Сюда же добавлялась и попытка поднять вооруженное восстание в армии, что усугубляло положение обвиняемых — опять-таки из-за войны.

Обвиняемые никогда не стремились, говорил Керенский в суде, вызвать брожение в войсках, никогда не желали поражения нашей армии (и в самом деле, в ленинском лозунге речь шла о поражении правительства, юридическая тонкость тут есть. — *В. Е.*), не протягивали руку неприятелю через головы тех, кто умирает на фронте, защищая родину. Напротив, они боялись, чтобы русские реакционеры не заключили союз с германскими реакционерами...

Усилиями обоих адвокатов обвинение удалось переквалифицировать на «участие в противозаконном сообществе».

Одного из подсудимых и хозяйку квартиры приговорили к недолгосрочному тюремному заключению, остальных — к ссылке, причем думцев — к особо тяжелой — в Туруханский край, на вечное поселение.

Керенский направился к министру юстиции А. А. Хвостову и, по словам последнего, г р о з и л ему скандалом с кафедры Государственной думы, если тот в три дня не решит вопрос о помиловании. В присутствии Александра Федоровича министр ознакомился с судебным делом, с текстом заключительной речи и выразил готовность дать ход прошению при ус-

ловии, если осужденные письменно заявят, что отрицают обвинение в «пораженчестве». Депутаты сделать это отказались. Согласился лишь считавшийся главным обвиняемым Л. Б. Каменев, что не избавило его от ссылки в Восточную Сибирь, а также партийного наказания после возвращения в Петроград после Февраля.

Александр Федорович пытался помочь своим подзащитным и другим путем: добился включения вопроса о помиловании в программу думского «Прогрессивного блока», но при обсуждении документа в нем этого пункта не оказалось — «по ошибке», как объяснил П. Н. Милюков.

После февральской амнистии вся думская «пятерка» прибыла в Петроград и все (кроме Н. Р. Шагова — в ссылке он лишился рассудка) включились в революционную большевистскую работу, занимали при Советской власти видные посты. Как ни странно, Сталин в тридцатые годы их не расстрелял, не отправил в ГУЛАГ, не замучил на Лубянке, лишь основательно понизил в должностях, что в ту пору среди партийно-советских кадров считалось чуть ли не наградой. Такой же с т выпал на долю немногих. Между прочим, в 1915 году против суда над большевиками-депутатами в Думе выступал В. В. Шульгин, этот оголтелый реакционер и в то же время «борец за справедливость» (вспомним его позицию в «деле Бейлиса»), он назвал предстоящий суд незаконным актом и крупной государственной ошибкой...

## Глава пятая

Я никогда не заглядывал в будущее и не строил политических планов. С самого начала политической жизни моим единственным желанием было служить своей стране... Идея стать членом Думы никогда прежде не приходила мне в голову, предложение поэтому было полной неожиданностью... Я всегда с симпатией относился к движению народников и поэтому без колебаний принял предложение.

*А. Ф. Керенский*

### 1

За подобные речи этого Кедринского, по обыкновению коверкая русские фамилии, в бешенстве говорила венценосному супругу Александра Федоровна, следует повесить. Что ж, с ее точки зрения она, возможно, была и права.

Сперва товарищ председателя, а затем руководитель не слишком влиятельной и не весьма многочисленной думской фракции «Трудовой группы», член бюджетной комиссии депутат Керенский, за короткое время оглядевшись, освоившись, поняв, что происходит в Думе и каков ее настрой, — Александр Федорович стал одним из лучших, наиболее заметных думских ораторов. Ему приходилось — куда денешься, положение обязывало — участвовать и в малопродуктивной возне и болтовне; в которой иной раз на целые недели застревала Дума, тогда Керенский угрюмо отмалчивался, но если он выходил на трибуну — на кафедру, как принято было здесь называть, — коллеги быстро утихомиривались, заранее зная: Керенский будет говорить по делу.

Он знал, что происходит в России, не понаслышке: изъездил ее вдоль и поперек. Не размениваясь на мелкие адвокатские — по назначению или ради заработка — рутинные поручения, он за шесть лет практики в судах провел всего несколько процессов — но зато каких! Они дали и понимание происходящего в стране, — опять-таки не из чужих уст, не из официозных газет; дали возможность познакомиться со значительными, крупными людьми, узнать лицо в лицо и своих противников, и людей, социально и по-человечески чуждых ему, и бесправных, истерзанных, изувеченных бедняков, увидеть воочию зверства и властей, и предпринимателей, охватить взглядом необъятную Россию, увидеть жизнь такой, какова она есть.

В думских речах он не гнался за красноречием, за эффектной фразой. Но и сам он, и большинство его коллег знали: то, что он говорит — не пустые, гладкие, много раз повторяемые слова, но слова выстраданные, продуманные, правдивые, будь то вопрос о статьях государственного бюджета, проблема всеобщего избирательного права, идея объединения народнических партий и течений в России. Подлинным триумфом стало для него заявление о том, что спасение государства возможно только объединенными силами всего народа и революция — единственный метод и средство для этого (тогда вот государыня и высказалась насчет желательного повешения «Кедринского»).

Пользуясь любым случаем и поводом, он удирает из столицы, разъезжал по городам и весям, выступал с лекциями, где его несомненный ораторский талант — митингового, а не заседательского склада, — производил иное, по-своему большее впечатление, нежели в торжественно-пышном зале Таврического дворца: он был оратор м а с с ы, т о л п ы, провинциальную полуинтеллигентную публику увлекал не столько логичностью построений, доказательностью, сколько красочностью, эмоциями, причем явно искренними, натуральными, ненаигранными (хотя и наигрышем он грешил в определенной обстановке). Популярность его быстро перерастала в славу, не только столичного, но и российского калибра.

Особенно тому способствовала война.

## 2

10 июля, когда Керенский собирался в Саратов для привычной лекции, он услышал через открытое окошко вопли мальчишек-газетчиков: «Последние новости! Австрия послала Сербии т и м а т у м!»

Ультиматум! Наверняка — война!

«В жизни каждого человека случаются мгновения, когда всякие размышления и раздумья становятся бессмысленными: взамен им приходит внезапное осознание важности происходящих событий. В тот момент я ясно понял, что в грядущую войну будет вовлечен весь русский народ и что он выполнит свой долг», — записывал Александр Федорович.

Он думал так неспроста, имелись основания.

С точки зрения экономической Россия к войне была подготовлена. Еще с 90-х годов минувшего века ее развитие шло по пути ускоренной модернизации. Несколько лет подряд при-

рост промышленной продукции прочно равнялся пятнадцати процентам. Иностранные инвестиции достигли одного миллиарда золотых рублей, что равнялось двенадцати миллиардам американских долларов. Каждый год в стране прокладывали двенадцать с половиной тысяч километров железных дорог — никогда после такого результата не бывало. Уже в канун войны невиданные урожаи 1909 — 1913 годов дали российской экономике мощный толчок. Росло внутреннее потребление, радовала прочность финансовой системы. Вклады населения в сберегательные кассы возросли за двадцать предвоенных лет в семь раз, выплавка чугуна — вчетверо, меди — впятеро. Продолжаясь так дальше, единодушно утверждали ученые экономисты, к 1950 году Россия могла по всем показателям догнать самую передовую в мире страну — Соединенные Штаты Северной Америки (таково тогдашнее название).

События в России развивались стремительно. После того как австрийское правительство 15 июля объявило войну Сербии, на следующий день Николай II приказал начать частичную, а через сутки — всеобщую мобилизацию. Германский посол граф Пурталес посетил министра иностранных дел Дмитрия Сергеевича Сазонова и, как утверждает Керенский, с о с л е з а м и на глазах известил, что с полуночи 18 июля его страна находится в состоянии войны с Россией.

(И точно так же двадцать семь лет спустя, в ночь на 22 июня 1941 года, правда, без слез, но зато рискуя жизнью за разглашение важнейшей государственной тайны посол Германии граф фон Шуленбург сообщит народному комиссару иностранных дел Вячеславу Михайловичу Молотову о предстоящем через несколько часов нападении.)

Николай II вернулся из Царского Села, и почти тотчас в дворцовой церкви состоялось торжественное богослужение в присутствии всего высочайшего семейства и высших сановников. Затем протоиерей огласил государев манифест, по традиции воззвал сражаться «с мечом в руках и крестом на груди». Все бросились целовать руку императору. После этого он и Александра Федоровна вышли на балкон.

Тысячи и тысячи рабочих, что еще вчера бастовали и строили баррикады в столице против полиции, сейчас направлялись в знак солидарности к посольствам союзных держав. А на Дворцовой площади, забыв о крови, пролитой здесь 9 января 1905 года, громадная толпа пала на колена, а поднимаясь,

кричали «ура», держали полотнища с надписями: «Поможем своему младшему брату сербу», пели «Боже, царя храни». Всегда сдержанная императрица махала рабочим рукой. Государь пытался что-то говорить, но восторженные возгласы и дружное пение заглушало все.

(А вовсе не шли на демонстрации против начавшейся бойни, как семьдесят лет ввали нам большевистские историографы, педагоги, пропагандисты; хотя отдельные и незначительные случаи антивоенных выступлений, конечно, были.)

Керенский увидел в толпе председателя Государственной думы М. В. Родзянко, пробился поближе. Михаил Владимирович расспрашивал, как теперь будет с забастовками, с требованиями к Думе... Отвечали: то было наше с е м е й н о е дело, а теперь у всех забота одна, и государь для нас — что знамя, все за ним пойдем победы ради. За какие-то считанные часы, отметил Керенский, настроение народа круто переменялось, надолго или нет, но словно чудом сплотились народ, царь, двор, правительство, Дума, партии. И долгие месяцы в России не было ни баррикад, ни стачек, ни революционных выступлений.

Зато жарко разгорелся невиданный патриотизм. Конечно, тому способствовали и молебны, и проповеди, и интеллигентские речи, и историческая, в народе хранившаяся память о Наполеоне, и исконная, невысказываемая любовь к Отечеству, и успешные наступления в Восточной Пруссии и на территории Австрии (оба — с 4-го по 21 августа). Правда и то, что расейский патриотизм проявлялся и в расейских же видах, особенно в обеих столицах: на Литейном, Невском в Питере, на Кузнецком Мосту и Тверской в Москве громили магазины, на чьих вывесках значились н е м е ц к и е фамилии (среди них случались и еврейские, но кто стал разбираться, особенно насчет ж и д о в). И уже появились куда как патриотичные, пускай и идиотические, дразнилки вроде: «Немец-перец-колбаса, кислая капуста, съел мышонка без хвоста и сказал: как вкусно...»

Да они сошли с ума, писала знаменитая поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус, глядя, как ликуют, провожая мобилизованных. Даже правительство переполошилось: столичный градоначальник князь Оболенский положил конец восторженным манифестациям, привычно опасаясь непредсказуемости толпы.

И плакали матери, жены и невесты шести с половиной миллионов з а б р т ы х только за четыре с половиной месяца. И шли добровольцами студенты, даже гимназисты стар-

ших классов, шли врачи, шли в медицинские сестры интеллигентные барышни — в гнойную гниль, в кровь, в окопную вонь.

И за считанные дни сплотились в поддержку войны революционеры, не состоявшие ни в каких партиях, их возглавили марксист Георгий Валентинович Плеханов и анархист князь Петр Александрович Кропоткин, оба находившиеся в эмиграции. И II Интернационал (социалистический) отринул призывы Ленина не поддерживать свои правительства в каждой воюющей стране.

А война — со всех сторон — шла вовсе не ради их блага, война была за другие цели, иные интересы, захватные, империалистские, но и м, народу, внушали другое, и российский народ верил, как поверил Гапону, батюшке царю, Господу Богу, верил в пламенные речи интеллигентов и матерные наставления фельдфебелей. Верил, когда генералы приводили его к викториям, верил в дни тяжких поражений. Верил, покуда не разуверился.

1914-й оказался годом триумфа царизма, его славы. Но уже в следующем, пятнадцатом, революционная ситуация в России возродилась.

Верный своим союзникам, Николай II с зажмуренными глазами двигался к катастрофе.

Здесь не место подробно рассказывать о причинах и ходе войны; у нас речь — о присяжном поверенном, руководителе крохотной фракции «трудовиков» в Государственной думе, о его триумфе и его трагедии, одной из причин трагедии всей огромной России.

### 3

«Я понимал, что борьбу, которую мы вели с остатками абсолютизма, можно теперь на время отложить. Мы вступили в сражение с могущественным врагом, который в техническом отношении значительно превосходил нас. В этих условиях надо было сконцентрировать все наши усилия, всю волю народа ради достижения одной цели. Единство страны определялось не только патриотизмом народа, оно также в большой степени определялось внутренней политикой правительства. Массы были готовы проявить добрую волю и



не помянуть о старом. Такое же желание оставалось проявить и монархии», — писал он.

На 26 июля, через неделю после начала войны, объявили созыв внеочередной сессии Государственной думы. Накануне ее председатель Родзянко должен был явиться со всеподданнейшим докладом.

В одном из предварительных заседаний Керенский от имени Совета старейшин (руководителей фракций) вручил ему памятную записку с просьбой сообщить царю, что, по мнению Думы, ради успешного исхода войны совершенно необходимо изменить внутреннюю политику: провозгласить автономию Польши, объявить амнистию политическим заключенным, предоставить национальным меньшинствам самостоятельность в области культуры, отменить ограничения в отношении евреев, покончить с религиозной нетерпимостью, прекратить преследование организаций рабочих и профессиональных союзов.

Все эти пункты, в сущности, каждый по отдельности, не раз выдвигались и в Думе, и на разного рода собраниях интеллигенции, все они соответствовали если не букве, то духу Манифеста от 17 октября 1905 года, но власти их упорно игнорировали. А вдруг сейчас, когда столь очевидно стало народное единство, когда патриотизм и вера в царя невиданны-неслыханны, государь и ответит на добро добром, на доверие — своею милостью?

Впрочем... Прежде чем передать эти требования Родзянко, Александр Федорович огласил их в Думе, и та дружно их забаллотировала, в кулуарах его попрекали чуть ли не мелочностью, едва не политическим невежеством — в такую-то пору, когда такая война, а он с амнистией политическим, с равноправием евреев... Родзянко промолчал тогда, но теперь записку взял — не имел права отказаться, — а вернувшись с доклада, сказал, что царь молча принял листок и, не глянув, положил в стол.

Перед открытием заседания Думы неожиданно, с утра, государь пригласил к себе членов Совета старейшин (большинство из них, что, несомненно, знал император, поддерживали правительство).

Александр Федорович впервые увидел Николая II вблизи: хорошее, открытое лицо, мягкие, благовоспитанные манеры, чувство достоинства. Некий демократизм: каждому — собралось человек двадцать, включая руководителя Думы и ее ап-

парата,— пожал руку, не сел во главе стола, а стоял у окна, предложив остальным занять кресла, слушал внимательно (какой-то генерал, видимо дежурный, вел запись); закурив папиросу, вставленную в изогнутый мундштук, помедлил и предложил желающим курить (это, слыхивал Керенский, было едва ли не чудом — государь, сам куривший много, другим в своем присутствии не позволял); прощался тоже рукопожатием, пожеланием успехов. (Рука оказалась вялой, безвольной.) Осталось общее впечатление — о б ы к н о в е н н о с т и.

Керенскому царь,— внимательно в него вглядевшись, вспомнил, возможно, слова Аликс,— разрешил высказаться. Зная о судьбе той, в некотором смысле программной записки, он по написанному тексту огласил декларацию «трудовиков» (Николай, кажется, удивился, услышав название такой партии, действительно неприметной, почти неизвестной за пределами Таврического дворца). Декларация была именно д е к л а р а ц и е й, притом противоречивой по сути: ответственность за войну возлагалась на в с е правительства Европы (спорное утверждение!), но здесь же содержался призыв к народам всех стран оборонять Россию и отложить счета с собственными властями до окончания войны. Жаль, ю р и с т Керенский не понял или не смог сформулировать толком программное заявление своей пускай маленькой, но партии.

С полным спокойствием и вежливостью Николай II изволил выслушать представителя социал-демократов — большевиков, тот заявил, что они «против единения с властями», а подробно свою позицию изложат сегодня с думской трибуны.

Как и верноподданнические заявления, Николай слушал все это молча, вежливо, с н е й т р а л ь н ы м выражением лица: владеть собой он умел, хотя, чего не знал почти никто, был не то что равнодушен к своим государственным обязанностям, но тяготился ими.

На чрезвычайном заседании Думы обсуждали единственный вопрос: о предоставлении правительству военных кредитов. После докладов министров слово получил Керенский.

Мы абсолютно уверены, говорил он, что изначальная внутренняя сила русской демократии вкупе с другими прогрессивными силами нашего народа дадут отпор агрессорам и защитят отечество и культурное наследие, созданное потом и кровью предшествующих поколений. Мы верим, что на полях сражений страдания укрепят братство российских народов и приведут к достижению общей цели, к освобождению страны

от чудовищных оков самодержавия. Однако даже в этот трудный час власти не желают положить конец внутренним разногласиям, не хотят даровать амнистии тем, кто боролся за свободу и счастье нашей страны, как не хотят пойти навстречу нерусским меньшинствам, которые, забыв о долгих обидах, сражаются вместе с нами за Россию. И вместо того чтобы облегчить трудящимся тяготы, власти вынуждают нести бремя военных расходов, увеличивая размеры косвенных налогов. Крестьяне, рабочие и все, кто желает счастья и процветания родине, будьте готовы к новым тяжким испытаниям, которые неизбежно ожидают нас впереди, соберитесь с силами, ибо, *защищая свою страну, вы освободите ее*. Мы непоколебимо уверены, что великая русская демократия вместе с другими силами, я повторяю, дадут отпор врагу.

Это была сильная и смелая речь, он переиграл царя. Если в записке, переданной государю через Родзянко, Керенский, по сути, лишь напоминал о требованиях, вытекающих из Манифеста 17 октября 1905 года, если те его слова наверняка не вышли бы за пределы письменных столов правителя и председателя Думы, то сейчас Александр Федорович недвусмысленно говорил об освобождении родины — ясно, что не от напавшего врага. И говорил не императору, не думскому лидеру — наиболее заметные речи, произнесенные в Таврическом, публиковались газетами, становились общим достоянием. Пускай выступление не изобиловало ораторскими красотами, — их Керенский приберегал для митингов, — зато отличалось целеустремленностью и четкостью мысли, выражало суть политической программы.

Сидящие в зале это поняли, и ему тотчас ответил предводитель думского большинства Милюков, относившийся к Керенскому с откровенной неприязнью: мы не выдвигали таких требований и не ставим никаких условий, мы лишь выражаем несокрушимую решимость сделать все для победы на полях сражений.

Сессия резко определила позиции всех основных политических партий России.

Кадеты безоговорочно поддержали правительство и если выражали недовольство, то лишь его неспособностью успешно вести боевые действия.

«Октябристы» («Союз 17 октября»), партия крупных помещиков и торгово-промышленной буржуазии, показали себя как великодержавные шовинисты, ярые защитники монархической власти.

Меньшевики, находившиеся в состоянии разброда, заняли открыто оборонческую позицию, смыкаясь отчасти с кадетами.

«Трудовики» тоже стали оборонцами, однако умеренными.

Эсеры, находясь на нелегальном положении, существенного влияния на политику оказать не могли.

И совершенно обособленно и дерзко выступали большевики, провозгласив борьбу за поражение царского правительства и превращение империалистической, как они называли, войны в войну революционную. Этот в ы з о в мало кто понял и еще меньше ему посочувствовал. Впрочем, большевики вскоре лишились единственной легальной трибуны, думской: 4 ноября 1914-го их фракция в Думе была арестована, члены ее приговорены к ссылке на каторгу.

Что касается кадетов и «октябристов», то правительство — с опозданием, 25 января следующего года, на частной встрече с депутатами — попросту отклонило их критику недостатков в ведении войны, в плохом снабжении войск.

#### 4

С апреля до сентября 1915 года Россия терпела на фронтах поражение за поражением: австро-германские войска осуществили прорыв в Галиции, взяли города Перемышль, Львов, Варшаву, Брест-Литовск, Вильну,— все это за четыре с небольшим месяца.

Военные провалы, а также ухудшение экономического положения всколыхнули духовную элиту. Характерная особенность: если прежде над судьбами России размышляли в основном мыслители, то ныне социальные диспуты вели писатели, актеры, либеральные общественные деятели. «Литературная цивилизация» (выражение писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского) ввязалась в открытую политическую борьбу. Появилась новая иллюзия: интеллигенция ближе к народу, нежели к власть предержащим, тем более — к царю. В печати замелькали открытые, без намеков фельетоны и карикатуры на императора.

Тот искал виноватых с к р а ю, того, кто ближе к нему. Для начала расстреляли за предательство полковника С. Мясоедова. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов отрешен от должности: из-за Мясоедова, а также по обвинению в неподготовленности к войне (министром он был с 1906 года). П о л е т е л и министры — внутренних дел Ни-

колай Алексеевич Маклаков и юстиции — Иван Григорьевич Щегловитов. Николай оставался верен своему обыкновению: заслушивал доклад намеченной жертвы, приветливо отпуская, а назавтра вручалось извещение об отставке.

Самым громким — и самым нелепым в этом плане — оказалось смещение Верховного главнокомандующего, дяди государева, великого князя Николая Николаевича. Особыми полководческими талантами он не отличался, но обладал энергией и организаторскими способностями, пользовался уважением в среде кадрового офицерства и правых политических партий.

В тот же день, 23 августа, царь возложил обязанности Верховного на себя. Это была роковая и отчетливо видимая ошибка. Хотя, будучи наследником престола, Николай Александрович и получил, наряду с общим, и высшее военное образование в объеме курса Академии Генштаба, хотя преподавали ему образованные и умные генералы, практический военный опыт (притом лишь в мирное время) ограничился участием в лагерных сборах, где он в основном развлекался в компании таких же молодых офицеров, да перед восшествием на престол короткое время и тоже почти номинально командовал батальоном лейб-гвардии Преображенского полка. Даже чина генерала он не удостоился: отец, Александр III, не успел этого сделать, а правящий государь не имел права присваивать себе какие бы то ни было чины, звания, награды; говорят, что Николай II, будучи всесильным самодержцем, весьма страдал оттого, что оставался всего-навсего полковником и имел единственный российский орден — «Георгия» четвертой, низшей степени, всеподданнейше врученный ему полковым советом Георгиевских кавалеров только за факт посещения фронтовой полосы. Характер и личные качества Николая Александровича в очень малой степени соответствовали тем, что требуются для управления огромной державой, а теперь вдобавок гигантскими армией и флотом, притом воюющими.

Быть может сознавая это, он одновременно сменил и начальника штаба Верховного главнокомандующего — вместо Н. Н. Янушкевича, крайнего реакционера и властного администратора, назначил сына солдата, генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева, человека исключительной трудоспособности, большого опыта и широких познаний (был профессором Академии). Однако и он, как и царь, страдал отсутствием твердости и решительности; прекрасная штабная выучка не сочеталась в нем с командными навыками. Вдобавок император, он же главковерх, попросту путался у начальника

своего штаба под ногами, вмешивался по мелочам, не разбираясь в стратегических вопросах, лишал Михаила Васильевича самостоятельности уже самим фактом постоянного присутствия в Ставке, отнимал драгоценное время на чисто ритуальные доклады об обстановке на фронтах (дважды в день), каждодневно устраивал совместные с высшими офицерами обеды. Притом Алексеев практически руководил всеми важнейшими операциями. Принятие на себя царем обязанностей главковерха было одной из причин поражений русской армии в 1915/16 годах.

(Между прочим, свое вступление в командование царь объяснял, конечно, не влиянием жены, а тем более Григория Распутина, но повелением Свыше: молясь перед иконой Святого в Царском Селе, он услышал Голос, который повелел ему принять это пагубное решение.)

На заседании Совета Министров, еще до официального объявления царской воли, 6 августа, недавно назначенный военный министр Алексей Андреевич Поливанов говорил, не сдерживаясь, хотя очевидно нервничая: как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть еще более страшное событие, которое угрожает России, я сознательно нарушаю служебную тайну и данное мною слово до времени молчать...

Восемь министров подписали Всеподданнейшее прошение воздержаться от самоназначения. Но государь отличался не только слабоволием, но и его непререкаемым спутником — упрямством, а также и злопамятностью: 16 сентября четверых из подписавших уволил от должности. Оставил без внимания просьбу думцев Шингарева и Шульгина...

Теперь Николай стал много времени проводить в Ставке, в Могилеве, предоставив Александре Федоровне роль соправительницы. В стране образовалось странное двоевластие.

А Керенский продолжал колесить по просторам империи. За ним укрепилась прочная репутация передового, прогрессивного думского деятеля, смелого адвоката, отменного оратора. Поездки продолжались до осени 1915 года. Все это время он пытался объединить в единое целое **н а р о д н и ч е с к и е**, как он называл, течения: эсеров, «трудовиков», народных социалистов. Но если вовлечь в демократическое движение отдельных лиц не представляло особого труда, если трое интеллигентов — это уже партия, то три подобные партии — еще не союз, объединение не удавалось никак, мелочные разногласия, порожденные реальными или вымышленными причи-

нами, личными амбициями, извечной склонностью российских интеллектуалов к речам, предпочитаемым делу, — преодолеть не удавалось. Лето, проведенное в поездках по югу России и Поволжью, в итоге оказалось утомительным путешествием. Главная задача, объявленная им на московском собрании в апреле — собрать Всероссийский съезд по созданию в н е п а р т и й н о г о союза интеллигентов с целью освобождения от политического гнета, — не была решена. Результатом прений по докладу Александра Федоровича было разве то, что многие ораторы поохрипли.

Узнав, что в сентябре по инициативе Ульянова-Ленина в швейцарской деревушке Циммервальд (Zimmerwald) состоялась Международная социалистическая конференция против войны и социал-шовинизма (38 делегатов от 11 воюющих и невоюющих стран), Керенский нашел в превосходной думской справочной библиотеке два выпуска «Социал-демократа» (№ 45 — 46 и 47) с материалами конференции и в конце года провел в Петрограде тайное совещание социалистических групп, на котором сделал обзор доклада Ленина, далеко не полностью разделяя, конечно, его позицию. Выработали и приняли резолюцию:

«1) Постоянные неудачи царской армии, беспорядок и нерадивость в управлении, ужасающие легенды об императрице, наконец, скандальное поведение Распутина окончательно уронили царскую власть в глазах народа. 2) Народ очень против войны, причины и цели которой он более не понимает. Запасные все неохотнее идут на фронт; таким образом, боевое значение армии все слабеет. С другой стороны, экономические затруднения растут с каждым днем. 3) Поэтому очень вероятно, что в ближайшем будущем России придется выйти из союза и заключить сепаратный мир. Тем хуже для союзников. 4) Если мир этот будет заключать царское правительство, то он будет, конечно, миром реакционным и монархическим. А во что бы ни стало нужно, чтобы мир был демократический, социалистический».

Керенский подвел итог: когда наступит час войны, мы должны будем свергнуть царизм, взять власть в свои руки и установить социалистическую диктатуру... (К р у т о повернул на сей раз Александр Федорович!)

Тогда же (16 декабря) он заявил в Думе: если власть пользуется законным аппаратом государственного управления только для того, чтобы насиловать страну, чтобы вести ее к гибели, — обязанность граждан этому закону не подчиняться.

Он знать не мог, конечно, о циркуляре Департамента полиции от 16 января 1915 года за № 165377, где отмечается слежка за А. Ф. Керенским, «присяжным поверенным и членом фракции «трудовиков», фиксируется, что его противоправительственная деятельность получила подтверждение в ходе тайного и открытого наблюдения за его деятельностью и связями: во время своих поездок по стране Керенский неоднократно встречался со многими лицами, «известными своей неблагонадежностью». Чинам охраны предписывалось усилить наблюдение за А. Ф. Керенским и всю полученную информацию докладывать Департаменту полиции непосредственно.

О таких циркулярах ведали, конечно, только те, кому то положено, но о слежке за собой Керенский знал отлично, и это все более раздражало — но, к чести его, не пугало. В конце концов терпение лопнуло, он решил отомстить, а заодно показать коллегам-думцам, в каких условиях они работают.

Осенью при рассмотрении Думой вопроса об ассигнованиях Министерству внутренних дел он с трибуны обратился к главе ведомства А. Н. Хвостову.

Господин министр, говорил он, у меня создалось впечатление, что ваш департамент расходует чересчур много средств. Я, конечно, безмерно признателен директору Департамента полиции за заботу о моей безопасности. Я проживаю в доме, расположенном в глухом месте, и каждый раз, когда я выхожу из дому, по обеим его сторонам стоят по два, а то и по три человека. Нетрудно догадаться, что это за люди, поскольку и летом, и зимой они носят галоши, а в руках держат зонтики. Неподалеку от них на той или другой стороне улицы стоят пролетки, на случай, если мне понадобится куда-нибудь поехать. По тем или иным соображениям я предпочитаю не пользоваться этими пролетками, а иду вместо этого пешком. И когда я не спеша шествую по улице, меня сопровождают два телохранителя. Если я убыстряю шаг, сопровождающие меня компаньоны начинают задыхаться от спешки. Иногда, когда я, завернув за угол, останавливаюсь, они пулей вылетают из-за угла, натыкаются на меня и, ошарашенные, кидаются обратно, оставив меня без охраны. Стоит мне немного отойти от дома и сесть на извозчика, как один из стоящих на углу тоже берет извозчика и кидается рысью вслед за мной. В подъезде моего дома я часто застаю за беседой нескольких очаровательных людей в калошах и с зонтиками в руках. Мне представляется, господин министр, что от 15 до 20 человек выделены для того, чтобы заботиться о моей драгоценной персоне, поскольку они



сменяют друг друга днем и ночью. Вы понимаете, что вам от всех них мало пользы. Почему бы вам не посоветовать директору Департамента полиции предоставить в мое распоряжение машину с шофером? Ведь тогда он будет знать все — куда, когда и с кем я направляюсь,— да и мне это пойдет во благо: не придется тратить уйму времени на поездки по городу и так уставать от этого.

...Хвостов оказался достаточно находчив и в некотором смысле храбр: ничего не стал отрицать, а засмеялся и ответил — если предоставить машину вам, то придется дать их и всем вашим коллегам, а это разорит государство.

Депутаты весело аплодировали обоим.

Перед Новым, 1916 годом Александр Федорович тяжело заболел, вскоре в санатории в Финляндии ему удалили почку. В столицу он вернулся только на исходе третьей недели сентября. И сразу очутился в обстановке заговоров, слухов, сплетен, интриг. Самодержавие стремительно катилось к неизбежному трагическому и позорному концу. До революции осталось ровно пять месяцев.

## Глава шестая

Изучив всю систему управления страной, я ясно осознал всю трагическую сложность отношений между правительством, формально несущим ответственность за благосостояние страны, и верховной властью, находившейся в то время в руках безответственной клики невежественных и бесчестных политиков. В то же время для всех стало очевидным, что распутинщина превратилась в позор России и что беспомощность перед ней царя ставит страну на грань нового тяжелого кризиса. Было ясно, что грядущее столкновение... лишит власти царя.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Полностью разорвав духовные связи с городскими рабочими 9 января 1905 года, с крестьянством — 8 июня 1906-го (вследствие разгона I Государственной думы, решающей вопрос о земельной реформе), к 1915 году Николай II оказался в полной изоляции. Лишился он и поддержки со стороны теперешней консервативно-либеральной Думы, созванной 15 ноября 1915 года. Его единственной опорой — если можно обозначить это именно так — стали крайние реакционеры, бесстыдные и достаточно откровенные в своей беззастенчивости карьеристы, политические проходимцы, казнокрады, «жадной толпой стоящие у трона».

Бессильный император, бессильное правительство, бессильная Дума, бессильные партии — вот кто, жаждая при этом стать единственной властью, пытались теперь править измученной страной.

Как и многие, Керенский осознал, что корень зла все-таки не в министрах, — среди них были и люди умные, дальновидные, однако не наделенные требуемой властью, — а в упрямом нежелании государя отказаться от идеи, будто только самодержавие (кстати, уже упраздненное Манифестом 17 октября, что нашло отражение в Своде законов) способно обеспечить не просто существование, а могущество России. Трагический этот самообман, внушенный ему отцом, Александром III, опирающийся на глубокое религиозное убеждение о божественном происхождении верховной власти, неумолимо вел последнего императора к политической, но, что не исключалось, и к физической гибели. По всей стране прокатился ответ монархиста (и одновременно либерала) Николая Николаевича Львова на

вопрос о том, во имя чего мы живем, во имя России или во имя царя? И Львов (не путать его с однофамильцем Георгием Евгеньевичем, будущим главой Временного правительства) отвечал уверенно: во имя Р о с с и и. Лозунг прозвучал, и он требовал действия.

Первыми откликнулись, как чаще всего бывало на крутых поворотах истории, наиболее решительные и радикальные члены общества — офицеры.

Владимир Барановский по секрету сообщил шуруину, что известный военный агитатор капитан Костенко решил уподобиться японскому камикадзе, направить свою боевую машину на автомобиль государя, когда тот прибудет на фронт, лишить жизни и его и себя. К Александру Федоровичу домой явился, испросив позволения по телефону, подполковник Михаил Артемьевич Муравьев (впоследствии служил большевикам, сделал карьеру, но затем поднял против них мятеж и был убит при аресте). План Муравьева был не столь жесток: тоже воспользовавшись фронтовой инспекцией государя, взять его в плен и надежно изолировать.

Керенский и Володе, и доверчивому Муравьеву говорил: совершенно нереально, царь ездит с огромным конвоем, ничего не получится. И что касается кровопролития — я убежденный враг, если нуждаетесь в моем совете, передайте этому вашему лихому р а с с т р е л ь ш и к у и вашему з а х в а т ч и к у: попытается взять государя в плен, тоже без крови не обойдется.

Более цивилизованные проекты вынашивала интеллигенция. Со слов близкого если пока не друга, то близкого товарища, будущего министра Временного правительства Николая Виссарионовича Некрасова, кадета и тайного масона, Керенский узнал о том, что сам Некрасов, а также Родзянко, — не кто-нибудь, а сам председатель Думы, — вместе с действительным статским советником и членом Государственного совета, тоже будущим министром Александром Ивановичем Гучковым замышляют дворцовый переворот, при котором власть переходила бы к наследнику царевичу Алексею. Переворот намечался на осень, однако сразу возникли разногласия, бесконечные словопрения, споры о том, кому войти в новое правительство, — и заговор кончился пшиком.

Зашевелились высшие военные во главе с начальником штаба Верховного главнокомандующего Михаилом Васильевичем Алексеевым, того активно поддержал уже упомянутый

Н. Н. Львов. Они решили действовать окольным путем: убедить царя в целях собственной его безопасности отправить государыню в Крым или в Англию — в ее отсутствие императора легче было подчинить влиянию Михаила Васильевича и, возможно, уладить дело по-доброму. Но генерал Алексеев заболел, и не Александра Федоровна, а он убыл надолго на юг — до свержения монарха оставалось несколько дней, никакой заговор уже не мог возникнуть, а если бы и возник — участников, скорее всего, признали бы за чужаков, смели вослед за царем.

Наконец в начале января 1917-го в Петроград прибыл генерал Александр Михайлович Крымов, командующий кавалерийским корпусом. Он встретился с Родзянко и некоторыми членами «Прогрессивного блока» (объединения фракций Думы и Государственного совета, где ведущее место занимали кадеты), призвал их к немедленному свершению переворота, заявив, что в противном случае Россия проиграет войну. После долгих дебатов решили остановить царский поезд где-нибудь между Ставкой и Петроградом, где охрану пути несли части, подчиненные Крымову, через офицеров предъявить Верховному главнокомандующему ультиматум. План приняли наконец, назначили дату — середина марта. Может быть, и удалось бы, да опоздали.

Уже после революции Гучков говорил: развитие событий требовало переворота, но общество не осознало необходимости его в полной мере и не осуществило, предоставив тем самым проведение этой операции стихийным силам...

## 2

1916 год выдался для страны трудным. Реальная заработная плата рабочих по сравнению с 1913-м выросла на двадцать процентов, но жизнь вздорожала вдвое, в том числе провизия — втрое, — говорилось в ежегодном обзоре Петроградского охранного отделения. Когда об этом доложили Николаю II, а он пересказал, по обыкновению, Аликс, та присоветовала: надо приказать заранее развешивать в кульки хлеб, муку, сахар — и очередей не будет, недовольство прекратится. То ли сама додумалась, то ли вспомнила легендарные слова королевы Франции Марии-Антуанетты, сказанные якобы во время революции 1789 — 1794 гг.: «Если нет хлеба, пускай едят булочки...»

Из уст в уста передавали слова французского посла в России Мориса Палеолога: «Не знаю, кто сказал о Цезаре, что у него все пороки и ни одного недостатка. У Николая II нет ни одного порока, но у него худший для самодержавного монарха недостаток: отсутствие личности».

Этот недостаток с лихвой искупала императрица Александра Федоровна, чья властность, решительность проявлялись еще в детстве; недаром один из высших сановников ее родины сказал русскому послу: «Какое счастье, что вы от нас ее берете».

После Гессен-Дармштадта — «великого» герцогства в составе Германского союза (территория около восьми тысяч квадратных километров, население — миллион жителей) она, вероятно, сперва растерялась и даже испугалась, оказавшись х о з я й к о й («хозяин земли Русской», «хозяйка» — так обозначал венценосный ее супруг) огромной страны. Но довольно скоро преодолела себя, став властной и целеустремленной — прежде всего по отношению к любящему мужу. Российский народ оказался ей чужд, как бы н е о ш у т и м; да что народ, если даже с большой царской семьей, с ближайшей ко двору высшей знатью сблизиться она не могла, говорить свободно по-русски не научилась, обширная ее переписка с Николаем — только на английском, которым оба владели в совершенстве.

Н е у д а ч н ы е неоднократные роды — неудачные в том смысле, что на свет появлялись одна за другой д е в о ч к и, а и царь (особенно) и она ждали н а с л е д н и к а престола; злобные, бессердечные шутки по этому поводу (императрицу не любили почти все, кто ее окружал), прекратившиеся лишь с рождением Алексея, способствовали замкнутости царицы, ее отчужденности от жизни народа и государства (в дела которого она, впрочем, вмешивалась весьма активно, особенно во время войны); обнаружившаяся у царевича неизлечимая болезнь, переданная ему матерью, неповинно казнившей себя за это, — породили у Александры Федоровны собственные недуги — фригидность (половую холодность), истерию, такие качества, как болезненная скупость, властолюбие, мистицизм, — все это невозможно было скрыть, все это резко обостряло ее взаимоотношения с ближайшим окружением.

Вокруг нее, совершенно одинокой (единственной подругой, значительно ее моложе, пользовавшейся неограниченным доверием, была фрейлина Анна Александровна Вырубова, дочь весьма крупного сановника А. С. Танеева), закружились «бесы разны», прохвосты и проходимцы разных языков, кровей и мастей.

Сперва — французы Папс (по другим источникам — Паплюс, Папус), «маг», ненадолго задержавшийся возле государыни (в 1902-м и 1905 годах); затем Филипп Ницье-Вашо, торговец из мясной лавки, ударившийся в оккультизм, посетивший в те же годы Россию и введенный к царице... Потом замельтешили русские «чудотворцы» — разная шушера: «босоножка Паша» (вдовствующая императрица, мать Николая Мария Федоровна, называла ее «злой, грязной и сумасшедшей бабой»), «блаженная» Дарья Осиповна, «странник Антоний», «босоножка Вася», косноязычный «Митя Козельский». То ли дураки, то ли придурки, они задерживались во дворце не долго.

Пока не состоялось обретение «истинного Друга», — так обозначала императрица, — Григория Распутина.

### 3

Легенды о нем складывались почти сразу после появления его и продолжали множиться до наших дней, лишь недавно, кажется, иссякли. Обширная литература о нем полна домыслов, вымыслов, противоречий, мутный ее поток то иссякал, то возрождался вплоть до второй половины 1990-х годов.

Самая ранняя дата появления Распутина и обстоятельства его описаны так: «Лет через 1011 после своего воцарения (т. е. примерно в 1895 г. — В. Е.) Николай II видит на придорожной обочине незнакомого мужичка, подманивает его пальцем к себе и, взяв под локоток, идет плечо плечом вместе с ним». Написав эти строки, официальный советский историк-любитель, сотрудник КГБ Марк Константинович Касьянов, видимо сам поняв нелепость и невозможность подобной сцены, спохватывается и добавляет: «Союз странный, если не забывать о некоторых особенностях и положения и характера царя».

Пришел из тайги во дворец, пишет Алексей Николаевич Толстой, дошел до императорского трона и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой... Выразительно сказано, но не совсем правдиво.

«Стал «пророчествовать» и «исцелять»... в самых грязных, развратных целях... использовал свою власть для самого дикого и разнузданного разврата» (Советская историческая энцикло-

педия). Отчасти так, и все же не совсем. Использовал власть, но не в этих целях.

«Жалких, полоумных людей, как Романов и Распутин» (В. И. Ленин). Совсем не так: уж кем-кем, но жалкими и полоумными оба не были.

Григорий Ефимович Распутин (по последним данным год его рождения — 1869, на год моложе Николая II), конечно, не был введен царем за ручку во дворец и не явился пряником из глухой тайги. Сибирский крестьянин, после долгих скитаний по монастырям и обителям он очутился в Петербурге (по тексту Керенского — в 1905 году). «Наделенный живым умом, необычной интуицией и необъяснимым магнетизмом, он стал вхож к митрополиту Феофану... духовнику царицы» (он же). По рекомендации священнослужителя и родственников государя представлен императорской чете. Убедив — фактами! — в том, что способен прерывать приступы болезни царевича и посулив его исцелить, Григорий приобрел огромное влияние на Александру Федоровну и часть дворцового окружения, оброс кругом поклонников и особенно поклонниц, которые его щедро одаривали. Он вошел во вкус, роль «Божьего человека», «старца» (т. е. святого). Распутин претендовал на то, чтобы стать для царя голосом простого мужика, голосом народа. Никакой наглости и стремления к власти не проявлял. В 1911 году, выдворенный из столицы по настоянию председателя Совета Министров Столыпина, покорно удалился, совершил трудное паломничество в Святую Землю (Иерусалим), к осени вернулся в столицу, та встретила его враждебно. По инициативе Гучкова Государственная дума бурно обсуждала поведение «старца» и его влияние на царицу. Распутин уехал в родную деревню, в 1914 году опять возник в Петербурге, взбудоражив новую волну слухов о его тайном влиянии на политические и военные решения царя, о германофильстве... Скандальная репутация Распутина немало повредила императрице. Мало того что ее — немку по рождению, покровительницу «германофила» Распутина — с начала войны объявили шпионкой. Расползлись сплетни и иного рода (не среди «простых людей», а в верхах): якобы Александра Федоровна сожительствует с Григорием, одновременно находясь в «постыдной» половой связи с ближайшей — единственной — подругой фрейлиной Анной Вырубовой, с которой вдобавок спят и царь и Распутин (между прочим,

после смерти Анны Александровны в 1964 году вскрытие показало, что она была девственна<sup>1</sup>.

«Мы не будем далеки от истины, если скажем, что Распутин — «газетная легенда» и Распутин — настоящий человек из плоти и крови мало имеют общего между собой. Распутина создала наша печать, его репутацию раздули и взмылили... Распутин стал каким-то гигантским призраком, набрасывающим на все свою тень» («Московские ведомости», 1914).

Распутин — якобы прозвище, данное за определенное поведение, образ жизни. На самом же деле фамилия идет от предка Роспуты (Распуты), ямщика, проводившего жизнь на распустьях дорог.

В скобках часто указывается и другая фамилия — Новых, якобы дарованная царем взамен неблагозвучной (по типу сибирских прозвищ вроде Сухих, Безденежных, Старых и проч., ведущих начало от вопроса: «Вы — чьих?» — «Безденежных»). А первоначально звучало «Новый», так якобы воскликнул малолетний Алексей, увидев незнакомое и непохожее на придворных лицо.

Следом за устными и газетными мерзостями пошли к н и ж н ы е. Злобной р а с п у т и н и а н е положил начало бывший друг, а затем завистник и ненавистник, расстрига-иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов) брошюрой «Святой чорт» (Петроград, 1917). К слову, Сергей Труфанов при большевиках сразу стал активным сотрудником ВЧК, сын его — деятель НКВД, внук до недавнего времени служил в ГРУ, — династия, так сказать. А завершением «бурного потока» печатной продукции о Распутине послужил переполненный вымыслами пасквиль Валентина Пикуля «У последней черты».

Дореволюционная всех мастей, а затем и советская пресса и историография почти всегда выдавала явление Распутина чуть ли не как главную причину разложения и распада царского режима и его гибели, тогда как распутинщина являлась не причиной, но следствием этого распада, следствием, которое не годится сбрасывать со счета, но и не стоит преувеличивать, тем более сопровождая нечистоплотными вымыслами.

Конечно, Григорий Ефимович был далеко не безгрешен. Любил основательно выпить (преимущественно мадеру). Жаловал вниманием женщин (большинство сами набивались). Сорил деньгами (задарма доставались от поклонниц), но при

<sup>1</sup> Здесь и далее использованы некоторые сведения из публикации Георгия Осипова «А был ли «русский демон»?// Новое время. 1996. № 30. Стр. 42 — 44.



этом построил в родном селе школу и пожертвовал крупную сумму на церковь; не оставил после себя ни грошика. Протезировал: писал царю о назначениях того-то и того-то на высокие посты (закон не преступал, взятки не имел; дело царя было — послушаться «старца» или нет; слушался не всегда и вообще к Распутину относился со тщательно скрываемым раздражением, покаяясь жене).

Много наговорили о живом и мертвом Распутине за семьдесят лет. Грех его, многогрешного, оправдывать; грех и лгать. «Поиск врага», «козла отпущения» всегда был жив в человеках едва ли не с первобытных времен. Озлобясь — и справедливо — на императора и его венценосную супругу, отыгрывались на Распутине, быть может, не самом страшном и зловредном в дворцовой камарилье.

И — убили. В ночь с 16-го на 17 декабря 1916 года.

Этот заговор — удался.

Григория Распутина — долго, мучительно, изощренно — уничтожали молодой князь Феликс Юсупов, недавно женившийся на племяннице государя; великий князь Дмитрий Павлович и Владимир Пуришкевич, монархист, антисемит, погромщик, депутат II, III и IV Государственных дум. В «деле» участвовали врач С. С. Лазоверт и поручик (или капитан) А. С. Сухотин.

Царь принял известие о гибели Друга без эмоций. Участники тяжкого уголовного преступления (как ни крути, а оно было) легко отделались: государь повелел отправить Дмитрия на фронт, Юсупова — в его имение, Пуришкевича оставил без наказания, тот уехал на войну под надзором военной полиции.

Во дворце все оставалось, по сути, без перемен. Николаю предстояло пребывать на престоле более двух с половиной месяцев. И жить — около полутора лет (по стечениям обстоятельств или по воле случая, столь частого в истории, его и семью расстреляют, как и Распутина, в ночь с 16-го на 17-е, только не декабря, а июля, и по новому стилю).

Может, Распутин не только пугал, но и пророчествовал, написав императорской чете: «Наследник жив, покуда жив я. Моя смерть будет вашей смертью».

#### 4

Последние шаги и верховной власти, и Думы лихорадочны, сумбурны, непредсказуемы и нелогичны, хотя в них просматривается попытка свержения Николая и Александры при сох-

ранении монархии. После гибели Распутина ненависть перекинулась на царицу, императора считали игрушкой в ее руках.

Несколько великих князей, внуков Александра II — Кирилл (р. 1876), Борис (р. 1877) и Андрей (р. 1879) — силами гвардейских полков — Павловского, Преображенского, Измайловского, расположенных в Петрограде, намеревались двинуться на Царское Село, захватить императорскую чету, заставить Николая отречься от престола, Александру Федоровну заточить в монастырь, объявить царем Алексея под регентством великого князя Николая Николаевича, бывшего Верховного главнокомандующего. Руководить заговором предложили — как имеющему некоторый опыт — великому князю Дмитрию, участнику расправы над Распутиным, но тот после долгих раздумий отказался «поднять руку на императора», сказав: я не нарушу своей присяги в верности государю.

Все это очень быстро сделалось известно охране, д е л о пресекли в корне.

Керенскому рассказывала знакомая, вернувшись из Москвы: если бы царь вдруг оказался на Красной площади, его освистали бы, а царицу растерзали в клочья... Всюду пахнет, пардон, революцией...

Власти принимали меры, какие только могли, а могли они немногое.

Явным ставленником императрицы сделался назначенный министром внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов, земляк Керенского, товарищ председателя Думы, ярый мракобес с диктаторскими замашками и признаками психических отклонений (расстрелян после Октября по приказу ВЧК).

27 декабря вместо А. Ф. Трепова по настоянию императрицы пост председателя Совета Министров получил князь Николай Дмитриевич Голицын. Не имея никакого опыта государственного управления, он со слезами на глазах умолял монарха не делать этого назначения. Николай слезам не внял. Единственное, что успел реально сделать Голицын, — ввести хлебные карточки, что не способствовало улучшению обстановки. Князь занимал свою должность два месяца и оказался последним главой царского правительства.

Последней суждено было стать и пятой сессии Государственной думы, ее заседание открылось 1 ноября. Одним из первых выступил Керенский, речь его шокировала истеричностью и грубой бранью. Но, если отвлечься от этого неприятного обрамления, отличалась достаточной значимостью. Он

обвинил правительство в развязывании «белого террора», подчеркнул, что главный и величайший враг страны не на фронте, он здесь, между нами, и нет спасения стране, прежде чем мы единодушным и единым усилием не заставим уйти тех, кто губит, презирает народ и издевается над страной. Он назвал министров наемными убийцами, предателями и трусами. Он предостерегал, что Россия находится на краю величайших испытаний, не бывавших в ее истории, грозящих анархией и разрухой. Он призывал правительство уйти, ибо оно являет собой сборище предателей интересов страны.

Председательствующий потребовал от Керенского покинуть трибуну. Левые провожали его бурными аплодисментами.

Следующий оратор — Павел Николаевич Милюков — отличался сдержанностью, но речь его произвела еще большее впечатление. Он впервые упомянул имя царицы, вполне прозрачно намекнул на ее участие в германских интригах. Прозвучало его знаменитое: «Глупость или измена?» За эту фразу, произнесенную не однажды как рефрен, и он оказался лишенным слова.

К концу года все политические партии и группировки стали единой оппозицией к монархии.

Царь явно и безвозвратно утратил чувство ответственности за положение в стране. После встречи с ним в канун 1917 года французский посол Морис Палеолог отмечал: «Слова императора, его молчание, его недомолвки и сосредоточенное выражение его лица, его неуловимый и далекий взгляд, замкнутость его мысли, все смутное и загадочное в его личности утверждают меня в мысли, которая уже несколько месяцев не оставляет меня, а именно: что император чувствует себя подавленным и побежденным событиями, что он больше не верит ни в свою миссию, ни в свое дело; что он уже примирился с мыслью о катастрофе и готов на жертву».

## Глава седьмая

Порой на съездах одной и той же партии происходили острые столкновения мнений по... жизненно важным проблемам.

Внутрипартийный подход позволил достичь замечательных результатов, наиболее важный из которых — создание программы будущей демократии в России, которая в значительной мере была воплощена в жизнь Временным правительством... Положение в России и насущные нужды нашей страны обсуждались... людьми, которые вовсе не пытались навязать друг другу свои политические программы, а руководились лишь своей совестью в стремлении найти общие решения.

*А. Ф. Керенский*

### 1

В мемуарах А. Ф. Керенского, наряду с разбросанными по разным местам намеками и недомолвками, есть небольшая, всего четыре типографские страницы, главка, помещенная как бы не к месту, малосодержательная и скорее запутывающая, нежели проясняющая поставленную в ней проблему, почти лишенная конкретной информации, написанная словно по принуждению. Между тем намеченный здесь исторический сюжет имеет важное значение для понимания событий — особенно 1917 года — и нуждается в некотором развитии и, по возможности, разъяснении, тем более что вокруг него до сих пор не развеян (и, возможно, не скоро будет развеян) туман и продолжают спекуляции различного толка.

Фрагмент этот называется у Керенского вполне конкретно: «Масоны».

Отважившись на попытку доказать (вернее, рассказать) недомолвленное своим героем, автор данной книги не имел возможности использовать архивные материалы, установив лишь, что основной их массив находится в Парижской национальной библиотеке, в личном фонде российской общественной деятельницы Екатерины Дмитриевны Кусковой, а также частично в библиотеке Гуверовского института войны, революции и мира при Стенфордском университете (Стенфорд, штат Калифорния, США), куда поездка по нынешним временам для автора невозможна да и малоцелесообразна. Использована основная литература на русском языке, имеющаяся в московских библиотеках, в ней достаточно ссылок на архивные материалы,

число которых весьма ограничено в силу особой секретности деятельности масонов.

## 2

Кто из нас, еще подростками, не читал «Войны и мира», даже не понимая поначалу всей глубины великого романа, — и кто при этом, замирая от таинственного ужаса и сладкого любопытства, желая понять описанное, не перелистывал заново и заново страницы, где описана сцена посвящения Пьера Безухова в масоны... Наверное, и гимназист Саша Керенский замирал так же...

«Пьер отвечал:

— Да, да, согласен, — и с сияющей детской улыбкой, с открытой жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной Вилларским к его обнаженной груди шпагой... Он слышал, как шепотом заспорили между собой окружающие люди и как один настаивал на том, чтоб он был проведен по какому-то ковру. После этого взяли его правую руку, положили на что-то, а левою велели ему приставить циркуль к левой груди, и заставили его... прочесть клятву верности законам ордена... С него сняли повязку, и Пьер, как во сне, увидел в слабом свете спиртового огня несколько людей, которые... держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек в белой окровавленной рубашке... Двое... приказали ему лечь... Когда он пролежал несколько времени, ему велели встать и надели на него такой же белый кожаный фартук, какие были на других, дали ему в руки лопату и три пары перчаток...

Молчание было прервано одним из братьев, который, подводя Пьера к ковру, начал читать ему из тетради объяснение всех изображенных на нем фигур: солнца, луны, молотка, отвеса, лопаты, дикого и кубического камня, столба, трех окон и т. д. Потом Пьеру назначили его место... и, наконец, позволили ему сесть. Великий мастер начал читать устав...»

А больше мы о масонах не читывали ничего; думается, и юный Керенский тоже.

М а с о н ы, или франкмасоны (по-французски *francs-maçons*, буквальный перевод — вольные каменщики), изначально ставили перед собой цели нравственного самосовершенство-

вания, являлись религиозно-этическим обществом, созданным ради облагораживания людей, объединения их на началах братской любви, равенства, взаимопомощи и верности. Такое внутреннее содержание масонство получило в XVIII веке, взяв начало от строительных товариществ Германии XII и XIII веков, распространившихся в Европе. К началу XVIII столетия товарищества пришли в упадок и перестали существовать. Тогда-то у просвещенных их сторонников в Англии возникла мысль создать на прежней практической почве организации, положив в их основу идею всечеловеческой любви. В 1717 году здесь появилась первая великая масонская ложа со своим уставом, символами, ритуалами; в 1725-м подобные возникли в Париже и других городах и странах.

Поначалу масоны рассматривали свою деятельность как символическое воздвижение Соломонова храма, построенного Соломоном, третьим царем иудейским в 1010 — 1002 годах до Р. Х. (не это ли символическое возрождение еврейской святыни послужило причиной, по которой антисемиты в новейшее время стали называть масонов сперва сионо-, затем иудо- и, наконец, *жидо*-масонами?). От идеи возрождения Соломонова храма шла и атрибутика масонов, и степени их — ученик, подмастерье, мастер. Первоначально в состав масонских лож (сообществ) доступ был ограничен, туда входили лишь представители буржуазно-аристократических кругов. Масоны осуждали проповедь национальной и религиозной исключительности, пропагандировали идеальное братство людей, объединенных определенными гуманистическими взглядами, едиными моральными устоями, стремлением к общечеловеческому взаимопониманию.

В XVIII веке масонство в различных странах, в разные периоды то категорически запрещалось властями, то ими же разрешалось и даже поощрялось, — главным образом в зависимости от общественно-политической обстановки в государстве.

К началу XX века численность лож в основных странах распространения масонства составляла (округленно): в Англии — 2900 — 3000, во Франции — 430.

### 3

Масонство в Р о с с и и условно делится на три периода. Первый (1730 — 1770) — в форме независимой от государства общественной организации. Ее основы: деизм (учение,

признающее Бога творцом Вселенной, но отвергающее Его участие в жизни природы и человечества); отрицание церковной обрядности; морализм; проповедь просвещенности и гуманности; склонность к конституционализму. Масонские ритуалы не привлекали тогда особого внимания; внутренняя система ордена весьма проста.

Второй (1773 — 1789 — 1794, годы Великой французской революции) характерен направленностью масонства против философии и социологии французских просветителей. Ложы подвергались гонениям справа (Екатерина Вторая, царское правительство) и критике слева (Александр Николаевич Радищев). Масоны отрицали необходимость социальных реформ и революций, но при этом проповедовали идеалы гуманности, братства, филантропии. Пришло увлечение мистицизмом, внешней обрядностью. Деятельность ордена запрещена Екатериной II.

Третий (1801 — 1822). Александр I разрешил существование масонских лож, рассчитывая использовать их в собственных интересах; однако надежды не сбылись: параллельно с легальными возникли конспиративные ложи, часть масонов оказалась в рядах будущих декабристов. Орден запрещен Александром I.

Отрыв масонства от более или менее широких слоев передовых людей того времени привел к ликвидации ордена, хотя и делались попытки возрождения тайных лож. Само название «франкмасон», обрусев, превратилось в «фармазон», им стали обозначать вольнодумца, притом праздного гуляку, едва ли не распутника, безбожника. Вспомним у Александра Грибоедова о Чацком: «Он фармазон! Он пьет одно стаканом красное вино! Он дамам к ручке не подходит!» (написано в 1825 году).

#### 4

Это — один из самых сложных и спорных сюжетов новейшей истории России. Первичные источники, в сущности, отсутствуют — протоколов заседаний в масонских ложах не вели, переписки — за исключением краткой, по конкретным вопросам, суть которых, как и фамилии, зашифрованы, — также. В мемуарах и самих масонов, и что-то слышавших о них — сплошные умолчания, невнятные намеки, отсутствие фактов и имен. Если (особенно за рубежом) к 30-м годам и появлялись кое-какие публикации, то они в основном посвящались ра-

зоблачениям «жидомасонов», которым иные авторы приписывают руководящую роль в Октябрьском перевороте. Исследователь проблемы писательница-эмигрантка Нина Николаевна Берберова (1901 — 1993) указывает, что реакционно настроенные русские эмигранты «дописались» до бредовых утверждений о том, что во главе масонов в России стояли Ленин и Троцкий, убившие царя и погубившие Русь. Относительно последнего утверждения спорить невозможно, однако при чем тут масоны (вдобавок — мифические жидомасоны).

В качестве примера такой «антижидомасонской» агитации можно привести цитату из черносотенной газеты «Русское знамя», органа «Союза русского народа» в 1905 — 1907 годах (взята из книги известного мистика Павла Елисеевича Щеголева «Охранники и авантюристы». М., 1930): «Человечеству угрожает новая опасность... международный жидовский синдекрит (видимо, опечатка, следует — синедрион, так назывался высший религиозный суд в древнем Иерусалиме, затем в Иудее.— В. Е.), существующий до сих пор только тайно, превращается в явное, весьма признанное учреждение, которое будет первым шагом на пути жидовского всемирного господства, первым признанием всеми государствами высшей власти жидовства... Страшные сказки воочию осуществляются жидомасонством, идущим твердо и неуклонно к тысячелетней своей цели — превращению всех народов в полных и покорных рабов народа богоубийц и сумасшедших преступников».

По выражению Н. Н. Берберовой, такое может возникнуть «только в мозгу слабоумного кретина». Если даже допустить на минуту существование жидомасонства с его всемирной, в том числе всероссийской, угрозой, нелишне было бы знать, что участие евреев в масонском движении России было редким исключением (свидетельство Иосифа Владимировича Гессена, адвоката, одного из лидеров партии кадетов, члена Государственной думы). Так, в Верховном Совете масонов страны состояли двое евреев, в ложах Петрограда-Петербурга — по столько же, в Одессе и Екатеринбурге — по одному, в Киеве и Москве — ни одного. Объясняют это естественным отбором новых членов по принципу личного знакомства: в ложах состояли почти исключительно великороссы и малороссы. Цифры, приводимые И. В. Гессеном, вызывают некоторое сомнение, но если он и преуменьшает, то ненамного.

Русское масонство (возможно, слегка, мелкими тайными группами сохранявшееся после запрета Александром I) начало возрождаться — нелегально — в Париже, в 1901 — 1905 годах,



достигнув там наивысшего развития в связи с делом Альфреда Дрейфуса (в период борьбы за его реабилитацию, 1906 год). Тогда к движению примкнули некоторые «русские французы» (постоянно живущие в этой стране) из числа интеллигентов. Особых «русских лож» не создавали, пока только приглядывались к опыту тамошних.

В 1906-м же году Великий Восток Франции (название масонского ордена, в какой-то мере выполнявшего роль международного центра) утвердил организацию нескольких русских лож, масонское движение в России, порожденное революцией 1905 года, стало расти. В отличие от европейского, оно сразу же приняло политический (а не морально-религиозный, как было в Европе) характер и находилось поначалу в глубоком подполье. Конспирация была столь глухой и надежной, что даже хорошо делавший свои дела Департамент полиции о существовании такой организации не знал. Керенский утверждал, что единственным документом, где упоминается масонское общество, является циркуляр, подписанный директором Департамента полиции за № 171902. Ходили только смутные легенды, слухи, прорывались весьма туманные намеки (например, у П. Н. Милюкова), о чем речь пойдет позже.

Идеологией возрождаемого русского масонства первоначально было: серьезным препятствием для политического укрепления России является разобщенность в левом лагере, следовательно, надо искать формы объединения. Масонская организация — вне- и надпартийная, в ней могут встречаться и общаться лидеры всех групп — не как представители враждующих, конкурирующих или дружественных партий, а как члены одного сообщества, требующего братского отношения друг к другу. Эта идеология сложилась (при участии князя Петра Алексеевича Кропоткина) к 1909 — 1910 годам. Такая практическая роль масонов в России была весьма незначительной, уступавшей основным политическим группировкам, действовавшим более или менее открыто. Революционеров среди них не значилось.

Керенский получил предложение вступить в масонскую ложу в 1912 году, сразу же после избрания в Думу. Сперва его отпугнула обрядность, театральность, внешняя мишура (в ту пору Александр Федорович подобного еще чуждался). Но выяснилось, что описанной в «Воине и мире» процедуры ныне не существует, есть лишь определенный порядок и правила.

Кандидата приглашали в обычную квартиру, давали анкетный лист, который он заполнял в отдельном помещении; завязывали глаза, вводили в другую комнату, где задавали те же вопросы. Новичок произносил клятву, лишенную пафоса: соблюдать тайну существования и содержания деятельности организации; работать по слову масонства; любить ближних; помогать бедным; следовать справедливости; любить родину и семью; иметь уважение к самому себе; подчиняться уставу; быть готовым к наказанию за нарушение устава и данной клятвы... Повязку снимали, все целовали новообращенного. Все звали друг друга братьями и на «ты» (только на заседании ложи или без посторонних).

Романтически настроенному, тянущемуся к и з б р а н н о с т и, склонному к сентиментальности (пока еще!) Александру Федоровичу и программа, и процедура пришлись по душе, через короткое время он стал членом думской ложи. Принятый именовался учеником, через год возводился в степень мастера (иногда это происходило раньше — в интересах дела).

Заседания лож проводились три-четыре раза в месяц, обсуждались только текущие политические вопросы. Члены каждой ложи знали лишь своих, но никак не тех, кто входил в другие группы. Категорически исключалось ведение протоколов, принятие резолюций, запрещалось вести личные записи в блокнотах. Отсутствовало подчинение меньшинства большинству: только дружеское воздействие, только взаимное согласие (или несогласие, каждый оставался при своем мнении).

Объединение восемнадцати лож получило название «Великого Востока народов России» и цели свои сформулировало так: низвержение самодержавия (невооруженным путем); создание, укрепление и развитие правового демократического государства; федеративное устройство страны, состоящей из национальных республик...

Руководил ложами России Верховный Совет из двенадцати — пятнадцати человек (в 1912 — 1916 годах половина его членов являлась депутатами Государственной думы), только ему были известны имена всех масонов. Реально возглавлял всю работу Верховного Совета его секретарь (в 1914 — 1916 гг. — Керенский), Совет считался отдельной ложей.

Приблизительно раз в год собирался конвент (один представитель от каждой ложи плюс все члены Верховного Совета). Он определял программу действий на следующий отрезок времени.

Особое место в работе Верховного Совета занимали вопросы, связанные с Думой, самой важной и значительной считалась думская ложа (остальные ложи формировались, если была возможность, по роду занятий: военная, литературская, актерская...). Думская ложа исподволь старалась сглаживать конфликты между левыми фракциями, стремилась к организации их совместных выступлений. Особенно тесные связи образовались с ЦК кадетов, их думской фракцией, значительно хуже обстояло дело с влиянием на социалистов (о большевиках не шло и речи).

Массовый характер участия большевиков в ложах, как утверждает историк В. И. Старцев, убедительно опровергается доступными первичными документами (равно как и участие евреев). Впрочем, масоны большевиков в свои ряды и не втягивали (и рабочих — тоже). Большевиков-масонов, вступивших в ложу без ведома своей партии, известно всего двое (а не один, как считает Н. Н. Берберова): Иван Иванович Скворцов-Степанов, член РСДРП с 1896 года, профессиональный революционер, и Семен Пафнутьевич Середа, в партии с 1903 года, земский статистик, после Октября — нарком земледелия ленинского правительства в 1918 — 1921 годах.

Подлинная активность масонов России наступила с начала мировой войны. Особенно проявилась она во франко-русских отношениях, налаженных еще в 1906 году при формировании российских лож социологом Максимом Максимовичем Ковалевским, одним из организаторов и руководителей Русской высшей школы общественных наук в Париже. Вернувшись тогда же на родину, он впоследствии подружился с послом Франции Морисом Палеологом, который в 1914 году сказал ему: надо продолжать войну с Германией, а все остальное может подождать... Если он имел в виду укрепление масонских связей, то ждать было нечего: по сути, русское масонство подчинялось «Великому Востоку народов Франции».

Достаточно, для примера, сказать, что когда французские масоны 10 августа 1914 года потребовали от российских братьев повлиять на свое правительство и помочь им в предполагавшемся наступлении — это было сделано (каким образом масоны добились, установить трудно, приходится верить все той же Н. Н. Берберовой).

Обрадованные такой отзывчивостью французы — теперь уже правительство — потребовали от России присылки сорока ты-

сяч солдат ежемесячно. Российские власти под незримым давлением масонов выполнили этот почти ультиматум.

В масонских связях двух стран главную роль с начала войны играли А. Керенский и социалист, депутат парламента, в 1915 — 1917 годах министр вооружения, ученый-историк Альбер Тома. Постоянную связь друг с другом они осуществляли через француза Эжена Пети, женатого на русской и хорошо владевшего нашим языком. И Керенский, и Тома имели одну задачу — всеми силами удерживать Россию на стороне союзников. Легальную помощь в поддержке общественным мнением этой идеи оказывал Земгор<sup>1</sup>, руководимый князем Г. Е. Львовым, будущим главой Временного правительства, то ли масоном, то ли близким к ним.

Те же функции, что и Тома, осуществлял бельгийский социалист, член правительства, член палаты депутатов масон Эмиль Вандервельде.

Видный большевик Николай Николаевич Крестинский впоследствии недоумевал, почему, приехав в Россию летом 1914-го, Вандервельде общался не столько с близкими ему меньшевиками и некоторыми большевиками, сколько с членом Государственного совета Михаилом Александровичем Стаховичем и Максимом Максимовичем Ковалевским, не зная, что все они трое — масоны. Вандервельде активно уговаривал российских социал-демократов поддержать начавшуюся войну (большевики, конечно, отказывались в соответствии со своими установками).

После подписания в 1914 году соглашения между Россией, Англией и Францией о незаключении сепаратного мирного договора с Германией русские масоны дали клятву никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять союзников. Клятва масонов, по их уставу, считалась самой высокой, превыше всех остальных — клятвы супругов, клятвы родине.

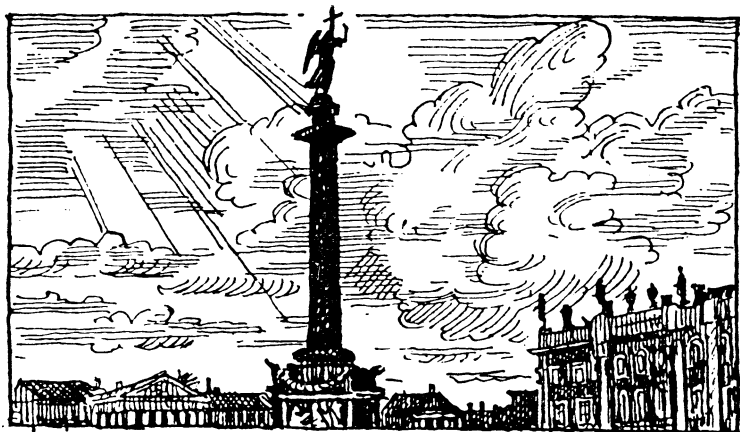
Эта клятва сыграла существенную роль в судьбе России, в судьбе Временного правительства, в возможности захвата

---

<sup>1</sup> З е м г о р — название Объединенного комитета Земско-Городского союза, военно-общественных организаций буржуазии и помещиков, созданных для помощи царизму в организации тыла для ведения войны. Союзы созданы в 1914 году, объединены в июле 1915-го. Наряду с реальной помощью фронту служили пристанищем для молодых богатых людей, освобождаемых Земгором от воинской повинности, притом носивших военную форму (специально пошитую, офицерскую), за что они получили насмешливое прозвище «земгусары». Под прикрытием Земгора совершались и всякого рода спекуляции.

власти большевиками — вот почему здесь мы подробно рассказали о масонах и еще вернемся к ним.

В 1915 году, по утверждению Н. Н. Берберовой, десять или двенадцать членов партии кадетов, несколько «трудовиков» (фракция Керенского) и генералов из высшего командования, — все являвшиеся масонами, — разработали некий политический план, с которым ознакомили английских и французских братьев. Неопровержимые доказательства такого плана, до сих пор нераскрытого, сообщает Берберова, хранятся в архивном фонде упоминавшейся выше масонки Е. Д. Кусковой, завещавшей опубликовать собранные ею документы в 1987 году. Сделано ли это — автору не известно.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ (Январь — июнь 1917 г.)

### Глава первая

С момента падения монархии в феврале 1917 года до наступления в октябре того же года краха свободной России я был в центре событий. Я действительно оказался в их фокусе, в центре, вокруг которого бушевал водоворот человеческих страстей и противоречивых амбиций и шла титаническая борьба за создание нового государства, политические и социальные принципы которого коренным образом отличались от тех, что определяли жизнь прежней Российской империи.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Новый год пришелся на воскресенье, и никаких событий в тот день не случилось. Разве что, по заведенному порядку, император в Царском Селе принимал поздравления дипломатического корпуса.

Мороз ударил невозможный, совсем не свойственный Петрограду, 38 градусов, вот-вот ртутные столбики в термометрах полопаются. На императорской площадке у собственного царского вокзальчика приезжающих поездом ждали дворцовые

упряжки, лошади обывдевели, сверкали, словно высеченные из стеклянных глыб; как только гости усаживались в кареты и кучера шевелили вожжами — кони нетерпеливо рвали с мест и несли, не дожидаясь понуканий.

Всего-то несколько минут — и приезжих обдаёт уютное тепло Большого Екатерининского дворца. Сброшены на руки лакеев тяжелые шубы, на парадной лестнице почтительно склоняются младшие члены свиты.

К частому здесь посетителю — ведь посол союзной державы! — Морису Палеологу приблизился давний знакомец, церемониймейстер и, нарушив этикет на правах старого чуть ли не приятельства, шепнул в ухо: ну что, господин посол, не прав ли я был, повторяя вам без конца, что Русь катит в пропасть, что мы совсем близки к катастрофе?

Палеолог промолчал: не место и не время для таких разговоров, хотя об этом толковали все и повсюду.

Государь в сопровождении малой свиты обходил занявших постоянные места представителей посольств и миссий, обменивался затверженными ритуальными пожеланиями, поздравлениями, рукопожатиями, улыбками. Палеолог заметил — тоже и другие — император бледен, а лица сановников напряженны и сухи. И еще показалось, что традиционный краткий банкет был еще короче обычного.

Объявив, что сего числа председателем Государственного совета назначен Иван Григорьевич Щегловитов — бывший министр юстиции, вот уж года полтора находившийся не у дел, — государь удалился. Тот, кто не спешил на мороз, остался — фуршетные столы не опустели еще...

## 2

Для жителей столицы, да и всей империи, праздник был не шибко веселым. Цены на провизию и товары ползли — вроде бы полегоньку, помаленьку, а набиралось изрядно, — магазины и лавки заметно скудели, не все, даже если позволяли средства, могли д о с т а т ь (появилось такое словечко) — всенепременный к новому году окорок, дабы запечь его в тесте, людям попроще везли еду из деревень сродственники. Крестьянам грех было жаловаться — прошлый год урожай выдался отменный, ешь — не хочу.

Керенские сразу отмечали и новоселье — перебрались от Загородного поближе к Думе, на Тверскую, дом 29, просторно,

удобно. Деньги были, обзавелись наконец горничной и кухаркой: дети, — а их было двое, в 1907 году родился Глеб, — требовали сил, времени, забот.

С двумя этими помощницами Ольга металась с раннего утра, из кожи лезла вон, с ног валилась, пот утирала полотенцем: на Рождество отпустили с фронта брата Володю, теперь полковника Генерального штаба, он задержался в пути, дороги замело, и железные тоже, а объявившись на несколько часов, куда-то исчез, к обеду обещал быть непременно. И так же негаданно Саша Овсянников, он запропал окончательно, слышали только, что служит в Земгоре, ездит на фронт и обратно, суетится по российской глубинке, добывая провиант для армии, как-то раза два-три телефонировал с вокзала, однако тоже наспех, но посулил Новый год встречать у них, ежели ничего не стряется, и, если позволят, явится не один, а с кем — это покамест секрет. Голос у него был молодой, уверенный, деловитый. Наконец, навестит, как всегда по праздникам, сестра Леночка, она носила траур по мужу, штабс-капитану, но не позволяла себе отравлять существование близких своим настроением, еще и оттого печальным, что, работая сестрой милосердия в Зимнем, чуть ли не половина которого превратилась в госпиталь, она каждодневно видела столько крови, мук и слез. Все гости оказались напрямую причастными к войне, и они, Ольга и Александр, чувствовали себя как бы виноватыми и старались хотя бы радушным и хлебосольным приемом загладить свою безвинную вину. Провизию теперь продавали как попало, где пронырливый торговец что найдет — икру взяли в аптеке, масло — в зеленой, а тетерок — так вообще в игрушечном магазине... С начала войны сложно стало со спиртным — царским указом ввели сухой закон. Простолюдины распевали: «Веселись, моя натура — мне полезна политура: мама рада, папа рад, коль я пью денатурат». Вовсю торговали самогоном, в ресторанах подавали вино в чайниках, коньяк — в стаканах с подстаканниками и ложечкой. Это все было не по ним, Керенским, но к Рождеству чиновников ублажили на службе выдачей дешевого вина, Думу не обидели — развезли по квартирам увесистые свертки с бутылками и закусками.

Александр Федорович — благо теперь рядышком, легкая прогулка, — сходил по морозу с утра в Таврический, принес бумаги и засел в обставленном по своему вкусу домашнем кабинете, сказав Оле, чтобы звала, если что понадобится, но



видно было, что предложил услуги только из вежливости, для хозяйственных дел хватало и их, трех женщин, да и не мужское это дело — толпиться на кухне, особенно члену Государственной думы, каковым титулом Оля до сих пор натешиться не могла (впрочем, и он тоже, правду говоря).

Итак, вся власть, по сути, сосредоточилась в руках Протопопова, *de facto* он, всеми ненавидимый, сделался главой правительства, — плохи, государь, ваши дела, если уж устанавливать диктатуру, если сами не в состоянии проявить волю, могли бы поставить на самую макушку власти не такого же, как вы, слабосильного, старого Голицына (известно, что по настоянию жenuшки), не — вот сегодня стало известно, — взятого мракобеса Щегловитого, не полубезумного венерика Протопопку. Плохи ваши дела, государь, но теперь мало у кого до вас заботы, а вот Россия — Россия гибнет. Она держалась — страх сказать — сто двадцать семь недель войны, вынесла немыслимые потери, пролила реки кровушки и, наконец, докатилась до разрухи, до явно близкого голода, до невиданной принудительной хлебной разверстки, до наглого грабежа союзницей-«англичанкой», до распада войска, до неверия ни во что, до отчаяния... Кто тебя спасет, Россия, и как спасет? Уж не командующий ли Петроградским военным округом Хабалов, тупица в эполетах генерал-лейтенанта, который, слышно, по приказу царя вырабатывает диспозицию размещения в столице войск для совместных с полицией действий на случай беспорядков... Неужто непонятно: на дворе не девятьсот пятый год, тогда с вздыбленным Питером управились за три дня... А нынче, коли начнется, пролетари и не на коленках к Зимнему поползут, не с молитвой... Плохи ваши дела, государь. Да и наши тоже, впрочем...

### 3

С точностью человека военного, да еще вдобавок штабного, первым явился Володя. Статный, румяный — и от мороза, и от здоровья, завидного в его сорок лет, — отряхнул в прихожей папаху, похлопал ею об колено, отстегнул, поставил рядом с зонтами шашку, одним движеньем скинул шинель, оставшись в мундире при аксельбантах генштабиста, расцеловался со всеми, включая миленькую, как полагается, горничную, каждому вручил по дарственному сверточку; племянники, одиннадца-

тилетний Олег и двумя годами младше Глеб, тарасились восторженно на полковничью амуницию и два ордена,— и, совершив сии обряды, Барановский первым делом попросил с мороза водки, да не рюмку чтоб, а — бокал. С фронтовым шиком занюхал корочкой, откусил соленого огурца, зазвенел шпорами, следуя за шурином в деловито-удобный кабинет. Условились: пока не придут Леночка и Саша с неведомо кем, но наверняка надежным,— с у щ е с т в е н н ы х разговоров не заводить, чтобы не повторять после для запоздавших, потолковали о семейном. Только не удержались и, в отсутствии дам и детей, помянули крепким словом вновь назначенного Щегловитова — наверняка очередную к р е а т у р у этой самой Аликс, чтоб ей, прости, Господи, пусто было...

Стол по нынешним временам выглядел куда как достойно, у мужчин, даже у хозяина, глаза разгорелись на забытый коньячок французского происхождения. Первый тост, конечно, с праздником, хотя какой он, к чертям, праздник. Второй тост полагался за государя, мы это пропустим, сказал Овсянников, пускай сразу будет третий. А третий был — за павших на войне, стоя, не чокаясь. Леночка (по случаю праздника не в трауре, но в с д е р ж а н н о м платье без выреза) вела себя достойно, слезинки не проронила. Тут же налили — взамен второй — и четвертую — за революцию, когда-то она будет только... И пошло-поехало — извечные российские интеллигентские разговоры — об одном и том же, и каждый по-своему, и спорили, и соглашались, и даже вроде ссорились по-свойски, и мирились тотчас. Молчала только невеста Саши — вот кого он обещал привести! — Галина Сергеевна, молчала не от девической застенчивости, женщина не самой первой молодости, суженому под стать,— помалкивала, поскольку мало что смыслила в п о л и т и к е, служила вместе с Овсянниковым в Земгоре, фельдшером, и привлекла холостяка-гуляку домовитостью, уютностью, ласковостью, а умными речами он и без того объелся по горло, особенно в своей эсеровской среде, хотя сейчас, за столом, конечно, не молчал.

Барановский достал из кармана письмо, найденное при убитом солдате (не успел, бедолага, отослать), читал вслух: «Чем дальше живется — тем хуже. Начальство нас прямо за горло душит, последнюю кровь выжимает, а кровушки мало осталось. Не дождешься того времени, когда все это... (Володя пропустил слово, якобы неразборчивое) кончится». За лето и за осень, говорил полковник, когда Румыния вступила в войну,

наша линия фронта удлинилась, а войска не прибавилось, за год — полтора миллион дезертиров, а сколько убитых, раненых, толком и не сочтешь. И уже офицерам не повинуются, и опять оружия, боеприпасов, снаряжения не хватает, воевать солдаты не хотят... А союзнички... Англия согласна доставить обещанные почти четыре миллиона тонн военных грузов, но при этом, кроме положенных ей тридцати миллионов тонн зерна, требует лен, спирт, лес, марганец, поташ, яйца, чечевичу, всего не упомянул, да, еще бобы, только что не морковку с грядки да свежие помидоры... И — везем, сами скоро с голоду будем подыхать... Он выпил в одиночку.

В какой город ни приедешь, добавлял земгоровец Овсянников, — очередищи в магазинах с ночи, недавно новое слово появилось — х в о с т ы. Дети уже с голодухи мрут. А в Питере муки — на десять дней, запасов мяса нет вовсе, того и гляди, и столичные жители горюшка хлебнут настоящего.

У нас в госпитале солдатики большинство чай пьют пустой, а сахар — в узелки, думают, случится оказия, ребятишкам перешлют; а у кого детишек нет — здесь соседей тяжелораненых угощают, говорила Лена, добрый у нас народ. Только царицу ругают да Гришку, хоть про покойника дурно говорить — грех, и она вдруг перекрестилась.

Тогда я про живого обормота расскажу, чтобы вас повеселить, вступил хозяин дома. Осенью я из Саратова вернулся, а на столе телеграмма: там арестовали местных деятелей, общавшихся со мной. Тут я мигом подумал о Протопопове, ведь земляк, оба в Симбирске родились. Звоню, прошу о немедленной встрече. Да хоть сейчас, любезнейший Александр Федорович, для вас мои двери всегда открыты. Еду, на пороге кабинета встречает. И вообразите, в ж а н д а р м с к о м мундире. Импозантно в нем выглядит, но, помилуй Бог, нашел чем рисоваться, да порядочные люди жандармам руки не подают, во многих гарнизонах их в офицерское собрание не допускают, а он красуется, как юнкер, только что надевший офицерские погоны. Усадил меня, стал излагать планы преобразования России. Еле улучил момент, подсунил ему депешу. Он: ерунда, мигом уладим. Появляется откуда-то молодой человек. Немедленно распорядитесь освободить всех лиц, поименованных здесь! Даже не поинтересовался, кто они. Вот, мол, как у нас! Единое мое слово — и дело решено. Тут я увидел у него на столе репродукцию известной картины Гвидо Рени, ну, помните, голова Христа с такими удивительными глазами: смотришь издали, они закрыты, а приблизишься —

смотрят. Протопопов мне: я никогда не расстанусь с Ним, и, если нужно принимать решение, Он указывает правильный путь... И опять завел про свою великую ответственность перед родиной. Еле ноги от него унес. И напрямик в Думу, к Родзянко, у него несколько н а ш и х. Прямо кричу: да он сумасшедший, господа. И рассказываю про мундир. Конечно, сумасшедший, говорит Родзянко, он и сюда в этом мундире являлся, притом с иконкой. И верно, на кафедру Думы с иконой выходил и громогласно к ней обращался: Мать Божия, дозволь ли мне слово молвить? То ли паяц, то ли безумец. И на днях в Совете Министров орал: я прикажу этого Родзянко арестовать и эту Думу разогнать. Родзянко, понятно, доложил государю. Тот помолчал, по обыкновению, а потом говорит: в губернское собрание его выбирали, в Думу, в товарищи председателя Думы — не был сумасшедшим? А как только я назначил министром — сразу все разом закричали: сумасшедший, сумасшедший... Вот и все государево слово. Хотел бы я знать, что он еще натворит, закончил Керенский.

«Про то попка ведает, про то попка знает», — пропел Овсянников недавно пущенную частушку.

#### 4

В январе П р о т о п о п к а арестовал Рабочую группу Центрального военно-промышленного комитета, состоявшую действительно из рабочих и превратившуюся в открыто революционную организацию. Арест произошел после того, как провокатор Абросимов донес министру о том, что лидеры оппозиции в Думе — Гучков, Коновалов, князь Львов и другие — намерены 14 февраля, опираясь на Рабочую группу, организовать массовое выступление рабочих и взять власть в стране. Арест Рабочей группы 27 января, слухи о том, что Николай поручил готовить манифест о роспуске Думы, назначение казачьего генерала Хабалова командующим столичным округом заставили заговорщиков отказаться от своего плана. Но почти сотня тысяч рабочих все-таки провели мирную демонстрацию.

Родзянко передали личное указание государя: впредь Дума сможет заседать только при условии, «если не допустит новых непристойных выпадов против царя».

Заседание открылось 14-го, а на следующий день обсуждался вопрос о роли Думы в противостоянии между властью и страной, оно близилось к крайней опасной точке.

Выступая, Керенский сказал, что ответственность за положение в России лежит не на мертвой бюрократической машине, как утверждает Павел Николаевич Милюков, даже дело не в неких «темных силах», на которые намекают иные ораторы, — ответственность лежит на к о р о н е. Темные силы, скажем Распутин, исчезают, но система не меняется. Хаос в государстве налицо, и я спрашиваю вас, господа депутаты, есть ли у вас сознание политической ответственности, желание и способность в этот исторический момент подчинить свои личные и социальные интересы — интересам народа? Я скажу, господа: этого сознания у вас еще нет. Исторической задачей русского народа сейчас является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало, героическими личными действиями тех людей, которые этого хотят, это исповедуют... Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в издевательство над народом? С нарушением закона есть только один путь борьбы — путь физического устранения...

Председатель Думы распорядился исключить из стенограммы призыв к свержению тирана; министр юстиции прислал требование о лишении Александра Федоровича депутатской неприкосновенности для привлечения к судебной ответственности за совершение тяжкого преступления против государства.

Не лишили. Не привлекли. И Думе, и министру, и суду было уже не до таких частностей. Похоже, власти начали понимать: в столице произойдет — вот-вот произойдет! — нечто небывалое, непохожее на о б ы ч н ы е забастовки и манифестации, к которым, правду говоря, в столице уже все привыкли, и после 9 января 1905 года все эти выступления рабочих разрешались более или менее благополучно, а с началом войны, на волне общего патриотического подъема и прекратились вовсе, возобновившись только после поражений на фронтах, развала армии.

Могло бы, вероятно, обойтись и сейчас. 14 февраля демонстрация возле Думы была мирной, хотя Путиловский завод — его рабочие составили подавляющую массу манифестантов, — конечно, остановился. Власти не почувствовали приближения грозы. Больше того: они грозу спровоцировали.

16 февраля было принято решение о карточках на хлеб. Его еще не успели ввести в действие, как по городу пошли слухи: вместо двух фунтов будет фунт на взрослого и полфунта на ребенка. У булочных увеличались хвосты. Ругали царя и царицу. Вместо опровержения слухов и срочной отмены кар-

точек генерал С. С. Хабалов, по общему мнению — бездарный, безвольный, даже неумный, — использовав данную ему царем неограниченную власть, повысил цены на продовольствие, это было 17-го. Тотчас на Путиловском возобновилась забастовка, требовали увеличения расценок. Большевики — открыто не выступая — подкинули лозунги: долой монархию, долой войну, да здравствует демократическая республика, да здравствует Временное революционное правительство! Лозунги эти мало кто слышал и видел, мало кто понимал, мало кто придавал им значение: стачка носила экономический характер, а призывы д о л о й исходили неведомо от кого.

Администрация Путиловского объявила локаут, выбросив рабочих за ворота. Десятки тысяч озлобленных людей стали бесцельно бродить по улицам, небольшие группы сливались друг с другом, делегации отправлялись на другие предприятия, путиловцы призывали ко всеобщей забастовке. Она из депутатов явилась к Керенскому, известному в заводской среде, — просили заступничества. Что я могу сделать, господа, отвечал он, теперь ваша судьба, скорее всего, в собственных ваших руках. Александр Федорович пребывал в состоянии растерянности, ситуация складывалась непонятная: то ли очередная забастовка, то ли...

Он взял извозчика и поехал наугад. Сплошных колонн еще не было, шли отдельными группами, возникали летучие митинги. Написанных на полотнищах лозунгов незаметно, только выкрики: «Хлеба! Хлеба!» И — еще пока редко — «Долой войну!». Доехал до Выборгской. Пошел пешком, вступал в разговор, отвечали охотно, не чуждались б а р и н а. Здесь бастовали почти все. Демонстрация направлялась к Литейному, чтобы оттуда выйти на Невский, полиция — пока только уговорами — пыталась их в центр города не пропустить.

До вечера Керенский пробыл в Думе. Часть демонстрантов, сообщали сюда стражи порядка, прорвалась-таки по льду, через Сампсониевский мост к Невскому, но дальше их не пустили. К десяти часам улицы обезлюдели. Разгромленной оказалась только булочная Филиппова на Большом проспекте Васильевского острова, где не хватило хлеба на всю очередь. Начальство сочло, что порядок восстановлен.

В этот же час Николай II выехал поездом в Ставку, в Могилев. Никакой в о е н н о й нужды в этом не просматривается. Создается впечатление, что царь попросту б е ж а л, решил о т с и д е т ь с я вдали от мятежной столицы, под прикрытием войск и надежной личной охраны. Странно, как он

решился оставить горячо любимую семью... Впрочем, Протопопов заверил государя, что все будет в порядке... Так закончилось 22 февраля.

23-го был Международный женский день (по новому стилю — 8 марта, его праздновала вся Европа и Северная Америка). В Питере погода круто переменялась, мороз внезапно упал, потеплело до восьми градусов выше нуля. Социалистам удалось организовать манифестацию к городской думе, по Невскому, требования — женское равноправие и хлеб. Шли словно на гулянье — пели, приплясывали, разухабисто играли гармошки. Казачьи патрули не то что не поднимали нагаек, напротив, улыбались, кричали что-то приветливое, им отвечали тем же. Полиция скорее делала вид, будто пытается рассеять демонстрацию, однако не усердствовала. По более поздним сведениям, в этот день бастовали от 80 до 130 тысяч рабочих, но день прошел спокойно, к шести вечера в городе стало тихо.

Днем заседала Дума, она обсуждала положение с продовольствием.

Керенский поднялся на кафедру.

Я взял на себя обязанность передать вам то, что мне вчера сказали путиловские рабочие, которые у меня были. Они просили меня передать следующее: скажите вашим товарищам, членам Государственной думы, что мы сделали все, чтобы этого закрытия завода не последовало... Я ответил им: я сомневаюсь, чтобы большинство Государственной думы поняло вас; кажется, общего языка между вами и ими нет никакого; но я обязанность свою исполняю, господа, передаю вам требования рабочих (слева и в центре голоса: напрасно!), я вам передаю. И если н а п р а с н о, то сделайте то, что считаете необходимым по своему усмотрению, но сделайте, сделайте, этого требует от вас гражданский долг настоящего момента.

Дума прислушалась-таки, приняла резолюцию, пытаюсь положить конец провокационным действиям дирекции Путиловского завода и правительства.

**П о з д н о!**

Государь, едва тронулся поезд, распечатал конверт. У них с Аликс была традиция (или своего рода игра, сейчас не слишком-то веселая): при его отъезде она вручила н а п у т н о е письмо (как всегда, на английском). То, что писала она сегодня, он слышал не впервые. «Только, дорогой, будь тверд, покажи властную руку, вот что нужно русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту, — дай им теперь почувство-

вать порой твой кулак. Они сами просят об этом — сколь многие недавно говорили мне: «Нам нужен кнут!..» Они еще боятся тебя и должны бояться еще больше, так что, где бы ты ни был, их должен охватывать все тот же трепет...» Оставшись в Царском Селе, она чувствовала себя почти наместницей во всем российском тылу. И не теряла головы, получая из Петрограда все более устрашающие сведения о событиях. И после, в ссылке, она будет упрямо твердить, что, если бы в решающие дни была рядом с мужем, отречения не последовало бы... Она, конечно, ошибалась: революцию уже невозможно было прекратить. Но не исключено, что властный характер и почти безраздельное влияние императрицы могли бы затормозить решение Николая об отречении, повернуть события как-то иначе... Впрочем, большинство ученых придерживаются того убеждения, что исторические события нельзя рассматривать в сослагательном наклонении: «что было бы, если бы»... Автор этой книги придерживается иной точки зрения: многие события имеют альтернативу... И в контексте исторического развития, подчиняющегося определенным (или предопределенным) закономерностям, нельзя отрицать роль случайностей, побочных факторов...

А царский поезд шел спокойно, в городах его встречало местное начальство, народ приветствовал государя, кланялся в пояс, кричал «ура».

И в Ставке было тихо. Генерал Алексеев встретил обычным докладом, привычно отобедали со штабными чинами, присутствовали и главы военных миссий союзников. Ставка надежно охранялась. Отпустив всех, Николай Александрович сел за ответ жене.

«Ты пишешь о том, чтобы быть твердым повелителем, это совершенно верно. Будь уверена, я не забываю, но вовсе не нужно ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Спокойного, резкого замечания очень часто совершенно достаточно, чтобы указать тому или иному его место... Здесь... так спокойно, ни шума, ни возбужденных криков...»

Успокаивает? Нет, скорее — уверен в себе, в своем Божием предназначении, в незыблемости власти. Помолившись, он лег и спал, как всегда, безмятежно.

24 февраля. С самого утра движение возобновилось, обстановка в Питере делалась все более напряженной. На улицы вышли 160 — 200 тысяч рабочих (а бастовали или оказались выброшенными на улицы из-за локаута в общей сложности



около 300 тысяч). Уже слышались возгласы: «Долой царя!», «Долой правительство!», пели «Марсельезу». Власти перегородили мосты кордонами, однако Неву переходили по льду, прорывали оцепление, конным жандармам кричали: «Кровопийцы!» Казаки не подчинялись приказам властей. Начались погромы — грабили магазины. Убивали городских — почему-то пока злоба сосредоточилась на них, самых безобидных из всех стражей порядка. «Повеяло духом русского бунта, духом безграничного насилия без цели и разбора — голая жажда разрушения», — пишет современный американский историк Ричард Пайпс, специалист по истории русской революции.

Керенский в Думе обратился к депутатам от «Прогрессивного блока»: ваши слова в этом зале не доходят до народа, их запрещает цензура; вы возбуждаете народ, а когда он выходит на улицы, чтобы защищать то, что ему дорого, призываете рабочих вернуться к станкам и бросаете массам упреки в измене и провокации...

Расширенное заседание правительства обсуждало лишь продовольственный вопрос, словно не замечая событий в городе. Буржуазная публика не придавала им особого значения. Газеты сообщали о бытовых и уголовных происшествиях, о предстоящих скачках на ипподроме.

Александра Федоровна известила мужа: сын и двое дочерей заболели корью. Не ответив ей (?), Николай через Алексева отправил Хабалову телеграфный приказ: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки». Ни он, ни генералы в Ставке явно не понимали серьезности происходящего: Протопопов и Хабалов дезинформировали их.

25 февраля. Стачка в Петрограде стала практически всеобщей: 300 тысяч бастующих. Полиция пыталась вмешаться, казаки заколебались. Появились первые убитые и раненые. Хабалов, получив царскую телеграмму, был удручен: он хотел обойтись без вооруженного столкновения с восставшими. Повинуясь приказу государя, он отдал распоряжение о запрещении уличных собраний и предупредил, что войскам дан приказ открывать огонь по демонстрантам. Листовки с приказом срывали сразу же, как только их расклеивали. Александра Федоровна отправила мужу записку, советуя не стрелять.

Николай в Ставке спокоен, придерживается обыденного распорядка: с 9.30 до 12.30 — работа с начальником штаба, потом завтрак, в 2 часа пополудни — прогулка на автомо-

биле, в 5 часов — чаепитие, в 7.30 — обед. Никаких записей в дневнике. Из письма жене ясно, что больше всего императора беспокоит здоровье детей; обещал приехать домой через два дня.

В ночь на 26-е контроль властей за бастующими утрачен, на Выборгской стороне поджигают полицейские участки.

26 февраля с утра столица заполнена войсками, горожанам запрещено появляться на улицах, мосты подняты или разведены. Рабочие не повиновались, к полудню прорвались в центр. Во второй половине дня начали открывать огонь по скоплениям бунтовщиков. Только на Знаменской площади, у Николаевского вокзала убито сорок человек и столько же ранено ротой Волынского гвардейского полка. Под натиском силы рабочие затихли к ночи.

Родзянко телеграфировал царю: «Положение серьезное. В столице — анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Ответ (не Родзянко, а брату Михаилу) через Алексева: «Все мероприятия, касающиеся перемен в личном составе (правительства.— *В. Е.*) Его Императорское величество отлагает до времени своего приезда в Царское Село».

Вечером председатель Совета Министров Н. Д. Голицын передал Родзянко повеление царя отложить заседание Думы до апреля.

К ночи опять затихло. Последнее затишье перед грозой.

## Глава вторая

Вопрос был решен: монархия и династия стали атрибутом прошлого. С этого момента Россия, по сути дела, стала республикой, а вся верховная власть — исполнительная и законодательная — впредь до созыва Учредительного собрания переходила в руки Временного правительства.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Когда началась революция, называемая Февральской? Была ли она революцией в смысле самостоятельного исторического сюжета? Каковы ее хронологические рамки?

Упомянутый выше профессор Ричард Пайпс пишет: «События такого масштаба не имеют ни ярко выраженной исходной точки, ни четкого финала. Историки уже давно ведут споры о датировках событий средних веков, эпохи Ренессанса и Просвещения. Точно так же нет единой и бесспорной датировки периода русской революции... Революционное движение становится существеннейшей чертой российской истории уже с шестидесятых годов прошлого столетия».

Фазами русской революции Р. Пайпс считает восстание 1905 года; февральские волнения 1917-го, закончившиеся большевистским переворотом (он продолжался три года); возобновление революции в 1927 — 1928 годах (длилось десять лет). «Можно даже сказать, — продолжает он, — что революция завершилась лишь со смертью Сталина в 1953 году». Точка зрения, конечно, не бесспорная, но заслуживающая вдумчивого рассмотрения.

Что касается событий 1917 года...

Если относительно двух этапов русской революции в России нет и не было сомнений — даты их общепризнаны: 9 января 1905-го и 25 октября 1917 года, — то относительно третьего (второго по счету) этапа разногласий хватало.

Буржуазные либералы считают началом революции 1 ноября 1916 года (выступление П. Н. Милюкова с его знаменитым вопросом «Глупость и измена?» и открытым разоблачением самодержавия перед лицом Думы и всей общественности). Затем называли даты февраля: 21-е («хлебные бунты»), 23-е (массовые демонстрации и Международный женский день под революционными лозунгами), 27-е (всеобщее восстание в Пет-

рограде, возникновение двоевластия); 2 марта (отречение Николая II, образование Временного правительства).

Автору этой книги представляется наиболее убедительной позиция, согласно которой Февральская революция как акт кардинального изменения общественного строя в России происходила 27 февраля — 3 марта (12 — 16 марта по новому стилю) и затем как процесс до 25 октября.

Исходя из этой точки зрения и поведем дальнейшее повествование.

## 2

Около восьми утра 27 февраля Керенского разбудила Ольга, сказала, что звонил Николай Виссарионович Некрасов (товарищ председателя Думы, кадет, участник последнего заговора против царя), просил передать о перенесении заседания Думы и о восстании Волынского полка.

Пока Александр Федорович пил наспех кофе с молоком и горячей булочкой, по адвокатскому обыкновению досконально разбираться в любом деле, заглянул в справочник: Волынский лейб-гвардейский полк (переименованный в резервный гвардейский) сформирован в 1817 году, ровно сто лет назад, дважды участвовал в подавлении польских мятежей, участвовал в боях с турками; в списках его навечно числился Александр II; с 1879 года и по сей день шефом полка являлся Николай.

Располагался полк в Виленском переулке и на Парадной улице, это рядышком, возле Таврического, а что, если отправиться туда в одиночку, своим думским авторитетом, своим ораторским искусством, своей волей (вопреки истине, он в наличии ее не сомневался), — утихомирить, выяснить, что к чему, чего хотят, за революцию или против (если за царя — попробовать переубедить). Заманчиво, но опасно: не зная брода, лезть в воду. Нет, сперва в Думу, ходьбы, если быстро, пять минут. А вообще уже ясно: надо с друзьями-депутатами, единомышленниками, не дожидаясь раскручивания событий, двинуть в казармы и там, на месте, решать, как поступать дальше.

Он сразу же пошел в Екатерининский (место заседаний Думы) зал, тотчас встретил Некрасова (опередил-таки!), Ивана Николаевича Ефремова (лидер фракции прогрессистов и —

масон), Николая Семеновича Чхеидзе (меньшевик, но — с в о й). Быстро обсудили царский указ о переносе думских заседаний, решили не повиноваться и призвать к тому же остальных. Чхеидзе рассказал, что знал о положении в Во-лынском полку, там восстала рота во главе с унтером из студентов, одного офицера убили. К ним начали присоединяться соседние Преображенский и Литовский гвардейские полки, собирались на Литейный, кажется, уже идут. Прислушались: похоже, играет военная музыка, значит, скорее всего, двигаются туда. Революция, сказал Керенский. Да нет, обычная заварушка, ответил Чхеидзе, то ли в самом деле так думал, то ли выдавал желаемое за сущее — революции он побаивался, считая преждевременной.

Надо, надо идти, заторопился Керенский, это, друзья, наш первейший долг... Он почувствовал с недавних пор появившееся, отчасти истерическое, хотя при необходимости управляемое, оживление. Я, если не возражаете, к преображенцам, там я кое-кого знаю.

До Преображенского не дошел, затянуло как водоворотом в Во-лынский. На штатского никто не обратил внимания. Б у н т о в а л а не одна рота, весь полк, разобрали оружие, готовились выступить. Из разговоров понял, что делегаты в другие части уже отправились. Остановил первого встречного штабс-капитана, представился, показав удостоверение. Очень рад, т о в а р и щ Керенский, неожиданно сказал тот. И, не дожидаясь вопросов, торопливо проинформировал: нет, офицеров больше не трогают, начальника учебной команды убили сгоряча. Полк — управляем.

Вернулся в Думу к полудню, там было пустынно, сказали, что все господа депутаты собираются в зале. Забежал в буфет, залпом выпил бутылку минеральной воды, посидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза, он посидел бы и еще, но старый служитель, из тех, кто знали всех депутатов в лицо и поименно, сказал с почтением: Александр Федорович, покорнейше просят на заседание Совета старейшин, в кабинет председателя. Усталости как не бывало, его словно подбросили, и к Родзянко он не то ворвался, не то вломился.

Михаил Владимирович держался уверенно, спокойно. Огласил текст своей уже отправленной телеграммы Николаю: «Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры, ибо завтра уже будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии». Предложил выйти к

депутатам, объявить царский указ о приостановлении работы Думы и попросить всех разойтись по домам. Коротко изложил обстановку: военный министр М. А. Беляев («мертвая голова», громко произнес кто-то прозвище, данное генералу) еще в десятом часу утра заверил: все меры приняты, беспорядки будут прекращены. Едва ли, не удержался от комментария председатель Думы.

Господа депутаты в Екатерининском зале прений не открывали. Законопослушные вчерашние ретивые говоруны без разговоров и голосования — как смеют теперь голосовать! — приняли царский указ к неуклонному исполнению, тотчас перешли в другой зал, еле вместивший всех, решили называть это частным совещанием членов Думы (частные совещания как бы отдельных лиц ведь не запрещены), оставаться здесь допоздна, следить за обстановкой, наверняка будут докладывать преданные люди. Стало душно, распахнули несколько окон, завоняло дымом. Пожар! Поспешили на крыльцо, столбы дыма и пламени поднимались над зданием судебных установлений и домом предварительного заключения, послали двоих полицейских из охраны, те мигом вернулись, доложили, что пожар не тушат, заключенных выпустили на свободу.

Вскоре освобожденные из-под ареста члены рабочей группы вместе с войсками и различными общественными деятелями явились в Таврический, к ним, занявшим один из малых залов, присоединилась группа левых депутатов. Керенский в их числе. Лицо Александра Федоровича было почему-то испачкано копотью, ему сказали, он наскоро сходил умыться.

Член рабочей группы рабочий-меньшевик Кузьма Антонович Гвоздев, напомнив о Петербургском Совете рабочих депутатов 1905 года, разогнанном, арестованном, затем сосланном, предложил возродить этот орган народного представительства. Дружно захлопали, постановили: оповестить все фабрики и заводы, просить прислать к семи вечера своих представителей, по одному от каждого предприятия. И из воинских частей — представитель от всех без исключения рот. Надо пойти, решил Керенский, может, выберут в Совет, наверняка выберут, уйти в случае чего никогда не поздно, важно не затеряться в этой кутерьме, важно оказаться на плаву, и важно, очень важно быть при деле. Что бы там ни говорил Чхеидзе, а это — революция.

Депутаты бродили по вестибюлю, снова возвращались в зал. То и дело подъезжали самокатчики, вбегали телефонисты, приносили новые и новые известия: у Литейного моста рабочие сомкнулись с солдатами; направляются сюда, к Думе, вот-вот будут; всего, по приблизительным подсчетам, солдат взбунтовалось тысяч двадцать пять; горит Литовский замок, он же военная тюрьма, горят губернское жандармское управление, почти все полицейские участки; на Дворцовой стоят полки Преображенский и Павловский, не желают быть карателями; всюду ловят полицейских, избивают, убивают; с офицеров срывают погоны, отбирают револьверы; всюду мечутся автомобили с солдатами, рабочими, студентами, стреляют из винтовок, иногда из пулеметов. Созданный Хабаловым карательный отряд сгинул без следа, соединился с повстанцами...

А Таврический дворец переполнялся, переполнялся. Это были, писал впоследствии Л. Д. Троцкий, «серые солдаты, как бы контуженные восстанием и еще туго ворочавшие языком».

Он говорил сущую правду.

Восстанием никто не руководил, оно поднялось стихийно. И главную роль в нем играли не рабочие, а солдаты — крестьяне в шинелях, темные, не то что не имевшие никакой политической программы, а попросту не понимавшие ничего ни в какой политике, не отличавшие — даже не слышавшие про них — кадетов от большевиков, «октябристов» от меньшевиков. Они не требовали никакого свержения самодержавия, никакой демократии. Они кричали: дайте хлеба, дайте волю, долой войну, дайте землю, отпустите по домам. Что им было до каких-то неведомых свобод, они жаждали воли, воли, и только, а с остальным управятся сами. А пока — грабили магазины, рестораны, богатые квартиры, орали, опустошили думский буфет («Дума превратилась в городской котлопункт», — ехидно заметил В. В. Шульгин).

К четырем часам пополудни в их руках был весь город, за исключением градоначальства, Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Зимнего дворца. Совет Министров, потеряв рассудок или, мягче, чувство реальности, потребовал от Хабалова ввести осадное положение. Генерал только усмехнулся: в его подчинении осталось вполне надежных лишь две тысячи солдат из ста шестидесяти тысяч, он со штабом метался: из градоначальства в Адмиралтейство, оттуда в Зимний, там и остались на ночь. Царская власть в столице пала.

От панической телеграммы Родзянко царь попросту отмахнулся, сказав постоянно сопровождавшему его министру двора барону Фредериксу: опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать.

Но вскоре он заколебался: в тот же день, 27-го, пришли депеши от Хабалова, от императрицы (несколько), от брата Михаила, от председателя Совета Министров Голицына, от военного министра Беляева. Все они предупреждали, просили, настаивали, требовали: обстановка неуправляема, нужно новое правительство, надо идти на уступки. Никто пока не говорил об отречении, хотя Михаил упомянул о том косвенно, предложив себя на роль регента. Николай уединился, размышлял над этими телеграммами. И наконец принял решение, подсказанное князем Голицыным: назначить военного диктатора, способного навести порядок в мятежной столице. И пригласил генерала от артиллерии Николая Иудовича Иванова, человека особо близкого: он был крестным отцом любимого государева наследника Алексея, он проявил инициативу и посоветовал георгиевской думе Юго-Западного фронта наградить императора орденом Святого Георгия, единственной боевой наградой Николая, которой он весьма гордился. Шестидесятишестилетний генерал не одряхлел, обладал волей, и после долгой беседы с глазу на глаз он получил чрезвычайные полномочия: отправиться с отборным отрядом в восемьсот человек, в основном георгиевских кавалеров, в Царское Село, где его должны будут ждать семь специально отозванных с фронта полков и три пулеметные команды. Иванову предписывалось взять командование военным округом, отстранив Хабалова, подчинить себе всех министров, предавать военно-полевому суду любых гражданских лиц.

Чуть раньше эшелона Иванова отправлялся — другим путем, чтобы не мешать продвижению генеральского отряда, — и поезд государя, решившего возвратиться в Царское Село — не для того чтобы командовать, а из-за тревоги за хворающих детей.

Казалось, исправлена грубейшая ошибка, допущенная в мятежные дни: рассредоточение власти, при котором правительство, военное и полицейское управления находились в Петрограде; в Царском Селе почти наместником стала императрица; а сам царь пребывал в Ставке. Соединение всех высших властей, сосредоточение их в одном месте, при наличии



военной диктатуры Иванова, в принципе могло изменить положение, тем более что восстание было пока что бунтом лишь одного полностью разложившегося гарнизона, страна пребывала в спокойствии. Но чуда не произошло: Николай — пока что персонально он, а не монархия — был обречен.

#### 4

Тогда же, в четыре часа пополудни, Совет старейшин Думы выбрал из своего состава группу со странным названием и смутными полномочиями и задачами: «Временный комитет Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношений с учреждениями и лицами» из двенадцати депутатов под председательством М. В. Родзянко. В комитет вошли представители основных фракций, в том числе Керенский и меньшевик Чхеидзе, остальные — члены буржуазных партий. При всей неопределенной сути этого комитета Александр Федорович против избрания не возражал: для начала — он уже замахивался на большее — это уже кое-что. И, чувствуя себя представителем власти (неведомо какой, но — власти), он по собственной инициативе вышел в вестибюль к солдатам, — те не покидали Думу, принимая ее за правительство.

И первое, что сказал Керенский: граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю — охранять Государственную думу. Объявляю вас первым революционным караулом...

Это был умный, находчивый, ловкий шаг. Они, заполнившие Таврический, не знали толком, зачем пришли сюда, их действия были непредсказуемы, их число — непомерным даже для такого обширного помещения. А тут перед ними поставили вполне понятную цель, и остатки привычного повиновения проснулись было в серой толпе. Увы, ненадолго: новая волна солдатских шинелей хлынула, втиснулась, смяла тех, кто слушал Керенского. Толпа, не знающая, зачем она тут, ничего не смыслящая в происходящем, темная, разгоряченная, готовая на все.

Очень выразительно (и злобно) написал об этом ярый монархист, бешеный от всего происходящего В. В. Шульгин: «Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенция, просто люди... С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор не оставляло меня во всю деятельность «великой» русской революции... Сколько их было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски

злое. Боже, как то было гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злое бешенство. — Пулеметов! Пулеметов — вот чего мне хотелось... Только... свинец может загнать в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя... Увы — этот зверь был... Его Величество русский народ!.. То, чего мы так боялись... уже было фактом. Революция началась».

И что бы ни говорили дурного про Керенского, далее Шульгин признает: тот имел революционные связи, были люди, которые его слушались, в отличие от других членов Думы — те никому не смели приказывать, не посмели стать властью, — Керенский вдруг почувствовал себя «тем, кто приказывает»... Вся внешность его изменилась... Тон стал отрывист и повелителен.

Начались аресты царских сановников, их доставляли в Думу. Одним из первых привели И. Г. Щегловитова, председателя Государственного совета, его буквально тащила группка неведомых людей, перед ними толпа расступалась. Керенский, услышав шум, ринулся навстречу. Остановился, загораживая путь, произнес торжественно: Иван Григорьевич Щегловитов, вы — арестованы... Сказал грозно, властно. И сразу же: господин Щегловитов, ваша жизнь в безопасности, Государственная дума не проливает крови. Товарищи, проведите его в министерский павильон (здание, стоящее отдельно от дворца, для работы, отдыха, совещаний министров, приглашенных на заседание Думы).

Даже тот же Шульгин признавал: Керенский испытывал искреннее отвращение к кровопролитию и многим спас жизнь.

В тот день министров больше не арестовывали.

Родзянко несколько раз вызывали на крыльцо: прибывала новая воинская часть приветствовать Думу, в ней видели новую власть. И Временный комитет Думы в девять вечера объявил себя таковой.

Одновременно сформировался и Совет рабочих депутатов. Безусловная поддержка давала ему возможность провозгласить высшим органом власти — себя.

Председателем исполкома Совета стал Николай Семенович Чхеидзе, высоко ценимый в партии меньшевиков, его товарищами (заместителями) Матвей Иванович Скобелев (тоже меньшевик) и А. Ф. Керенский, только что объявивший себя

эсером. (Все трое — масоны. Этим, вероятно, обусловлено то, что во всех важнейших вопросах Чхеидзе беспрекословно слушался недавнего секретаря масонской организации России — Керенского, как слушался его впоследствии и глава Временного правительства Г. Е. Львов, по одним данным, тоже масон, по другим — сочувствующий им.) Большевиком из пятнадцати членов исполкома оказалось всего двое, вскоре к ним добавились еще четверо. Но состав Совета в целом оставался эсеровски-меньшевистским, слабенькая организация большевиков в Питере никакой существенной роли в событиях не играла, ее лидеры продолжали оставаться в эмиграции. Солдаты, малограмотные и доверчивые, посылали в Совет тех, кто умел писать, а пуще того — говорить: с первых дней з а в а р у х и ораторы были в цене, весь Питер превратился понемногу в российский гигантский Гайд-парк. От солдатской массы делегатами становились вольноопределяющиеся (добровольцы со средним образованием), писари, фельдшеры, военного времени прапорщики, наскоро подготовленные в краткосрочных школах или произведенные в чин за боевые заслуги; мелкие военные чиновники; все они почти поголовно записывались в эсеры (вскоре возникло полунасмешливое обозначение «мартовские эсеры»), партия эта стремительно росла повсюду, ее лозунги были доходчивей, нежели у прочих.

Керенский, избранный в исполком, понял: вот это, кажется, и есть начало пути к власти. Совет, похоже, набирал силу с первых часов.

Видя зарождение весьма опасного д в о е в л а с т и я (а ведь еще существовал не сложивший корону царь и его правящие структуры), левый кадет Н. В. Некрасов неожиданно предложил установить военную диктатуру (не знал, что о том же помышляет, имея в виду генерала Иванова, и Николай II), поставив во главе государства кого-нибудь из высших военных. Комитет Думы отказался.

Город находился в руках гарнизона, представлявшего для всех несомненную опасность, неуправляемого, фактически без командования. Не сговариваясь, комитет Думы и исполком Совета, каждый по отдельности, создали собственные органы военного управления — никак организационно не оформленные группы из офицеров. Керенский и тут подсуетился — пользуясь членством в обоих органах власти, объединил эти группы в единую Военную комиссию, которую фактически пока возглавил он сам вместе с Родзянко.

Кругом слышалась пальба. Било полночь. Первый день революции закончился, можно считать, благополучно, без крупных вооруженных столкновений.

## 5

В четыре часа утра от перрона станции Могилев отошел балластный состав, груженный булыжником, песком, рельсами, способный своей тяжестью взорвать любую мину или даже свести или развести умышленно сдвинутые рельсы; рабочая бригада мгновенно исправила бы любое повреждение. Следом, головой почти в хвост, двинулся поезд литер «Б», занятый государевой свитой, прислугой, охраной. И через час, ровно в 5.00, тихо тронулся литер «А», государева резиденция, где лишь недавно уснул измученный за минувший день император всея Руси. Через трое суток он — последний раз в этом поезде и без сопровождения двух других составов — вернется сюда рядовым гражданином России полковником Романовым...

Караван этот, чье движение было расписано специальной службой по минутам, караван, за которым на всем пути следили начальники станций и дежурные, телеграфисты, охрана вдоль полотна,— шел по простому, прямому маршруту Могилев — Орша — Вязьма — Лихославль — Тосна — Царское Село и через без малого полтора суток, в 3.30 пополудни 1 марта должен был прибыть в конечный пункт. А параллельным курсом, еще более кратким, в 11.00 двинулся эшелон с отрядом генерала Иванова, он должен был опередить главнокомандующего и встретить его величество в Царском Селе.

Рассветало, Николай Александрович еще почивал, но на станциях — их проскакивали, не замедляя ход,— выставляли почетные караулы, оркестры наяривали гимн, солдаты кричали «ура», словно ничего не случилось. Пробудившись и выпив чая, государь сидел в салоне у окна, равнодушно смотрел на эту кутерьму и думал, скорее всего, о детях, о жене, о том, как бы поскорее добраться к ним, и знал, что доберется, ничто ему не угрожало, никакая сила не остановит его поезд, ровно, на раз и навсегда установленной скорости идущий к столице, надежно защищенный, уютный, надежный, единственный в стране такой поезд, вернее, караван поездов.

Как и полагалось, к девяти вечера прибыли в Лихославль, уже на Николаевской дороге, на прямом пути в Царское. И здесь проводники государева вагона передали адресованный

почему-то лейб-хирургу С. П. Федорову (с пометкой: «Немедленно вручить Его Величеству») пакет из обычной оберточной бумаги. Доктор поспешил в салон, забыв взять ножницы для разрезания конверта, Николай небрежно разорвал его.

От имени какого-то Временного комитета Государственной думы (это что за новости, какой комитет?) некий комиссар (еще сюрприз!) с плебейской фамилией Бубликов (Бубликов, Ватрушкин, Баранкин...) нагло извещал, что Дума (какая еще Дума, она разбрелась по домам, заседания запрещены!) взяла в свои руки создание новой власти... Не испрашивают его высочайшего соизволения, а ставят в известность, и не Родзянко, а, как его, Бубликов... И вторая телеграмма, уж вовсе чудовищная — п о р у ч и к Греков (поручик, шпендрик, слава Богу, что не унтер) т р е б о в а л от государя следовать не в Царское Село, а напрямик в Петроград... И еще — записка доктору Федорову: «Дорогой Сергей Павлович, дальше Тосны поезда не пойдут. По моему глубокому убеждению, надо Его Величеству из Бологого повернуть на Псков (350 верст) и там, опираясь на фронт Рузского, начать действовать против Петрограда». Подписал почему-то придворный историограф, милейший, воспитаннейший генерал Дмитрий Николаевич Дубенский, но при чем тут он? Николай протянул три бумаги доктору Федорову, тот молча прочитал и, как и государь, не проявил эмоций. Николай подумал и велел передать на станцию Бологое: государь изволит следовать в Царское Село. Подписал дворцовый комендант Воейков, находившийся в литерном поезде.

Дальше начались бордель, неразбериха, может быть, шантаж (последнее маловероятно, однако кто знает, что могло прийти в голову з а т у р к а н н о м у Николаю Александровичу...).

В час ночи 1 марта литер «Б» подошел к станции Малая Вишера, в 150 верстах от Питера. Там поезд остановили, вбежавший офицер доложил, что на лежащих впереди станциях Любань и Тосна — солдатский мятеж. Дождались, пока подойдет царский состав. Разбуженный Николай приказал коменданту Воейкову добираться до ближайшего ю з а (телеграфа прямой телеграфной буквенной связи), который был во Пскове, в штабе Северного фронта. Повернули назад, в Бологое, оттуда на запад. В Старой Руссе узнали, что на станции Дно предотвращена попытка организовать крушение балластного поезда, обстановка напряженная. Царь приказал следовать туда. Здесь вручили телеграмму от Родзянко: «Выезжаю

на ст. Дно для доклада вам, государь, с положением дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дожидаться моего приезда, ибо дорога каждая минута». Веяло верноподданническим духом, никаких требований. Государь решил дожидаться приезда думского председателя. Однако время шло, Родзянко не появлялся и не давал о себе знать. Терять время было дольше нельзя. Поезд взял курс на Псков.

Тем временем 28 февраля председатель исполкома Совета Чхеидзе и Керенский заявили, что Совет не допустит поездки Родзянко и, как намечалось, члена Временного комитета Думы, «октябриста» и монархиста Сергея Илиодоровича Шидловского, если они не ознакомят исполком с содержанием документа, который намерены везти царю (вероятно, написанного Милюковым, тоже монархистом). По слухам, в бумаге говорилось об отречении Николая в пользу наследника — Алексея. Через некоторое время Чхеидзе дополнительно потребовал от Родзянко, чтобы с ним поехали и представители Совета, а абзац о передаче престола несовершеннолетнему, — точнее, подростку — Алексею должен быть снят вообще. Выполнить эти требования Шидловский наотрез отказался.

В те же часы тайное совещание лидеров политических партий — кроме тех, кого причислили к социалистам, — единодушно подтвердило, что монархия должна быть сохранена, однако Николая II, ответственного за все нынешние несчастья, следует принести в жертву во имя спасения России. Александр Иванович Гучков, еще до войны выступавший против резкого изменения политического строя, чреватого, по его мнению, разрушением государственности, сейчас говорил: чрезвычайно важно, чтобы Николай не был свергнут насильственно, только его добровольное отречение в пользу сына или брата может без больших потрясений установить новый порядок. Добровольный отказ Николая от престола — единственное средство спасти императорский режим и династию Романовых, правящую уже свыше трехсот лет.

Гучкову вторил Василий Витальевич Шульгин: в этом хаосе, во всем, что делается, надо думать прежде всего о том, чтобы спасти монархию... Без нас Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Любое высочайшее повеление от его имени не будет выполнено. Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожи-

даться той минуты, когда весь взбунтовавшийся сброд начнет искать выхода сам и сам же расправится с монархией.

Надо действовать решительно, добавил Гучков, тайно и быстро. Надо поставить и х перед свершившимся фактом. Необходимо дать России нового государя. Ради сохранения династии следует пожертвовать Николаем, благо жертва невелика.

Ни о какой революции (просто забастовки идут, просто загорелся бунт, мятеж, смута, но никак не революция), ни о каком демократическом строе (а только об ответственном перед Думой правительстве доверия) они не говорили. Решено: послать в Псков Гучкова и Шульгина, ни в коем случае — не Родзянко, который спит и во сне видит пост главы нового правительства и может Бог знает о чем сговориться с царем.

## 6

С утра 28-го, едва рассвело, Керенский взял извозчика, на вопрос, куда изволите, ваше сиятельство, сказал: к Невскому, только не напрямиком, а покружи по улицам, поглядим, где что. Опасно, ваше сиятельство, осмелился возразить извозчик. Ничего, сказал он, получишь на чай достаточно. А опасно сейчас везде, молвил он тихо, для себя.

Отоспавшись и опохмелившись, спозаранку питерцы поперли на улицы, толком не зная еще зачем, там видно будет. В основном солдаты. Ружья и наганы — у каждого, к ш и н е л я м стали прибиваться и о б ы в а т е л и, и уголовная шантрапа, выпущенная из тюрем, многие тоже не с голыми руками.

Крой, Васька, Бога нет! Власти тоже нет, закона нет, гуляй, братцы, л е в о л ю ц и я!

Какая там революция — бунт, бардак, разгул, в о л я! Хватай кого придется, тащи куда попало, будет рыпаться — пристрели, на худой конец — в морду! Развеселое гулянье — вот она, леволуция! Захошь один остаться — в доме, на скверике ли — не удержишься. Толпа — она в себя втягивает, несет, вопит, орет речи — и ты бежишь, орешь, для речей слов нету, других слушать неохота, а все одно — весело... Костры горят — из господской мебели (обивку содрали, кто на портянки, кто просто так), из ковров, из п и а н и н о в, давай пали, подбрасывай, доколоти вон тую рояль, что выкинули с третьего этажа. Вон с крыши шпарят из в и н т а — не иначе городовые, жхни по ним, гадам ползучим, на них, ф а р а о н о в,

сушая идет облава по городу, жажни из пулемета, всю ленту туда, патронов не жалеть, как приказывал когда-то царев генерал. Отбирай у офицера шашки, наганы, но тех золотопогонных, что с красным бантом, — не трожь...

Красное, красное, красное — банты, розеточки, ленты, повязки на руках... Все в дело — полотнища плакатов, носовые платки, девичьи ленты, портки богачеек шелковые... Вяжи красное, куда можешь, цепляй, накальвай — под кокарду, на шашку, на штык, на ножку стула (флаг!), перехлестывай через плечо. Почему красное? А кто его знает, говорят, потому — революция! Ствол кверху — огонь в Бога-мать, залпом, в одиночку, гуртом. Один стрельнул, пускай ненароком — сразу десятки, сотни вподхват. Визжат пути, рикошетят по сторонам. Весело!

Бунт. Мятеж. Гулянье. Пальба. Бардак.

Хватит, насмотрелся. И в самом деле опасно.

В Таврическом — прежде всего в комнату тринадцать, сам же выпросил ее у Родзянко для исполкома Совета. Набито народу, словно барахла в мародерский мешок. Слухи: о солидарности с Думой заявили военные академии, гвардейские полки, население и солдаты в окрестных городах, в том числе в Царском Селе. К Питеру приближается отряд генерала Николая Иудовича Иванова, посланный государем — он все еще государь — на подавление беспорядков.

Из Совета — в думский комитет. Екатерининский зал не то проходной двор, не то базар, то и дело прибывают новые, вызывают Родзянко — уже не первый день такой, — тот охрип, да и надоело, наверно, талдычить одно и то же. Предложил Михаилу Владимировичу сменить его. И говорил, говорил, говорил с чувством пьянящего восторга: говорит свободно со свободными людьми... «Свобода, свобода, эх, эх, без креста!» — это будет написано попозже...

Пробился, улучив момент, Николай Некрасов, отозвал в уголок, сказал: здесь где-то Милюков мается над списком Временного правительства, самый момент подsunуть старому хрычу... А что, Он уже отрекся? Да нет, но туда, в Псков, ночью уехали Гучков с Шульгиным, будут д о ж и м а т ь... Да ведь они монархисты... Ну, не совсем уж кристальные: за царя, только не за Николая... Если Николаша капитулирует, значит, будет Алексей, мальчонка, баловень, а при нем регентом Ми-



хаил, это — не власть. Давай список для Милюкова, нас пятеро, может, после еще добавим, а то и сам Павел Николаевич по неведению и совпадению кого-то из наших вставит.

И, приложив к стене листок с грифом члена Государственной думы, Керенский нацарапал карандашом:

А. И. Коновалов, М. И. Терещенко, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, А. Н. Ефремов.

Масонская пятерка. Если пройдут — половина правительства!

## 7

Николай Николаевич Суханов (настоящая фамилия Гиммер, однако, вопреки злобствованиям антисемитов, отнюдь не еврей, а обрусевший немец, журналист, эсер, масон, со вчерашнего дня — член исполкома), знавший всех и вся, всюду вхожий, — заночевал в ложе Таврического и, с трудом разлепив веки, услышал странные звуки. Встал и увидел: два солдата, подцепив штыками холст с портретом царя (между прочим, кисти Ильи Ефимовича Репина) над креслом председателя Думы, дернули раз, другой, раздался треск; холст, исклоченный, повалился под ноги им, а пустая роскошная рама осталась висеть. Долго еще висела, не один день.

Половина восьмого утра. Суханов, умывшись без мыла и небритый, привычно побрел по дворцу, собирать материал для газеты. Заглянул в Военную комиссию. Войска, посланные из Ставки (те, которые генерала Иванова), то ли не дошли, не время еще, то ли застряли. Стрельбы не слышать на улице — пока? Офицеры приходят сюда, предлагают услуги, — новость, сенсация для газеты. Сдался гарнизон Петропавловки, заявил о признании власти Совета. Родзянко уехал в Охту, в запасный полк, тянуть на свою сторону. То же пытается делать исполком...

В вестибюль таскали с улицы ящики с военными припасами. И еще — какие-то разнокалиберные тюки, видно, что с бумагами, папками. На вопрос Суханова ответили: это архив Департамента полиции, депутат Керенский велел переместить сюда. Ай да Александр Федорович, ай да молодец, ведь клад — бесценный для историков; как только догадался, как успел, ведь спалили бы подобно бумагам в Окружном суде, в охранке. А Керенского надо найти, дело есть.

Керенского он увидел возле кабинета Родзянко, там же сидел перед запертой дверью сгорбленный; лицо спрятано в ладони, бывший глава правительства, ставленник Гришки Распутина без малого семидесятилетний Борис Владимирович Штюрмер, стояли еще какие-то чиновные люди, их охраняли двое со штыками. А Керенский осторонь беседовал — вот уж ни в какие ворота не лезет! — с жандармским генералом Курловым, как его, да, Павлом Григорьевичем (вот она, журналистская профессиональная память). Собственно, говорил Курлов, не понижая голоса — никто и не прислушивался, привыкли к речам, — а Керенский, сколь ни удивительно, молчал, внимая.

И вы все, Дума ваша, и пресса тоже, оклеветали монарха, вменив ему то, в чем государь ни сном ни духом... Ходынка, говорите? Вся ответственность лежит на дядюшке государя, великом князе Сергее Александровиче, простит ему Господь. Должен был проверить лично, коль был московским градоначальником. Пренебрег, доверил чиновникам, а те манкировали, вот и стряслась беда. Государю не доложили, разве он не отменил бы увеселения, не запретил гуляние, поехал бы сам с царицею на бал к французу? А девятое января, Кровавое воскресенье, как выражаетесь вы, — и тут император оказался в неведении о намерениях рабочих, о том, что в город вступили войска, что градоначальник Фуллон отсиделся в кабинете, а не вышел к манифестантам, не урезонил их отечески. А войска действовали по уставу, запрещающему подпускать к себе толпу на расстояние ближе полусотни шагов. Кроме того, Николая Александровича напугал пушечный выстрел с Петропавловки во время молебна, переживи вы такое, посмотрел бы я на вас, вот его величество и удалились в Царское Село. Войну с Японией продули? Не он командовал, а навязали эту войну тоже всякие министры, прости, Господи, генералы, да опять же пресса вкупе с политиками.

Ладно, перебил наконец Керенский, такая точка зрения не нова. Не знаю, как обернутся события, но в одном смею вас заверить, генерал: посидите в Петропавловке вместе с другими, будет время подумать. Но Николая на престоле никто и ничто не спасет, это уж — как белый день. Родзянко не ждите, я всех вас, кто здесь, прикажу отправить в министерский павильон, там теперь что-то вроде Дома предварительного заключения, только с комфортом. С полсотни там сидят, из высших...

И Керенский исчез, будто на небеса вознесся.

Он жаждал, по словам Суханова, о б с л у ж и т ь всю революцию, в которую он искренне верил, делать для нее р е а л ь н о е,— любое, пускай мелкое, но реальное, но такового не получалось, кругом говорили, говорили, говорили, и он сам, великий говорун, с радостью и упоением произносил речи, но притом старался всеми силами и делать, помогать свершению революции, он был одним из ее немногих романтиков и, плетя не хуже прочих интриги, теща собственное честолюбие, в главном оставался чуть ли не гимназистом, нацепившим красный бант, и одновременно — лицом, обладавшим властью,— увы, пока еще эфемерной, непрочной, неопределенной, но и такую он старался употребить в пользу революции. Его хватали за фалды и пуговицы, ему кричали со всех сторон, лезли с мелкими вопросами, заботами, делишками. У Суханова дело было серьезное, и, жалея забегавшегося, загнанного Сашу (они были на «ты» с 1913-го, когда Суханов после ссылки живал у Керенских, не имея крыши над головой), Николай Николаевич кинулся вдогон в неизвестном направлении и настиг в неподходящем месте, возле туалета.

Требовалось решить вопрос о типографии: деньги, провизия, охрана. Обнялись, похлопали друг друга по плечам. Суханов коротко высказал, что хотел, Керенский понял с налету, ринулся в Екатерининский зал, таща за собою друга, произнес речь для начала — и мигом организовал отряд для охраны типографии, углядел кого-то в толпе, взглядом и жестом выдернул его оттуда, назначил комиссаром (чей комиссар, с какими полномочиями? Не важно, слово «комиссар» входило в обиход и действовало безотказно), распорядился насчет денег и снабжения.

А через час в Таврическом возникла тревога. Во дворе ахнуло: то ли один, то ли два винтовочных выстрела, к ним давно привыкли, но здесь, в замкнутом, битком набитом помещении почему-то начались паника и давка. Керенский — он и тут поспел — сделал то, что было ему доступно; кинулся к окну, распахнул фортку, закричал прерывающимся и вдруг осевшим — боялся все-таки! — голосом: по местам! Защищайте Государственную думу! Это говорю вам я, Керенский, Керенский вам говорит и приказывает, защищайте вашу свободу, революцию! Все по местам!

Но и во дворе тоже бушевали паника, неразбериха, бесптолковщина, страх. Никто не слушал Керенского, или слышали

только немногие. В саду солдаты, как сообщил прибежавший оттуда прапорщик, залегли в цепь, у них пулемет. Говорят, причина в том, что за ограду проникли городовые, вооруженный отряд.

Одновременно с Александром Федоровичем вскочил на другой подоконник Суханов, тоже начал кричать. Никто не реагировал. Было ясно: тревога ложная, сделалось неловко. Керенский тоже понял это, спрыгнул на пол, стал посередине комнаты и громко раскричался на ни в чем не повинного Суханова: прошу каждого заниматься своим делом и не вмешиваться, когда я отдаю распоряжения. Николай Николаевич сдержался и с самым серьезным видом принес извинения. Керенский комизма ситуации не оценил. Вскоре стало известно, что ничего страшного ни во дворе, ни в саду не произошло, такие мелкие инциденты случались теперь на каждом шагу...

По всем помещениям в Таврическом мгновенно пронеслось: Протопопов, Протопопов!

Ненавистного министра внутренних дел, несостоявшегося диктатора искали повсюду.

Протопопов явился добровольно: он не мог предполагать, что ему угрожает, но, видимо, не выдержал напряжения; или сказалась его душевная неуравновешенность; или решился отдалиться под покровительство Думы, все-таки свои люди, ведь был у них товарищем председателя.

Он вступил в вестибюль Таврического и без выражения сказал первому попавшемуся студенту: я — Протопопов.

Ошарашенный юноша бросился к Керенскому — его лидерство в здании дворца складывалось само по себе, — но по дороге разболтал всем о сенсации, и, когда Александр Федорович подошел, вокруг бывшего министра клубилась толпа, от нее, судя по виду, не следовало ждать ничего хорошего. Керенский быстро сообразил: схватил за рукава двух подвернувшихся солдат с винтовками, приказал вести за ним «этого человека». Керенский побледнел, глаза горели, перед ним расступались, он повторял: не смей, не смей трогать этого человека, не смей к нему прикасаться. Кругом смолкли. Казалось, «этого человека» ведут на казнь, на что-то ужасающее — эту жалкую фигуру в помятом пальто и бессмысленным выражением лица. У кабинета Родзянко Керенский взял нескольких из надежной охраны председателя, под их конвоем провел задержанного — добровольно сдав-

шегося — в министерский павильон, плотно притворил дверь, — пустых комнат здесь хватало, — сказал: садитесь, Александр Дмитриевич, вам ничто не угрожает. И добавил: кроме Петропавловки.

И сам бухнулся в кресло, кажется теряя сознание, — с ним это вскоре будет случаться не раз, то ли на самом деле, то ли — играл.

Уже за полночь он спас еще одного. Он собирался домой, когда услышал уже такое знакомое р ы ч а н и е Екатерининского зала и вестибюля. Сбежал по лестнице, увидел: солдатский сброд (регулярные части находились в казармах) т е р з а е т старика, срывает эполеты, слышно, кричат: кончай гадину! Это был — видимо, приведенный из своего особняка, где он отбывал домашний арест в ожидании суда, — всем ненавистный отставной военный министр, генерал от кавалерии, без малого семидесятилетний Владимир Александрович Сухомлинов. И, узнав, Керенский опять властно прикрикнул, в ы р в а л трясущегося старца из рук толпы, прикрывая собой, повел в павильон. В ту минуту, когда вконец растерянного генерала вталкивали в дверь внутреннего перехода, несколько буйных солдат нацелились штыками. Керенский загородил собой бывшего министра: только через мой труп!

И они отступили.

«Государственная дума не проливает крови... За это Керенскому спасибо. Пусть ему зачтут это когда-нибудь». — В. В. Шульгин, ярый ненавистник Александра Федоровича.

Внизу, у входной парадной двери, — кипы газет, раздавали всем, Керенский взял, конечно. «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов», № 1, 28 февраля 1917 года. Что ж, ведь он — товарищ председателя исполкома, значит, и е г о газета...

Он возвращался пешком. Редкие прохожие — смелые, веселые — демонстрировали, что не боятся никого. Стрельба стихла, город утихомирился — надолго ли? И все ли, кто попался навстречу или догонял — неопасны? Вот эта чем-то подозрительная группа, например. Надо рискнуть, упредить. А вдруг ошибется...

Т о в а р и щ и, послушайте, крикнул он через улицу, те насторожились, остановились. И он выкрикнул: Протопопова арестовали!

Ура! Спасибо, т о в а р и щ, отвечали ему.

Он сел в передней на подставку для галош, что-то мычал на вопросы Ольги, она разула, сняла пиджак, провела в гостиную, усадила на диван, он повалился лицом к стене и моментально уснул. Было раннее утро 1 марта.

## Глава третья

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.  
Он их высоких зрелищ зритель,  
Он в их совет допущен был  
И заживо, как небожитель,  
Из чаши их бессмертья пил!<sup>1</sup>

Не раз перечитывал я эти строки во дни своей молодости, но лишь после падения в России монархии до меня дошел их подлинный смысл.

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в мировой истории, ибо он получает возможность заглянуть в глубь истории человечества, стать свидетелем того, как разрушается мир старый и возникает новый.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Напряжение вчерашнего, 28 февраля, дня еще не прошло. Забрезжило утро 1 марта, первого дня весны, предпоследнего дня монархии...

Так и не поговорив с Ольгой, — она явно обиделась, но привычно сдержалась, — еще повалевшись, уже не на диване, а в постели, поднялся в девять с чем-то, голова тяжелая, мутная, ничего не соображающая, — Ольга смотрела с жалостью и почти страхом, как он, пошатываясь, придерживаясь за стенку, побрел в ванную, прямо туда (он лежал в теплой, заранее приготовленной воде) принесла ужасающей крепости кофе, он попросил коньяку и ломтик сыру, стало легче. Лежал еще, казался долговязым — так исхудал. С трудом, неловко, отвыкнув — парикмахерская в Думе не работала, в другие не ходил, брезговал, — побрился, руки подрагивали, нервы, нервы ни к черту. Равнодушно, лишь по семейному ритуалу, спросил о сыновьях — те спали, бездельники, занятия во всех учебных заведениях прекратились, митинговали только что не первоклашки. Завтракать отказался: в Таврическом еще кормили — и всех желающих, еда простая, — и отдельно думских, с о в е т с к и х, там прилично, только вот кофе — бурда.

<sup>1</sup> Ф. И. Тютчев. «Цицерон».

С отвращением оделся п о-д у м с к и (пиджак, крахмал, бабочка, ботинки тонкой кожи, галоши) — слишком бросается в глаза среди шинелей и рабочих ваточных полушубков, однако не маскироваться же. Спросил про температуру — тринадцать градусов. Значит — шуба на меху, такая же шапка пирожком. Равнодушно поцеловал Олю. Ты опять поздно вернешься? Будь осторожен. Промолчал.

На улице — сырость, туман, мгла. Опять где-то постреливают, никак не угомонятся. Да и нет причин утихомириваться — никто ничего не понимает, что с царем, какая в столице, в России власть, листовок понаклеено, как заплат на тришкином кафтане, а чего там понаписано — дьявол их разберет. У дворца — опять толчея непотолченная, кто в Думу, кто в исполком, кто уже оттуда. Автомобиль прет прямо по тротуару. Толпа...

Сперва, конечно, узнать новости. Первая — вот какова: солдаты становятся все более неуправляемыми. Ходят слухи, будто замышляется контрреволюционный заговор, инициаторы — офицеры, в некоторых казармах у солдат отбирают оружие. Официально назначенный председатель Военной комиссии, депутат Думы полковник Б. А. Энгельгардт издал (и ночью отпечатал) приказ, вот он, расклеен в вестибюле: «Слухи (об офицерском заговоре, надо понимать), по поводу которых проведены расследования в двух полках, абсолютно безосновательны. Командующий Петроградским гарнизоном сим объявляет, что в отношении офицеров, которые предпримут подобные акты, будут применены самые решительные меры, вплоть до смертной казни».

Лихо...

Господи, что он творит, этот полковник! И так офицеров убивают на улицах ни за что ни про что, измываются, срывают погоны, отбирают оружие, насильно напяливают на них красные тряпки, а э т о т со своим приказом, да еще от имени совместной (Думы и Совета) Военной комиссии — провоцирует, льет керосин в пламя. И какая юридическая безграмотность: кто будет выносить приговоры, на каких основаниях и соответствует ли мера наказания степени виновности. Дурак он, что ли, полковник Генерального штаба... И фамилия-то в данном случае куда как неподходящая: немедленно поползут слухи о германских агентах... Поди объясни толпе, что шпионы себя не афишируют...



Кто-то рядом, тоже прочитав приказ, сказал, будто в Совете пишут свой ответный документ. Надо поскорее туда.

Ну, конечно, Николай Дмитриевич Соколов, в прошлом — его, Керенского, наставник и покровитель на адвокатском поприще, охотник и дока в составлении всяческих манифестов, обращений, деклараций, просто листовок. Толстый, потный, с всклокоченными волосьями, сидит за столом, со всех сторон обжатый солдатами, пишет набело, с подсказчиками не спорит — либо молча отвергает, либо вставляет в текст. Керенский через спины солдат поздоровался, Соколов, не поднимая головы, откликнулся, ежели не спешите, Александр Федорович, посидите здесь, заканчиваю, глянете свежим глазом...

### Приказ № 1

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил:

1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных частей.

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет Рабочих Депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра, 2-го сего марта.

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам.

4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовка, пулеметы, бронированные автомобили и прочее — должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

6) В строю и при исполнении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.

В частности, вставание во фронт (по стойке «смирно» для приветствия генералов.— *В. Е.*) и обязательное отдавание чести вне службы отменяются.

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п. — и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, и в частности обращение к ним на «ты», воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Петроградский Совет  
Рабочих и Солдатских депутатов

Все, товарищи, сказал Соколов, расходитесь, мы тут еще посмотрим с товарищем председателя исполкома Александром Федоровичем Керенским, и — в типографию. А не обманете? Не отлегагируете? (Отредактируете, надо понимать; подхватили словечко.) Помилуй Бог, ну, оставьте несколько человек для контроля.

Что скажете, Александр Федорович, прямо ведь декларация прав солдата, не так ли? А скажу так, Николай Дмитриевич: десять лет жизни отдал бы, лишь бы только Совет это не утвердил. На исполкоме буду голосовать против. Это, позвольте спросить, отчего ж? А оттого, дорогой Николай Дмитриевич, скажу между нами, солдатчина и так прет отовсюду, управы на нее нет. Конечно, им такой документ в радость. То, что с их унижением и бесправием надо кончать, это верно, но остальное — это же анархия, полный развал и без того развалившейся армии, извините за крепкое словцо, пожар в бардаке во время наводнения. Ладно, если до фронта приказ не дойдет и до прочих тыловых гарнизонов, в чем я, однако, сомневаюсь: моментально дойдет.

(Сомневался не зря: тем же вечером тюки с отпечатанными листовками, текстом приказа, грузили в поезда всех направлений, передавали по телеграфу.)

Расстались холодно, оставшись каждый при своем мнении. Но размолвка была, конечно, лишь временной: давнее дружелюбие и взаимное уважение вскоре взяли верх.

Ближайшие события показали, что Керенский был прав: приказ, с которым ознакомилась вся армия, активно способствовал разложению войска, почти свел к нулю власть офицеров, расколол армию на две части. Этот политический документ объективно был полезен лишь в одном: он внедрил в сознание солдат чувство равенства, избавил от узаконенных прежними уставами унижений. Но вреда принес больше, нежели пользы, если притом учесть резко отрицательную реакцию офицерства и особенно высшего генералитета.

Суханову уже несколько человек сказали, что его разыскивает Керенский; Николай Николаевич не удивился, он понял, что встретиться можно только единственным путем — отыскивать в кишашем людском месиве наугад. Столкнулись в одной из комнат думского Временного комитета. Оглядевшись, Керенский без предисловий оповестил: мне один из думцев шепнул, что у них возникла мысль ввести меня в кабинет министров, хочу знать твое мнение не только как друга, но и члена руководства Совета.

Ни в исполкоме, ни в Совете — и Керенский это знал, конечно, — вопрос о составе правительства еще не обсуждался, что подтвердил и Суханов. Могу сказать только от себя лично. Убежден, что абсолютно равно немыслимо как принятие власти Советами, так и образование коалиционного правительства, которое в сложившейся обстановке может быть только буржуазным. Заложник Совета в таком правительстве связал бы демократии руки. Другое дело — индивидуальное вступление Керенского как такового, он мог бы чрезвычайно усилить левое крыло в кабинете и не дать ему при первых шагах скатиться к реакционной или империалистской политике.

Ответ не удовлетворил Александра Федоровича. Он, конечно, хотел стать министром. Однако не просто одним из десятка, а (п о с л а н н и к о м д е м о к р а т и и, ее официальным (и, быть может, единственным) представителем в первом правительстве революции.

Неудачно начался день: с двумя друзьями, переговорив по важным вопросам, разошелся во мнениях, едва не рассорившись.

Зато если не утешился, то взбодрился, встретив Владимира Бенедиктовича Станкевича, доцента, умницу, сейчас — поручика саперных войск, делегата Совета от солдат. Бросился к нему: не слышали? Предлагают (уже поверил, что п р е д л а г а ю т) портфель министра юстиции. Как полагаете, принять, отказаться? Нетрудно было догадаться, какого ответа он ждет, и Станкевич сказал, не кривя, кажется, душой: да, конечно, берите, благослови вас Бог. И поцеловал Александра Федоровича, тот помчался дальше — искать поддержки, одобрения, похвалы.

В одиннадцатом часу открылось заседание исполкома. Обсуждение началось организованно и толково — почти без прений высказались п р о т и в участия в правительстве. Особенно ретиво настаивал председатель исполкома Чхеидзе: всегда ровно сдержанный, вежливый, он почти к р и ч а л, и

большинство, кажется, понимало причину: Николай Семенович боялся причастности Совета к власти. Как бы ни было, решение приняли, приступили к обсуждению условий передачи власти правительству, которое предстояло сформировать думскому Временному комитету.

Негаданно появился незнакомый полковник, многословно доложил, что Родзянко получил от царя телеграмму с приглашением на станцию Дно для переговоров, но железнодорожники не дают поезд без разрешения исполкома. Сразу возник вопрос: не вступил ли Родзянко в соглашение с императором? Большинством голосов постановили: в поезде Родзянко — отказать. Не знали, что это уже не имело значения: царь, не дождавшись председателя Думы, отбыл в Псков, куда следом помчались парламентары Гучков и Шульгин.

Ведение переговоров с Думой поручили Н. С. Чхеидзе, Н. Д. Соколову, М. Ю. Нахамкису (Ю. М. Стеклову) и Н. Н. Гиммеру (Суханову). Через несколько минут объявился Керенский, попросил разрешения присоединиться.

Собирались в комнате думского комитета. От него оказались делегированы М. В. Родзянко, П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, И. В. Годнев, М. С. Аджемов, С. И. Шидловский, В. Н. Львов, а также отсутствовавшие князь Г. Е. Львов, назначенный главой правительства, и В. В. Шульгин. Кроме Родзянко и Милюкова, отметил Керенский, все свои — он подразумевал масонов, — договоримся. А договориться надо, притом быстро, решительно, основательно: революция не ждет...

Много было пустопорожних разговоров, банальных рассуждений; со стороны демократов итог подвел Стеклов, редактор «Известий Совета»: надеемся, что образуемый кабинет примет наши требования и опубликует их как свои в программной декларации.

В принципе Милюков согласился с этим, — он председательствовал, — и каждый, вероятно, понимал, что Павел Николаевич отменно осведомлен в происходящих распрях, знает о решении исполкома, осознавал, что без соглашения с Советом никакое правительство не может ни возникнуть, ни существовать. Он понимал и подтверждал намеками: в полной воле набравшего силу исполкома как дать власть лишь намечаемому пока, но вскоре неизбежно возникшему правительству, так и не дать ее. Он видел, где находится реальная сила, с которой немислимо не быть в постоянном, непрерывном контакте, в чьих руках — обеспечить министров средствами и

условиями работы и само его существование гарантировать. Он понимал, что примет власть не из рук царя, а от тех, кто побеждает — или уже победил. А если о н и не захотят сотрудничать, если попытаются сами стать властью — Боже мой, что станется тогда с Россией! Или — бросят их, Милюкова с коллегами, на произвол судьбы — Боже мой, Боже мой... Милюков не знал только, что Совет б о и т с я взять правление в свои руки так же, как боится он, Милюков «со товарищи»... Жажда компромисса, Милюков предложил ввести в кабинет двух представителей Совета или же включить их не в качестве официальных представителей, но самостоятельных лиц с о в е т с к о г о направления. Чхеидзе и другие промолчали.

Неожиданно заговорил Керенский. Он, вспоминал Суханов, был истрепанный какой-то, с отчаянным лицом, словно случилось нечто ужасное, он говорил, задыхаясь, он что-то нес несусветное, митинговое, сумбурное, о долге каждого перед революцией, о необходимости контакта между Советом и комитетом Думы; о том, что он, Керенский, являясь товарищем председателя исполкома, есть сам по себе достаточная гарантия и недоверие к думцам есть недоверие к нему, Керенскому... Его слушали с изумлением, речь была почти бредом, ни к селу ни к городу, Александр Федорович походил на невменяемого, но к его истеричности успели привыкнуть и, жалея его, решили оставаться невозмутимоснисходительными. Замяли, как говорится. Суханов подумал вдруг: а что, если это не истерия, не срыв нервов, производящие столь отвратительное впечатление. Да, конечно, Сашка не спал несколько ночей, затратил невероятное количество энергии, ослаб, измучился — все так. Но — мелькнула догадка (и укрепилась, кажется) — Керенский, взвинченный конечно, уверен притом в какой-то своей особой м и с с и и, он готов ее защищать, он раздражен всеми, кто об этой миссии не догадывается... Александр Федорович, Саша, Сашка — м е с с и я?! Бонапарт?! Призванный — кем? — спасти революцию — революцию ли? — от кого? От царя? От рухнувшей Думы? От солдатни? От хлюпиков демократов? А если одному — спасти от всех, — кем он себя вообразил? Опять-таки — мессией? Властелином? А если — диктатором? Вдруг — так? А какой из него диктатор и ради ли диктатуры идет борьба? Стыдно, горько слушать, сознавать свое бессилие...

Тем временем депутаты предложили на рассмотрение проект решения Совета о невхождении их членов в правительство и — наоборот. Тогда Милюков огласил предварительный список. В нем не значился Керенский. Но это для всех не являлось существенным. Главное заключалось в том, что Павел Николаевич, отвечая на вопрос, вправду ли он полагает, будто Учредительное собрание может сохранить монархию, вдруг спокойно заявил: Учредительное собрание может решить, что ему угодно. Если оно выскажется против монархии — тогда я могу уйти. Значит, если не будет меня, то и правительства не будет вообще. А если правительства не будет, то... вы сами понимаете...

Около четырех утра в ночь на 2 марта разошлись, приняв решение о том, что будущее государственное устройство России определит Учредительное собрание. В исполкоме еще дорабатывали свои требования для включения в декларацию будущего правительства. Туда зашел Керенский, известил, что ему предлагают пост министра юстиции. Не просто предлагают — убеждают, упрощают. Члены исполкома поверили. Или — почти поверили. А почему бы и нет?

## 2

Ровно в восемь вечера 1 марта литерные поезда «А» и «Б», следуя друг за другом почти вплотную, остановились у дебаркадера Псковского вокзала. Как положено, государя встречал старший здесь по должности и по чину — главнокомандующий Северного фронта (главкосев, как именовали в обиходе) шестидесятитрехлетний генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский. Царь ждал его в своем салоне. Кратко доложив и скинув шинель, Рузский с надлежащей почтительностью протянул папку, пухлую от бумаг, весьма, как он сказал, неотложных. Нет уж, ответил Николай, сперва отобедаем... Он явно тянул время, не ожидая ничего хорошего.

Сидели вдвоем. Рузский, отдавая должное закускам и коньяку, спокойно, размеренно, четко докладывал о восстании в Москве (оно шло как бы по питерскому сценарию), о бунте военных моряков в Кронштадте. Государь явно волновался, но сдерживался. Спросил только об отряде генерала Иванова. Оказалось, тот до Царского Села не дошел, на подступах его разоружили, значительная часть солдат присоединилась к бунтовщикам...

Наконец прошли в кабинет, Рузский раскрыл папку.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего Алексея в телеграмме умолял государя «ради спасения России и династии поставить во главе правительства лицо, которому бы верила Россия, и поручить ему образовать кабинет. В настоящую минуту это единственное спасение». Помечено было 28 февраля. Находившийся в Ставке великий князь Сергей Михайлович поддерживал Алексея и советовал руководством правительством доверить Родзянко. О необходимости согласиться с Думой, предлагавшей создать «правительство доверия», сообщали депешами адмирал А. И. Непенин, генерал А. А. Брусилов, великий князь Николай Николаевич.

Формула «государь царствует, а правительство управляет» мне непонятна, говорил царь Рузскому, чтобы ее принять, надо быть иначе воспитанным, переродиться. Что же касается общественных деятелей, которые, несомненно, составят первый кабинет, все эти люди, совершенно неопытные в управлении и, получив бремя власти, не сумеют справиться со своей задачей... (В этом он оказался в значительной степени прав.)

Это не было бессмысленным упрямством: Николай во все время своего царствования шел на уступки до определенного предела, который считал возможным. Согласие же на создание ответственного перед Думой министерства означало для государя утрату власти, на что ему не позволяло пойти убеждение о божественном своем предназначении.

Но его со всех сторон бомбардировали телеграммами, и к ночи император капитулировал, согласился с требованиями относительно правительства с одной оговоркой: военного и внутренних дел министров назначит лично он.

Было уже поздно, Николаю следовало сделать этот шаг раньше, и, не исключено, все бы обошлось. Но Дума, ее лидеры, уже приняли решение об отречении, Николай полностью потерял представление о происходящем...

Ни о чем не договорившись подробнее, царь отпустил Рузского и удалился в спальню. Удалось ли ему уснуть — один Бог ведает.

### 3

Вот уж кому выдалась бессонная ночь — так это Александру Федоровичу. Даже после изрядных доз всяческих лекарств, подносимых перепуганной Ольгой, он чувствовал себя на грани

нервного срыва, два или три часа находился в полубредовом состоянии. Оля упрашивала послать за врачом, он отказался наотрез, прибегнул к редкому для себя средству — безумному, по мнению Ольги, — кофе пополам с коньяком, курил беспрерывно, зажигая очередную папиросу от недогоревшей, иногда вскакивал, бегал по спальне, снова падал на кровать. Сейчас это никак не было игрой, к которой он стал привыкать, изображая перед публикой изнеможение, переходящее в истерику.

И вдруг, словно вспышка молнии, решение п р и ш л о.

Надо предупредить события: обсуждения, уговоры с той и с другой стороны; лучший вид обороны — наступление. Надо немедленно — который час? Восьмой. Он знал, что Милюков и еще кто-то, не важно кто, остались в Таврическом, решая свои партийные дела. Закончили? Спят, где кто сумел? Разбудить? Наглость и хамство. Ну, что ж, Париж стоит мессы...

Он крутанул рукоятку аппарата, попросил барышню, — сонную, однако тренированно вежливую, — соединить с Милюковым, он в Думе. Барышня позволила себе усомниться: не рановато ли, удобно ли? Он успокоил: удобно, я — и хотел назваться министром, но прикусил язык, — я Керенский. Барышня и без того знала по номеру телефона, перечить дальше не осмелилась.

Он торопился, он д о к л а д ы в а л скороговоркой, боясь, что Павел Николаевич, недовольный ранним звонком, тоже усталый, нет, еще более усталый, ведь он на двадцать лет старше, швырнет трубку на рогатые рычаги или скажет: пожалуйста, не вмешивайтесь в наши дела и, простите, не навязывайтесь, но Милюков слушал, посапывая. Павел Николаевич, я принял решение, я согласен занять пост в правительстве, я очень благодарен вам (за что, сам не понимал). И понес несусветное: позвольте напомнить, ведь это я, это мне удалось спасти бывших министров от толпы, укрыть в думском павильоне, избавить революцию от кровопролития, меня знают в народе... Наконец Милюкову удалось остановить словоизвержение, очень рад, Александр Федорович (ни черта не рад, но понимает ситуацию), благодарю вас, примите мои поздравления, а уж с исполкомом вашим придется улаживать вам самому...

И — в который уж раз — не вошел, ворвался, бледный, в комнату исполкома, где началось очередное заседание, и с



ходу объявил о своем решении войти в правительство. Чхеидзе сухо сказал: но мы постановили, и я лично отказался, и вы промолчали. Вот именно, промолчал, потому что не согласился, а теперь я вынужден через вашу голову обратиться к высшей власти, к Совету...

В Екатерининском зале Юрий Михайлович Стеклов докладывал Совету о переговорах с Временным думским комитетом как раз по вопросу о формировании правительства, вот удача. Пока он говорил, Суханов еще и еще пытался убедить друга либо отказаться от поста в исполкоме, либо объясниться с Советом в частном порядке и добиться от него согласия, либо, наконец, совершить «государственный переворот», объявить решение исполкома в этой части недействительным. Керенский слушал молча: он уже решил и не считал нужным спорить. Он был уверен в себе.

К трибуне не пробиться, он вскочил на стол возле двери, оттуда попросил слова. Весь зал обернулся, многие аплодировали.

Видимо, специально для этого дня, чтобы подчеркнуть свое социалистическое положение, он сменил думский костюм на какого-то особого покроя куртку, черную, с высоким воротником, без признаков манжет под обшлагами, без галстука. И сделал наспех новую, впоследствии неизменную прическу — не респектабельный пробор, а прямую высокую щетку-«бобрик». Он сразу выделялся среди всех — и солдат, и думских коллег, и «людей труда», как называл он рабочих, избегая большевистского слова «пролетарий».

Говорить он начал, по обыкновению, упавшим голосом, заговорщически-мистическим полусшепотом. Бледный, взволнованный от потрясения собственной смелостью, он вытаскивал из себя краткие, обрывистые фразы, постепенно переходя на быстрый темп, прерываемый паузами, его речь превратилась в поток неистовых слов, мчащихся друг другу в обгон. Нервная рука то хлестала воздух, то вцеплялась в новые несминаемые волосы. Глаза — узкие, воспаленные — напряженно вспыхивали радостным огнем в ответ на бурные теперь аплодисменты. Фанатик, до конца преданный революции!

Чего тут больше, думал Суханов, вошедший следом, действительного исступления или театрального наигрыша? Прием провинциального трагика или подлинного актерского

гения? Наверное, было всего и помалу, и вдосталь, был несомненный ораторский дар, было искреннее желание убедить.

Товарищи, говорил Керенский, доверяете ли вы мне? Доверяем, доверяем! Спасибо. Я говорю, товарищи, от всей души... из глубины сердца... и если нужно доказать это... если вы мне не доверяете... я тут же, на ваших глазах, готов умереть.

В зале — неподготовленная, несознательная, подвластная стадным инстинктам аудитория, думал Суханов, она состоит наполовину из чисто обывательских элементов, Керенский это понимает, действует необычными приемами, сейчас вот-вот возьмет быка за рога.

Товарищи, в данный момент формируется новая власть, и я должен и вынужден был, не дожидаясь вашей формальной санкции, дать ответ на сделанное мне предложение занять пост министра юстиции, находясь на котором буду всеми силами защищать права трудового народа. Я решил войти в кабинет министров во имя революции и свободы. Только под неослабным контролем революционной демократии все они — Милюков, Гучков, Коновалов — выведут Россию на путь благоденствия. Они, представители старой власти — в моих руках. Будущий председатель князь Львов это осознает, он принимает должность только при условии моего вхождения в правительство. Там, наверху, я смогу проводить волю трудящихся, волю Совета, в рядах которого я имею честь состоять. Я принимаю портфель министра юстиции — следовательно, самым законом буду поставлен на страже революционной законности и порядка. Я отдам под праведный суд царя Николая и его свору. А первым моим шагом будет распоряжение с почетом освободить политических заключенных, сбить ржавые цепи с истомленных славных борцов революции!

Накал в зале достиг предела, Керенский мог идти в последнюю атаку.

Ввиду того что я взял на себя обязанность министра раньше, чем получил от вас формальные полномочия, я слагаю с себя обязанности товарища председателя Совета рабочих и солдатских депутатов. Но я остаюсь тем же, чем был, социалистом, республиканцем, революционером, готовым отдать жизнь... И я сохраняю свое положение в Совете, если вы признаете это нужным...

Просим! Просим! Овация.

Он спрыгнул со стола, делегаты подняли его на плечи и пронесли через вестибюль. Керенский ликовал. Он победил. Он получил санкцию Совета и, становясь министром, удерживал место в рабочем и солдатском органе власти.

Все это было обманом, ложью, законнепослушанием. Опытный юрист, он не мог не понимать, что нельзя дополнительно делегировать его в еще необъявленное правительство — кто знает, может быть, пост министра юстиции уже занят, — и притом человеком с социалистическими убеждениями. Он не мог не знать, что постановление исполкома о невхождении членов Совета в орган думской власти не предусматривает никаких персональных исключений: либо — либо. Что ни обсуждения речи Керенского Совет не проводил, ни постановления не принимал (только крики: «Просим!»). Он понимал наверняка свое самозванство, нахальное, грубое, неприкрытое. Понимал, конечно, ложь чуть не в каждом слове своей речи. Он проскользнул ф у к с о м. И наплевать, главное — он м и н и с т р. Против Совета думский комитет не пойдет, тем более Керенский им нужен в правительстве, и это предрешено.

Исполком с к у ш а л, не стал завязывать склоку и неразбериху: им тоже требовался свой человек в кабинете, погорячились, приняв постановление о запрещении совместительства. Вместо речи о незаконности, самоуправстве, неуважении к товарищам, прямом обмане Чхеидзе сказал: вопрос о вступлении товарища председателя Совета Александра Федоровича Керенского в состав кабинета министров решен единогласно. И объявил, что депутатов Совета снова приглашают в Екатерининский зал, куда вот-вот придут будущие министры, чтобы иметь честь представить себя революционным солдатам и революционному пролетариату.

Потянулись туда — не все, многие устали от митингов и заседаний, разошлись по домам. Керенский нарочно поплелся в хвосте, он еще не опомнился от неслыханного триумфа, от того, как благополучно завершилась авантюра. Впрочем, авантюра ли? Просто — разум, находчивость, умение владеть толпой. И — уже почти каждому известное имя — Керенский!.. И на ходу он придумал себе нелепое постоянное звание: «Министр юстиции, член Государственной думы, гражданин Керенский».

Милюков выступал с хоров Екатерининского зала перед случайной, в общем, аудиторией — кроме не очень многочисленных делегатов Совета понабились все, кому была охота. Выступал не с агитацией, но с информацией (другие делегаты решили в последний момент от публичного представления отказаться). Возможно, Петр Николаевич, пока что фактический глава (князь Львов не приехал из Москвы, задерживался) не узаконенного правительства, хотел проверить отношение к нему (и к себе лично) представителей народных масс (хотя какие это были представители, разношерстная публика). Или напоследок прозондировать настроение в вопросе о монархии и судьбе династии. Как бы ни было, он чего-то хотел, иначе не выступал бы, в отличие от Керенского, готового произносить речи и без повода, и без нужды.

Его, Милюкова, терпеливо слушали, едва ли многие разумея: он рассуждал о старом правительстве, о необходимости взаимопонимания между офицерами и солдатами, о задачах нового кабинета. Он не мог не видеть: значительная часть слушателей была настроена оппозиционно и, освоившись в богатом и непривычном зале, да еще вдобавок подустав от долгой и малопонятной речи, стали бросать насмешливые реплики и вопросы. И прозвучал главный вопрос, которого Милюков ждал и побаивался: кто вас выбрал? Он давно был готов к ответу. Не рассказывать же, что список составлял он, а утверждал не предусмотренный никакими законами Временный комитет Думы, фактически уже не существующей, и вряд ли правительство может считаться в таком случае законным тоже. Он сказал заранее продуманную фразу, слегка конфузясь: конкретно не выбирал никто, выбирать было некогда, нас выбрала сама революция... Это было доходчиво, захопали в ладоши. А династия? Как будет с Романовыми? Я знаю, осторожно и в то же время отважно отвечал он, что мой ответ не всех вас удовлетворит, но я скажу. Деспот, доведший страну до полной разрухи, сам откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к великому князю Михаилу Александровичу, регенту при малолетнем наследнике. (В эти дни Милюков вынашивал план: на автомобилях бежать в Москву и там открыть вооруженную борьбу за монархию; он сам писал об этом в воспоминаниях.)

Шум, протесты, крики. Но он выдержал, пока не смолкли. Господи, продолжил он, мы не можем оставить без разрешения и без ответа вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентскую и конституционную мо-

нархию... Это не значит, что мы сами решили этот вопрос окончательно... Решит свободно выбранное народное представительство...

Монархист Милюков не изменил своих убеждений. Он изменил свою тактику.

Часа через два после того, как Милюков покинул кафедру, в зал влетел Керенский. Он понимал: теперь здесь уже другие люди, Милюкова они не слышали. И еще — очень хотелось показать себя в новом качестве.

Товарищи! Граждане новой России! Товарищи рабочие! Товарищи солдаты! Я — ваш министр юстиции, Александр Федорович Керенский. С одобрения Совета ваших депутатов Временное правительство назначено Государственной думой, — приврал про Думу, иначе нельзя, ведь про ее фактический роспуск и про комитет мало кто слышал. — Поздравляю вас! Время неволи сменилось в России временем свободы!

Его вызвали за кулисы, в комнату председателя Думы и его товарищей. Посыльный — солдат без папахи, распояской, запаленный, крикнул: господин... товарищ Керенский, там пулеметный полк наш... бунтоваться хочет...

Первый пулеметный, самый революционный полк, вчера лишь переведенный в Питер из Ораниенбаума! Надежда революции, ее опора... Где? В Народном доме... как ее... графини... Паниной, догадался, конечно, Керенский.

И все-таки не удержался: вынырнул в зал, объявил с председательского места: товарищи, меня зовет революция, вынужден покинуть вас.

На счастье, у ворот дремал извозчик, и ехать — рукой подать. Гони, приказал он, по-старому добавив про «на чай».

Народный дом, куда ухитрились втиснуть едва ли не десяток тысяч серых шинелей, показался им подозрительным: стоит как бы отдельно, легко взорвать, не понаделав вреда соседям, и не напрасно их вперли в такую теснотищу, друг дружку передавят, ежели рванет. Обманули, заманили, предали! Очисть помещение, все на улицу! Ружья заряжай!

Керенский вывернулся из-за угла, извозчик упрямылся, ехать дальше не хотел, Александр Федорович сунул ему золотой пятирублевик, помогло. Остановились напротив. Не слезая с высоких санок, Керенский крикнул ошестиненной штыками, щелкающей затворами грозной толпе: товарищи! Братья сол-

даты! Не верьте слухам, не верьте провокаторам. Я — министр нового правительства России, депутат Думы и рабоче-солдатского Совета Керенский. Приказываю прекратить панику. Вы в полной безопасности. Революция не даст вас в обиду! Господа офицеры, прошу и требую ровно через час доложить мне, что товарищи революционные солдаты разведены по комнатам и обустроены для временного пребывания. Обеспечить охрану!

И под «ура» покатился назад, не дождавшись ответов, уверенный: приказ его — исполнят. А в голосе словно звучал посторонний голос: я — министр, я — министр революционной России!

К ночи, в первой попавшейся свободной комнате, состоялось заседание нового правительства — председатель Совета Министров (так пока назывался) князь Львов приехал, все в сборе, только неведом порядок дня, только не назначили секретаря, только не знали, как и где рассестись, о чем говорить, хотя знакомы друг с другом и отныне повязаны одной веревочкой. Курили, переставляли стулья, запирали дверь — посторонней публики никак не надо здесь в такой момент.

Наконец князь Георгий Евгеньевич Львов с некоторым смущением, неведомо чем порожденным, произнес краткую вступительную речь. Мы должны определить объем своей власти, говорил он, помня при этом, что власть эта — временная и ограничивается достаточно кратким сроком — моментом созыва Учредительного собрания, подготовка к выборам которого есть наша главнейшая и первостепенная задача. Но до той поры мы — правительство, наделенное полнотой власти, как исполнительной, так и законодательной. Однако мы должны помнить при этом, что существует и Совет рабочих и солдат, власть также реальная, и хотим мы того или нет, но каждый свой существенный шаг мы должны согласовывать с ним. Я бы позволил себе выразиться так: работать независимо, но в тесном контакте, не подчиняясь Совету, но и не пытаясь подчинить его себе. Это — объективное условие, от нас не зависящее. Павел Николаевич, которому мы должны быть благодарны, успел составить проект программы нашей правительственной деятельности и согласовать ее с руководителями Совета, получив их принципиальное одобрение. Я полагаю, мы сейчас можем распределить между собою обязанности и принять текст декларации, которую завтра же опубликуем.

Разногласий не возникло, если не считать эпизода с министром земледелия А. И. Шингаревым, он возмущался опубли-

ликованным в вечерних газетах сообщением о введении нормы на ржаной хлеб для населения страны (1 3/4 фунта для лиц, занимающихся физическим трудом, 2 1/2 фунта для солдат, 1 1/2 фунта для остальных), Андрей Иванович считал, что этот — и не поймешь толком, кем принятый, — акт сразу подорвет доверие к еще не приступившему к делу их правительству. Решили: своею властью нормирование отложить.

И, поздравив друг друга, пожелав доброй ночи, мирно разошлись. Они еще не знали ничего о том, что происходило в этот день во Пскове.

Было непривычно тихо, мирно, безлюдно. У ворот дворца возле костра грелись военные и гражданские патрули, один, видимо старший, встал, отдал честь, Керенский приложил руку к шапке. По улице проехал запоздалый грузовой автомобиль с молчаливыми, усталыми солдатами. На углу остановил какой-то новоявленный «добровольный патруль революционного порядка» — так назвались — с винтовками, с фонариками, рожи бандитские, показалось ему, он испугался, возникло побуждение по-фельдфебельски заорать: стать смиренно перед министром юстиции; решил не связываться, предъявил думское удостоверение (правительственных еще не изготовили). Отпустили неохотно. Ускорил шаг, почти пробежал саженой двадцать, сзади хлопнул оглушительный винтовочный выстрел, то ли вверх, то ли в кого-то другого, то ли озорство, то ли на него покушение. Палят в темноте, не попадут. Зато завтра в газетах: «Покушение на министра Керенского!» Каково! Вся Россия заговорит!

Ноги слегка подрагивали, пробирала нервно-восторженная дрожь. От бесчисленных выкуренных папирос во рту мерзко, сухо, даже сам ощущал, как несло табачищем. В желудке посасывало, но есть не хотелось, зато возжелалось вина — непременно сухого, красного, в меру подогретого, а к нему — острого сыру. А еще хорошо бы встретить кого-то знакомого (в округе их жило полно), или, придя домой, сразу — к телефону: поздравьте, я принял портфель... Именно так: я принял, а не — меня назначили. Или поехать в типографию, взять влажный оттиск с Декларацией, что-то сказать печатникам, объявив при этом свой титул. Министр... Министр Керенский... Министр юстиции. Не получается в такт шагам, а поет, поет в душе... Министр! Особа второго класса по табели о рангах! Ваше высокопревосходительство! Жаль: табель сохранили, а титулование отменили приказом Совета. Действитель-

ный тайный советник. По-военному — полный генерал. Но — выше: м и н и с т р. Сколько их, министров юстиции, сменилось за сто пятьдесят лет в России, когда ввели министерства, — не подсчитать на память. Но он — п е р в ы й д е м о к р а т и ч е с к и й, свободный, независимый. И — осенило его — ведь это не предел. Есть должности поважней — военный, морской, иностранных дел министры... Почему бы и нет? А там — дух захватило — п р е д с е д а т е л ь, премьер! Поздравляю вас, многоуважаемый Александр Федорович, карьера только начинается...

Окна в гостиной светились, в столовой тоже.

Поздравляю, госпожа министерша, сказал он Ольге, та ждала не в домашнем платье, а в красивом, нарядном, и стол накрыт празднично, и было густое красное вино, и коньяк, а для почину, по русскому обычаю, стопка запотелой в графине водки и половинка соленого огурчика. А после — полузабытая, отвычная постель вдвоем...

Ольга уснула, он тихонько выбрался из-под одеяла, надел уютный туркестанский халат, прокрался в кабинет, прихватив недопитую бутылку, взял, что редко делал, вкусную обкуренную трубку, табак горел ровно, не гас, хорошо бы разжечь камин, да лень. Открыл стеклянную дверцу резного дубового шкафа, провел пальцем по кожаным, с золотом корешкам томов «Свода законов Российской империи»... В памяти возникло: кодекс Хаммурапи<sup>1</sup>, кодекс Юстиниана<sup>2</sup>, «Р у с с к а я П р а в д а»<sup>3</sup>. А что, если назовут новый — кодекс Керенского, небывалый, демократический, емкий, где главное — права личности, а не государства, защита чести, достоинства, имущества гражданина, гарантия данных ему от рождения свобод?

Поздравляю вас, господин министр...

Так — уже за полночь — завершается в Петрограде день 2 марта, считавшийся и считающийся многими четвертым (и завершающим) днем события, названного Февральской революцией.

<sup>1</sup> Кодекс Хаммурапи — Хаммурапи — царь Вавилонии в 1792 — 1750 гг. до н. э. Принятое при нем законодательство отразило характерные черты рабовладельческого права.

<sup>2</sup> Кодекс Юстиниана — Юстиниан I (482/483 — 565) — византийский император, провел кодификацию римского права (Corpus juris civilis).

<sup>3</sup> «Русская Правда» — свод древнерусского феодального права.



Тогда же, 2 марта, в Пскове, около часу ночи, Николай, отпустив Рузского, записал в дневнике: «А мысли и чувства все время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события!» О России — ни единого слова. В 5 часов 15 минут он еще не спал.

Генерал же Николай Владимирович Рузский, вернувшись в штаб фронта, поразмыслил, перекусил, выпил крепкого кофею, распорядился, пренебрегая правилами приличия, как можно быстрее вызвать к прямому проводу председателя Думы Родзянко, разыскав его где бы он ни был, любыми средствами. Соединили в 3 часа 30 минут пополуночи, одновременно подключив телеграфную линию, связывающую с Могилевом, с генералом Алексеевым. Разговор продолжался четыре часа: решалась судьба страны.

Рузский известил Родзянко: царь согласен на создание кабинета, назначаемого законодательными органами и ответственного перед ними. Родзянко отвечал в бешенстве — казалось, аппарат на столе Рузского раскаляется и подпрыгивает: «Очевидно, что его величество и вы не отдаете себе отчета, что здесь происходит. (И в самом деле, не отдавали, как в Питере — о событиях во Пскове.) Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко. (Все же надеялись одолеть, пускай и с великим трудом.) Войска окончательно деморализованы, не только не слушаются, но убивают своих офицеров. Ненависть к государыне императрице дошла до крайних пределов. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предлагается вами (т. е. создание ответственного правительства), уже недостаточно и династический вопрос поставлен ребром». И после просьбы Рузского уточнить ситуацию: «Везде войска становятся на сторону Думы и народа, и грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием... Прекратите присылку в Петроград частей с фронта, так как действовать против народа они не будут».

Около восьми часов утра измотанный Рузский пошел спать. А потрясенный Алексеев, не выпуская из рук телеграфную ленту, сам теперь вызвал на связь Псков и, заявив, что все этикетки должны быть отброшены, п р и к а з а л разбудить царя немедленно и показать ему запись переговоров. Было девять, дежурный генерал доложил, что тревожить государя не смеет: через час назначен доклад Рузского, а царь, кажется,

только что уснул. Тогда Алексеев, зная, сколь важно для царя мнение военных, в 10 часов подписал телеграмму главнокомандующим фронтам, изложил обстановку, подчеркивая, что она не допускает иного решения, кроме как отречение Николая ради сохранения династии. Ответ предлагалось адресовать во Псков и одновременно в Ставку.

В 10.45 Рузский предстал перед государем, вручил запись разговора с председателем Думы. Николай задумался, потом почему-то сказал, что ему не простят... старообрядцы (словно они были главной политической силой). Еще подумав, неуверенно добавил: если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это... Тут принесли телеграмму Алексеева главнокомандующим, Рузский прочел ее вслух, услышав в ответ лишь: ступайте, генерал. Близилось к полудню.

К двум часам к Рузскому на стол начали ложиться депеши: великий князь Николай Николаевич, главнокомандующие фронтам генералы Алексей Ермолаевич Эверт, Алексей Алексеевич Брусилов, Владимир Викторович Сахаров — то есть, включая самого Рузского, все без исключения главкомы высказались за отречение.

Около трех часов пополудни Рузский со своими помощниками генералами Георгием Никифоровичем Даниловым и Сергеем Сергеевичем Савичем явились в царский поезд. Николай принял их в салон-вагоне, предложил сесть. Рузский занял место напротив царя, положил перед ним стопку телеграмм и от себя добавил: выход один, отречение в пользу Алексея. Николай возразил: но я не знаю, хочет ли этого вся Россия. Выслушав затем горячие высказывания двоих штабных генералов, император сказал: я решился, я отказываюсь от престола. Перекрестившись (трое последовали его примеру), Николай оставил их одних. Это было в 2 часа 50 минут пополудни.

Через четверть часа, в 3.05, царь вернулся с двумя текстами на телеграфных бланках, написанными от руки, — Родзянко и Алексееву, в них сообщалось об отречении в пользу сына: кроме того, начальника своего штаба он просил составить текст соответствующего манифеста.

Генералы вышли, но Рузский тотчас вернулся: в нескольких десятках метров от поезда им повстречался посланный из штаба офицер с переданным из Петрограда известием о выезде в Псков депутатов Думы Гучкова и Шульгина, везущих проект манифеста об отречении. Николай распорядился задержать отпавку телеграмм Родзянко и Алексееву, но, видимо, Рузский

исполнил приказ не полностью, сообщив в Ставку просьбу императора подготовить проект манифеста (по варианту об Алексее).

В четыре часа Николай принимал лейб-хирурга Сергея Петровича Федорова, которому весьма доверяла вся семья, он был как бы ее членом. По одной версии, царь сам пригласил его для разговора, по другой — Федорова подослала обеспокоенная свита, чтобы отговорить от принятого — или почти принятого — решения.

Государь сказал: вы знаете, Сергей Петрович... Я, конечно, не смотрел на Распутина как на святого, но то, что он нам пророчил, обыкновенно сбывалось. Он предсказывал, что если наследник доживет до семнадцати лет (по другим источникам — «до 1917 года». — *В. Е.*), то совершенно выздоровеет. Правда ли это? Федоров уклонился от прямого ответа. Николай настаивал: мы с вами мужчины, я полагаю вас близким другом, говорите правду. И доктор сказал: я — не Господь Бог, но как врач вынужден признать — жить Алеше осталось не долго, даже если не случится какой-либо травмы, мальчик обречен. Кроме того, новое правительство наверняка не разрешит молодому царю оставаться в семье отца, ему придется обитать постоянно при регенте. (В других воспоминаниях говорится, будто Федоров предположил, что бывшего царя могут выслать за границу.) Государь выразил крайнее изумление, что подобное может случиться, а затем решительно заявил, что никогда не отдаст сына в руки супруги великого князя, причем выразился очень резко. На этом разговор и закончился...

Николай изменил решение — отрекается в пользу брата.

Михаил Александрович родился в 1878 году и с 1899-го (после смерти предшествующего ему брата Георгия) по 1904-й (рождение Алексея) по праву был наследником престола. Однако тогда же на случай смерти царя Николая II и до совершеннолетия его сына Михаил особым манифестом был назначен «правителем государства». Но в 1912 году он был лишен этого титула за то, что без разрешения государя вступил в морганатический (с женщиной не царского, не королевского рода, вдобавок дважды разведенной) брак с госпожой Вульферт. Над Михаилом и его имуществом установили опеку, отчислили с военной службы, запретили возвращаться из-за границы, где он женился. Впоследствии Николай «простил» брата, разрешил приехать, пожаловал его супруге титул графини (по другим данным — княгини). С началом войны Михаил Алек-

сандрович командовал Кавказской туземной дивизией («Дикая дивизия»), с начала 1917-го был генерал-инспектором кавалерии. Никакого отношения к государственным делам и желания заниматься ими не имел, был человеком мягким, нерешительным, скромным, подобно царствующему брату.

Передача ему царской власти при наличии естественного наследника была актом совершенно незаконным, равно как и отречение Николая в пользу Алексея. Отречься царь мог только за себя, а лишать престола то лицо, которое по закону имеет на него право,— будь то совершеннолетний или несовершеннолетний,— император также не мог. Но и Алексею, которому еще не было полных тринадцати лет, не полагалось соглашаться или не соглашаться принять власть, она переходила к нему по закону.

Словом, в любом из двух предполагаемых вариантов действия Николая были абсолютно неправомочными. Законно он мог только отрешиться от власти без всяких оговорок. Альтернативой было — насильственное свержение, чего не хотела буржуазная верхушка России.

П. Н. Милюков писал: «Отказ в пользу брата недействителен, и это есть трюк... При условии передачи власти Михаилу лучше было впоследствии истолковать весь акт как недействительный». Как видно из переписки супругов Романовых, Александра Федоровна именно так и оценивала отречение, выражая уверенность, что Николай скоро снова будет на троне.

Итак, Николай принял «секретное» решение и волновался, питая себя надеждой, что к нему, может быть, и не придется прибегнуть.

Вечером в 7.45 текст манифеста, составленный по просьбе Николая в Ставке начальником ее дипломатической канцелярии Николаем Александровичем Базили, передан в Псков по телеграфу: часть документа, где говорилось об отречении «в соответствии с установленным основным законом порядком» в пользу Алексея при регентстве Михаила, заменили словами о передаче престола великому князю Михаилу.

В 9.45 вечера двухвагонный поезд А. И. Гучкова и В. В. Шульгина остановился на одном из пристанционных путей станции Псков, напротив литерного состава «А». Их встречал флигель-адъютант полковник А. А. Мордвинов. В салон-вагоне ожидали министр двора Владимир Борисович Фредерикс, начальник императорской военно-походной канцелярии Кирилл Анато-

льевич Нарышкин, дворцовый комендант Владимир Николаевич Воейков. Слегка запоздав, явился Николай Владимирович Рузский. В окружении этой генеральской свиты думцы выглядели непрезентабельно: одежда помята, лица небриты, про Шульгина говорили, что выглядел он как приговоренный.

Вошел царь — в эффектной форме своего любимого конвоя: кавказская, в талию, черкеска, с погонами пластунского (разведывательного) батальона, с газырями, узко перехваченная тонким кожаным ремешком в серебряном наборе, кинжал в изукрашенных ножнах, Георгиевский скромный крестик. Держался спокойно, корректно, даже как будто дружелюбно. Пригласил всех садиться.

Первым заговорил — глухо, едва справляясь с волнением, еще бы, исторический момент! — Гучков. Он говорил долго, сбивчиво, подробно описывая трагическое для властей положение в столице. Закончил Андрей Иванович уже известной фразой об отречении в пользу Алексея и регентстве Михаила.

Последняя надежда исчезла, и царь молча выложил на стол отпечатанный текст: не Алексей, а Михаил. Думские делегаты пытались его уговаривать, но вскоре поняли — бесполезно. Не подействовали и доводы о незаконности такого решения.

Николай удалился в кабинет, где провел двадцать минут, внося поправки в манифест. Это происходило за полчаса до полуночи, но царь проставил — 3.05 пополудни, чтобы не создавалось впечатления, будто он уступил давлению Думы.

Он вернулся, Воейков вызвал ремингтониста поручика Савельева, велел переписать на машинке; пока тот работал, думцы воспользовались паузой и попросили царя написать собственноручно указы Сенату: о назначении князя Г. Е. Львова председателем Совета Министров (это узаконило деятельность Временного правительства) и великого князя Николая Николаевича — Верховным главнокомандующим. Чтобы придать документам видимость полной законности, они были помечены двумя часами дня, то есть ранее фиктивного времени подписания отречения.

Все три документа тотчас отправили с курьером в Ставку для немедленного опубликования. По одному экземпляру каждого взяли Гучков с Шульгиным.

Пожимая каждому на прощанье руку, бывший император, ныне полковник Николай Александрович Романов, спросил у думцев, куда ему ехать — в Царское или в Могилев. Гучков ответил: поступайте как желаете. Поеду в Ставку, проститься.

И повидаться с матушкой, я просил ее приехать из Киева (вдовствующая императрица Мария Федоровна, не поладив с невесткой, жила там). Но ради Бога, сказал Гучков, вы, Николай Александрович, вольны поступать как вам угодно. Николай поблагодарил, вынул пенково-янтарный кривоватый мундштук, вставил папиросу и, не закуривая, поклонился всем и вышел.

В час ночи 3 марта царский поезд в привычном сопровождении отбыл в направлении Могилева. Через два часа уехали, передав в столицу телеграфом содержание трех документов, Гучков с Шульгиным.

## 5

3 марта, после одного часа пополуночи.

Отпустив всех, Николай Александрович неспешно, однако по-военному споро, переоблачился, сменив казакин на гимнастерку, и, еще не зная, чем себя занять, то ли решил, то ли его просто потянуло пройтись вдоль поезда, где он остался, по сути, один; кроме него, здесь мог находиться кто-то из прислуги да охрана в тамбурах. Было тихо, состав шел на средней скорости, хорошо подрессоренный вагон почти не потряхивало на стыках и сквозь скрытую под обивкой броню не проникал перестук колес.

Он быстро миновал спальный вагон, очутился в пятом, детском — для каждого отдельное купе с драпировкой из белого плотного кретона, и вся скромная мебель белая; здесь же размещались фрейлины царевен. Открыл дверь туда, где хозяином был Алексей. Здесь столик побольше, чем у сестер, выставлены рядами оловянные солдатики, на стене — сабелька, в шкафчике — на плечиках — гимнастерка, шаровары, внизу сапожки. Казалось, хорошо провентилированный воздух сохранил запах сына, его тела, его волос. Неужели о н и в самом деле разлучат их, отца и сына, он готов даже расстаться с Аликс и дочерьми, но с сыном, Алешенькой, — нет, нет, нет...

Он стал на колени, положил голову на подушку Алешиной постели, крахмальную, жестковатую — нет, запаха сына не ощутил.

Дверь в спальню полуоткрыта, сочится слабый свет, это, конечно, Чемодуров — вот уж кто всегда будет при нем, куда бы ни занесла судьба, — зажег под иконами лампаду, слышно,

по-стариковски покашливает, пристанывает, готовит постель. Старик, д е д, зовет его прочая обслуга. Сколько ему? Да, на девятнадцать лет старше, прислуживал еще покойному государю-отцу, знает Николая с первого часа появления на свет.

Неслышно ступая в мягких, домашних, пускай и форменных, сапогах, вошел, сказал: добрый вечер, Терентий Иванович. Тот разогнулся,— и в самом деле, заправлял каждодневно свежую простыню,— ответил — виновато, оттого что не приветствовал первым, глуховат: здравия желаем, ваше императорское величество, все готово, дозволейте пожелать покойной ночи... Погоди, Иваныч, присядь, старина, покурим, подай, пожалуйста, трубку (он их курил изредка, превосходный имел набор). Тот мигом снял со стоечки любимую, английскую, прямую, набил виргинским табаком, подал на подносике, поклонившись, спросил, не изволят ли чая с закусочкой на сон грядущий. После, после, отвечал бывший государь, раскрыв тяжелый золотой портсигар с монограммой (впервые угощал камердинера!), садись, старина, потолкуем. Терентий Иванович стеснительно (первый раз за столько-то лет, даже при младенце сидеть не смел!) коснулся тощим задом краешка прикроватного пуфика, пустил папиросочный дым в кулак. Сволочи, у меня ошибаются кто при деле, кто просто так пьют-жрут р о д с т в е н н и ч к и (не считая женского пола): брат деда, четверо дядюшек и столько же двоюродных, родной брат, девять двоюродных... Девятнадцать душ сиятельных. А сейчас рядом — никого, ими никто не интересуется, их мнения никто не спрашивал, только Николаю Николаевичу телеграфировали. И он, государь, принимал решение единолично, а те суматошились при дворе, лаялись друг с дружкой; если чего и опасались, то каждый за самого себя... (Он не мог в страшном сне вообразить, что единый его вчерашний росчерк под манифестом будет стоит жизни семнадцати членам фамилии менее чем за два года.) Самые близкие здесь — Владимир Борисович Фредерикс и Сергей Петрович Федоров, да и те спят, не будить же, и не к чему, все равно им ничего не скажет... Вот и покуриваем с Иванычем, больше не с кем, а одному остаться — страшно, вот когда стало страшно перед Богом... Ты — з н а е ш ь, Иваныч, спросил он, тот понял, мудрый старик, поднялся, вытянулся, так точно, ваше императорское величество. Оставь, было величество, да сплыло, полковник я, ежели не разжалуют... Никак нет, ваше вели-

чество, власть, она от Бога, не людьми дана, не ими бысть отобрана, а Господь правду видит, пускай не вдруг скажет. Перекрестился на икону. Да, Господь видит, конечно. Только я великий грех совершил, я добровольно Его волю нарушил, я не ради себя, Терентий Иваныч, я ради России, я ради Алексея Николаевича, Алеши, сыночка, как мы теперь жить будем, что с нами станется... Поживем, Н и к о л у ш к а, сказал Чемодуров, как называл в ту пору, когда тот еле-еле говорить умел. Поспать надобно тебе, Ни́колушка, прикажи чайку. Я вот что тебя попрошу, старина, дай-ка мне мадеры (тьфу, Распутина любимое вино, да ладно), и не бокал, а бутылку принеси. Это вы правильно, это, батюшка Николай Александрович, по-нашенски, по-русскому. Ступай неси, велел Николай, чокнемся с тобой, Иваныч, спасибо тебе, старина.

(Чемодуров по доброй воле поедет с царской семьей в ссылку — и в Тобольск, и в Екатеринбург; перед расстрелом Николая и остальных красная охрана пожалеет старика, спроводит накануне из Ипатьевского дома под каким-то предлогом, и он умрет с в о е й с м е р т ь ю дней через пять или через неделю после казни.)

Выпив первую с верным слугою, Николай Александрович пожелал ему покойной ночи, выпил еще, вынул из нагрудного кармана сложенные, на ремингтоне переписанные листки. Стал читать — вчуже, будто это — не от его имени, не о нем, не им подписано, отрывался, прихлебывал вино изредка.

### **Высочайший Манифест**

Божьей милостью Мы, Николай II, Император Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем Нашим верноподданным: в дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание.

Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны.

Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего дорогого Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками может окончательно сломить врага.

В эти решительные дни в жизни России сочли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил



народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думой признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с Себя верховную власть.

Не желая расставаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше брату Нашему, Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем брату Нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои ими будут установлены, принеся в том нерушимую присягу во имя горячо любимой Родины. Призываю всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним — повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями Народа вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

Да поможет Господь Бог России!

На подлинном собственною Его Императорского  
Величества рукою подписано

*Н и к о л а й.*

2 марта, 15 часов 1917 года.

Город Псков.

Скрепил министр Императорского Двора, генерал-адъютант,  
граф Фредерикс.

Николай Александрович выпил полный фужер и, не хмелея, стал на колени, долго молился.

Потом записал в дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»

А писатель Василий Васильевич Розанов сказал: государь «написал просто, что в сущности он отрекается от такого подлого народа».

## 6

Итак, наполовину дело завершилось. Но только наполовину: оставалось еще провести переговоры с Михаилом Александровичем. По крайней мере, каждый второй из членов Временного комитета Думы и нового правительства, не высказывая и не выказывая этого, желали, чтобы великий князь принял престол: они хотели свержения Николая, но отнюдь не уничтожения монархического строя. Однако политическая обстановка была такова — и прежде всего наличие Совета рабочих

и солдат,— что, думая и желая одно, они вынуждены были говорить и делать другое.

Михаила Александровича подняли в шесть часов утра, он ждал теперь прибытия парламентеров.

Посередке гостиной сидел великий князь, уже знавший о том, что назначен государем Всея Руси, справа и слева от него на диванах и в креслах расположились участники решающего совещания. Опоздавшие Гучков и Шульгин негаданно вынуждены были сесть насупротив великого князя (или — уже императора?). Михаил Александрович как бы председательствовал, задавал тон.

Родзянко и Львов изложили позицию большинства, ту, что высказана была в открытую (что думали на самом деле — вряд ли кто узнает и теперь): Михаилу Александровичу следует отречься. Лишь двое — Милюков и Гучков — не побоялись выступить против этого предложения, за воцарение великого князя.

Первый из них говорил о том, что сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, нуждается в опоре на привычный для масс символ, что Временное правительство без монарха явится углой ладьей, которая может утонуть в океане народных волнений, что в стране при этих условиях не исключена потеря сознания государственности и полная анархия раньше, нежели соберется Учредительное собрание.

Гучков его немногословно поддержал: если вы боитесь, ваше высочество, возложить на себя бремя императорской короны, примите верховную власть регента империи на время, пока не занят трон,— я имею в виду — опять-таки до решения Учредительного собрания (видимо, Александр Иванович надеялся или даже был уверен в том, что Собрание проголосует за утверждение монархии).

Неожиданно,— впрочем, от него всякого можно было ожидать,— пришел в ярость Керенский, он, забыв о приличиях, пренебрегая общим спокойно-рассудительным тоном совещания, разразился неведомо кому адресованной бранью и угрозами, что привело всех в недоумение и смятение. Великий князь прервал непристойное словоизвержение и попросил разрешения удалиться. Керенский одним прыжком перегородил ему дорогу и потребовал выслушать до конца. Истерика — если она была натуральной, а не наигранной — моментально прекратилась, речь Александра Федоровича полилась спокойно, убеждающе. Опершись на спинку кресла, он говорил: ваше

высочество, я по убеждениям республиканец, противник любой монархии, но я сейчас не о себе, разрешите сказать как русский — русскому. Приняв престол, вы не спасете Россию, напротив! Я знаю настроение массы! Рабочих и солдат... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии. Сейчас, когда России столь необходимо единство перед лицом внешнего врага — и вдруг начнется гражданская война... Я умоляю вас во имя России принести жертву. И с другой стороны, я не могу... я не могу, извините, поручиться за жизнь вашего высочества...

Он сделал трагический жест и, отодвинув свое кресло, шлепнулся в него, прикрыв глаза ладонью, снова начиналась истерика.

Михаил Александрович встал — тонкий в кости, длиннолицый, долговязый, хрупкий почти по-юношески. И — слабый, нерешительный, это знали все, кто общался с ним... И это ему Милюков предлагал подвиг: взять то, что явно ему не под силу...

Поднялись все.

Господа, сказал великий князь, вы не станете возражать, если я покину вас... на полчаса, мне необходимо подумать.

И снова Керенский, стряхнув оцепенение, выпрыгнул из кресла, забормотал почти бессвязно: ваше высочество... просим, да, мы все просим вас... наедине со своею совестью... не спрашивая никого... решать должны только вы...

Романов ответил: успокойтесь, Александр Федорович, моя жена в Гатчине, вы ведь боялись ее воздействия...

И вышел.

К Шульгину приблизился Милюков. И тотчас Керенский схватил Василия Витальевича за рукав, опять заговорил истерически: я не позволю, я запрещаю, никаких секретных переговоров... Ударил кулаком по столу... Александр Федорович, резко сказал Шульгин, нельзя ли другим тоном, и на каком основании вы, собственно, здесь распоряжаетесь.

Керенский мгновенно переменялся, лицо сделалось умоляющее, почти лакейское: ну, дорогой мой, ну, серебряный, ну, золотенький, простите, не расстраивайтесь...

Он явно был не в себе.

Приотворилась дверь, Михаил пригласил к себе Родзянко. Почему-то Керенский не стал возражать.

Около полудня председатель Думы и великий князь вышли к ожидающим. Михаил Александрович сказал: я не могу принять престола, потому что... Он не договорил: он плакал.

К нему рванулся Керенский: ваше императорское высочество, я берусь... я буду утверждать перед всеми, да, да, всюду и везде... какой вы благороднейший человек... как я глубоко уважаю вас... и всегда буду уважать...

Под вечер составили (без Михаила, он удалился отдохнуть) текст акта, над ним трудились Василий Витальевич Шульгин, Николай Виссарионович Некрасов, будущий — вскоре — секретарь Временного правительства Владимир Дмитриевич Набоков, юрист Борис Эммануилович Нольде.

То и дело забегал, исчезал, возникал опять взвинченный Керенский, торопил, говорил, что положение в городе угрожающее, ввязывался в споры, точнее — навязывал их. Едва документ подписали, умчался стремительно в типографию.

Да поможет Господь Бог России, сказал Шульгин, перечитывая текст.

«Отречение Великого Князя Михаила Александровича от престола

Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспрецедентной войны и волнений народа. Одушевленный со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял Я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как созданное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.

На подлинном подписано:

*М и х а и л.*

3 марта 1917 года  
Петроград».

Уже через час — стараниями Керенского — по всему городу расклеивали плакатики:

## НИКОЛАЙ ОТРЕКСЯ В ПОЛЬЗУ МИХАИЛА, МИХАИЛ ОТРЕКСЯ В ПОЛЬЗУ НАРОДА.

Один из авторов документа, Б. Э. Нольде, позже написал: «Акт 3 марта, в сущности говоря, был единственной конституцией периода существования Временного правительства и указывал, что с ней можно было дожить до Учредительного собрания при условии, если бы Временное правительство могло реально осуществить полноту власти».

Увы, не смогло. Да и какая же это конституция...

А вот что писал М. В. Родзянко: «Для нас было совершенно ясно, что великий князь процарствовал бы всего несколько часов и немедленно произошло бы огромное кровопролитие в стенах столицы, которое бы положило начало общегражданской войне. Для нас было ясно, что великий князь был бы немедленно убит и с ним все сторонники его, ибо верных войск уже тогда в своем распоряжении он не имел... Михаил Александрович поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, и я должен был ему ответить отрицательно».

Итак, ни комитет Думы, ни правительство не хотели ликвидации монархии, но вынуждены были пойти на этот шаг перед лицом совершенно очевидных обстоятельств.

«Бог знает, кто надоумил его (Михаила.— *В. Е.*) подписать такую гадость!» — записал в дневнике, прибыв 3 марта в Могилев и прочитав телеграфное сообщение, Николай Романов. И — составил иной, еще один, вариант манифеста, снова вручая власть сыну. Генерал Алексеев, умный человек, почел за благо не сообщать правительству о бессмысленном телодвижении и уже абсолютно бесправного полковника, не то что страной, а даже эскадром, как в юности, не командующего. Генерал передал — на всякий случай, для истории, что ли, сей курьезный документ другому генералу — Антону Ивановичу Деникину, о чем, разумеется, Николая Александровича в известность не поставил.

На том 3 марта 1917 года и закончилось в России правление династии Романовых, оно началось 21 февраля 1613 года возведением на престол Михаила Федоровича (1596—1645) и продолжалось 304 года, в течение которых сменилось восем-

надцать государей. Михаил Александрович мог стать девятнадцатым — и не стал. Михаилом началось, Михаилом и закончилось.

Великий князь сразу же отошел от всякой политической жизни, поселился в Гатчине частным гражданином. В феврале 1918 года арестован большевиками, вывезен в Пермь, где в ночь с 12-го на 13 июня (чуть раньше семьи старшего брата) расстрелян. Предсказание Родзянко сбылось: убили-таки, однако не при Временном, а при ленинском правительстве.

## Глава четвертая

Воспоминания о первых неделях существования Временного правительства связаны с самым счастливым временем моей политической карьеры. Нас было 11 в этом правительстве, из них 10 принадлежали к либеральной и умеренно-консервативной партиям. Я был единственным социалистом, и левая пресса вскоре стала иронически называть меня «заложником демократии».

*А. Ф. Керенский*

### 1

3-го же марта, в день отказа Михаила занять престол, газеты опубликовали следующий документ:

«Декларация Временного правительства  
о его составе и задачах  
3 марта 1917 г.

Граждане! Временный комитет членов Государственной думы при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой степени успехов над темными силами старого режима, который позволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти.

Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначил министрами первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым страны обеспечено их прошлой общественной и политической деятельностью.

Председатель Совета Министров и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов.

Министр иностранных дел — П. Н. М и л ю к о в.

Министр военный и морской — А. И. Г у ч к о в.

Министр путей сообщения — Н. В. Н е к р а с о в.

Министр торговли и промышленности — А. И. К о н о в а л о в.

Министр финансов — М. И. Т е р е ш е н к о.

Министр просвещения — А. А. М а н у й л о в.

Обер-прокурор Святейшего Синода — В. Н. Л ь в о в.

Министр земледелия — А. И. Ш и н г а р е в.

Министр юстиции — А. Ф. К е р е н с к и й.

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими основаниями:

1) Полная и немедленная амнистия по всем делам, политическим и религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д.

2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями.

3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.

4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны.

5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

6) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

7) Неразоружение и невывоз из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.

8) При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.

Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-нибудь промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий.

Председатель Государственной думы М. Родзянко.

Председатель Совета Министров кн. Львов.

Министры: Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Терещенко, В. Львов, Шингарев, Керенский<sup>1</sup>».

Публиковалось и примечание о том, что Декларация принята на совместном заседании Временного комитета Думы, Временного правительства и представителей Совета рабочих и солдатских депутатов.

(Примечательно: едва успев прочитать полученные в Цюрихе, где он жил, сообщения о создании этого правительства, Ленин телеграфировал с в о и м шестого (по новому стилю 19-го) марта: «Полное недоверие, никакой поддержки новому правительству. Керенского особенно подозреваем...» Как это понимать? Гениальнейшее предвидение? Озарение? Ничем не обоснованная реакция? Ч т о он мог знать о людях, вошедших в правительство? Почему никакой поддержки ему, еще не сделавшему никаких практических шагов? В чем и почему «особенно подозреваем» — Керенский? Очень скоропалителен был Владимир Ильич, легко ему было отдавать приказы, находясь за пределами России, совершенно не зная реальной обстановки...)

По настоятельной просьбе Совета Декларация Временного правительства была напечатана в № 4 «Известий» рядом с воззванием «От исполнительного комитета Совета солдатских

<sup>1</sup> По непонятным причинам в документе не упомянуты И. В. Годнев, «октябрист», член Временного правительства, Государственный контролер, занимавший должность с 2 марта по 24 июля; и Ф. И. Родичев, кадет, министр по делам Финляндии с 2 марта по конца апреля. Они и формально входили в правительство, и реально действовали в нем. И Керенский (см. эпиграф к этой главе) говорит об 11, а не 9 министрах.— В. Е.



и рабочих депутатов». Несмотря на серьезнейшие недостатки Декларации, это воззвание сильно проигрывало по сравнению с ней, хотя частично и повторяло ее. Если в Декларации содержалась пускай куца, обошедшая молчанием кардинальнейшие вопросы, которые стояли перед революцией, но конкретная программа действий, то в документе Совета, похожем на обычную, текущего порядка листовку, были лишь расплывчатые слова.

Что показательно: в обоих документах нет упоминаний об основных лозунгах момента: установлении демократической республики, прекращении империалистической войны, конфискации помещичьих земель, восьмичасовом рабочем дне. Интересы рабочих и крестьян, в сущности, как бы забыты.

На следующий день, 4 марта, так же рядом, напечатали манифест об отречении Николая и отказе от престола Михаила.

Время манифестов и деклараций кончилось. Пора было приступать к практическим делам.

Но — как и кому?

Парадокс и своеобразие Февральской революции заключались в том, что в России образовалось *д в о е в л а с т и е*.

## 2

Издававшийся за рубежом эсерами журнал «Воля России» писал: «Чудо Февраля, если можно говорить о чуде, было в том, что самодержавный Угрюм-Бурчеев исчез именно так, как и описано в истории одного города (имеется в виду произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина.— *В. Е.*) — со зловещим треском, моментально, точно растаял в воздухе».

Революционные события конца февраля и тем более их последствия оказались абсолютно неожиданными для всех.

Для царской четы: император 22 февраля, когда в столице уже явственно назревала гроза, то ли не понял сути происходящего, то ли, наоборот, трусливо укрылся от них, выехав в Ставку под надежную защиту. Царица уже в дни революции писала мужу: бегают какие-то мальчишки и девчонки... Власть оказалась рассредоточенной по трем центрам: Совет Министров, военные и полицейские власти Петрограда и Петроградского военного округа — в столице; императрица, активно вмешивавшаяся в дела государственного управления, остава-

лась в Царском Селе и довольствовалась той информацией, которую ей доставляли из Питера; Николай II находился в Могилеве и судил о положении дел по телеграммам, получаемым из Петрограда, не всегда адекватно на них реагируя. Власти не смогли оперативно и верно оценить обстановку и не увидели в ней признаков революции; исключение составлял, если судить по его телеграммам, — из высших лиц — едва ли не один председатель Думы М. В. Родзянко.

Для руководителей партии большевиков, основных «затравщиков» революции, прежде всего для их «вождя, вдохновителя и организатора», отсиживающегося за границей, почти никому в России не известного, питавшегося утопическими идеями о «мировой революции» да газетными сообщениями, зачастую перевранными, искажавшими истинную картину, да еще письмами своих российских корреспондентов (в основном рабочих), ряды которых стремительно таяли — пролетарии и выходили из РСДРП, не видя в ней никакого проку. Показательно, что менее чем за два месяца до начала событий в Петрограде, 9 (22) января, выступая в Народном доме города Цюриха (Швейцария) перед рабочей молодежью, Ульянов-Ленин признавался: «Мы, старики (ему близило к сорока семи годам. — В. Е.), может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции».

Свершившаяся революция оказалась неожиданной для рабочих, уже привычных к стачкам, демонстрациям, митингам по конкретным поводам, в основном с экономическими требованиями, никак не предполагавшим, во что выльется начавшаяся — новая, очередная волна забастовок. На полотнища с лозунгами, написанными и поднятыми редкими большевистскими агитаторами, мало кто обращал внимание.

Для солдат, не желавших воевать, требовавших мира не по соображениям политическим — масса их была малограмотна, — а ради того, чтобы поскорей вернуться домой, к семьям, к земле, к привычному труду.

Для крестьян, вообще не помышлявших ни о какой революции, не умевших даже произнести это слово, не знавших, кто такие большевики, кадеты, меньшевики, эсеры, не ведавших о происходящем в столице.

Для буржуазных партий, в том числе либеральных: они вовсе не желали свержения монархии, тем более при активном участии народных масс, которых они боялись, а уповали на отрешение от престола Николая II и замену его другим императором, чья власть была бы ограничена правительством,

подотчетным перед Государственной думой. Они полагались на успех дворцового переворота, еще с осени 1916 года готовившегося А. Гучковым и Г. Львовым.

Для офицерства, также надеявшегося на военный переворот под руководством великого князя Николая Николаевича, знавшего об этом плане.

Для женщин: вопреки распространенному апокрифу, гласившему, что якобы революция началась с «бабьего бунта», они вовсе не думали, что звон разбитых стекол в единственной булочной Филиппова послужит сигналом к государственному перевороту.

Никто этой революции не ждал, никто ее специально не готовил, она возникла с т и х и ю, без политического, организационного, военного руководства, без ясно поставленной цели, сама по себе, удивив всех и каждого сперва в столице, а затем — и особенно — в провинции. Она возникла как солдатский мятеж, — а тот, в свою очередь, разразился вследствие практически случайного бунта всего-навсего двух рот в двух запасных полках. Лишь в ходе мятежа столичного гарнизона к нему начали примыкать рабочие. (По «белой» версии, первую из «революционных» рот в з б у н т о в а л унтер-офицер Кирпичников, студент, сын профессора — его, что ли, считать зачинщиком Февральской революции?)

В течение двадцати лет, предшествующих Февралю, государство выдержало последствия Кровавого воскресенья, поражение под Мукденом и Цусиму, многомиллионную октябрьскую стачку, парализовавшую всю экономику, Декабрьское вооруженное восстание в Москве, многие тысячи террористических актов и горящих помещичьих усадеб, военные мятежи в Кронштадте, на броненосце «Потемкин» и крейсере «Очков»... И все это одолело.

То, что происходило в феврале 1917 года, несравнимо по масштабам, однако правящие верхи справиться с мятежом не смогли.

Ричард Пайпс отмечает, что самой поразительной была скорость, с которой рухнуло Российское государство.

А Керенский писал: «Бывали моменты, когда казалось, что слово «революция» совершенно неприложимо к тому, что произошло в России (между 28 февраля и 3 марта. — В. Е.). Целый мир национальных и политических отношений пошел ко дну, и сразу все существующие политические и тактические программы, как бы хорошо и смело они ни были задуманы,

оказались беспомощно и бесполезно повисшими в пространстве».

Вскоре выяснилось, что и обновленный корабль государства Российской идет ко дну. Иначе, пожалуй, не могло и быть.

Мы все время отклоняемся от рассказа о Керенском. Но, как уже сказано выше, его жизнь — жизнь п о л и т и к а, и без описания исторической обстановки здесь не обойтись никак. И прежде всего — без рассказа о новых органах государственного управления. Немодно сейчас цитировать Ленина, однако как не вспомнить его слова о том, что во всякой революции главный вопрос — это вопрос о власти...

### 3

С точки зрения легитимности (законности) Временное правительство было весьма сомнительным. 25 февраля заседания Государственной думы были прерваны указом Николая II, она лишалась на время (как оказалось — окончательно) своих прав. Тем не менее 27 февраля несколько ее членов избрали не предусмотренный законами, положениями, инструкциями орган — Временный комитет Государственной думы из 13 человек под председательством главы Думы М. В. Родзянко, выполнявший функции правительства. 2 марта этот комитет по согласованию с Петроградским Советом депутатов создал Временное правительство, из 11 членов которого были назначены из состава самого Временного комитета — пятеро, то есть половина всего состава и комитета, и правительства, в литературе оно получило обозначение однородно буржуазного. Действовало оно два месяца — до 2 мая.

Представляется полезным привести справки-характеристики каждого из министров в том порядке, в каком перечислены члены правительства в его Декларации от 3 марта (с добавлением почему-то не упомянутых там И. В. Годнева и Ф. И. Родичева<sup>1</sup>).

<sup>1</sup> Справки составлены с использованием сведений, заимствованных из следующей литературы: Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993; Советская историческая энциклопедия. Т. 116. М., 1961 — 1976; Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. 3-е изд. М., 1983; Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993; Берберова Н. Н. Курсив мой. М., 1996; Берберова Н. Н. Люди и логи. Вопросы литературы. М., 1990. № 1, 37; Набоков В. Д. Временное правительство. М., 1991; Миллюков П. Н. Воспоминания. М., 1991 и некоторым другим.

Следует отметить, что многие из этих министров намечались в состав кабинета, который намеревались создать заговорщики в октябре — декабре 1916 года. Свое название Временное правительство получило 8 марта (до этого именовалось по традиции Советом Министров).

Итак...

Министр-председатель и министр внутренних дел Л ь в о в Георгий Евгеньевич (1861—1925). Князь. Крупный помещик. Окончил юридический факультет Московского университета. Был гласным (членом), затем председателем губернской земской управы в Туле, депутат I Государственной думы. Примыкал к кадетам (формально — вне партий). Руководил Объединенным комитетом Земско-Городского союза. Намечался заговорщиками в 1915-м и 1916 годах на пост премьер-министра либо министра внутренних дел. Отличался знанием крестьянского быта, забот и нужд деревни. Был чрезвычайно прост и обходителен, любил пошутить, посмеяться, «поговорить по душам». Славился честностью и порядочностью. Однако, по мнению Милюкова, выбор Львова главой правительства оказался неудачен: князь был нерешителен по-гамлетовски и страдал толстовским непотвизненчеством. По словам Набокова, министр-председатель не только не делал, но и не пытался сделать что-нибудь для противодействия все растущему разложению. «Он сидел на козлах, но даже не пробовал собрать вожжи. Он чужд был честолюбия и никогда не цеплялся за власть». Речи его не содержали политического анализа событий, заседания правительства под его председательством проходили неорганизованно, постановления изобиловали словесной мишурой. Ушел в отставку (из первого коалиционного правительства) добровольно. В начале 1918 года три месяца провел в тюрьме, арестованный большевиками, после освобождения эмигрировал во Францию, возглавлял в Париже воссозданный там в виде благотворительной организации Земгор.

Министр иностранных дел М и л ю к о в Павел Николаевич (1859—1943). Из семьи преподавателя художественного училища. Окончил исторический факультет Московского университета (исключался за участие в студенческой сходке). Оставлен на кафедре русской истории, в 1892 году получил степень магистра. В 1895-м ушел с запрещением преподавания где бы то ни было. Выслан сперва в Рязань, затем за границу. Окончательно вернулся на родину в 1905 году. Автор воззвания о созыве Учредительного собрания. Организатор Партии Народной Свободы (кадеты), ее лидер и идеолог. Боролся за то, чтобы Россия стала конституционной монархией. Депутат III и IV Государственных дум, председатель фракции кадетов; главной «специальностью» стали вопросы иностранной политики. Инициатор создания «Прогрессивного блока» (1915), лидер думской оппозиции, о которой говорил так: «Мы не оппозиция Его Величеству, мы — оппозиция Его Величества». В февральские дни — инициатор создания и член Временного комитета Думы. По его поручению

составлял список Временного правительства. Выступал против отказа великого князя Михаила Александровича занять трон. В качестве министра свою линию видел в активной борьбе на три фронта: оборона против циммервальдизма (признание войны — империалистической, борьба за мир без аннексий и контрибуций), за сохранение общей внешней политики с союзниками; против стремлений Керенского к усилению его собственной власти и за сохранение коллективных полномочий Временного правительства. По возвращении в Россию Ленина требовал немедленного его ареста. В результате внутренних разногласий в правительстве отказался войти в новый его состав в начале мая. С конца 1918 года — в эмиграции, где написал ряд крупных научных трудов. После нападения Германии на СССР заявил о солидарности с Советским правительством, тяжело переживал поражения Красной Армии.

Отличался резкостью суждений, независимостью взглядов, трудным, как принято говорить, характером. Открыто проявлял враждебность к Керенскому, весьма критически оценивая его как личность и политического деятеля.

Военный и морской министр Г у ч к о в Александр Иванович (1862—1936). Из купеческой семьи. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Два года служил в лейб-гвардии. Затем — на выборных должностях: мировой судья, член городской управы в Москве. В 1897—1903 годах служил в охранной страже КВЖД, был добровольцем в англо-бурской войне (на стороне буров), принимал участие в так называемом боксерском восстании в Китае, воевал в Македонии с турками. Отважный воин, человек с высокоразвитым чувством чести. Занимался предпринимательством. Один из основателей и руководитель партии «Союз 17 октября» («октябристы»). Депутат и в течение года председатель III Государственной думы, имел частые конфликты с коллегами: вызвал на дуэль П. Н. Милюкова, дрался на поединке с графом А. А. Уваровым. Странник конституционной монархии. Действительный статский советник. В годы войны работал в Красном Кресте, затем возглавил Центральный военно-промышленный комитет. Избран в Государственный совет. Один из инициаторов дворцового заговора осенью 1916 года, направленного на свержение Николая II. Став министром Временного правительства, отказался получать жалованье и представительские средства (всего 27 тысяч рублей). Пытался укрепить армию, провел ряд преобразований, изменений в высшем кадровом составе. Был сторонником продолжения войны до победного конца. В апреле вынашивал планы военного заговора с целью устранения двоевластия и установления диктатуры. Будучи сторонником сильной власти, 30 апреля вышел из правительства. Поддерживал попытку Л. Г. Корнилова совершить военный переворот. После Октября участвовал в финансировании создания Добровольческой Белой армии. Весной 1919 года выехал за границу для переговоров о поддержке белого движения, в Россию не вернулся, в политической жизни больше не участвовал. Отличался независимостью характера и суждений, прямотой, отвагой, личной порядочностью.

Министр путей сообщения **Н е к р а с о в** Николай Виссарионович (1879—1940). Из семьи священника. Окончил Институт инженеров путей сообщения. Профессор Томского технологического института. Депутат III и IV Думы. Кадет. Участник заговора Гучкова в 1916 году. Входил в известную масонскую пятерку (вместе с А. И. Коноваловым, М. И. Терешенко, А. Ф. Керенским, И. Н. Ефремовым). После Февраля — активный сторонник военной диктатуры, затем — инициатор включения в правительство демократов-социалистов, и снова, через десять дней — инициатор установления личной диктатуры. Выступал против намерения арестовать Ленина по обвинению в государственной измене. Во время «дела Л. Г. Корнилова» пообещал Керенскому полную поддержку, но тут же высказался за отставку главы кабинета, за что удален из правительства. После Октября сразу начал работать в советских учреждениях. В марте 1919 года арестован, в мае освобожден после встречи с Лениным, предложившим ему работать в кооперации, где дорос до высоких постов, одновременно преподавал в Московском университете и Институте потребкооперации. В 1930 арестован, приговорен к 10 годам лишения свободы, в марте 1933 года досрочно освобожден, работал на строительстве канала Москва — Волга служащим. В 1939-м вновь арестован и в 1940-м расстрелян. Реабилитирован в 1990 году. По характеристике близко его знавших — крайне честолюбив, двуличен. Крупная личность с огромными деловыми способностями, умением ориентироваться в обстановке, широким кругозором, практической сметкой. Умный, хитрый, красноречивый, умевший, когда надо, казаться искренним и добродушным. В своем окружении получил кличку «злого гения русской революции».

Министр торговли и промышленности **К о н о в а л о в** Александр Иванович (1875—1948). Из семьи фабрикантов. Учился на физико-математическом факультете Московского университета, в Профессионально-технической школе в Германии. Одаренный музыкант, пианист. С 1897 года руководил отцовским Товариществом мануфактур, многое сделал для улучшения условий труда, жизни и быта рабочих. Депутат IV Думы. Масон. Член партии «прогрессистов». Занимал видные государственные и общественные посты в объединениях промышленности, банков. В Думе боролся за прогрессивное законодательство о правах рабочих, эту же линию продолжал и во Временном правительстве, доброжелательно относился к Советам. Из-за разногласий с другими министрами 19 мая вышел из правительства, участвовал в работе I Всероссийского съезда Советов. Вошел в партию кадетов. Выступал за сепаратный мир. Был избран в Учредительное собрание. Во время большевистского переворота объявил, что Временное правительство (Коновалов был членом 3-го его состава) решило не сдаваться. Арестован, препровожден в Петропавловскую крепость, в начале 1918 года освобожден, эмигрировал, агитировал за продолжение борьбы с большевиками. Руководил эмигрантским благотворительным Земгором. Как человек отличался высокими качествами, был прост, искренен, бесхитростен, настроен патриотически, мучительно переживал, что с приходом к власти ленинской партии война для России кончится постыдно.

Министр финансов **Т е р щ е н к о** Михаил Иванович (1886—1956) родился в семье богатого промышленника. Окончил Киевский и Лейпцигский (Германия) университеты. Крупный землевладелец, финансист, владелец многих сахарных заводов. Масон. Член IV Думы. Беспартийный. Участвовал в подготовке заговора 1916 года. В правительстве Г. Е. Львова совместно с Керенским и Некрасовым боролся за создание межпартийной правительственной коалиции с социалистами. В первом коалиционном правительстве — и последующих — министр иностранных дел, продолжал политику Милюкова. Участник I Всероссийского съезда Советов. Блестящий, светский молодой человек, меломан, меценат, видный деятель Красного Креста. Будучи министром финансов, занимался в основном займом свободы. Доклады в правительстве произносил сжатые, прекрасно аргументированные. Отлично схватывал суть дела, ориентировался в обстановке. В качестве министра иностранных дел ничем особым себя не проявил. Хотел завоевать общие симпатии и расположение, но в этом не преуспел, только союзники относились к нему лучше, чем к Милюкову, — из-за гибкости, сговорчивости, светскости, отсутствия твердых убеждений, дилетантизма. Возложенная на него роль была ему не по плечу. После Октября, отбыв вместе с другими министрами кратковременное заключение, весной 1918 года бежал за границу. Поддерживал белое движение и ввод союзнических войск в Россию. В 20 — 30 годах — крупный финансист во Франции и на Мадагаскаре.

Министр просвещения **М а н у й л о в** Александр Аполлонович (1861—1929). Из дворян. Окончил юридический факультет университета в Одессе. Два года слушал лекции в университетах Берлина и Гейдельберга (Германия). Примыкал к либеральному народничеству. Преподавал политическую экономию в Московском университете, стал его ректором, ушел в отставку в знак протеста в связи с ограничением прав студентов и преподавателей. Во Временном правительстве издавал циркуляры прогрессивного, демократического содержания. Считал невозможной и бесперспективной деятельность правительства в условиях постоянной конфронтации с Советами, полагал, что в такой ситуации правительство должно уйти. Не был босовой натурой при всех положительных качествах: широте знаний, высокой образованности, административных способностях. Не мог постоять за себя, приходил в уныние от нападков справа и слева. Будучи членом партии кадетов, являлся также масоном. После Октября написал Ленину о желании сотрудничать с Советской властью. С января 1918 года преподавал в Московском университете, затем работал в Наркомате финансов в Госбанке. Репрессиям, судя по всему, не подвергался.

Министр земледелия **Ш и н г а р е в** Андрей Иванович (1869—1918). Мать — дворянка, отец — мешанин. Окончил естественное отделение и медицинский факультет Московского университета. Врач-подвижник, земский деятель. Кадет. Масон. Депутат IV Думы. Верный сподвижник Милюкова. Был превосходным деловым министром, с огромной энергией, твердостью и авторитетом — и яростным врагом Советов. Характеризуется как подлинный интеллигент с горячим



сердцем, высоким строем души, кристально чистыми побуждениями, чрезвычайно обаятельный. Был любимцем среди депутатов Думы и в народе, к нему ежедневно обращались многие «простые люди» со своими нуждами. Говорил легко и свободно, ясно, доступно, иногда остроумно. Однако как общественный деятель был «рассчитан» не на общегосударственный, а на губернский или уездный масштаб, страдал провинциализмом, ограниченностью кругозора, дилетантизмом. Достиг много собственными усилиями: работал по 15 — 18 часов, хотел сделать все сам, мало кому доверяя, переутомился, потерял бодрость и жизнерадостность, после ухода из правительства стал раздражителен, желчен, озлоблен, подозрителен, недоверчив. К Керенскому был враждебен. 20 августа на заседании ЦК кадетов голосовал за установление военной диктатуры. Уже давно не будучи министром, в конце ноября заключен большевиками в Петропавловскую крепость, 6 января 1918 года вместе с министром Ф. Ф. Кокوشкиным переведен в тюремную больницу, где той же ночью обоих зверски убили ворвавшиеся в палату пьяные солдаты и матросы, заколов штыками прямо в постелях.

Министр юстиции К е р е н с к и й Александр Федорович (1881—1970). Из дворян. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Эсер.

Обер-прокурор Синода Л ь в о в Владимир Николаевич (1872—1934), однофамилец министра-председателя. Из дворян. Крупный землевладелец. Окончил юридический и историко-филологический факультеты Московского университета, был вольнослушателем Духовной академии. Член партии «октябристов». Земский деятель. Депутат III и IV Государственной думы. В правительстве — сторонник сильной власти во главе с Керенским. Участвовал в организации корниловского выступления, сыграл в нем двойственную роль. Октябрьский переворот встретил в Бугуруслане, политической деятельностью не занимался. В начале 1920 года эмигрировал. Признал Советскую власть и в 1922 году вернулся на родину, до 1927 года работал в Высшем церковном управлении, затем арестован по уголовному делу, выслан в Томск на три года, после освобождения остался жить там.

Министр по делам Финляндии Р о д и ч е в Федор Измайлович (1853 или 1856 — 1932). Из дворян, крупный землевладелец. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Земский деятель, затем присяжный поверенный. Кадет. Член Государственной думы всех созывов. Противник свободного отделения Финляндии от России. Поддерживал выступление Л. Г. Корнилова. После Октября подвергался аресту в связи с убийством М. С. Урицкого. С 1919 года — в эмиграции, входил в демократическую группу П. Н. Милюкова.

Государственный контролер Годнев Иван Васильевич (1856 — ?). Помещик. Окончил медицинский факультет Казанского университета, Медико-хирургическую академию, доктор медицины. Земский деятель, затем приват-доцент Казанского университета. Депутат III и IV Думы. «Октябрист». Масон. Как политик оказался пассивен, в пра-

вительстве оставался по недоразумению, за неимением желающих, несмотря на свои привлекательные чисто личные качества. После Октября — в эмиграции. Дальнейшая судьба неизвестна.

Следует признать, что, невзирая на все трудности и спешку, состав Временного однородно буржуазного правительства в целом следует признать удачным. Все двенадцать его членов (включая Годнева, не имевшего министерского титула, но являвшегося членом правительства) имели высшее образование (некоторые — по два-три, иные получили его в европейских университетах, трое имели ученые степени и звания — магистр, профессор, доктор; посты были распределены в большинстве в соответствии с основной профессией или близкой к ней с учетом опыта прежних занятий); возраст был подходящий для политиков такого ранга (лишь двое, не игравшие особой роли Годнев и Родичев, перешагнули шестидесятилетний рубеж, самым молодым — Терещенко и Керенскому — исполнилось, соответственно, 31 и 36; представлены все основные буржуазно-либеральные партии — кадеты, «октябристы», «прогрессисты». Каждый по отдельности был по-своему хорош и в главном соответствовал должности. То, что правительство в целом не справилось со своей ролью, со своими задачами, — предмет особого разговора, имелись глубокие причины, о которых мы дальше поговорим. Пока же — по крайней мере, в момент формирования и в первый месяц работы — оно действовало согласованно, без внутренних распрей. И здесь есть повод и необходимость вернуться к рассказу о масонах, начав с того, на чем мы остановились, излагая события, предшествовавшие Февралю.

Сказать об этом важно, ибо все, что касается масонов и их роли в российской политической жизни, либо замалчивается, либо говорится сверхосторожными двусмысленными намеками, либо необоснованно и непомерно преувеличивается, либо (в советской историографии) сам факт их наличия, как правило, отвергается категорически. Наиболее забавный пример: «историк от КГБ» М. К. Касвинов в качестве аргумента приводит такой — у Ленина о масонах ничего не сказано. Верно, даже упоминания нет. Но хотя у многописучего и многоговорливого вождя и учителя ни разу, ни единым словом не упомянут, допустим, ислам, значит ли это, что он не существовал в его время и не существует ныне в мире и в России?

Рассказывая о Временном правительстве, П. Н. Милюков пишет о М. И. Терещенко: «В каком «списке» он «въехал» в Министерство финансов? Я не знал тогда, что источник был тот же самый, из которого был навязан Керенский, откуда исходил республиканизм нашего Некрасова, откуда вышел и неожиданный радикализм «прогрессистов», Коновалова и Ефремова (он входил лишь в состав второго коалиционного правительства.— В. Е.). Об этом источнике я узнал гораздо позднее, но не назвал даже в 1940-х годах, когда писал свои «Воспоминания».

И еще — он же: «Когда дело дошло до моего ухода из правительства, именно Керенский в заседании правительства предоставил себе удовольствие объявить мне, что «семь членов правительства решили (в моем отсутствии) переместить меня в Министерство народного просвещения... Кто были эти «семеро»? Конечно, прежде всего «триумvirат» Керенского, Некрасова и Терещенко. Затем двое правых, совершенно поработанные авторитетом Керенского, Влад. Львов и Годнев... Коновалов, личный и политический друг Керенского... и... князь Г. Е. Львов, подчинившийся его влиянию... Это распределение голосов наилучше всего характеризует степень и пределы влияния Керенского в правительстве первого состава».

Здесь названо не семеро, а шестеро. И не сказано, кто же они. А о н и — это масоны. И по сведениям, с трудом собранным и сопоставленным по различным источникам — светским, эмигрантским, научным, мемуарным, получается, что в однородно буржуазном правительстве масонов было не семеро, а по крайней мере восемь, да под сомнением еще и девятый, князь Г. Е. Львов. Итак, из 12 министров — 9 масонов. Исключения: Милюков, Гучков, малозаметный там Родичев.

В отличие от Ульянова-Ленина, ни разу не упомянувшего о масонстве, что весьма непростительно для такого знатока политической жизни страны, Керенский посвящает «вольным каменщикам» отдельную главу воспоминаний, о чем уже упоминалось. Однако «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли»... Исследователь найдет здесь минимум информации, что отнюдь не случайно, ибо, пишет Александр Федорович, «при отъезде из России летом 1918 года мне было поручено раскрыть суть нашей работы, без упоминания чьих-либо имен, для восстановления истины в том случае, если в прессе ког-

да-либо появятся искажающие ее материалы». Формально это поручение (чье? — *В. Е.*) Керенский выполнил: включил в книгу, — в совершенно произвольно выбранном месте, вне контекста, — четыре страницы, из которых одна посвящена давно известным сведениям об истории масонства и еще одна — совершенно не идущей к делу истории о том, что за Керенским наблюдали полицейские филеры-«топтуны».

Некоторые интерес представляют здесь лишь отдельные признания мемуариста.

Масонская организация в России во время достижения общих целей объединяла членов самых различных организаций.

На собраниях и съездах масонов обсуждались такие важные вопросы, как национальный, формирование правительства, аграрная реформа, что позволило выработать программу демократизации страны, в значительной мере воплощенную в жизнь Временным правительством.

Все усилия масонов имели целью способствовать проведению широких социальных реформ и установлению федерального устройства государства.

Безоговорочная защита отечества оставалась основой всей деятельности масонов на весь период войны.

В последние годы в России появились — новые и переизданные — работы, позволяющие обнаружить и проанализировать некоторые сведения о деятельности русских масонов.

И прежде всего — в вопросе о формировании Временного правительства, столь значительной роли Керенского в нем.

Тот же Милюков отмечает: «Единственный голос власти в заседаниях принадлежал Керенскому, перед которым председатель (речь идет о Г. Е. Львове.— *В. Е.*) совершенно ступшевыался». Другие авторы пишут, что отношение Львова к Керенскому походило на какое-то робкое заискивание. Во время отъездов он всегда оставлял «за себя» Александра Федоровича, стоявшего, по порядку значимости поста, в конце списка членов кабинета. Есть недоказанное предположение о том, что такая робость и почти угодливость премьера вызвана властью, которую имел Керенский как секретарь масонского Верховного совета русских лож над рядовыми членами организации. Правда, что касается отношений Львова к Керенскому, тут есть и другие причины особого поведения князя...

Проведенные автором по доступным источникам подсчеты показывают следующее.

За все время существования Временного правительства, во всех его составах (однородно буржуазное, первое и второе коалиционные, промежуточная Директория, третья коалиционное) министерские посты занимали в общей сложности 39 человек. В том числе масонов (считая и «сомнительного» Г. Е. Львова) — 20, то есть половина. Члены знаменитой масонской «пятерки» входили в правительство: Керенский и Терещенко — все пять раз, Коновалов и Некрасов — по три раза, Ефремов — дважды. Наибольшее число «братьев» было в буржуазном (9 из 12) и последнем (10 из 17) составах (Н. Н. Берберова, очевидно, ошибается, говоря, что в последнем правительстве только двое не являлись масонами).

У Н. Н. Берберовой говорится: «Когда Терещенко хотел уйти из министров (после второго коалиционного правительства), то Керенский прерывающимся от волнения голосом, в котором слышались ноты рыданий, упрекнул Терещенко в том, что тот его покидает... Такие сцены, возможно, повторялись несколько раз, так как при каждой смене министров для Керенского было очень важно, кто масон и кто немасон: немасонов он удержать не мог, масонам он напоминал о клятве».

Показательно, что, когда Керенский возглавил Министерство юстиции, он сам подобрал, как было принято, своих товарищей (помощников); из девяти шестеро были масонами. На этом уровне (товарищей министров) установить численность «вольных каменщиков», вероятно, сейчас не представляется возможным. Несомненно, они б ы л и (в литературе упоминаются Гримм, Титов).

Правда, такое обилие членов тайных лож у вершины власти вряд ли сыграло сколько-нибудь заметную роль во внутренней политике кабинета (если не считать личной роли Керенского). Масонская организация не являлась, повторим, ни политической партией, ни оппозицией, ни блоком, ни теневым кабинетом. Она, безусловно, в какой-то мере н а п р а в л я л а политику Временного правительства, но, будучи строго законспирированной, не осуществляла ее.

Однако, утверждают некоторые исследователи на основании достаточно скудных данных (иногда — догадок, а то и домыслов), наличие многих масонов во всех составах Времен-

ного правительства сыграло важную, если не решающую роль в его в н е ш н е й политике, в решении вопроса о сепаратном мире и, следовательно, выходе России из непосильной для нее войны.

По мнению Н. Берберовой, Керенский, став военным и морским министром, понимал всю безнадежность положения правительства (и России в целом, надо полагать. — *В. Е.*). Спасти мог только сепаратный мир с Германией, это сознавали все мыслящие и сведущие люди, но только большевики в первые же часы захвата власти во всеуслышание заявили о мире, и только Ленин с его железной волей, целеустремленностью, стратегическим мышлением сумел сыграть на жажде народов к миру, прийти к власти, а затем, поставив все на карту, пренебрегая многим, вопреки всяческим противодействиям, добился в качестве главного способа и средства удержаться у власти, спасти Россию от гибели — подписания позорного, похабного, грабительского — но мира.

Керенский этого сделать не мог. Слово, данное масонской ложе Франции, было непреодолимым. Тем более что французские, а следом и английские социалисты-масоны нажимали на него изо всех сил. Приезд в Россию в конце марта трех социалистов-французов — Мутэ, Кашена и Лафона, а затем полуофициальная миссия министра вооружения Франции, несомненного масона Альбера Тома, косвенно свидетельствуют об этом. Посол Парижа в России Морис Палеолог, проницательный, умный, наблюдательный дипломат (и хороший писатель) внес в дневник: «Его (Тома. — *В. Е.*) патриотизм, его талант и сверх того его социалистические убеждения делают его, кажется мне, более квалифицированным, чем кто бы то ни было, чтобы з а с т а в и т ь (*В. Е.*) Временное правительство и Совет выслушать кое-какие неприятные истины. С другой стороны, он близко увидит русскую революцию и возьмет под сурдинку странный концерт лести и похвал, который она вызвала во Франции».

Сам Морис Палеолог, хорошо осведомленный в российских делах, обладавший широким кругом знакомств, записывает 2/15 марта: «Керенский... оказывается наиболее деятельным и наиболее решительным из организаторов нового режима. Его влияние на Совет велико. Это — человек, которого мы должны попытаться привлечь на нашу сторону. Он один способен втолковать Совету необходимость продолжения войны и сохранения союза (с Францией и Англией. — *В. Е.*). Поэтому

я телеграфирую в Париж, чтобы посоветовать Бриану (Бриан Аристид — премьер, а в 1915—1917 годах и министр иностранных дел Франции.— В. Е.) передать немедленно через Керенского воззвание французских социалистов, обращенное к патриотизму русских социалистов».

М. Палеолог отмечает «оскорбительную холодность», с которой «упорно относится Совет» к миссии Альбера Тома, говорит о высокой оценке французским министром Александра Керенского, подчеркивает, что Тома встречался именно с ним, а не с министром иностранных дел П. Н. Милюковым.

Н. Берберова без обиняков пишет, что французские радикал-социалисты приезжали в Россию в 1917 году, чтобы напомнить Керенскому о клятве.

Из работы Грегори Аронсона «Масоны в русской политике» (Аронсон Григорий Яковлевич — уроженец России, участник революций 1905 года и Февральской, эмигрант, писатель, политолог, умер в Нью-Йорке в 1968 году): масонская организация в 1917 году, ее элита «взяла на свою совесть судьбу страны и революции и в своих засекреченных кружках решала и взяла все трудные вопросы о войне и мире, о власти и анархии, о корниловщине, о большевизме... Все нити возможных перемен в политическом режиме России... были сосредоточены в руках пятерки... Соглашение Керенского с Альбером Тома... имело значение и в вопросе коалиционного правительства, и... направлении внешней политики».

Очень важно отметить, что в революционные дни первое заседание Верховного Совета масонов России состоялось сразу после формирования Временного правительства (в квартире Керенского), а последнее — в сентябре или даже октябре, когда крах Временного правительства сделался очевидным и следовало искать пути спасения.

Керенский «выжил бы только при одном условии: если бы французское и британское правительства летом — осенью 1917 г. дали ему возможность заключить сепаратный мир... Чтобы скрыть свою связь с масонами и сдержать клятву... Керенский говорил после 1918 г. в Лондоне, что он потому хотел продолжать войну, что якобы царский режим хотел сепаратного мира... Царский режим никогда этого не хотел, но выдумка Керенского очень удобно помогла ему скрыть действительную причину желания продолжать войну во что бы то ни стало: связь с масонами Франции и Англии и масонская

клятва», — писал Роберт Локкарт, агент английской дипломатической службы в России, журналист.

Еще раз сошлемся на Н. Берберову: политическая карьера Керенского была связана с масонством...

«П. Н. Милюков был противником введения во Временное правительство Керенского и Терещенко, и, когда их все-таки назначили министрами, говорил о какой-то «неведомой силе», которая нависает над правительством. Но когда я узнал список членов Временного правительства, сразу понял, откуда появились некоторые малоизвестные имена», — признается Евгений Петрович Гегечкори, меньшевик, масон.

(Если признать достоверной причастность князя Г. Е. Львова к масонам, то следует обратить внимание на замечание одного из исследователей: став во главе правительства, князь поддерживал то Милюкова в вопросе о продолжении войны и против сепаратного мира, то выступал в этих вопросах вместе с Керенским, считая неблагородным «предать» союзников.)

Министр иностранных дел М. Терещенко рассказывал, что 1 августа получил очень выгодное предложение о сепаратном мире с Германией, немедленно доложил Керенскому, тот отделался молчанием.

Есть версия, что Керенский ради интересов Франции давал Ленину возможность захватить власть. Если бы в июле вождь большевиков был арестован и Александр Федорович замирился с немцами — военные планы французов оказались бы нарушенными и Франция потерпела бы поражение.

Напомним: клятва масонов превышала все остальное: клятвы мужа и жены при венчании, клятву родине...

Если все сказанное о масонских связях и обязанностях Керенского соответствует истине, то это — одна из важнейших его провинностей перед Россией, перед народом. Заключив мир с Германией, Керенский выбил бы у большевиков главный козырь, почти наверняка лишил бы их возможности взять власть. Бессмысленно гадать, кто получил бы ее из рук Учредительного собрания, по какому пути пошла бы страна, но можно сказать уверенно — не по большевистскому, самому страшному, какой только можно вообразить, это уже понимали тогда многие.



Что заставило Александра Федоровича так покорно следовать требованиям Франции, явно не совпадающим с интересами России? Ложно понятое чувство долга и порядочности, соблюдение их ценою предательства собственного народа? Страх потерять власть? Элементарный просчет политика? Ужас перед большевиками? Или же все-таки правдоподобна «масонская версия»?

## Глава пятая

Несмотря на все трудности, порожденные войной и развалом старой администрации, Временное правительство провело в жизнь с одобрения всей страны широкую законодательную программу, заложив тем самым прочные основы для преобразования России в развитое государство... За короткий промежуток времени после Февральской революции Временное правительство предоставило народам России не только политическую свободу, но и социальную систему, гарантирующую человеческое достоинство и материальное благосостояние.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Нет сомнений в том, что при всех своих отрицательных человеческих качествах и политических шатаниях — поразительно, с каким единодушием аттестуют его и многочисленные противники, и нейтрально к нему относившиеся, и друзья, — человек не слишком крепкого здоровья (костный туберкулез в детстве, удаление почки на четвертом десятке лет, хроническая бессонница, внезапные частые обмороки, приступы истерии), Александр Федорович был человеком невероятной трудоспособности, выносливости, неприхотливости в быту, подвижности, готовности взяться за любое дело, какое он считал важным, полезным для главного, ради чего он жил, для дела революции. Несомненно, подобного истового — и неистового — революционера не было во Временном правительстве за весь период его существования, да и в различных партиях. Правда, у большевиков имелся свой фанатик — Ленин, однако человек совсем другого сорта (и другого, более крупного, несомненно, масштаба).

По словам буржуазного общественного деятеля Сергея Илиодоровича Шидловского, «в первые дни революции Керенский оказался в своей тарелке, носился, повсюду произносил речи, полные добрых желаний, не различал дня от ночи, не спал, не ел и весьма быстро дошел до такого состояния, что падал в обморок, как только садился в кресло, и эти обмороки заменяли ему сон. Придя в себя, он снова говорил без конца, куда-то уносился, и так продолжалось день и ночь».

В целом оценивая Керенского весьма недружелюбно, Шидловский здесь же подчеркивает: «Авантюристом, преследующим какие бы то ни было личные цели, он никогда не был».

Он был романтиком революции, ее трибуном — возвышенным и смешным, отважным и трусоватым, бескомпромиссным и соглашателем, верящим в высокие идеалы и не имевшим зачастую необходимых идей, борющимся не столько п р о т и в, сколько з а, прекрасным оратором и дешевым актеришкой; он был в с я к и м, обыкновенный человек заурядного ума и одаренности, Провидением или стечением обстоятельств на кратчайшее мгновение Истории вознесенный туда, где ему было заведомо не удержаться по зависящим и не зависящим от него причинам и обстоятельствам. Он много говорил — и недостаточно сделал. Вряд ли назовешь его добрым к человеку по отдельности: к людям в о о б щ е — да. И порядочным он был, и помогал людям — скорее не из доброты, а из порядочности, из чувства долга. Об этом мы еще поговорим, а сейчас переменим манеру повествования и, не пытаясь охватить все события, которые происходили п р и Керенском, станем говорить о сюжетах, которым он причастен, даже не всегда принимая в них участие, хотя участвовал он во многом, даже в том, в чем не было особой нужды. (К примеру, где-то в середине марта его занесло в Зимний. Велел собрать всю челядь (научные работники на службу не выходили) в тронный зал. Взошел на ступеньки трона,— однако, проявил такт, не воссел, хотя, может, такая мыслишка и мелькнула. Объявил: дворец отныне национальная собственность. Благодарил — достойно и сердечно — всю обслугу за верность делу, за то, что не допустили крупного погрома и разграбления в эти дни (всякие мелкие пакости и гадости не в счет). Смотрители залов, экскурсоводы, просто лакеи пришли в восторг, кинулись кланяться, провожали, усаживали в автомобиль... Это так, вспомнилось, но случай типичный для Керенского.)

## 2

Итак, в начале марта первый этап Февральского периода русской революции (для краткости в дальнейшем будем называть привычно — Февральская революция) — завершился: с монархическим строем в России было покончено, и, будем надеяться, навсегда. Правительственный аппарат оказался парализованным, государственная машина разбита. На смену пришла буржуазия, началась демократизация страны, испокон веков не знавшей, что такое свобода.

Даже В. И. Ленин вынужден был признать: «Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны»; «Россия *сейчас* самая свободная страна в мире из воюющих стран», где отсутствует насилие над массами.

27 февраля образовался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Столь быстрое возникновение его объясняется просто: еще не забыли существование такого органа в сравнительно недавнее время с 13 октября 1905 по 2 января 1906 года. Сейчас Совет начал работать там, где его остановили, «с колес»: на первом же заседании в Таврическом дворце, в резиденции Думы, избрали исполком из 15 человек: эсеры, меньшевики и двое большевиков — Александр Гаврилович Шляпников, рабочий тридцати с небольшим лет, и профессиональный революционер, его сверстник, Петр Антонович Залуцкий.

Сначала, когда через газеты объявили, чтобы заводы, фабрики, полки присылали в Совет своих делегатов, их набралось 1300 человек, но оказалось, что выделили далеко не все. Тогда предложили провести дополнительные выборы и сделали при этом глупость: установили демократическую норму — от всех поровну, от Путиловского ли завода с его тридцатью тысячами, от бани, где едва наберется полсотни, от пехотной роты — все едино, по одному выборному. Вдобавок оказалось, что всех предприятий в городе значительно меньше, чем воинских подразделений. Вот и получилось: в Совете — восемьсот представителей рабочих и две тысячи — уполномоченных от солдат (причем настоящих солдат оказалось совсем мало, командировали тех, кто пограмотней и погорластей, — писарей, фельдшеров, кладовщиков, прапорщиков, только что произведенных из «нижних чинов»). Почти все сплошь — меньшевики и эсеры.

Кроме того, на ежедневные заседания протискивался всяк желающий. Масса сделалась неуправляемой, стояли невыразимый гвалт и табачный дым, ораторов то и дело перебивали, решения принимали практически наобум: голосовал каждый, кто хотел, не разберешь, депутат или зевака, и как вообще прикинуть в такой толпе, сколько рук поднято; брали горлом, как в Запорожской Сечи. Наконец додумались: разделились на секции — рабочую и солдатскую, общие заседания стали проводить в зале Морского кадетского корпуса на Васином острове.

Исполком оставался в Таврическом, тоже разрастаясь, пришлось в середине марта образовать Бюро исполкома, а чуть позже — и Президиум Бюро. Наплодили несметное число комитетов и комиссий.

Обе власти — Временное правительство и Совет — отпихивали от себя ответственность. По словам Троцкого, руководители Совета с тревогой озирались вокруг себя в поисках настоящего «хозяина» и настоятельно требовали, чтобы им стало Временное правительство, а оно, в свою очередь, считало это актом политического изнасилования. Положение афористично сформулировал князь Г. Е. Львов, сказав, что правительство «было властью без силы, тогда как Совет рабочих депутатов был силой без власти». Этот факт констатировал и А. И. Гучков: «Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, который располагает важнейшими элементами реальной власти, так как железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное правительство существует, лишь пока это допускается Советом рабочих и солдатских депутатов».

Советы добровольно уступили власть буржуазии, а та не могла воспользоваться ею полностью, подчинилась влиянию Совета, о нем член исполкома Владимир Бенедиктович Станкевич, образованный и умный человек, писал, что его заседания свидетельствовали об удивительном невежестве и бестолочи.

Исполком пытался что-то делать, однако получалось криво, невпопад, на ощупь и редко приводило к результатам. Тем временем Ленин по инерции продолжал именовать Советы (они возникали и в других городах) органами диктатуры пролетариата и крестьянства, хотя никакой рабочей диктатуры не было и в помине, а о крестьянстве Петроградский Совет думал постольку, поскольку на две трети, если не больше, состоял из м у ж и к о в, одетых в шинели.

Двоевластие означало существование в России двух сил, возглавлявших различные течения общественной мысли, различных мировоззрений. Парадоксом было, что и те и другие, по словам генерала Антона Ивановича Деникина, умного политика, «черпали свои руководящие силы из одного источника — немногочисленной русской интеллигенции... Обе стороны не отражали в надлежащей мере настроения народной массы, от имени которой говорили и которая, изображая первона-

чально зрительный зал, рукоплескала лицедеям, затрагивающим ее наиболее жгучие, хотя и не совсем идеальные чувства».

Ловко заняв руководящие посты и в Совете, и в правительстве, называя себя «заложником демократии», Керенский, по сути, занялся открытым шантажом: «Я являюсь представителем демократии, и Временное правительство должно смотреть на меня как на выразителя требований демократии и должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать».

Между прочим, в Совете и его исполкоме Александр Федорович, став министром, почти не появлялся, в лучшем случае заглядывал на бегу, на минуточку...

### 3

Если первым заседанием должно считать то, совместное с Временным комитетом Государственной думы и исполкомом Совета, когда утверждали состав правительства и проект Декларации нового кабинета; вторым — ночное бдение в ожидании известий от Гучкова и Шульгина об отречении царя; если третье было «ни о чем»: приглядывались друг к другу в новом качестве; если только четвертое правительственное заседание считалось уже не **р а с п о р я д и т е л ь н ы м**, а рабочим, но прошло, словно в уподобление Совету, в бестолковщине, без перечня вопросов для обсуждения, без докладов, без протокола; если только пятого началась более или менее ровная, плановая работа,— если, таким образом, деятельность кабинета достаточно долго для сложившейся ситуации **р а с к а ч и в а л а с ь**, то Керенского одолевало **н е т е р п е н ь е**, что по словарю Владимира Даля определяется, в частности, как недостаток терпенья, спокойного выжиданья; непомерно сильное желанье, хотенье, беспокойное стремленье; торопливость, спешливость, торопкость, неуменье терпеть, поблажка воле своей,— как с Александра Федоровича списано...

Постоянная нервическая его взвинченность породила бессонницу, а та, в свою очередь, дурную и обременительную для других привычку звонить по телефону спозаранок; если в дни революционного мятежа с этим еще можно было смириться, то сейчас, когда жизнь более или менее входила в норму, утренний трезвон большинство людей раздражал; поняв это, Керенский немалым усилием обуздал-таки себя и не подходил к аппарату ранее десяти утра, но, дождавшись этого

времени, с последним ударом часов тотчас хватался за телефонную трубку.

3 марта жертвой раннего для пожилого человека звонка оказался Николай Платонович Карабчевский, прославленный участием в ряде крупных политических процессов: мелтатских вотяков, дела о кишиневском антиеврейском погроме, защиты эсеров-террористов Григория Гершуни и Егора Созонова, сопредседатель Совета присяжных поверенных столицы, шестидесятишестилетний, усталый и хворый человек.

Доброе утро, барышня, говорит министр юстиции, соедините, пожалуйста, с господином Карабчевским. Спасибо... И — его понесло: доброе утро, Николай Платонович, с вами имеет честь говорить министр юстиции Александр Федорович (словно тот не знал имени-отчества!) Керенский. Рад известить, что минувшей ночью сформировано Временное демократическое правительство. Я взял (опять это «я взял!») портфель министра юстиции (уже ведь сказал об этом в первых словах!)... Благодарю вас, Николай Платонович, благодарю покорно. Вы должны (не «прошу», не «сочтете ли возможным») помочь мне («мне», а не правительству) сформировать состав министерства и Сената<sup>1</sup>... Я хочу поставить правосудие в России на недостижимую высоту (переплюнуть Александра II с его великолепной судебной реформой?)... Благодарен за пожелание. Не можете ли собрать ваших (уже «ваших», а не наших, а как же, министр ведь!) коллег сегодня же (ишь, не стерпчи вый, пришло Карабчевскому на ум простонародное словечко), я желал бы посоветоваться («я желал», а ведь неизвестно, желают ли они) относительно кандидатов... После трех? Спасибо, вполне уместно, значит, ровно в три (не было сказано, что «ровно»). Благодарю, Николай Платонович, дай вам Бог здоровья... Карабчевский перевел дух, от трескотни заломило в ушах.

Николай Платонович вызвал письмоводителя, распорядился оповестить всех членов Совета присяжных и к назначенному часу почти все, кто находился в городе, собрались в канцелярии. Они, конечно, знали друг друга, большинство испытывали

---

<sup>1</sup> Правительствующий Сенат — высший государственный орган суда и надзора. Основан Петром I в 1711 году. Состоял из сенаторов, назначаемых государем пожизненно. Возглавлялся обер-прокурором. Подчеркивая преемственность своей власти, Временное правительство 3 марта принесло Сенату присягу, а затем подчинило его себе. Сенат упразднен большевистской властью 22 ноября 1917 года.

несколько странное чувство горделивости — как бы за себя: подумать только, такой же, как и мы, из нашего братства, ан, гляди-ка! Правда, Керенский уже был и до того знаменит, вон в каких процессах и а к ц и я х участвовал! Перечисляли, добавляли, получалось внушительно. Сошлись на том, что назначение для всех них хорошо: свой брат, не чиновник, в обиду не даст. А что касасяемо причуд и странностей характера — это к делу не идет.

Ровно в три часа ввалился крупнотелый, громкоголосый и несвойственно внешности суетливый депутат Думы граф Орлов-Давыдов, известный богач и кутила, какими-то непонятными нитями, ведал Карабчевский, связанный с Керенским. Я от Александра Федоровича, объявил граф, он немного запаздывает, приносит извинения... И, не смущаясь ролью посыльного, не ожидая приглашения, водрузил себя в кресло.

Задержался Керенский почти на час, внесся, как уже стало привычно, а не вошел степенно. Одет в невиданную черную куртку с глухим стоячим воротом, четыремя — попарно на груди и на полах — накладными карманами, из-под воротника и рукавов не видно, как это полагалось, белых полосок (с тех пор его всюду видели в такой одежде, менялся только цвет, всегда темный, да ворот бывал отложной, манжеты без отворотов). За ним следовал юный поручик из присяжных поверенных, в военно-полевой форме (офицер для поручений при министре юстиции, отрекомендовал Керенский, не столько его, сколько таким манером себя). Министра приветствовали стоя. Керенский извинился за опоздание, счел нужным пояснить: во-первых, уважаемые коллеги, имею честь вам первым сообщить об огромном событии: ровно в полдень в присутствии членов правительства и Временного комитета Государственной думы великий князь Михаил Александрович Романов отрекся от престола, с династией покончено навсегда, т о в а р и щ и... Заплодировали... Но это еще не все. После этого правительство, где я взял (а ведь и в самом деле, если вдуматься — в з я л, обманно притом) портфель министра юстиции, принесло присягу Правительствующему Сенату и вступило в законные полномочия. Первое в истории России демократическое, законно избранное (кем же?) правительство, друзья...

От имени Совета присяжных поверенных Николай Платонович поздравил нового министра (уж хуже последнего царского сановника на этом посту, креатуры Гришки Распутина, — Николая Александровича Добровольского — не будет) и по-



желал быть стойким блюстителем законности, столь необходимой России.

Далее министр заговорил не так торжественно и официально, назвал собравшихся — некоторых — своими учителями (поворот и полупоклон в сторону Карабчевского и еще нескольких старейшин) и дорогими товарищами (общий полупоклон). Он был бледен и — все видели — еле держался на ногах, засуетились, придвинули глубокое кресло с широкими подлокотниками, Керенский упал в него, одна рука вообще неизвестно где, а другая через подлокотник свисала плетью, выказывая всю изнеможенность, впрочем, выраженную и лицом; кажется, обморок. Карабчевский нажал кнопку, приказал — вина, покрепче и побыстрей. Министр отхлебнул крупно, пожал руку хозяину, пальцы холодные. Карабчевский испытал глубокую жалость, хотя Александра Федоровича изначально недолюбливал.

Допив вино и видя общее смятение, Керенский извинился: устал, ужасно устал, трое суток ни минуты сна... Уже голова закружилась, насмешливо подумал Карабчевский.

Министр взбодрился, пошли расспросы, едва успевал отвечать, хотя говорил без привычного красноречия, деловито, четко, явно загодя продуманно. Перечислил поименно всех членов правительства, кратко характеризовал каждого (о Милюкове, Гучкове холодно, отстраненно, о Некрасове, Терещенко, Коновалове почти восторженно, об остальных — и к а к), про себя, не убоившись громких слов, заявил, что самым радикальным и прогрессивным является он, министр юстиции и одновременно, по давнему установлению, и генерал-прокурор, а также товарищ председателя Совета рабочих депутатов; что в деле правосудия не будет никаких компромиссов; неизбежна чистка: разумеется, сенаторы и судьи несменяемы, он высоко ценит этот принцип, но ведь изменился государственный строй... и можно, например, предложить кое-кому повышенные, почетные пенсии...

А займется непосредственно этим, продолжал он, обводя всех взором, испытывая терпение, — займется, полагаю, Александр Алексеевич Демьяненко, назначаю вас, дорогой коллега, директором Департамента по личному составу руководимого мною министерства. Надеюсь, вы окажете мне, да, мне лично, такую честь? Господа, вы, конечно, одобряете?

Новоиспеченный директор встал и поклонился. Милый и мягкий человек, думал Карабчевский о Демьяненко, лодырь отъявленный, мастер тянуть волокиту с изготовлением реше-

ний, вот и все качества. Господь с ним, пускай повластвует, вреда не будет.

А вы, Николай Платонович, говорил министр, не желали бы сделаться сенатором Уголовного кассационного департамента? Я хочу иметь несколько новых сенаторов из числа присяжных поверенных, вам предлагаю первому.

Премного благодарен, господин министр, подчеркнув титул, — знал старик, как польстить вроде, а на самом деле п о д к о в ы р н у т ь, многие поймут, — с вашего позволения предпочел бы, пока есть силы, оставаться адвокатом, надеюсь, еще пригожусь в качестве защитника... Кому пригодитесь, — Керенский улыбнулся, — уж не Николаю ли Романову? Охотно, если вы изволите затеять над государем суд.

Керенский задумался и неожиданно — для себя тоже? — сделал выразительный жест: провел указательным пальцем по щеке и энергично ткнул вверх.

Только не это, только не это, возбужденно заговорил Карачевский, забудьте о Французской революции, стыдно и бессмысленно пройти по ее стопам весь путь!

Я пошутил и, вижу, неудачно, ответил Керенский, мы вообще будем решительно выступать против смертной казни, я вовсе не хочу быть кровожадным Маратом нашей революции, я мечтаю видеть ее бескровной, друзья, и мы все должны приложить к тому все усилия.

Успокоились. Тем же манером, как Демьяненко, в ы б р а л (почему, собственно, выбирали они, адвокаты, недоумевали после совещания многие из них же) двоих товарищей министра, а также прокурора Петроградской судебной палаты.

Пили чай с ромом (иные кофий с коньяком), министр — снова внятно и продуманно — изложил ближайшие планы. Особо остановился на том, что в самое короткое время — да завтра же, завтра, — создаст особую, с чрезвычайными полномочиями комиссию для расследования и предания суду бывших министров, крупных сановников и должностных лиц, виновных в преступлениях против народа. Председателем комиссии станет, это решено, московский адвокат Николай Константинович Муравьев, вы его знаете заочно хотя бы, по процессам участников рабочих забастовок, демонстраций, крестьянских волнений и восстаний, социал-демократических депутатов трех Государственных дум (я, как вы, возможно, помните, выступал в аналогичном процессе членов IV Думы, скромно, в скобках, прибавил он).

На прощанье, расчувствовавшись, облобызался с друзьями-присяжными. В окошко видели: у подъезда собралась кучка любопытных — явно случайные прохожие, дворники, прислуга, привлеченная видом красивого автомобиля. Стоя на его сиденье, Керенский сказал этой публике речь (через форточки доносилось: товарищи... я, как министр... да здравствует революция...). За руль, отстранив шофера, сел граф и депутат Орлов-Давыдов.

Вечером разбитная и словоохотливая горничная Карабчевских рассказывала хозяевам: так объясняют, что князья и графья улицы станут мести, наш-то графчик Орлов недаром к самому господину Керенскому подсыпался, метлу в руки никому брать неохота... Ну, Маша, у тебя — голова, тебя в министры бы, смеялся Николай Платонович. А еще посмеялся он, вспоминая этот разговор, когда прочитал слова главного большевика о том, что каждая кухарка должна учиться управлять государством: плагиат, плагиат-с, господин товарищ Ленин, я это первый сказал, в марте семнадцатого...

#### 4

В этот сверхнасыщенный важными событиями день Керенский еще просидел немало на заседании правительства. Обсуждали текст обращения-радиограммы «Всем, всем, всем», извещающего мир о перевороте в России.

В фойе Александра Федоровича дожидались Ольга и Николай Николаевич Суханов. Я здесь в целях давления и контроля, объясняла Ольга Львовна старому приятелю; как могу, слежу, чтобы за день хоть на ходу что-нибудь проглатывал, домой пытаюсь насколько возможно пораньше утянуть, трое суток глаз не смыкал... У самой глаза сделались уже привычно умоляющими. А Суханов дождался в надежде проведать у друга новости для газеты.

Александр Федорович появился уже в шубе, возбужденный, почти сердитый. Но Суханова встретил по-давнему приветливо, с удовольствием, даже ласково. Отмахнувшись от нескольких запоздалых посетителей, потянул Николая Николаевича в угол. Из сбивчивой, злой его речи можно было понять, что между министрами произошли какие-то столкновения. Суханов, тертый калач, решил не вникать, а отшутиться: конечно, министерское положение хуже губернаторского, но вот через два месяца будет правительство Керенского, тогда все обра-

зуются... Александр Федорович слушал внимательней и серьезнее, чем следовало бы, а потом повторил: два месяца, два месяца... прекрасно справились бы и пораньше... Три дня проскакал по дороге истории и уже не хочет ждать еще два месяца. Высоко ты залетаешь, присяжный поверенный, где ты сядешь, Саша Керенский...

Шутка Суханова оказалась пророческой: ровно через два месяца, 2 мая, правительство Львова ушло в отставку, а 5 мая в новом, коалиционном правительстве, возглавленном прежним председателем, Керенский прыгнул на значительно более высокую правительственную ступень: министра военного и морского, должность вроде совсем неподходящая ему. Выше был министр-председатель. Лихо и скоро взлетел недавний присяжный поверенный...

## Глава шестая

В библиотеке Гуверовского института (США.— В. Е.) хранятся оригиналы стенограмм заседаний Временного правительства. Просматривая их много лет спустя, я сам был поражен тем огромным объемом законодательных актов, принятых в первые два месяца после Февральской революции. Как нам удалось добиться столь многого в столь короткий срок? Ведь, в конце концов, помимо принятия законов правительство должно было заниматься продолжением войны и улаживать бесчисленные повседневные административные дела. Более того, в залы Мариинского дворца и приемные министров непрерывным потоком шли посетители и делегации, представители местных органов новой власти и национальных меньшинств. Это было невероятно трудное, горячее время, время бесконечных дневных и ночных заседаний кабинета, всевозможных конференций и выступлений на массовых митингах...

*А. Ф. Керенский*

### 1

Если полистать календарь за любой невисокосный дореволюционный год (не обязательно 1917-й) нашего столетия, то легко подсчитать, что Временное правительство находилось у власти неполных восемь месяцев, точнее — 237 дней, с пятницы 3 марта (отречение Михаила Романова, присяга правительства Сенату) до среды 25 октября включительно (арест последних министров большевиками произошел за полночь, в 1.50 26-го).

Ничтожно малый срок. Один из ярких и существенных в тысячелетней истории Руси, России.

Временное правительство превратилось в высший орган государства по вопросам законодательства, надзора и верховного управления, заменив, таким образом, свергнутого царя и верховную власть, Государственный совет (верхняя палата) и Государственную думу, а также Совет Министров. Другие высшие учреждения, сохранившиеся от царизма (Сенат, Синод, всякого рода Особые совещания), подчинялись ему. Едва ли где-либо в цивилизованной стране существовало правительство, сосредоточившее в своих руках все ветви власти — законодательную, исполнительно-распорядительную и судебную. Советы оказались явно в неравном положении, не обладая никакой реальной властью в решении основных государственных

ных и социальных вопросов. Ленин противоречил сам себе, когда, с одной стороны, называл Временное правительство «главным», а Советы «добавочным», подчеркивая их неравенство, а с другой стороны, говорил о «переплетении двух диктатур», как бы уравнивая их. Утверждение Ленина о том, что Советы суть органы диктатуры пролетариата и крестьянства, для того периода абсолютно неверно: Советы не были диктатурой, скорее уж общественной организацией, и не имели отношения к крестьянству (если не считать крестьянством солдат, призванных из деревни). Параллельно с Советом рабочих и солдатских депутатов существовал Совет крестьянских депутатов, невеликий по составу и не игравший никакой заметной роли. Многочисленные (около 600) и многообразные Советы (территориальные, рабочие, солдатские, крестьянские, казачьи, профессиональные, конфессиональные и прочие, вплоть до анекдотических вроде Совета пекарей и Совета булочников), они каждый по отдельности и вместе взятые не являлись властью до Октябрьского переворота, как перестали быть ею и вскоре после Октября с установлением диктатуры большевистской партии, а затем сменившей ее диктатуры партийного аппарата («функционеров») и в конечном итоге диктатуры вождя.

Словно вторя Ленину, Керенский, сам входивший в состав руководства Петроградского Совета, считал — и вполне обоснованно, — что Временное правительство обладает верховной властью по отношению ко всем прочим органам и организациям, в том числе и Советам, которые не вправе вмешиваться в деятельность кабинета. Противоречия между Временным правительством и Петросоветом порождались не наличием двух диктатур, а противостоянием двух параллельных структур: правительства («власть без силы») и Совета («сила без власти»), претенциозностью последнего.

Здесь уместно привести нестандартное и мало кому, кроме специалистов, известное высказывание умного и самобытного не только генерала, но и политика и историка — Антона Ивановича Деникина: «Русская революция в своем зарождении и начале была явлением, без сомнения, национальным как результат всеобщего протеста против старого строя. Но когда пришло время нового строительства, столкнулись две силы, вступившие в борьбу, две силы, возглавлявшие различные течения общественной мысли, различное мировоззрение... Обе

стороны черпали свои руководящие силы из одного источника — немногочисленной русской интеллигенции, различаясь между собою не столько классовыми, корпоративными, имущественными особенностями, сколько политической идеологией и приемами борьбы. Обе стороны не отражали в надлежащей мере настроения народной массы, от имени которой говорили и которая, изображая первоначально зрительный зал, рукоплескала лицедеям, затрагивавшим ее наиболее жгучие, хотя и не совсем идеальные чувства».

Однако двоевластие существовало, приходилось с этим фактом считаться — ни одна из сторон не могла устранить с политической арены другую. Необходимость постоянного взаимного согласования всех даже мало-мальски существенных вопросов (постановления и указания правительства часто было невозможно привести в действие без санкции Совета, а решения Совета не обеспечивались механизмом их осуществления, оставались прокламациями по сути). Возникали то и дело бесконечные переговоры, уговоры, что отнимало время, тормозило практическое воплощение и важных проблем, и текущих дел.

Чтобы как-то избавиться от этой бесконечной «увязки-утряски», по инициативе исполкома Совета 8 марта образовали Контактную комиссию в составе: председатель Юрий Михайлович Стеклов, к концу месяца замененный Ираклием Георгиевичем Церетели; члены — Николай Семенович Чхеидзе, Николай Николаевич Суханов, Василий Николаевич Филипповский, Матвей Иванович Скобелев. С другой, правительственной стороны на заседаниях, проходивших два-три раза в неделю, обязаны были присутствовать не менее половины министров. Комиссия собиралась по вечерам, сразу после заседания кабинета.

Комиссия создавалась, как официально сформулировано, в целях «осведомления Совета о намерениях и действиях Временного правительства, осведомления последнего о требованиях революционного народа, воздействия на правительство для удовлетворения этих требований и непрерывного контроля за их осуществлением». Это выглядит как декларация некоего Надправительства, контролирующего, диктующего свою волю. И поначалу члены комиссии действовали именно так. Тон задавал Стеклов, тридцатичетырехлетний большевик, историк (расстрелян «товарищами по партии» в сентябре 1941 года).

Владимир Дмитриевич Набоков, управляющий делами Временного правительства, писал в воспоминаниях, что Стеклов раздражал министров (о его грубости, наглой самоуверенности много сказано в мемуарной литературе, и не только антибольшевистской.— В. Е.). Он держался так, будто правительство существует исключительно по его милости и до тех пор, пока это ему, Стеклову, будет угодно. Как бы разыгрывал роль гувернера, следившего, чтобы вверенный ему воспитанник не шалил и делал то, что дозволено, не позволяя неразрешенного; подчеркивал свое могущество и одновременно великодушие. В его речах и поведении так и слышалось и виделось: если бы мы захотели, то взяли бы власть, но пока не делаем этого, считая вас соответствующими историческому моменту, но помните: захотим, и вас не станет...

С приходом на это место Ираклия Георгиевича Церетели положение резко изменилось. Его воспитанность, благородство, личное обаяние, «ореол трагического мученичества» (выражение В. Д. Набокова), принципиальность, уважение к оппоненту и даже противнику,— все это способствовало налаживанию взаимоотношений и порядка. Правда, в результате комиссия, вопреки своей же декларации, стала инструментом воздействия не на правительство, а на собственный слабый, шаткий, стихийный Совет. В апреле комиссия прекратила существование, передав свои функции Бюро исполкома Совета, избавив членов правительства от раздражающей мелкой опеки.

## 2

При многих своих недостатках Временное правительство — до июля — было и действенным, и демократическим. Конечно, не все его решения были продуманны, некоторые постановления выглядели — и оказывались на деле — лишь «заявлениями о намерениях», другие не доводились до конца; все это так.

Однако на протяжении семидесяти лет советская историография, партийная пропаганда, обучение в школах, вузах, в системе так называемого политического просвещения характеризовали деятельность Временного правительства тенденциозно-отрицательно, а то и в издевательских тонах, литература же и искусство соцреализма — исключительно карикатурно (особенно доставалось Керенскому). Даже когда речь шла о бесспорно прогрессивных, демократических акциях, направ-



ленных на удовлетворение народных интересов, любое упоминание о них — умолчать не представлялось все-таки возможным — сопровождалось непременными оговорками типа: «правительство вынуждено было...», «скрывая свои истинные намерения...», «провозгласив (то-то), правительство на самом деле...», «вопреки собственным утверждениям (заявлениям) оно...» и т. п. и т. д.

С первого же периода Февральской революции большевистские агитаторы прилепили к Временному правительству кличку «министров-капиталистов». Даже это утверждение было, мягко говоря, преувеличением и нелепостью по сути. Было бы странным, если буржуазная революция создала не буржуазное, а какое-то иное правительство. Кроме того, управлять огромной Россией (да и маленькой, допустим, Швейцарией) должны были не кухарки (к чему призывал стремиться и частично добился своего Ленин), а люди интеллигентных профессий. Интеллигентность и образованность же в России, как правило, находились в неразрывной взаимозависимости. Но не всякий состоятельный, материально обеспеченный человек — капиталист, и не по этому принципу формировалось правительство князя Г. Е. Львова, а по признакам партийности (и принадлежности к масонству, о чем не знали с уверенностью многие, некоторые смутно догадывались), наличия соответствующих специальностей, опыта, образования.

В составе однородно буржуазного правительства были: профессор (Некрасов), магистр истории (Милюков), доктор медицины (Годнев); врач (Шингарев), ректор университета (Мануйлов), юрист (Керенский), двое помещиков и трое предпринимателей (Г. Львов, В. Львов и Гучков, Коновалов, Терещенко). Но и последние пятеро вошли в правительство не как представители капитала, но в качестве видных общественных деятелей прогрессивного направления. Большинство из них оказались на своем месте. И, будучи людьми обеспеченными (и порядочными), не брали взяток, не воровали, подобно некоторым дореволюционным, советским и нынешним российским высшего ранга деятелям.

Много помех было работе Временного правительства: науськивание большевиков, которые сами по себе тогда ничего не значили; нажим союзников по войне; экономические, все нараставшие трудности; возобновившиеся забастовки и мятежи, давление Советов, да мало ли что еще.

Но были и условия, благоприятствовавшие его деятельности в первую половину времени существования (опять-таки

до июля). Круто повернув политическую и социальную направленность власти от монархизма к демократии, от государства к человеку, Временное правительство не пошло на скоропалительную ломку сложившейся структуры власти, в значительной мере сохранив опытные кадры, лояльные новому строю, избавившись лишь от наиболее одиозных учреждений. Эта стабильность, нежелание одним ударом сгубить механизм управления ставилась Временному правительству в упрек большевиками. Сушью чепуху писал их вождь, утверждая, что главное для н и х (нового правительства) «о т с т о я т ь наиболее существенные учреждения старого режима, отстоять старые орудия угнетения: полицию, чиновничество, постоянную армию». Орудия угнетения о н и как раз в первую очередь и упразднили: Департамент полиции, Отдельный корпус жандармов, охранные отделения. Чиновников и постоянную армию ликвидировали большевики — и хлебнули горюшка, не зная толком азов управления, создавая армию заново, когда клюнул жареный петух. И кнутом, и пряником заманивая и понуждая идти к ним на службу старых специалистов, генералов, офицеров, вплоть до военных фельдшеров — не сделай они этого, пропали бы ни за грош. Собственные их к а д р ы, особенно те, что пониже правительства, сразу принялись воровать, кнутобойствовать, пьянствовать. Недаром же очень скоро родился лозунг народной массы: «За Советы, но без большевиков».

Новая власть обеспечивала гласность в своей работе (уже с 5 марта начал выходить официальный орган «Вестник Временного правительства», где публиковались подробные отчеты о его заседаниях, тексты принятых документов и проч.), сотрудничество с Советом (правда, вынужденное), свободу слова (даже излишнюю: страна то и дело по поводу и без повода стихийно митинговала). До июльских дней, когда начались открытые провокации, кабинет пользовался безусловной поддержкой большинства народа.

Облегчало жизнь Временному правительству и то, что ему достались в наследство разработанные, но не рассмотренные или не утвержденные Государственной думой проекты законов, уложений, постановлений: многие из них после корректировки, порой незначительной, были приняты — на пользу народу.

Сложившаяся многопартийная система в стране действовала в основном ц и в и л и з о в а н н о, исключая большевиков (которые, впрочем, сидели тише воды, ниже травы,

вода собственные внутрипартийные мероприятия да засылая агитаторов в трудовые низы), отчасти эсеров (к тому времени присмиривших и отказавшихся от террора), анархистов (немногочисленных), националистов (не игравших существенной роли). Меньшевики вели себя прилично, в рамках нормальной оппозиции.

В общем, при таких условиях Временное правительство вполне могло дожить до Учредительного собрания, если бы по не весьма убедительным причинам не оттягивало выборы в него и если бы не экстремистские действия большевиков начиная с июля. Но, объявив себя Временным, до Учредительного собрания, правительство все же решило — к сожалению, не вполне достаточно проблем оперативных, требующих незамедлительного осуществления.

Остается все-таки диву даваться, что успело сделать это Временное (или два Временных — однородно буржуазное и первое коалиционное) правительство, особенно в области законодательной, там, где реформы можно осуществлять быстро и независимо от политических обстоятельств, в условиях войны, при наличии нестабильности в обществе.

### 3

Вот основной (в значительной степени неполный) перечень важных актов Временного правительства (главным образом приняты в период марта — июля). Обратим внимание на то, что большинство, — если не все, — они так или иначе посвящены вопросам социальным, направленным на расширение прав основного населения страны, его жизненного уровня, а также развитие и укрепление демократических начал в государственной жизни.

Уничтожение Департамента полиции и его местных учреждений с заменой самой полиции — милицией; ликвидация Отдельного корпуса жандармов, охранных отделений (органов политического сыска), каторги и ссылки; отмена смертной казни.

Объявление амнистии политическим заключенным, подвергнутым наказаниям за бунт против верховной власти, преступные деяния против императорской семьи, посягательства на изменение образа правления, публичные призывы к изменению существующего строя, призыв к неповиновению властям, призыв войск к неповиновению, распространение заведомо ложных слухов о действиях и намерениях властей и т. п.

Упразднение в Правительствующем Сенате (высшем органе суда и надзора) «Особого присутствия для суждения о государственных преступлениях и противозаконных сообществах» (т. е. фактическое уничтожение понятий «политическое» и «государственное» преступления и отнесение антигосударственных действий к обычным уголовным делам); ликвидация высшего уголовного суда; демократизация и расширение прав мировых судов; введение судов по административным делам.

Замена цензуры (ликвидация Главного управления по делам печати с его запретительными функциями) информационной системой, осуществляемой Книжной палатой.

Ликвидация должностей генерал-губернаторов, губернаторов, градоначальников, земских начальников и замена их соответствующими комиссарами Временного правительства с приданным им аппаратом.

Учреждение новых министерств, чья деятельность непосредственно связана с нуждами населения: Министерства труда; продовольствия; государственного призрения (т. е. социальной помощи); а также Министерства почт и телеграфов.

Принятие закона о свободе собраний и союзов.

Создание Главного, губернских, уездных и волостных земельных комитетов для подготовки земельной реформы (проведение ее должно было осуществить Учредительное собрание) и для разработки неотложных временных мер по этому вопросу.

Легализация возникших революционным путем фабрично-заводских комитетов.

Введение хлебной монополии государства и контроля за ценами, создание местных комитетов по снабжению продовольствием.

Принятие на Временное правительство всех внутренних и внешних финансовых обязательств царской власти.

Образование Экономического совета и Главного экономического комитета для координации экономической жизни страны.

Расширение объема и полномочий городских и земских органов самоуправления.

Организация Национальных советов и Комитетов общественных организаций в регионах с нерусским населением.

Отмена всех ограничений по национальному и религиозному признакам (о чем ниже будет сказано подробнее).

Восстановление действия конституции Финляндии; признание права Польши на независимость; компромиссный договор с Украиной, провозгласившей независимость.

Формирование Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии, начало составления списков избирателей.

Начало разработки проекта конституции, согласно которой будущая Россия должна была представлять республику во главе с полномочным президентом, избираемым Учредительным собранием сроком на один год, и двухпалатным парламентом.

Провозглашение России республикой.

Это, совершенно очевидно, действия демократического, а не империалистического (у советских историков было в ходу и такое определение) правительства.

Конечно, не все было столь демократично и славно. Чего стоит, например, роспуск сейма Финляндии, провозгласившего независимость страны (это произошло 18 июля, хотя 7 марта то же правительство восстановило, как уже сказано, действие конституции этой автономии).

Главное: Временное правительство не решило — и не собиралось решать — трех главных вопросов: о власти, о земле, о мире, отнеся это исключительно к правам Учредительного собрания, а также (по вопросу о мире) ввиду противоречий между партиями, внутри правительства и отчасти и в нерешающей степени под влиянием масонов.

Ряд полезных начинаний Временного правительства не осуществился из-за нестабильности в стране, хозяйственной разрухи, нарастающего ухудшения экономического положения населения, многократных кризисов власти (однородно буржуазное правительство и первое коалиционное существовали по два месяца, второе и третье коалиционное по месяцу; кризисы продолжались — первый два дня, второй — три недели, третий — почти месяц; состав правительства каждый раз изменялся, причем зачастую произвольно, без основательных причин; новые министры не успевали освоиться, как слетали с поста).

Через кризисов довольно скоро привела к потере доверия к Временному правительству: осуществляя управление страной только до созыва Учредительного собрания, оно постоянно откладывало проведение глубоких реформ, чем вызвало недовольство рабочих и крестьян (этим и воспользовались большевики); сохраняя верность целям войны и союзникам свергнутого режима, оно наталкивалось на требование незамед-

лительного мира, это желание все больше охватывало войска и делало их все менее готовыми для боевых действий. Неудачные попытки наладить отношения с умеренной частью Совета демонстрировали неспособность Временного правительства верно оценить состояние общества, которая становилось все более уязвимым для происков большевиков, экстремистская тактика и стратегия которых, прикрытая простыми, понятными народу лозунгами, позволила им совершить переворот.

Несомненную роль в недостатках и просчетах Временного правительства играли отдельные личные качества его председателей — Г. Е. Львова и А. Ф. Керенского, некоторых министров, порой не соответствовавших своему назначению. Яркий пример: в буржуазном правительстве Андрей Иванович Шингарев, человек порядочный, трудолюбивый, хорошо знавший жизнь крестьянства, был, вопреки его желанию и просьбам, назначен министром земледелия (в первом коалиционном правительстве — министром финансов), хотя по образованию и долгому опыту практической работы земским врачом, наверное, гораздо больше принес бы пользы на должности, связанной с народным здоровьем (правда, министра здравоохранения в правительстве не было) или государственным призывом. По общему мнению, никак не подходил портфель министра иностранных дел Михаилу Ивановичу Терещенко: высокообразованный, контактный, однако абсолютный дилетант в политике, тем паче — внешней (эмигрировав после Октября, он вернулся к своему делу и быстро стал крупнейшим финансистом). А ведь он руководил МИДом в четырех составах Временного правительства (включая Директорию), вероятно, по воле масонов, в чью главенствующую «пятерку» он входил.

## Глава седьмая

Чтобы понять историю России, крайне важно помнить слова Достоевского, сказавшего, что о России следует судить не по злодеяниям, совершенным во имя ее, а по идеалам и целям, за которые боролся русский народ.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Слово, данное коллегам — присяжным поверенным на собрании у Н. П. Карачевского, — министр юстиции сдержал в точности: еще бы не сдержать, не с панталыку брякнул, а уже до того подписав соответствующий документ, все-то он успевал... 4 марта правительство создало Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств (это — официальное полное наименование). Сразу же ей, по единому телефонному звонку Керенского, Правительствующий Сенат выделил пять комнат в своем великолепном здании возле Невы, около Медного всадника, наискосок от Петропавловки, где сидели подлежащие следствию и решению своей участи бывшие высокопоставленные. И без промедления прибыл из первопрестольной присяжный поверенный Николай Константинович Муравьев, назначенный председателем комиссии, и, обустроившись в кабинете с помощью присланного Керенским своего подручного по партийным эсеровским и прочим делам Владимира Михайловича Зензинова, благословясь, 11 марта приступил к работе, весьма для России непривычной, точнее — уникальной.

И, выждав какое-то время, — 29 мая, уже будучи военным и морским министром, — Александр Федорович отправился в крепость, то ли в качестве высшего инспектора (хотя это было бы уместно лишь находясь в роли министра юстиции), то ли простого любопытства ради, то ли из благородных побуждений помочь заключенным, ежели что им понадобится. Перед в и з и т о м просмотрел список: ба, знакомые все лица, числом 35 душ, большинство — особы первого, второго и третьего клас-

сов по табели о рангах, сохраненной Временным правительством (и упраздненной большевиками в ноябре 1917 года).

В крепостном дворе, как полагалось, встречал строй караула, начальник его отдал рапорт господину министру (сопровождая, лебезил, титуловал в ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о м, хотя, сохранив чины и звания, титулование отменили, но Керенский, теща свой слух, замечания не сделал). Произнес — привычка: где бы ни был на людях, непременно — речь! — несколько слов о гидре Романовых, распутинской клике, а также о том, вовсе некстати, что здесь, над крепостью, реет тень декабристов, первых российских революционеров.

Из отдельных камер всех заключенных выпустили в коридор, окружить господина министра не решились, стояли как бы осторонь, но кучно, он холодно-вежливо поздоровался, не за руку с каждым, разумеется, и без обращения, только — здравствуйте. Ответили вразноголосье, слышалось и «господин министр», и «гражданин Керенский», и «ваше высокопревосходительство», и даже — то ли наглость, то ли заискивающее напоминание о прежнем знакомстве — «Александр Федорович». Ни злобы, ни жалости к ним он не испытывал. Предложил задавать любые вопросы, высказать просьбы, жалобы, пожелания, претензии. Возникла заминка: не знали, то ли подходить к начальству, то ли оставаться на местах, надо ли представляться. Решил — он: прошу оставаться на местах, если желаете говорить, прошу называть фамилию, имя, отчество, прежнюю должность (таков порядок! Знает ведь всех, и памятью Бог не обидел, разве некоторых имена-отчества подзабыл; но порядок есть порядок, тюрьма есть тюрьма).

Первым осмелился (или поторопился, покуда не заговорят наперебой) Б е л е ц к и й Степан Петрович, директор Департамента полиции, залопотал что-то быстро, угодливо, дескать, готов высказать всю правду-матушку про методы их работы. Сразу заулыбались, не таясь, его — в разное время — коллеги: З о л о т а р е в Евгений... Михайлович? и вице-директор В и с с а р и о н о в... как его?.. Сергей, да, Сергей Евлампиевич. Понятно, чему усмеваются, подумаешь, методы, секреты какие... Расскажите на следствии... Со смесью стариковского благодушия и железного лукавства оглядел их барственный старец — сколько ему, восемьдесят, кажется? — бывший председатель Совета Министров Иван Логгинович Г о р е м ы к и н. Оторвался от стенки, чуть двинулся вперед



известный прохвост, друг-приятель Гришки Распутина, пробы ставить некуда, хоть и князь, Михаил Михайлович, Мишка А н д р о н и к о в, морда сальная, пухлый животик, оглянувшись, подпрыгнул, пытался закрыть форточку возле господина министра, не достал — не достанешь, сукин сын, на то и каземат. Восточный человек К а ф а ф о в Константин Дмитриевич, тоже высший полицейский чин, с налету объявил, что сойдет с ума, Керенский молча принял к сведению. И — последний, кажется, из этой надзорной братии (нет, не последний, вон еще тупой солдафон и ярый монархист Павел К у р л о в, Григорьевич вроде) — стройный жандармский генерал К л и м о в и ч, собою красив, лицо умное, смелое, став навтыяжку: господин Керенский, надеюсь, в вашей власти раз и навсегда запретить нижним чинам охраны хамские выходки, иных претензий не имею... Начальник караула, слышите? Так точно, ваше... И заткнулся, лупая зенками. Генерал И в а н о в Николай Иудович, тот самый, которого Николай II напоследок отправил с фронта покорять Петроград, дернул было привычно рукой, чтобы честь отдать, спохватился, что без головного убора, стал «смирно»: осмелюсь спросить, каково здоровье государя и государыни с детками? Счел нужным ответить: полковник Романов и семья под домашним арестом, не больны. Аккуратно, сдержанно, явно позволяя себе лишнее — ведь коллеги,— Александр Александрович М а к а р о в, предпоследний министр юстиции при царе, себя не назвал, сказал: здравствуйте, Александр Федорович, каково на новом месте? Тяжеловато, Александр Александрович, в тон отозвался Керенский и не удержался, добавил: я ведь теперь военный и морской министр. Каменным взглядом отозвался на этот слишком уж вольный диалог еще один коллега — министр юстиции, всеми ненавидимый Иван Григорьевич Щ е г л о в и т о в, мог бы и поклониться, ведь от смерти его спас, укрыв в Таврическом от солдатской толпы. Уразумев, что можно говорить о государе, министр царского двора и уделов, барон и граф, генерал-адъютант и генерал от инфантерии, член Государственного совета (так и представился по всей форме) Владимир Борисович Ф р е д е р и к с этак снисходительно: сударь, могу ли попросить через кого-нибудь передать... Ах ты, старая перечница, озлился Керенский на «сударя» и, не дождавшись окончания, отрезал: передавать — в установленном правилами порядке... Эй, ты, граф, ходи только четыре

шага, почуввав недовольство большого начальника, прикрикнул охранник. Серая ты скотинка... Начальник караула, вы слышали, что сказано мною об обращении с находящимися под следствием и претензию генерала Климовича? Примерно накажите этого недоумка. Господин министр, позвольте мне удалиться в камеру, я худо себя чувствую, попросил еще один министр юстиции Д о б р о в о л ь с к и й, не доложившись. Ради Бога, ради Бога, Николай Александрович, давно следовало сказать. Начальник караула, немедленно доктора... Позвольте, господин министр, я врач, меня зовут Александр Иванович... Вы не врач, подследственный Д у б р о в и н, оборвал Керенский, вы черносотенец и антисемит, позор нашей интеллигенции (тот был основателем «Союза русского народа», погромной организации, в 1905 году). Извините, господа, сказал Керенский и прошел в камеру следом за Добровольским, постоял там в сторонке, пока тюремный доктор Манухин сделал какой-то укол и вышел, оставив их наедине. О чем они говорили — неизвестно, но понятно, что это был не допрос. Дело в том, что после ареста Добровольского в служебную министерскую квартиру вселился Керенский, занял кабинет и спальню. Жена Добровольского оставалась там же, и Александр Федорович перебрался без семьи, положение двусмысленное. Повар Добровольских готовил ему отдельную еду, а жене Керенский разрешил — единственной! — свидания с мужем в крепости... Вот и вилял он теперь хвостом, хотя и не сделал ничего противозаконного, непристойного, обоим Добровольским было под шестьдесят...

Вернулся в коридор. Какой-то вовсе незнакомый, карлик с чудовищным носом, утробно забасил: прошу об освобождении, ни в чем не виноват, господин министр. Кто вы? Отдельного корпуса жандармов полковник С о б е щ а н с к и й Матвей Николаевич. Как вы сюда попали? Здесь особы первых трех классов. Ладно, комиссия разберется, я не следователь и не судья.

Александр Иванович С п и р и д о в и ч, генерал, начальник охранного отделения, молодой, мужиковатый, большой, на вопрос о претензиях,— Керенский начал уставать и сам задал вопрос, чтобы не тянуть,— сказал: нет, ничего, только вот прогулка... И вдруг повернулся к стенке лицом и, трясаясь, неслышно заплакал.

И прорвало!

Генерал (о должности забыл отрапортовать) Орлов Владимир Николаевич, — впервые вижу, отметил Керенский, — заплакал сразу (истерия передается от одного к другому, известно), заговорил несвязно, понятно лишь, что троих детей выгнали из учебных заведений, не плачено за квартиру... Переходил на хриплый шепот, прерывая речь рыданиями. Врач Иван Иванович Манухин взял его под руку, повел прочь.

Лысый череп, безжизненные глаза с полным отсутствием мысли, прозвище Мертвая Голова, Беляев, черт побери, Михаил Александрович, тоже коллега, военный и морской министр, долго и упорно рвался на этот пост, не побрезговал подружиться с Распутиным, только два месяца и успел покомандовать, тут и революция... Я желал бы одного, коллега, чтобы мне дали возможность скорее обратиться в частного обывателя, я никогда в жизни ни во что не вмешивался бы, я надеюсь, что подлежу увольнению от службы с пенсией, скорее бы на пенсию... Заплакал... Извините, извините, господин народный министр, я так взволнован, так взволнован, послушайте, меня нужно скорее освободить от крепости, я вас покорнейше прошу, я даю вам честное слово, хотите, я подписку дам, что я никогда, ни с кем не стану говорить по телефону... Иван Иванович, опять работа вам, сказал Керенский вернувшемуся доктору, прямо Смольный институт, а не крепость, добавил он громко.

Следующим приблизился, печатая шаг, сказал, как тогда, в Таврическом: я — Протопопов... И его, Протопопку, спас тогда, упрятал психопата... Протянул стопку листов. Я очень плохо думаю. Я искренне говорю вам, коллега, я очень плохо соображаю, у меня скверно работает голова, я обращался к доктору, — кивок в сторону Манухина, — доктор предложил заняться самонаблюдением, я занялся и убедился в том, какой я мерзавец. Письменно все свои показания не могу связно. Опасаясь дальнейшим поведением возбудить ваше высокое недовольство, господин вождь революции, я решаюсь обратиться к вам с усердной просьбой прочитать вот эти девятнадцать доносов на самого себя и указать, что я еще должен сделать... Бумажки по жесту Керенского взял Манухин, он состоял членом следственной комиссии.

Возле стены копошился, роняя и поднимая с полу какие-то юридические, можно увидеть заголовки, книжки, Борис Владимирович Штюрмер, назначенный, — говорили, что по настоянию Распутина, — председателем Совета Министров, вскоре

одновременно — и министром внутренних дел, а затем — министром иностранных дел, почти семидесятилетний рамолик (2 сентября он умрет в крепости), тряс татарской бороденкой, умолял, чтобы Керенский лично принес ему такие же научные труды.

Последним (остальные отмолчались) был генерал Сергей Семенович Хабалов, командующий Петроградским военным округом, косясь на охрану, сказал вполголоса: относятся грубо, но я не жалуясь, понятие о вежливости не всем свойственно... Керенский обозлился: а вы в Феврале очень вежливо по рабочим палили?

Объявил напоследок: свидания раз в неделю в присутствии прокурора всем, за исключением Протопопова, и ежедневно — Добровольскому, относительно которого мое распоряжение, данное в бытность министром юстиции, остается в силе. Расходы на питание — сорок копеек в сутки. Передачи провизии без ограничений.

А садясь в авто, сказал поручику, начальнику караула, что если еще раз узнает про хамство, то и его, и всех его грубиянов — на фронт прямиком, там вежливости не требуется. Поручик клялся и божился, только что не осенял себя для убедительности крестным знаменем.

## 2

Уф, выдохнул он, с э т и м и оказалось все-таки не столь сложно. Куда как затруднительней пришлось раньше с бывшим царем и семейством.

3 марта вечером, в Таврическом, Керенского вызвал с заседания доверенное его лицо эсер Владимир Михайлович Зензинов, сказал: в Совете возмущаются отъездом бывшего царя из Пскова в Ставку (уже прослышали!), приняли резолюцию, предложенную большевиками, кажется Молотовым, с требованием арестовать всю семью Романовых и осуществить это совместно с правительством. Вот-вот сюда может явиться для переговоров Чхеидзе или Скобелев.

Это была первая попытка Совета заявить о себе как об органе власти.

Керенский мгновенно оценил опасность, таящуюся в инциденте, вернулся на заседание, его выслушали сразу, Гучков согласился с Александром Федоровичем и добавил, что по-

ползновение Совета присвоить себе правительственные функции надо решительно пресечь — в корне. Просили Г. Е. Львова разъяснить делегатам от Совета, что бывший царь находится в совершеннейшей изоляции даже от своего ближайшего окружения, — что не вполне соответствовало истине, — никаких самостоятельных шагов предпринять не может, опасности не представляет, решение же о его будущем правительство примет в ближайшие дни. Беседа Львова с представителями исполкома (явились Чхеидзе и Скобелев) прошла вполне дружественно, как говорится, в духе взаимопонимания. Ушли успокоенные.

Но министры, конечно, знали о раздуваемой прессой кампании ненависти к Николаю в обеих столицах и крупных городах. Деревни это, правда, не коснулось: там почти сразу, как началась революция, принялись захватывать необрабатываемые земли, в первую очередь удельные (царские), считали это справедливым и ни о возвращении государя на трон не мечтали, ни над судьбой его особо не задумывались. Для мужиков виновниками всех бед оставалось правительство (не важно какое, разницы между упраздненным царским и только что народившимся Временным они не понимали), чиновники, местные власти. То же относилось и к духовенству, уже освящавшему новый режим («Всякая власть от Бога»), к офицерству, требующему восстановления в армии дисциплины, в развале которой бывшего царя не винили. Значительная часть солдат продолжала связывать разрешение своих нужд с «хорошим царем», поскольку имела смутное представление о характере и перспективах политической власти в стране. Вообще, монархические иллюзии еще оставались достаточно сильны в массах. Поэтому правительству следовало проявлять осторожность: не создать условий для попыток восстановления монархии, не проявить излишней жестокости к бывшему царю, чтобы не вызвать недовольства среди населения.

Тем временем в Могилеве бывший государь, прежде чем отправиться на вокзал встретить приезжавшую из Киева мать, Марию Федоровну, передал Михаилу Васильевичу Алексею пакет и попросил ознакомиться с содержимым. Оставшись один, генерал прочитал письмо (без обращения, никому конкретно не адресованное) и немедленно связался по прямой телеграфной линии с князем Г. Е. Львовым.

Николай Романов просил ему и немногочисленной свите разрешить беспрепятственный проезд в Царское Село для воссоединения с членами семьи; гарантировать безопасность пребывания там, а затем разрешить — тоже при условии надежной охраны — переезд его, семьи и свиты в порт Романов (т. е. Мурманск.— В. Е.).

Алексеев утаил от главы правительства четвертую просьбу бывшего царя: вернуться после окончания войны в Россию для постоянного проживания в крымской Ливадии (поселок на берегу Черного моря, в трех верстах от Ялты, Большой Ливадийский дворец с прекрасным парком, личная собственность императорской семьи.— В. Е.). Видимо, умный генерал счел эту просьбу слишком наивной и заведомо неосуществимой.

Документ этот, пишет Керенский, открывал путь к решению проблемы; при этом Александр Федорович не упоминает, что правительство через посла в России сэра Джорджа Уильяма Бьюкенена уже обратилось к королю Великобритании с запросом о возможности переезда Романовых в его государство. Своим письмом Николай как был подсказывал Временному правительству выход из положения. Возможно, он имел какую-то секретную договоренность с королем Георгом V (кстати, своим дальним родственником), потому и просил об отправке в Мурманск, ничего не говоря о причинах такого шага и умалчивая о дальнейшем.

6 марта в Петросовете узнали, что Николай якобы получил согласие правительства на отъезд в Англию. Совет тотчас решил изолировать семью Романовых в Царском Селе и перехватить царский поезд в пути, если Николай уже покинул Могилев. Совет поторопился: бывший государь еще находился в Ставке.

На следующий день Керенский в Москве, не зная о развитии событий вокруг бывшего царя, выступал в Совете. Отвечая на яростные выкрики: «Смерть, смерть Николаю!» — он сказал: этого никогда не будет, пока мы у власти. Временное правительство взяло на себя личную ответственность за безопасность Романовых, и это слово мы сдержим. Бывший император будет отправлен в Англию, я сам доведу его до Мурманска.

А в это время правительство постановило: «Признать отреченных императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское Село».

Тогда же командующий Петроградским военным округом генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов в царско-сельском дворце по поручению Временного правительства объявил Александре Федоровне о лишении свободы ее и детей. Она выслушала внешне спокойно.

Тем же днем Николай записал в дневник: «После чая начал собирать вещи». Куда он готовился ехать? Ведь Временное правительство не ответило на его письмо. Или ответило, но мы об этом не знаем?

8 марта Николай выразил желание попрощаться с чинами штаба. Их построили в большом зале здания Ставки. Николай Романов сделал общий поклон, сказал речь: поблагодарил за службу, призвал повиноваться Временному правительству, довести войну до победного конца. Поцеловал Алексеева, обошел строй генералов и офицеров, останавливался, коротко разговаривал с некоторыми. Передал Михаилу Васильевичу письменное обращение к войскам (Временное правительство запретило его оглашать, хотя там не содержалось ничего «криминального»). Вытирая на ходу глаза, покинул зал и штаб, пошел в домик неподалеку, где поселили его мать.

Прибыл из Петрограда экстренный поезд с комиссарами Временного правительства, депутатами Думы А. Бубликовым, С. Грибуниным, И. Калининым, В. Вершининым, посланными, чтобы доставить в столицу бывшего царя. По некоторым сведениям, их напутствовал Керенский: лично бывшего государя не беспокоить, ограничиться сношениями через генерала Алексеева. Тот узнал, что Николай Александрович находится с матерью в ее вагоне-ресторане, где приготовлен прощальный ленч. Михаил Васильевич сообщил обоим о решении правительства и о том, что отправление царского поезда назначено депутатами на пять часов пополудни.

Поезд прежний, царский, как всегда, из десяти вагонов. Другой состав — литер «Б» отсутствует, балластный тоже. Для комиссаров прицеплен добавочный вагон — в хвосте. Николай из поезда матери перешел в свой, он, без шинели, шел мимо офицеров штаба и приближенных, держа руку под козырек. Никто не отвечал на его приветствие, все молчали. Только генерал Нилов подскочил, поцеловал левую руку.

Вагон Николая и вагон Марии Федоровны стояли напротив друг друга, мать и сын смотрели в окна, мать непрерывно крестила сына.

(Они виделись в последний раз. Мария Федоровна переживет сына, невестку, внуков ровно на десять лет. Бог ведает, как она пережила это. До 16 июля 1918 года оставалось около шестнадцати месяцев. Когда их казнили, матери было семьдесят, сыну пятьдесят, Алешеньке, младшему, четырнадцать.)

В четыре часа пополудни отправился поезд вдовствующей императрицы. С платформы никто не уходил, Николай исчез в глубине вагона, снова появился в окне. В 4.45 двинулся в путь и он. Все на путях и платформе стояли «смирно», Алексеев отдал честь, а когда промелькнул мимо него последний вагон, снял папаху и вдогонку поклонился в пояс.

9 марта в два часа пополудни поезд по царской железнодорожной ветке прибыл на станцию Александровская, в трех верстах от императорской резиденции. Встречали начальник караула дворца полковник Евгений Степанович Кобылинский, несколько военных, кучка журналистов. Выходила свита, большинство на глазах бывшего государя спешили к присланным экипажам, быстро-быстро улепетывали восвояси. В автомобиль с государем (бывшим!) сел гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков. Машину подали старенькую, самую первую, выпуска начала века, марки «серполет». В последнее время в гараже стояло около двадцати авто. Разворовали, должно быть. А, Господь с ними со всеми. Главное — он дома и сейчас увидит всех самых дорогих и близких.

В ворота Александровского дворца их долго не впускали, часовой равнодушно смотрел на Николая. Наконец из караульного помещения через дверь крикнули: открыть ворота бывшему императору!

На крыльце караулки стояли офицеры с красными бантами на кителях, держали руки в карманах, некоторые с папиросками во рту. Николай первым приветствовал их отданием чести, ни один не ответил тем же.

Так начался для Николая Александровича Романова, недавнего монарха, путь унижений, неизвестности, страха, воспоминаний, может быть — надежд. А вот — раскаяний ли?

Нет ответа. И — не будет.



Ответственность за все, что связано с пребыванием семьи в Александровском дворце Царского Села, взял на себя (не поручали, сам решил, согласились) Александр Федорович. Ему на следующий день и передал Милюков сообщенное послом Дж. Бьюкененом двусмысленное решение короля Георга: согласно с мнением своих министров, он предлагает императору и императрице убежище на британской территории; при этом король отказывается обеспечить их неприкосновенность и безопасность, но выражает надежду видеть их в Англии еще раньше, нежели кончится война. Милюков был, кажется, растроган этой декларацией, а Керенский, шокируя почтенного ученого коллегу, высказался о короле Георге словами, чрезвычайно редко им употребляемыми, разве что среди близких друзей.

Конечно, Александр Федорович мог и радоваться, и гордиться тем, что при его активнейшем участии удалось спасти царя от почти неминуемой расправы. Слава Богу, Совет опоздал, правительство успело его опередить. Керенский перечитывал последнее их постановление, принятое Исполкомом 9 марта:

«Ввиду полученных сведений, что Временное правительство решило предоставить Николаю Романову возможность выехать в Англию и что в настоящее время он находится на пути к Петрограду, Исполнительный к-т решил принять чрезвычайные меры к его задержанию и аресту. Издано распоряжение о занятии нашими войсками всех вокзалов, а также командированы комиссары с чрезвычайными полномочиями на ст. Царское Село, Тосно и Званка. Кроме того, решено разослать радиотелеграммы во все города с предписанием арестовать Николая Романова и вообще принять ряд чрезвычайных мер. Вместе с тем решено объявить немедленно Временному правительству о непреклонной воле Исполнительного комитета не допустить отъезда в Англию Николая Романова и арестовать его. Местом водворения Николая Романова решено назначить Трубецкой бастион Петропавловской крепости, сменив для этой цели командный состав последней. Арест Николая Романова решено произвести во что бы то ни стало, хотя бы это грозило разрывом сношений с Временным правительством».

Опоздали, господа товарищи. Мы раньше арестовали, взяли под свою охрану. Кроме того, вы хотели упрятать в Петропавловку, в Трубецкой бастион, тюрьма которого, устроенная в 1870—1872 годах, была специально оборудована для содержания политических преступников. Сам факт помещения туда был своего рода признанием виновности, а это мог сделать только суд.

Между тем мы — В р е м е н н о е правительство, мы сами ограничили срок своего действия до созыва Учредительного собрания, мы принимаем только акты неотложного характера, по вопросам, требующим незамедлительного разрешения, тем, что смягчают социальное напряжение, отводят угрозу восстания, взрыва, бунта, позволяют в переходный период не создавать новое государство, а подготовить почву для его создания. Мы не можем принять или вынести на референдум конституцию — это прерогатива Учредительного собрания, которое определит характер общественного строя России. Мы не можем заниматься кодификацией, созданием новых кодексов, нового Свода законов по той же причине. Мы руководствуемся пока дореволюционным законодательством, исключив из него все, что касается полномочий царской власти, защиты монархического строя, — а в Своде законов нет ни единой статьи, нет даже намека на ответственность императора перед любой судебной властью.

Он снова и снова листал Свод, различного рода комментарии, монографии — отовсюду возникала непреложная формула: власть монарха носит нравственный, а не юридический характер. Безусловно, с точки зрения нравственной лично Николай II выглядит, мягко говоря, неприглядно: 9 января, Ходынка, Цусима, «столыпинские галстуки» — безусловно, Николай Романов всему этому причастен, кровь — на нем. Но это с точки зрения морали. А с позиции юридической степень и меру его вины и ответственности может определить только суд. А суд руководствуется законом, и только. А закона такого нет — ни в России, ни в других монархических государствах. И прецедентов, на которые мог бы опереться суд, — тоже. За триста лет правления Романовых из семнадцати царствующих особ насильственной смертью погибли Павел I и Александр II — так ведь первый из них убит дворцовыми заговорщиками, второй — террористами. Ввергли в заточение правительниц Софью Алексеевну, Анну

Леопольдовну; побывал под арестом Петр III, — но то были их собственные, государевы распри.

А в Европе? Ну, конечно, сразу вспоминается казненный Людовик XVI. Но и его обвинили не в антинародных, а в контрреволюционных, то есть антиправительственных, а также изменнических действиях, и приговор выносила не толпа, не какой-нибудь наспех сколоченный из случайных людей Совет, а — Конвент, высший законодательный и исполнительный орган государства, избранный если не всенародно, то взрослой мужской частью населения.

И что для него, Керенского, особо важно — он не хочет и старается всеми силами не допустить кровопролития. Да, революция есть революция, в ней всегда заложен элемент стихийности, она не может быть абсолютно, стерильно бескровной. Кажется, уже точно подсчитали, вот доклады — в февральские дни в Петрограде число жертв составило 1433 человека; правда, в других документах — расхождения на десятки. Скоро об этом открыто напечатают в официальном «Вестнике Временного правительства». Но это — жертвы безумствующей толпы, пьяной солдатни, случайных выстрелов, бунтов и мятежей, в Кронштадте, например. Но это — п е н а любой революции, кровавая накипь, стихия, а не правительственные действия. В чем повинен царь? В том, что отдал Хабалову приказ о наведении порядка любыми средствами. В том, что послал карательный отряд генерала Иванова (но тот до Питера не добрался, был разоружен). За это государю — отвечать все равно. А революционное, демократическое правительство обязано избавить народ от кровопролития, оно не смеет превращать даже палачей — в жертвы, а жертвы — в мучителей. И он, Керенский, еще не министр, а только депутат Думы, самолично спас от расправы ненавистных всем — и ему самому — Щегловитова и Протопопова, не из сочувствия к ним, не ради личной популярности, как злобствуют некоторые, а из чувства справедливости, верности данному слову — революция должна быть бескровной, революция обязана построить п р а в о в о е государство, где высшими силами станут — Закон и Справедливость.

Он открыл папку с проектами постановлений правительства, подготовленными в его министерстве, по его личному указанию. Постановления следует принимать без промедления. А вот это — особо срочно: инцидент с попыткой Совета расправиться с царем, вопли в Москве на его выступлении («Смерть, смерть царю!») — лишние доказательства тому, что нужно пос-

пешить. Чернь взбудоражена. Возможен взрыв. Сейчас не до уговоров. Нужно заткнуть глотки, нужно предотвратить события, а не управляться потом силой оружия. Нужно действовать — с и л о й. Силой Закона.

#### 4

12 марта Временное правительство отменило смертную казнь (проект постановления вносил и докладывал на заседании Керенский).

Воистину историческое для России решение.

К тому времени этот вид наказания был законодательно упразднен только в Италии да в некоторых кантонах (автономных районах) маленькой Швейцарии. В России, как и повсеместно, оно существовало с незапамятных времен. Правда, императрица Елизавета Петровна при вступлении на престол поклялась отменить смертную казнь, и, хотя это не было официально оформлено, «слово государево — закон», — за двадцать лет ее правления ни судом, ни указом никого жизни не лишили (но сохранялась тайная следственная канцелярия с жестокими пытками и калеченьем). Что касается законодательства, то с XVIII века в России оно постепенно сокращает случаи применения высшей меры, а к началу следующего столетия упраздняет так называемую квалифицированную (т. е. соединенную с жестокими мучениями) казнь, оставляя только простую. К XX веку оставались ее два вида — повешение и расстрел. В это время сформулированы доводы против применения смертной казни, которые приводил и Керенский в обосновании проекта постановления: «Она (смертная казнь. — В. Е.) противоречит положению личности в современном государстве, производит отрицательное действие на общественное мнение и не удовлетворяет требованиям современной теории наказаний: она не индивидуальна, ибо тяжело отражается (нравственно и материально) на близких к преступнику лицах; неделима, а потому не может быть назначаемая по мере вины; не служит цели исправления; невознагражима (в случае судебной ошибки); даже не может быть оправдана в интересах обеспечения общества от преступника (ибо это может быть достигнуто и долгосрочным заключением) и устрашения (последнее, как показывает уголовная хроника, далеко не всегда достигается смертной казнью)».

Правда, ровно через четыре месяца, 12 июля, Керенский, уже глава правительства, под воздействием июльских событий и давлением высших военачальников восстановил смертную казнь на фронте. Статистика относительно применения этого распоряжения вряд ли существует, но совершенно ясно одно: за 8 месяцев, которые прошли под властью Временного правительства, ни одного законного случая смертной казни в нефронтовых условиях не было (самосуды не в счет, и они по возможности наказывались).

Зато этот мягкий период с лихвой компенсировали большевики. 5 января 1918 года они осуществили расстрел мирной демонстрации в поддержку Учредительного собрания, происходившей мирно у Таврического дворца. 21 февраля того же года Советская власть узаконила бессудную расправу; издан декрет, в котором говорилось: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». Первым официально объявленным расстрелом, произведенным по решению ВЧК (а не приговору суда), была казнь грабителей — некоего Эболи и его сообщницы Бритт 26 февраля 1918 года. Первым политическим процессом был суд над контр-адмиралом Алексеем Михайловичем Щастным, по сути спасшим от уничтожения Балтийский флот и обвиненным в контрреволюционной деятельности. 21 июня 1918 года революционный трибунал приговорил его к расстрелу, тотчас приведенному в исполнение.

Об этом сообщали газеты, и Керенский — он недавно прибыл в Лондон — наверняка читал... И можно догадываться, о чем он вспоминал и что думал. Но ни он, никто другой не мог, конечно, предположить, что вскоре счет пойдет на тысячи, на сотни тысяч, на миллионы, на десятки миллионов... Бесчисленно. «Морями крови», как выразился пролетарский бунтовщик Максим Горький (по другому поводу, впрочем) залили страну большевики, покоровшие собственный народ и лютовавшие пострашней любых оккупантов...

## 5

Отмена смертной казни не вызвала никакой реакции со стороны Совета. Эпизод с царем, отмечал Керенский, был единственной попыткой исполкома выступить в роли правя-

шего органа. Двоевластие окончательно продемонстрировало свою односторонность. Соглашательский Совет много говорил, выдвигал тьму предложений, требований, выносил резолюции... Единственное, чего он не мог (и не хотел, в сущности), — стать реальной властью. Лозунг «Вся власть Советам!» трепыхался на красных полотнищах, но только трепыхался, большевики вообще снимут его в июле, и властью Советы не станут никогда — ни в 1917-м, ни после Октября, вплоть до распада Союза Советских Социалистических республик 8 декабря 1991 года.

Объективным выражением реальной слабости и реальной амбициозности Совета явилось его обращение «К народам всего мира», которое выглядело не более чем жалкой и запоздалой попыткой заявить о своем существовании за пределами революционной России.

Манифест, как его неофициально называли, тщательно готовили. Первоначально, по просьбе исполкома, текст написал Максим Горький. «Текст был написан превосходно... но не заключал в себе ни грана никакой политики», — оценивал Н. Н. Суханов. Заменить «буревестника» взялся он сам. Новый вариант показал председателю Н. С. Чхеидзе, тот одобрил. Долго согласовывали в комиссиях, на заседаниях. Наконец поняли: хватит тянуть.

Теперь требовались п о м п а, шум, гром, тра-та-та. Нужно было из самого факта утверждения вполне заурядного текста сделать с о б ы т и е.

В Морском кадетском корпусе, в зале на три-четыре тысячи человек, если поплотней набиться, собрали Совет.

Был невыносимо длинный, нудный доклад Ю. Стеклова, было его же, с запинками, чтение «манифеста», были прения-словоговорения, были снова поправки, еле пресеченные Чхеидзе, был «Интернационал», была «Марсельеза», было «Ура!».

Был п ш и к, «бесконечное извержение напыщенных слов, длинный мессианский дифирамб», как оценил представитель одного из «народов мира», коим адресовался «манифест», — французский посол Морис Палеолог.

«Народы мира» не откликнулись. Уж если сама революция в России не «потрясла мир», озабоченный собственными проблемами, то какое-то обращение никому не ведомого Совета значило не больше, как если бы некое Общество борьбы с курением в Китае обратилось с воззванием к жителям всей планеты.

И родной отец Советов, Владимир Ильич, отозвался о «манифесте» ве-есьма пренебрежительно.

Пролетарии всех стран не соединились, не сбросили с себя иго, к чему призывали основоположники Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а теперь вот и неведомый, хотя и громко орущий Совет.

## Глава восьмая

Стремление осуществлять желания отдельных групп и слоев, по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения... создает благоприятную почву, с одной стороны, для насильственных актов, сеющих среди пострадавших озлобление и вражду к новому строю, с другой — для развития частных стремлений и интересов в ущерб общим и к уклонению от исполнения гражданского долга... Такое положение вещей... в своем последовательном развитии угрожает привести страну к распаду... Перед Россией встает страшный призрак междоусобной войны и анархии, несущий гибель свободы. Губительный и скорбный путь народов, хорошо известный истории, — путь, ведущий от свободы через междоусобие и анархию к реакции и возврату деспотизма. Этот путь не должен быть путем русского народа.

*Из политического завещания первого (однородно буржуазного) кабинета Временного правительства перед его роспуском. В подготовке текста участвовал А. Ф. Керенский. Опубликовано 25 апреля.*

### 1

На очередном заседании А. И. Коновалов объявил: предприниматели столицы согласились ввести восьмичасовой рабочий день; в Москве возражают. Он предлагает правительству подтянуться и узаконить укороченный рабочий день на всех оборонных предприятиях Петрограда, а затем распространить действие закона по всей России и по всем категориям фабрик и заводов...

Человек одинокий, закрытый, скептический, сурового, жесткого характера, Николай Николаевич Суханов тянулся к людям и ради этого общения и в силу профессиональной привычки и обязанности газетного репортера, обозревателя и фельетониста помногу времени проводил — раньше в Думе, теперь в Совете, где был членом исполкома, знал всех, кого нужно, и его знали многие. С Керенским теперь встречался все реже, больше случайно, бывшая простецкая дружба остывала сама по себе, запросто в дом к Саше не ходил, а чисто официально не получалось: новый министр все время на заседаниях, митингах, в отъездах, на бегу.

А сегодня, в воскресенье, министерские апартаменты почти пусты: начали все понемногу выходить из состояния горячки,



пытались устроить себе выходной. Однако, придя сюда по привычке и от неохоты провести день в одиночестве, Суханов наугад заглянул в приемную Керенского, зная его неутомимость: вряд ли усидит дома, тем более с Ольгой, кажется, у них что-то разлаживается.

Двое поручиков-адъютантов, схожих как близнецы, с вымытыми до лоска мальчишескими мордашками и лупающих не обремененными мыслями глазами, в блеске военных побрякушек и обжигающих сапогах, — пружинно разом вскочили, отдали честь, ишь, одрессировал Александр Федорович, интересно, одна у него такая парочка или есть подменная, такая же? Один спросил почтительно, как о нем доложить господину министру? Суханов назвал фамилию, а на молчаливый поручиков взор (понятно, титул, должность надо) ответил кратко: он знает.

Керенский сидел непривычно спокойный и задумчивый и, похоже, вправду обрадовался, назвал по-давнишнему Н и к о л а ш е й, позвонил, лакей (не в униформе, как бывало, а в пиджачке) принес чая, даже с лимоном и бубликом, министерская жизнь явно налаживалась. Из шкафа возникла пузатая бутылка рому, явно не поддельного, уж в этом Суханов знал толк. Ты не торопиться, вижу, спросил он, значит, можно потолковать? Перекинулись для разгону словечками о том о сем, постепенно Суханов свел на то, ради чего сегодня пошел в разведку: на восьмичасовой рабочий день, на прекращение забастовок. Сказал, что Совет тоже принял решения по обоим вопросам, знает и о достижениях Коновалова, но вот с государственными предприятиями ясно, а как быть с частными, ты, юрист, что думаешь? Оказалось, министр юстиции думает то же самое, что и все: заставить господ предпринимателей сократить рабочий день невозможно, законом установлен верхний предел в одиннадцать с половиной часов, а снижать — это их личное дело и Божья, ничья больше, воля. А что касается нежелания пролетариев возобновлять работу и прекратить забастовки — тут карта в руки Советам, только уговором, агитацией, демократическое правительство силу применять не намерено. Значит, через демократию — к полной разрухе, сказал Суханов, а что прикажешь, из пожарных насосов поливать, парировал Керенский, они ведь не хулиганят, не бунтуют, а сидят тихонечко по домам. Если бы сидели просто, если бы тихонечко, отвечал Николай Николаевич, ты вот, видимо, не знаешь, а между тем сознательный наш пролетариат нагель начал, сообразил, что, поскольку власть теперь народная, от

нее можно урвать побольше, из с в о б о д ы выколотить. Где-то проорали: рви, братцы! И рванули. У Лесснера жалованье увеличили вдвое — на Старом Парвийнене давай втрое! А в Адмиралтействе, поговаривают, вчетверо, мол, надо... Хозяева Путиловской верфи согласились на двадцать процентов прибавки — требуют аж четыреста, ну, чего уж мелочиться, почему бы и не восемьсот. Если суммировать все требования, получается, надо: отменить сверхурочные, сдельщину, повысить наградные к Рождеству и Пасхе, чернорабочим платить по высшему разряду, инженеров и техников — выбирать, да и директоров, управляющих — тоже! Да что там рабочие... Банщики объявляют: работать четыре дня в неделю и чтоб в субботу непременно выходной. Издевательство ведь! Испокон веку на Руси суббота — банный день... И уже среди солдат волнения, на рабочих наускаивают: дармоеды, вас бы в деревню, там горбятся от зари до зари, только зимой еле дух переводят, и никаких тебе сверхурочных и премиальных. А если эти солдаты не против правительства, а против рабочих взбунтуются, вот будет большевистский союз пролетариата и крестьянства в действии...

Коля, сказал Керенский, ты что, всерьез полагаешь, что мы на облаках обитаем? Ну ты же умный человек, ты же понимаешь, что за три недели всего не сделаешь... Ну, примем мы постановления, а как их выполнять? Нету у нас опоры, Николаша, честно признаюсь... А тут еще Совет ваш, прости Господи... Между прочим, в Совете один из трех главных — некий Керенский, Александр Федорович, подкольнул Суханов. А-а, только отмахнулся Керенский. Да, сказал Суханов, не скоро Россия на ноги подыметя, и то, если... Вот именно, если, а ты представляешь, сколько этих «если»...

## 2

Александр Иванович Коновалов в правительстве а к т и в - н и ч а л, залезал вроде и не в свое дело. Заговорил, к примеру, о снятии национальных и религиозных ограничений. Ладно бы для немцев и австрийцев на время войны ограничения, но — евреи? Талантливы, предприимчивы, богаты — почему не дозволить им создавать акционерные общества и занимать любые должности в любых предприятиях?

Тут взвился Керенский: надо не по частностям этот вопрос разрешать, а универсально, принять закон об отмене всех уни-

зительных и постыдных ограничений, вдобавок и экономически невыгодных, разом во всех областях жизни.

Ему и поручили готовить проект закона, и не медлить, благо в думских текущих архивах сыскались разные предложения на сей счет.

Конечно, и Коновалов, и Керенский насчет равноправия евреев не были оригинальны. Оба вряд ли забыли выступление их коллеги Крупенского в Думе еще в 1915 году. Начал он вызывающе: «Я — прирожденный антисемит!» Ему тогда захолопали: единомышленников его в Думе хватало, одни только Пуришкевич да Марков-второй дорогого стоили, их даже с трибуны гнать перестали, кто привык и не обращал внимания, а кто слюни пускал от удовольствия, кому потеха вроде клоунады... Вспомнив это, Керенский взял том стенограмм заседаний Думы за тот год, нашел выступление Крупенского: «Я — прирожденный антисемит, но пришел к заключению, что теперь необходимо для блага родины сделать уступки для евреев. Наше государство нуждается в настоящее время в поддержке союзников. Нельзя отрицать, что евреи — большая международная сила и что враждебная политика относительно евреев ослабляет кредит государства...» И так далее. Словом, не о евреях пекся, а об интересах отечества. И то слава Богу...

(Забавная случайность: тогда, в думской повестке дня, вопрос «Об отмене ограничительных законов для евреев» значился п у н к т о м п я т ы м. По чистому, конечно, совпадению, этой же цифрой обозначался при Советской власти в типовых анкетах вопрос «национальность», вполне безобидный для всех, кроме евреев, и выражение «пункт пятый» стало в быту как бы синонимом слова «еврей».)

Коновалов, конечно, умный, не утилитарен, думает не о государственной пользе, как Крупенский, а о самих евреях. Да, прав он, прав и Керенский: надо ли вопрос решать универсально, комплексно, с этих позиций Александр Федорович с помощниками и готовили проект для правительства. Тогда, в Думе, закон принят не был, возобладали пуришкевичи и марковы, теперь пришло время. Тем более что еврейская общественность уже пыталась кое-что сделать, так сказать, явочным порядком, в марте в петроградской и московской судебных палатах привели к присяге и произвели в звание присяжных поверенных соответственно 124 и 110 евреев; и в ближайшее

время созывался Всероссийский еврейский съезд — ясно, для чего.

Закон «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» Временное правительство приняло 20 марта: Керенский любил делать дело споро и требовал того же от подчиненных.

Был закон далеко не совершенен, не удовлетворял многие требования и нужды народов Польши, Финляндии, Туркестана, но наиболее угнетаемые и обиженные из народов и народностей России евреи получили чаемое если не сполна, то в пределах возможного.

У Александра Федоровича и дома, и на службе по телефону несколько дней слышались чуть ли не одни еврейские голоса, приходили знакомые и незнакомые, получались письма — все по случаю принятия закона, к которому, понимали люди, министр ю с т и ц и и имеет самое прямое и, возможно, решающее отношение. Тяжело дыша, стуча палкою, явился постаревший, больной Карабчевский, еще две недели назад жестоко обидевший министра на совещании присяжных поверенных, приняв шутку Александра Федоровича — правда, и в самом деле неудачную — за истинное намерение Керенского повесить бывшего царя. Старейшина присяжных поверенных многословно извинялся за то недоразумение, многоречиво благодарил за принятый закон, расцеловал стариковски неприятными губами. Повстречался Василий Витальевич Шульгин, отъявленный антисемит, отчеканил, глядя в глаза: поздравляю, господин министр ю д о с т и ц и и. Испросил аудиенции главный раввин хоральной синагоги (вскоре после его ухода — слушок про Керенского: е в р е й он, никакой не Александр Федорович, а на самом деле Алтер Фишелевич). Припоминали, конечно, участие нынешнего министра в кампании по защите Менахема Менделя Бейлиса, перебирали ближних знакомых, среди них — словно у других не так, — обнаруживалось много сынов Израилевых. Звонили обиженные — считали себя ущемленными по сравнению с иудеями, — из Варшавы, Гельсингфорса, даже из далекого (и родного ему) Ташкента.

Депутация еврейских купцов (все богачи, все — первой, высшей гильдии, иным евреям-торговцам жить в столице и других крупных городах воспрещалось) поднесла подарок: Библию в кожаном переплете с орнаментом чистого золота (поступились даже собственной религиозной традицией: из Ве-

ликой Книги иудеи чтити только Тору, первые пять книг Ветхого Завета). Покорнейше приглашали на банкет в его честь — вот от этого триумфатор пренаивежливо отказался, под благовидным предлогом увильнул, понимал: слишком уж демонстративно. А Библию хранил, держал на видном месте, пока не пришлось в чем есть удирать из Петрограда.

Коллеги-министры, правда, дулись: закон-то принимали все, а почести достались одному, впрочем, и до того самому популярному среди них. А Ольга развеселилась: вот возьму да рожу еще сына и нареку Абрамом или же Ициком.

Было, было отчего ликовать шести с половиной миллионам (малыши, конечно, не в счет, но от их имени возносили хвалебные и благодарственные моления родители и деды) российских евреев, составлявших четыре процента населения бывшей империи. Ни один, повторим, народ в России не испытал стольких **з а к о н н ы х** унижений, ограничений, прямых бессмысленных издевательств, не пережил такой **з а п р о г р а м м и р о в а н н о й** нищеты, не изведал ужаса **с т и х и й н ы х** якобы — и стихийных тоже — погромов, не лишился стольких загубленных талантов. И на всех континентах земного шара к началу XX века только Румыния имела ограничительные для евреев законы, впрочем, гораздо более мягкие, нежели в России.

Если суммировать все государственные акты, размещенные по томам Свода законов Российской империи, обобщить их (что и было сделано по указанию Керенского в ходе работы над новым законом), главными ограничениями прав евреев в России, отмененными Временным правительством, были следующие.

Ограничение права жительства определенными местностями, так называемой чертой оседлости, в которую входили губернии Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Екатеринославская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая (кроме города Ялты), Херсонская, Черниговская и Киевская (за исключением Киева, где евреям дозволялось жить только в некоторых частях города). Таким образом, черта оседлости охватывала территории нынешних государств Литвы, Беларуси, западной и юго-западной частей Украины. Притом жительство евреев разрешалось там лишь в городах и местечках (поселках городского типа), но не в сельской местности. Вне черты осед-

лости могли обитать купцы первой гильдии, то есть самые богатые; лица с высшим образованием; средний медицинский персонал; ремесленники особой квалификации; отставные нижние чины, поступившие на военную службу не по всеобщему, а по рекрутскому набору, по назначению сословных общин; срок службы их составлял до 25 лет.

Ограничение права на приобретение, взятие в залог, аренда недвижимости. Оно предоставлялось евреям только в черте оседлости, притом вне сельской местности, а также тем лицам, которым разрешалось жить «за чертой».

Ограничение прав на образование. Оно заключалось в том, что в высших и средних учебных заведениях существовала процентная норма; туда принимали: в черте оседлости 10, вне ее — 5, в обеих столицах 3 процента от общего числа поступающих. В некоторые высшие учебные заведения доступ евреям был закрыт вовсе (например, Военно-медицинская академия, столичные театральные училища и другие). Наряду с этим существовали специальные средние учебные заведения (в основном коммерческие училища) исключительно для еврейских юношей.

Ограничение прав по службе государственной и общественной. На государственную службу зачислялись только имеющие высшее образование евреи, да и то при соблюдении определенных условий. Евреям запрещалось участвовать в выборах и быть избранными в органы местного самоуправления (или устанавливалась процентная норма).

Угроза личной безопасности, унижение человеческого достоинства, незащищенность имущества евреев усугублялись деятельностью находившихся под покровительством правительства и лично Николая II антисемитских обществ «Союз русского народа» (создан в 1905 году после Манифеста 17 октября «о даровании свободы») и отколовшегося от него в 1907 году «Союза Михаила Архангела».

Крайним проявлением антисемитизма стали еврейские погромы, которые происходили при попустительстве, а то и при непосредственном участии полиции в их подготовке. Первые погромы случились в Одессе (1821, 1859, 1871 годы). Массовый характер они приняли в 1881 году как реакция на убийство

Александра II (среди шести главных организаторов покушения была только одна еврейка, Геся Гельфман, не принимавшая активного участия в акции), которые продолжались три года, охватив несколько десятков городов. Новые волны погромов, главными участниками их были люмпенизированные элементы, часть отсталых рабочих, мелкие торговцы, возникали в период усиления и подъема революционного движения в 1903 году (первый — в Кишиневе), затем в 1905-м, после Октябрьской стачки (Одесса, Кишинев и другие, всего 64 города и 626 местечек, зарегистрировано 810 убитых и 1170 раненых). Зачинщики и участники оставались безнаказанными.

Погромы возобновились во время Гражданской войны как со стороны «красных», так и «белых» и всякого рода никому не подчинявшихся банд, особенно на Украине. Их было не менее 1500 в 911 городах и местечках. Только на Украине убитых насчитывали свыше 200 тысяч.

Государственный антисемитизм в СССР возродился и принял широчайший размах после окончания Второй мировой войны, принял зверские формы и антисемитизм бытовой, поощряемый исподволь официальной пропагандой. На сей раз его осуществляла не полиция, а высшее руководство Коммунистической партии во главе со Сталиным и так называемые органы государственной безопасности. После смерти Сталина он стал постепенно сходить на нет, чему способствовал массовый выезд евреев из страны. Но даже и теперь, в конце 90-х годов, при «демократической» власти, отмечены факты возрождения организаций фашистского толка и явления бытового антисемитизма, не встречающие действенного сопротивления со стороны правоохранительных органов и населения...

### 3

Едва став на ноги и начав более или менее нормальную работу, Временное правительство очутилось перед лицом кризиса и неуклонно покатило к нему.

Наиболее опасным представлялось положение в деревне. Не получив от правительства землю, крестьяне пришли в состояние полной анархии. В одном из правительственных циркуляров констатировалось: «Захваты, запашки чужих полей... племенной скот уничтожается, инвентарь расхищается; культурные хозяйства погибают; чужие леса вырубаются... Одно-

временно частные хозяйства оставляют поля незасеянными, а посевы и сенокосы необработанными». К этому следует прибавить все более частые случаи поджогов, убийств, самосудов, разрушение усадеб; насилиям подвергались не только помещики, но и зажиточные крестьяне. Не раз поднималось и село на село. Деревня, поглощенная «черным переделом», ничуть не интересовалась ни войной, ни политикой, ни социальными вопросами, не затрагивающими ее интересов. Она невзлюбила новую власть, возненавидела горожан, отгородилась от них, перестала снабжать продовольствием. Голод еще не наступил, но угроза его стала явственной. Судорожные попытки Временного правительства частными мерами исправить положение не давали результатов. Масла в огонь подливали большевики: не смея открыто появиться в деревне, они исподволь поддерживали крестьянскую анархию, оправдывали мужицкие захваты и подрывали авторитет Временного правительства.

Сложным было положение в армии. Началось с некоторого конфуза.

10-го, кажется, марта в Ставку прибыл великий князь Николай Николаевич, бывший Верховный главнокомандующий, отстраненный от этого поста царем и восстановленный им же при отречении. Указ государя никто пока не отменял, к радости генерала от инфантерии, прозябавшего на Кавказе, и Николай Николаевич собрался в Могилев принимать дела. Однако уже в пути он получил телеграмму главы правительства Г. Е. Львова, извещавшего, что по многим соображениям великому князю неудобно вступать в эту должность, и просил не брать в руки командование. Горько обиженный Николай Николаевич решил не возвращаться с полдороги, повидаться с давними сослуживцами, побеседовать с уважаемым Михаилом Васильевичем Алексеевым, исполнявшим временно обязанности главноверха. Пробыв в Ставке несколько дней (11 марта Алексеев был утвержден в должности), Николай Николаевич уехал в столицу узнавать, что с ним решили делать дальше. Как ни странно, отпустили с Богом, назначили пенсию, разрешили выехать в пустующую Ливадию (оттуда он отправился в Италию, затем во Францию, где и умер семидесяти двух лет от роду). Алексеев же в день своего назначения в телеграмме главнокомандующим указал, что правительство не имеет реальной силы, поэтому рассчитывать на его помощь в борьбе с пропагандой невозможно, и предложил вводить в состав сол-



датских комитетов офицеров, что и было исполнено. Однако положение в армии с каждым днем ухудшалось, она шла к постепенному разложению, весьма опасному и чреватому серьезнейшими последствиями.

#### 4

К началу зимы 1916/17 годов военные действия утихли. В России линия фронта застыла на рубеже Рига — Двинск — Барановичи — Пинск — Луцк — Тарнополь — Каменец-Подольск — Черновицы. Таким образом, войска Германии и Австрии не смогли вступить на территорию губерний Центральной России, не угрожали непосредственно ни обеим столицам, ни крупным промышленным центрам, ни жизненно важным железнодорожным коммуникациям, не лишали Россию выхода в Северное, Балтийское и Черное моря. Такое положение сохранялось и после Февраля, что позволяло Временному правительству пока что сосредоточить усилия на решении внутренних проблем.

Однако пассивность новой власти в ведении войны весьма раздражила союзников, особенно Францию, и немного меньше Англию. Потерпев поражение на Западном фронте, французское правительство и командование планировали взять реванш, осуществить решительное контрнаступление в Европе, рассчитывая, естественно, на активную поддержку со стороны России. Прошедшая революция, по мнению французов, не могла и не должна была препятствовать выполнению союзнических обязательств довести войну до победного конца.

В начале марта французское командование известило М.В. Алексеева о том, что по согласованию с англичанами оно назначило на 8 апреля (нового стиля) начало совместного наступления на Западном фронте. Российский главком ответил, что в силу известных обстоятельств (революция, смена власти) широкое участие в операциях с его стороны возможно только в июне — июле.

Главком Франции генерал Робер Жорж Нивель операцию начал, был разгромлен в пух и прах (увековечив себя тем, что в истории эти сражения получили название «Бойня Нивеля») и, сорвав возможность наступления одновременно с востока и запада, лишил страны Согласия (Антанты) всех надежд на окончание войны в текущем году.

Встревоженная и коренными изменениями в России, и нечеткостью внешнеполитических намерений новой власти, и вышеописанным инцидентом с главковерхом Алексеевым, Франция предприняла усиленный нажим на Временное правительство.

Посол Морис Палеолог уже 4 марта отправился к П.Н.Милюкову с категорическим заявлением: я не могу допустить никакой двусмысленности насчет вашей решимости сохранить наш союз и продолжать войну.

Милюков обещал подтвердить эту решимость в очередном манифесте правительства, хотя и признался, что опасается разрыва с социалистами, то есть с Советом. И вроде бы сдержал слово. Но Декларация Временного правительства от 6 марта возмутила Палеолога: не заявлено о готовности продолжать войну до победного конца, Германия даже не упомянута, нет ни малейшего намека на цели войны в сложившихся обстоятельствах. Смущенный Милюков нашелся лишь сказать, что манифест (или Декларация) адресован только русскому народу, а политическое красноречие стало теперь более умеренным, нежели в 1792-го и 1870 годах (Великая французская революция и франко-прусская война). Палеолог, с усмешкой выслушав доводы, тотчас прочитал коллеге обращение их социалистов к Керенскому: там содержались довольно резкие выражения, а требования соответствовали в основном тем, что высказал Палеолог. (Забегая вперед, скажем, что Александр Федорович, вопреки своей натуре, ответил на послание очень сдержанно.)

Палеолог сделал вывод и телеграфировал в Париж: в настоящей фазе революции Россия не может ни заключить мира, ни вести войны. Он был весьма разочарован постановлением Совета: и там не содержалось тех заверений, которых жаждали союзники.

Тогда в Париже решили отправить с миссией в Россию министра вооружения Альбера Тома.

## 5

А во Временном правительстве разгорался конфликт, главными участниками его были Милюков и Керенский, а поджигивал их из своего европейского далека не кто иной, как Ленин.

Керенский — о Милюкове:

«По своей натуре Милюков был скорее ученым, нежели политиком. Не обладай он темпераментом бойца, который

привел его на политическую арену, он скорее всего сделал бы карьеру выдающегося ученого. Вследствие своей прирожденной склонности ко всему относиться с исторической точки зрения, Милюков и исторические события склонен был рассматривать в плане перспективы, глядя на них с точки зрения книжных знаний и исторических документов. Такое отсутствие реальной политической интуиции при более стабильных условиях не имело бы большого значения, но в тот критический момент истории, который мы переживали в те дни (март — апрель.— В. Е.) оно могло иметь почти катастрофические последствия. Весьма прискорбным было то обстоятельство, что Милюков занял пост министра иностранных дел, исполненный решимости проводить в основных чертах ту же империалистическую политику, которой придерживался при старом режиме его предшественник Сазонов».

М и л ю к о в — о К е р е н с к о м :

«Я скоро научился считать его показное величие, его диктаторскую позу величайшим несчастьем для русской революции... Он давал так много разных обещаний... Отчего не дать это,— когда оно... служило к продвижению его карьеры и соответствовало, как он был уверен, его талантам?»

Л е н и н — о М и л ю к о в е и К е р е н с к о м :

«Милюков и другие кадеты сидят больше для украшения и вывески, для сладеньких профессорских речей, а... Керенский играет роль балалайки для обмана рабочих и крестьян... (Милюков.— В. Е.) всегда защищал и защищает теперь грабительскую войну, в которую нашу страну втравили царь Николай с его шайкой. «Демократ» Керенский приглашен в новое правительство только для того, чтобы создать видимость «народного» правительства, чтобы иметь «демократического» красноречивого, который говорил бы народу громкие, но пустые слова, в то время как Гучковы и Львовы будут делать антинародное дело».

Уже на одном из первых заседаний правительства Павел Николаевич мимоходом упомянул расхожее суждение о том, что в числе факторов, содействовавших Февральскому мятежу, были германские деньги. Керенский вскричал: как? Что вы сказали? Повторите... Милюков повторил — спокойно и увесисто. Керенский, совершенно осатанелый, шарахнул портфелем по столу и буквально завопил: после того как господин Милюков в моем присутствии осмелился оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты не желаю

дольше здесь оставаться... И хлопнул дверью. Вслед кинулся Терещенко, за ним еще кто-то из министров; вскоре вернулись: догнать стремительного Александра Федоровича не смогли, сказали внизу, что умчался на автомобиле домой. Милюков хладнокровно констатировал: какая безобразная и нелепая выходка. Стояло тягостное молчание. Кто-то неуверенно высказал предложение: быть может, к нему поедет сам господин председатель? Да, да, тотчас согласился Львов. Инцидент кончился пуфом. Но подобные выходки Керенского оказались не единичными, перед ними деликатнейший Георгий Евгеньевич Львов обычно стусевывался.

Вывод о том, что Россия не может ни заключить мира, ни вести войны, Палеолог сообщил Милюкову. Павел Николаевич предложил обсудить — под знаком вопроса — лишь половину фразы: может ли Россия продолжать войну? А если нет, то в состоянии ли она продолжать прежнюю политику? Обе проблемы, военная и дипломатическая, переплетались, но вслух так прямо не обсуждались: поставив их так, значило бы выйти из войны посредством заключения сепаратного мира, позорного, несовместимого с честью и достоинством России. Следовательно, прекратить войну представлялось возможным только путем мира, заключенного сообща с союзниками. Но их нелегко переубедить, возникал заколдованный круг. Так оно и было, так и оставалось, но тут дуэтом выступили Александр Керенский и только что вернувшийся из ссылки и тотчас введенный в исполком Совета меньшевик Ираклий Церетели. Вместо альтернативы «Война или мир» они провозгласили лозунг «Война или революция», что следовало понимать так: либо революция убьет войну, либо — наоборот. А революция может победить войну только в международном масштабе. Добиться этой цели можно лишь объединив усилия трудящихся всех воюющих стран — это уж позиция большевиков, Керенский и Церетели понимали это и, конечно, брататься с большевиками не желали. И Милюков это понимал. А вот протачки в Совете не поняли, — размышлял он, — в своем манифесте 14 марта призвали народы аж всего мира «начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительства всех стран и взять в свои руки решение вопроса о войне и мире». Ну, что ж, берите, коли так. Ан нет, вместо борьбы с политикой правительства, пригласили министров на свое заседание, просили немедленно и торжественно — они без всяких торжеств и манифестов никак не могут, — обратиться к

с т р а н е (а не к земному шару) с заявлением, что мы в духе «мира без аннексий и контрибуций» решительно отказываемся от завоевательных империалистических стремлений и обязываемся перед союзниками безотлагательно принять шаги, направленные к достижению всеобщего мира... Еще бы добавить: и благоволения в человецех... И пускай Миллюков, с его тонкими дипломатическими приемами, — спасибо за комплимент, покорнейше благодарю, — убедит союзников принять эту д и р е к т и в у всеильного уже, видать, в мировом масштабе Питерского Совета рабочих и солдатских депутатов. Польщен оказанной честью вести переговоры от вашего высочайшего имени, господа депутаты Совета и прочая, и прочая, и прочая... Сочту за благо отказаться.

И 23 марта П. Н. Миллюков опубликовал в кадетской «Речи» заявление, в котором, полностью игнорируя мнение Совета, не упоминая о победившей революции, о смене государственного строя, провозгласил целями войны, как и прежде, завоевание Константинополя и проливов Босфора и Дарданелл (коренной п у н к т и к Павла Николаевича). Керенский, связанный положением одного из «вождей революционной демократии», постом товарища председателя Совета, немедленно — и тоже печатно — возразил своему коллеге и противнику, заявив, что сказанное Миллюковым — его личное мнение, не соответствующее позиции правительства. На закрытом заседании Павел Николаевич обвинение отвергнул, Александр Федорович спасовал, Георгий Евгеньевич деликатно примирил. Решили не давать впредь индивидуальных политических заявлений и интервью, но зато дружным хором воззвать к народу. Декларацию поручили написать Миллюкову, утвердили 27 марта, опубликовали на следующий день.

«Предоставляя воле народа (т. е. Учредительному собранию.— В. Е.) в тесном единении с союзниками окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и ее окончанием, Временное правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, что цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них их национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов, как не ставит своей целью ничьего порабощения и уничтожения».

И никаких завлекательно-непонятных, однако к р а с и в ы х слов про аннексии и контрибуции. Но все гладко, все

вроде бы за мир, все вроде так и не так... Поворчав, поспорив, даже поугрожав, Совет поддержал-таки это заявление.

А тут как тут Петербургский (он не менял название, блюдя революционные свои традиции) комитет большевиков рекомендовал Совету принять меры к свободному доступу на фронт и в ближайший его тыл агитаторов для братания в окопах. Совет согласился. То-то радовались германцы и австрийцы: зачем стрелять, когда лучше лобызаться, а русский мужик с любимым мужиком целоваться без штофа не станет, а когда хлебнет — бери его голеньким, ежели, выпив, не воткнет он штык в землю, не похлопает б р а т а н а по плечу и не дернет домой, в деревню: чего тут делать, коли побратались, а со своей бабой целоваться послаще, чем с немецким мужиком... Хорошо тогда характеризовал обстановку Андрей Иванович Гучков: «Мир на фронте и война в стране».

В те же дни, 1 апреля, в Петроград прибыли левые депутаты: Муте, Кашен и Лафон — из Франции, О'Греди и Торн — из Англии. Из их беседы с Палеологом, который пересказал ее Милюкову, стало ясно: социалисты эти будут добиваться подтверждения о дальнейшем участии России в войне.

Совет принял на следующий день своих братьев по классу столь холодно, что Марсель Кашен потерял самообладание и переговоры кончились ничем. Да и понятно: что мог предложить, с чем согласиться, от чего отказаться этот бессильный, вечно лезущий под крылышко правительства Совет...

## Глава девятая

...Я вдруг ощутил в душе зловещее предчувствие... С огромным трудом подавил я этот необъяснимый страх, казавшийся тогда абсолютно безосновательным.

*А. Ф. Керенский*

### 1

9 апреля (по новому стилю), или 27 марта по устарелому календарю, коим пользовались только в России, в 15 часов 10 минут принятого на железных дорогах средневропейского времени от одной из многочисленных платформ (их еще называли дебаркадерами) огромного и роскошного, как тогда выражались, вокзала крупнейшего в крохотной Швейцарии города Цюриха, красавца с почти девятисотлетней историей, — отбыл обыкновенный поезд на границу с Германией, до которой было рукой подать, всего с одной остановкой в Шафгаузене. Пассажиров набралось не слишком много: коммерсанты, туристы, обыватели, едущие только до пограничного порта клерки, — и большинство из них обратило, вероятно, внимание, как один из вагонов заполнила разом подошедшая группа человек этак из тридцати: дамы и господа по виду из средних буржуа, но почти без багажа, даже услугами носильщиков не воспользовались, с единственным ребенком лет четырех-пяти, говорившие, догадывались швейцарцы, привыкшие к многочисленным иностранцам, в основном по-русски. Они споро, но при этом подчеркнуто соблюдая Ordnung, поднялись по ступенькам, занавески были загодя задернуты, и на краткой остановке в Шафгаузене никто из этого вагона не выходил. Все они высадились на пограничной германской станции Готтмагинден, пересели в другой поезд.

Их имена остались неизвестными местным жандармам, документы проверять запретили, вещи не досматривали. Только организатор поездки швейцарский социал-демократ Фридрих Платтен, несколько его Parteigenossen в Стокгольме, российская военная разведка и министр иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюков знали их имена, да вскоре они стали известны петербургской организации РСДРП(б). Всего пассажиров насчитывалось тридцать два человека, включая четырех годовалого Роберта, из них девятнадцать большевиков, шестеро членов Бунда (еврейского социал-демократического союза), трое сподвижников Л. Д. Троцкого. Полный список

их не сохранился, известно, что среди большевиков находились Владимир Ильич Ульянов-Ленин с женою Надеждой Константиновной Крупской, его возлюбленная, российская подданная француженка Инесса (Елизавета Федоровна) Арманд, Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящие имя и фамилия — Радомысльский Овсей-Герш) и его жена Злата Ионовна Лилина, супруги Григорий Александрович и Елена Феликсовна Усиевич, Георгий Иванович Сафаров, Григорий Яковлевич Сокольников (Бриллиант) с женой, Михаил (Миха) Григорьевич Цхакая, менее известные в партии Ольга Равич и Ф. Гребельская, А. Е. Абрамович, М. М. Харитонов, еще кто-то забытый ныне. К ним пристроился польский социал-демократ, едущий до Стокгольма Карл Бернгардович Радек (Собельсон), впоследствии большевик. Сопровождал — предполагалось, что до Петрограда, — Фридрих (все его звали Фрицем) Платтен. Соседний вагон заполнила немецкая охрана. Вопреки легенде, вагон с эмигрантами не был опломбирован, но ни поездная стража, ни любые посторонние входить в него не имели права, как пассажирам — не дозволялось покидать его: вагон считался экстерриториальной единицей. Еду носили из поездного ресторана, кормили отменно и недорого.

Через Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Берлин (где простояли тридцать часов на запасных путях, германские власти что-то неведомое уточняли, выясняли), Штральзунд пересекли строго с юга на север всю Центральную Германию, закончив путь в порту Засниц.

Здесь они впервые за трое суток вагонной тряски ощутили под ногами неподвижную твердую землю, глотнули свежего воздуха, притом морского, с присолонью, и через несколько часов на шведском пароме-пароходе «Drottning Viktoria» в шесть часов вечера 30 марта (по старому стилю здесь и далее) высадились в Швеции, без задержки отправились на железнодорожную станцию Мальмё, где отужинали в отеле «Savoy», и ночным поездом отбыли в Стокгольм. Не доезжая до шведской столицы километров тридцать, на станции Седертелье, они впервые подверглись атаке репортеров, но давать интервью и отвечать на любые вопросы наотрез отказались, заявили, что в Стокгольме пресса получит от них официальное коммюнике. Однако охочие до сенсаций журналисты дали в свои газеты депеши: «Господин Ленин и его спутники прибыли в Стокгольм», напечатанные телеграммы достигли и России, где не были опубликованы, но доложены министрам Керенскому и Милюкову, а также председателю Совета Чхеидзе. Павел



Николаевич на всякий случай перепроверил: в лично им утвержденном списке лиц, коим з а п р е щ а л с я въезд в Россию, Ленин не значился; остальные его мало интересовали, слыхом не слыхал.

В Стокгольме они провели шесть с половиной часов, Ленин беседовал с корреспондентом газеты «Politiken», передал обещанный текст коммюнике, опубликованный тотчас, в вечернем выпуске. Всей группой встречались с представителями местных социал-демократов в отеле «Regina», Ленин провел еще несколько бесед, отправил телеграммы, в том числе и Петросовету. В 18.37 они отправились поездом через Финляндию — в Питер.

1 апреля в Петрограде те, кому надо, знали, что группа прибывает через сутки. Бюро Центрального Комитета и городской комитет РСДРП(б) начали готовиться к встрече, исполком Совета — тоже.

Организацию всей парадной части взял на себя Чхеидзе, сказав представителям большевиков, чтобы п у б л и к у брали на себя, ваш вождь — ваше и дело собрать аудиторию, наша забота — обеспечить ритуал и порядок, а также охрану. В исполкоме решили, что на Финляндский вокзал поедут Н. С. Чхеидзе и его товарищи (заместители) М. И. Скобелев и А. Ф. Керенский, а также И. Г. Церетели. Керенскому позвонили, он отвечал: да, я товарищ председателя Совета, но большевикам я не товарищ. Подумал и добавил: если и поеду, то лишь в качестве частного лица, не пристало министру, представителю правительства, участвовать в церемониях по случаю событий в какой бы то ни было партии, тем паче — оппозиционной.

Сказав это, он отправился на свою частную квартиру (жил по-прежнему в казенной министерской), встречать там Ольгу не хотелось, но что поделаешь, есть необходимость побывать в доме, в данном случае адъютанта не пошлешь.

Трудностей возникло полно, большевики сбивались с ног, ломали головы, обдирали руки, зажмуривали и таращили глаза.

Во-первых, л и ч н о Ленина знали немногие лишь члены партии, а молодняк в лучшем случае читал рекомендованные им старшими статьи. Но статьи статьями, а нет ни фотографии, ни биографии. Сунулись было к сестре, Марии Ильиничне Ульяновой (она только что переехала из Москвы, работала в

редакции «Правды»), та ответила, что снимки ни к чему (привычка к конспирации), живого увидят, а биографические сведения брат никому не сообщает (тоже конспирация), пошутила: были данные в охранном отделении, да и там сгорели.

Решили, если будут вопросы, отвечать: Владимир Ильич Ульянов-Ленин есть вождь партии большевиков и мирового пролетариата, лет ему под пятьдесят, долго скрывался от преследований царизма за границей, откуда руководил партией, созданной им, ну, а остальное товарищ Ленин сам расскажет, а главное, покажет себя не только обличьем, но прежде всего — делом.

Вторая была закавыка: собрать народ, и сколько можно больше. Но как уговорить, если день приезда — 3 апреля — Пасха, Светлая седмица, великий праздник, сидит пролетариат возле куличей и прочей благодати и балует себе тело и душеньку не одним чайком, попробуй оттащи, а если оттащишь — дотаци, а дотацишь — на ногах удержи, а удержишь — уследи, чтоб не заорал либо божественное, либо непотребное, а заорет — уволоки, но как и куда?

Заводы, как и все прочее, не работали, газеты не выходили по случаю праздника. Слава Богу (прости, Господи, что имя Твое приплели к такому случаю) шли все-таки партийные собрания большевиков в Выборгском, Московском, Нарвском, Василеостровском, Петроградском, Литовском национальном районах города. Члены городского комитета ринулись туда, поспешая, пока собрания не завершились, успели, рассказали, что к чему — всем там быть, на вокзале, и с собою прихватить друзей, соседей, трезвых или, на худой конец, подвыпивших, но «в плепорцию».

Выборгскую сторону (где вокзал) обошли с плакатами: «Сегодня к нам приезжает товарищ Ленин!» В Нарвском районе двинули по рабочим квартирам. На Васином острове расклеили от руки написанные объявления — где и когда собираться, чтобы коллективно двигаться к вокзалу. В Московском районе удалось провести митинг. Позвонили в Кронштадт, чтобы оповестили и доставили революционных моряков.

В Выборгском районном комитете Владимиру Ильичу выписали свой членский билет с круглым (опережающим подлинную численность) номером 600, вручить его доверили Ивану Дмитриевичу Чугурину, он в 1911 году учился в большевистской партийной школе в Лонжюмо, под Парижем, и хорошо знал, конечно, Ленина; сейчас он был рабочим завода «Айваз».

Решили, что на финскую границу, в Белоостров, поедут встречать Мария Ильинична (она бы и так поехала, десять лет брата не видала), Александра Михайловна Коллонтай (от II Интернационала), Александр Гаврилович Шляпников (руководитель Русского бюро ЦК), Иосиф Виссарионович Сталин (в качестве представителя большевиков в Совете). Из ближайшего к Белоострову города Сестрорецка специальным поездом по боковой ветке направлялись четыреста рабочих, их возглавляли секретарь городской партийной организации Вячеслав Иванович Зоф; один из старейших большевиков Николай Александрович Емельянов; только недавно вернувшаяся из эмиграции, где все годы сотрудничала с Лениным, — Людмила Николаевна Сталь.

Постановили собираться у вокзала к шести часам вечера, поезда ходили как Бог на душу положит, а дачные — тем более; неизвестно потому, когда приедут на ш и.

Со смутным, скользким, неуверенным сомнением, — а что, если он — совсем не он, земляк, выпускник симбирской гимназии, протеже и любимец Керенского-старшего, а просто однофамилец, да и то не слишком твердо, Ульянов ли он, этот Ленин — и с пониманием: такого совпадения быть не может, и с воспоминаниями о случайных встречах возле дома на Загородном, и в Народном доме графини Паниной, и с не менее смутным ощущением опасности (Симбирск, Венец, солнечная лужайка в городском центре, распахнутая гимназическая куртка, набыченный крутой лоб, глаза со злобной, колкой искрой, шелчок, резкий и сильный, как удар кулаком), — ехал Александр Федорович, поторапливая отчего-то шофера, к себе, в брошенную им квартиру (только ли квартиру брошенную?) на Тамбовскую. Открыла горничная, б а р ч у к и, как она не отучилась называть, гуляют в Таврическом, погода-то, барин, вон какая, а барыня на службе, и праздник ей не в праздник (Ольга работала, бесплатно, в общественной комиссии содействия возвращающимся из ссылки и эмиграции; Ленину, интересно, будут помогать?).

Из нижнего ящика письменного стола с секретным замком вынул толстенный потертый портфель, еле уместившийся под мышкой, неразобранный личный архив семьи. Велел ехать обратно в министерство, неся в себе все то же ощущение сомнения, — вернее, надежды на сомнение, желание его, — и опасности, близкого предвкушения чего-то неведомого и несомненно грозного. И портфель таил в себе если не таин-

ственное, то, по крайней мере, значительное для него, — либо тогдашнего малыша Сашеньки, либо сегодняшнего знаменитого лидера, не просто министра, но л и д е р а (увы, он еще не знал, что лидерству его придет конец) Александра Федоровича Керенского.

Он выгреб содержимое портфеля на широченный и длинный министерский стол, принялся брать наугад, откладывая в сторону. Он не знал точно, чего ищет, но в закоулках памяти хранилось нечто важное, какая-то деловая бумага, прочитанная тогда отцом, в тот день, когда, потрясенный злыми глазами, крепким, как удар кулака, шелчком, он, Саша, предстал перед отцом и тот... Что же это было? Он искал, не зная толком что.

Плоская, обтянутая кожей, шкатулка с орденами. Из того же материала папки: грамоты о пожаловании чинов, благодарности. Связка тетрадей с лучшими, надо полагать, сочинениями учеников. Ничего скрытного, интимного, что давало бы представление не о фактах, а о самой личности. Так и надо: не оставлять после себя такого, что говорило бы о твоём потаенном. Если мемуары — ни слова о сокровенном, принадлежавшем только тебе, — только о других, только о событиях, только о делах. Да, но неужели не сохранился тот документ, который прочитал ему отец, ему, несмышленищу с подбитым глазом, с исцарапанными коленками, еще ничего толком не понимающему...

Он перебирал каждый листок, привычно кидал взор, понимая с ходу, что это и о чем. И наконец нашел.

Это был, по канцелярской терминологии, о т п у с к, один из экземпляров переписанного под копировальную бумагу документа, без заглавия, но сразу видно: это характеристика для поступления в университет. Внизу карандашом дата: 10 августа 1887 года. Почти тридцать лет назад...

«Ульянов Владимир

Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению.

Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих или преподавателях гимназии непохвального о себе мнения.

За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители, а с 1886 года, после смерти отца, одна

мать, сосредоточившая все заботы и попечения на воспитании детей. В основе воспитания лежали религия и разумная дисциплина.

Добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова. Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости, чуждаемости от общения даже со знакомыми людьми, а вне гимназии с товарищами и вообще нелюдимости. Мать Ульянова не намерена оставлять сына без себя во все время обучения его в университете.

Директор Симбирской гимназии *Ф. Керенский*».

Не учебная характеристика, а свидетельство о благонадежности... За восемь лет учения, с ребяческого шаловливого возраста — ни единого замечания... Религиозен и послушен. А при чем здесь абзац о характере, и выделена единственная черта — замкнутость и необщительность? Ясно при чем: не будет участвовать ни в каких кружках и сообществах, не пойдет по пути брата-царевубийцы...

И написано это месяца через три после казни этого государственного преступника-брата, за родство с коим Владимиру полагался бы вместо золотой медали и отменной аттестации — волчий билет... Тем более что министром просвещения был... был... сейчас проверим... Да, точно: граф Делянов Иван Давыдович, занимал пост с 1882-го по 1897 год, прославился тем, что лишил университеты автономии, закрыл повсеместно высшие женские курсы, ограничил зачисление в гимназии детей недворянского происхождения, запретил принимать во все средние учебные заведения детей «кучеров, прачек, мелких лавочников и т. п.» — декрет «о кухаркиных детях» прозвали этот приказ. Установил — именно он — процентную норму для евреев, русифицировал школы и н о р о д ц е в...

Словом, вроде Щегловитова или Протопопова, только в народном просвещении. Попадись ему этот документ на глаза — простился бы батюшка Федор Михайлович Керенский, действительный статский советник и кавалер, со всеми своими должностями, регалиями, уволили бы в отставку, в том сомнений нет... Каков был папенька, ведь отлично знал, на что идет. И только Бог, наверное, спас: ведь при Делянове министерство ох как надзидало, рассказано в мемуарах, за подведомственными учебными заведениями, открыто согласовывало свои действия и акты с Департаментом полиции...

А его, Сашу Керенского, тоже воспитывали в духе религиозности и порядочности. И всю свою адвокатскую практику и общественную деятельность он посвятил защите п о л и т и -

ч е с к и х, угнетаемых. И сейчас нет у него даже в помыслах покарать бывшего царя, судить его министров и прочих приближенных, если не окажутся повинными в уголовных преступлениях, — по службе же они действовали в соответствии с законами своего времени — нет того времени, нет тех законов, а против нынешней власти криминальных деяний не совершали... А с партийными противниками надлежит бороться политическими же методами. Не сажать же Павла Николаевича в «предварилку» или в «Кресты», если мыслит он иначе, нежели министр юстиции, он же — генерал-прокурор Александр Федорович Керенский... А Ленин... Ну, пишет в газетах — неприлично пишет, неинтеллигентно, бранчливо, да ведь брань на восток не виснет, ввязываться с ним в такого рода полемику, с позволения сказать, — значит унижить с е б я. Пускай себе твякает — ветер унесет, и караван будет идти дальше...

Но откуда, почему это ощущение опасности?

Он оделся как обычно, не пытаясь подладиться под толпу, велел поручикам-адъютантам отправляться домой и на министерской заграничной машине отправился к Финляндскому. Было около девяти вечера; адъютант доложил, что поезд опаздывает, а насколько — неизвестно. Но лучше приехать пораньше, не пропустить главного.

## 2

Тем же временем в Белоострове, на границе, поезд, где кроме прочих ехали российские эмигранты, остановили для проверки документов. Пока длилась эта — сегодня особенно тщательная и нудная — процедура, хватило времени и на объятия, поцелуи, вручение букетов, краткую речь Ленина и приветственное слово Александры Михайловны Коллонтай, пенье «Интернационала» и «Марсельезы»... Тронулись наконец. Езды до Питера оставалось час с небольшим.

А здесь, на привокзальной площади, толчея стояла непротолченная (хорошее словечко Надежды Крупской). Никто, конечно, подсчета не вел (советские историки писали о многих тысячах, понятие растяжимо и недоказуемо). Можно хоть как-то весьма приблизительно прикинуть по имеющимся сведениям. В конце февраля организация большевиков в Питере

насчитывала 2 тысячи, по России — 24 тысячи членов. В конце апреля (в конце!) — 100 тысяч по стране, но основной рост произошел именно тогда. Однако возьмем эту цифру, хотя в начале месяца она была значительно меньше. Будем считать, что в столице — примерно 8 тысяч (заведомо меньше, но пускай). Абсолютно ясно, что все до единого явиться не могли или не захотели (праздновали!). Вдобавок приближалась полуночная служба во храмах с крестным ходом, большевики из рабочих были почти сплошь верующие. Время позднее, празднующихся мало, да и те — в центре, где всяческие увеселения. А митинги всем стали поднадоедать. Если тысячи полторы-две тут набралось — и то хорошо. Но на маленькой площади, конечно, впечатляющим представлялось, это на Дворцовой показалось бы кучкой.

Керенский велел шоферу загнать автомобиль за угол, пошел к вокзалу. В кармане у него лежали три удостоверения: думское, правительственное, советское, — предъяви любое, пропустят без разговора. Делать этого не стал: прочитают фамилию, могут начать чествовать, чего доброго, митинговать, известность, даже слава, у него велика, не то что у этого женеvского подпольщика, сорвется его встреча, если Керенский раскроет свое инкогнито. Он кое-как обошел толпу (знал боковые дворы), с дебаркадера приблизился к входу в царские комнаты, у замкнутых изнутри дверей показал матросу-часовому удостоверение Совета, пропустил, конечно, даже честь отдал, полагая себя на службе. В зале пустовато, делегация Совета в креслах да в уголку человек пятнадцать — двадцать, избранная публика, издали увидел Николая Суханова, кивнул. Отозвал в сторонку Чхеидзе, объявил ему, что побудет тут, но в качестве частного, повторил, лица, вон среди репортеров хотя бы. Да ведь узнают вас, отвечал Николай Семенович, и какой резон укрываться, коли уж явились, пересаживайтесь к нам. Нет, я решил окончательно; а когда ожидается поезд? Говорят, к одиннадцати, задержался в Белоострове, оттуда сообщат по телеграфу, когда отправят. Хорошо, я пока пройду по перрону.

Встречающей публики там почти не было. По всей длине обеих сторон дебаркадера вытянулись шпалерами гвардейцы Московского и Преображенского полков, готовые в любую минуту взять «на караул», матросы 2-го Балтийского флотского экипажа, прибывшие из Кронштадта на ледоколе. Всюду стяги, временные дощатые арки, разубранные красным, приветствен-

ные лозунги. В дальнем конце платформы под огромным знаменем ожидала делегация Центрального и Петербургского комитетов большевиков, сотрудники «Правды», все с цветами. Рядом блистал трубами военный оркестр.

Из-за угла виднелись прижавшиеся к торцевой стене вокзала два бронированных автомобиля, прожекторы, еще темные. Да, постарались большевики, да и Совет тоже не оплошал.

Вернулся в царскую комнату, никто не обратил на него внимания.

Послышался паровозный гудок, и почти тотчас — «Марсельеза», после — пауза, наверное, обнимаются, вручают цветы, еле слышны аплодисменты, гул неразборчивой речи.

В дверях появился большевик Шляпников, громко просил: позвольте, товарищи, позвольте, дорогу, товарищи, дайте дорогу... За ним следовали несколько незнакомых, они присоединились к стоявшим посередке зала Чхеидзе, Скобелеву, другим членам Совета, — видимо, то была часть эмигрантов, прибывших с Лениным.

И тотчас почти вбежал он, в круглой шляпе-котелке на европейский манер, кургузом демисезонном пальто с воротом и лацканами, покрытыми черным бархатом, в коротковатых брюках и грубых башмаках, — обычный клерк, такого ничем не выделишь в цюрихской или парижской толпе, разве что суетливостью, мелкостью движений. Огромный букет он держал неловко, непривычно, опустив цветами вниз, словно веник нес. Склонив голову быковато, пробежал половину зала, остановился перед Чхеидзе, не протянул руки, выглядел, очевидно, растерянным — не привык, не ожидал такого приема. Сдернул котелок, блеснув просторной лысиной, протянул не глядя кому-то назад, вытащил из кармана пальто мятую кепку, сжал в кулаке.

Чхеидзе утрюмо, как бы вымученно, с ноткою наставительности, не присущей ему, заговорил приветствие: товарищ Ленин, от имени Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и всей революции... Но мы полагаем, что главной задачей... защита нашей революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне... необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии... мы надеемся, что вы вместе с нами...

Какое же это приветствие? Скорее — дискуссионное выступление. И что за нравоучительный тон? Однако Ленин слушал, будто его не касалось. Покачнулся с носка на пятку, с



пятки на носок, поднял крупную, несоразмерно фигуре, голову, оглядел потолок, обвел глазами тех, кто стоял у стены. Керенский, оказавшийся там впереди, подался было назад, удержал себя. Ощутил почти прикосновение токов, ф л ю и д о в, идущих от этого небольшого, такого неприметного человека. Ощущение опасности...

Как и шляпу, передав кому-то букет, Ленин заговорил, он глядел куда-то в пространство, обращался к тем, кого не было здесь. Заготовил речь, конечно, загодя, но почему не перестроился на ходу, неужели настолько растерялся или демонстрирует пренебрежение к тем, кто собрался тут, нет, не растерялся, речь уверенная, четкая, хотя и мешает картавость — не легкое французское грассирование, а именно картавость. Да, явно д л я п е ч а т и говорит, знает, что послезавтра опубликуют в газетах. Или репетирует то, что скажет, выйдя к толпе на площадь.

Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие, говорил он, я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как представителей передового отряда всемирной пролетарской армии... Грабительская империалистическая война — он произнес «имперьялистская» — есть начало войны гражданской во всей Европе... Недалек час, когда по призыву нашего товарища Карла Либкнехта народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов... Заря всемирной социалистической революции уже занялась (да что он, с ума сошел, какая гражданская, что за социалистическая, оговорился, перепутал что-то?)... В Германии все кипит... Не нынче-завтра, каждый день может разразиться крах всего европейского имперьялизма (опять — имперьялизма!). Русская революция, совершенная вами, положила ему начало и открыла новую эпоху...

Он помолчал самую малость и спокойно, не повысив голоса, как само собою разумеющееся, привычное, тем же тоном сказал: да здравствует всемирная с о ц и а л и с т и ч е с к а я революция...

Керенский почувствовал, что побледнел.

А за стеклянной дверью, что выходила на площадь, сгорала от нетерпения, зависти к тем, кто там, в зале, любопытства, негодования — не пускают, и сам не выходит,— шумела толпа и уже напирала, звала, требовала к себе.

Тот быстро, небрежно, не глядя в лица, пожал руки Чхедзе, Церетели, Скобелеву, сунул на голову фуражку, она легла на лысый череп привычно, как бы сливаясь с головой, — не стал никого ждать, не попросил освободить дорогу, свернул вбок, все так же торопливо, мелкими шажками, проскочил мимо репортеров и прочих, среди коих стоял и Керенский, по дороге раза два-три кивнул — то ли узнал кого-то или наугад. На мгновение Керенский и он встретились взглядами. Глаза у Ленина были маленькие, узкие, умные, холодные, со злой, колющей искрой.

На площади сильно, туго светил прожектор. У подъезда стоял броневедомобиль. Толпа орала, размахивала знаменами, она подхватила Ленина и поставила на круглую, с плоской покрывкой, башню броневика. Привычно сорвав кепку и держа ее в кулаке, взмахнув этой рукой, он заговорил, до верхней ступеньки вокзального подъезда, где стоял Керенский, доносилось: ...Участие в позорной имперьялистской... Грабители капиталисты... Ложью и обманом...

И — отчетливо, словно гвоздь забил:

Да здравствует социалистическая революция!

Прожектор высвечивал его фигуру на броневике, словно памятник на постаменте он выглядел.

Ему помогли слезть, — вернее, просто сняли, — он сел в кабину рядом с шофером, на броню пристраивалась охрана с красными повязками, толпа, понукаемая распорядителями, разбиралась, выстраивалась в колонну, грузовик с прожектором выехал вперед, оттеснил броневик на второе место.

Исполкомовцы звали к себе в машину, Керенский отмахнулся, сошел с невысокого крыльца, стал сбоку колонны, закурил наконец. Голова работала плохо, на душе было смутно. Хотелось побыть одному... «Добрые плоды домашнего воспитания... Излишняя замкнутость, чуждаемость от общения...» Вот она и чуждаемость... Вон он, как крысолов из полузабытой сказки: заиграл в дудочку, и все детишки города послушно потянулись за ним... А ведь это лишь вокзальная, митинговая приветственная речь, не с нею же одной он приехал и не просидел понапрасну в Европе десять лет, не в теннис играл, не пасьянсы раскладывал...

На огонек вышли двое, тоже с папиросами, Суханов и Станкевич. Уже виделись сегодня, здоровались. Не желаете

туда, Александр Федорович, спросил Суханов, у вас, наверно, здесь авто припрятано, можно обогнать, можно параллельным курсом. Они — ко дворцу Матильды Кшесинской, маршрут мне известен, — еще бы, старый репортер! — Финский переулок — Нижегородская — Боткинская — Большой Сампони-евский — Большая Дворянская, тут и финиш. Матильда сбежала, домишко свой бросила, там теперь цека и пека товарищей большевиков. Не желаете? А вот мы с господином поручиком, геометром-фортификатором (так поддразнивали Станкевича, доцента-математика, ставшего в войну сапером), пешачка с народом. Если что будет интересное, позвонить? Непременно позвони, Николай, ответил Керенский, отторгая и официальное, по имени-отчеству, обращение, и шуточный тон, звони в любое время, я в министерстве буду.

Всегда на людях веселый, Станкевич сказал (не о Керенском, конечно, а в продолжение разговора с Сухановым или выразил вслух новую мысль): человек, говорящий такие глупости, не опасен... Нет уж, Владимир Бенедиктович, не упрощайте, возразил Керенский, он говорит отнюдь не глупости, он умен, он о ч е н ь умен, этот Ульянов, он же Ленин. Мы с ним, я полагаю, понаплачемся...

Никто, конечно, тогда не мог знать, что записал в дневник Морис Палеолог: «Приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, какому может подвергнуться русская революция».

Но уж конечно не только они двое, русский и француз, двое интеллигентов-политиков, друг с другом едва знакомые, думали об одном и том же — об опасности. Многие понимали — уже понимали, с первой минуты, и вскоре поняли еще определенной. У многих понимающих в руках была власть. Почему же допустили, не пресекли вовремя эту опасность? Во имя ложно понятой демократии? Из страха перед возможной смутой?

Нет ответа...

«Сегодня я читал в газете, что злой враг русской молодой свободы есть прибывший Ленин, — писал с фронта безвестный В. Манушкин. — Я подписываюсь и готов, ежели вы подпишете, лишить его жизни... Я страдаю три года и все мои товарищи, а он желает, чтобы мы страдали вечно...»

А в эту ночь на улицах Петрограда, как и по всей Руси, было празднично, весело, божественно. Торопились ко храмам припоздавшие. Вдоль тротуаров — горящие синим, желтым мигающим огнем плошки. С верков Петропавловки шарили по воздуху лучи прожекторов, скрещивались, опускались, — наверное, от них светло и там, где движется за своим незнакомым вождем рабочая, солдатская, матросская, все редееющая — отваливают на другой, всем понятный праздник, — толпа.

Керенский велел шоферу свернуть к Исаакию, и вовремя. Вокруг купола пылали факелы, водруженные в чугунные литые светильники, в их отблесках металась, встопоршив крылья, литые же ангелы, и по всей площади — толпа, не сравнишь с той недавней привокзальной.

Он вышел из авто, ударил полуношный колокол Исаакия, ему отозвались со всех концов, по всему городу пошел благовест. Ухнули недалекие крепостные пушки. Послышалось знакомое наизусть песнопение: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби сердцем Тебе славити...»

Керенский широко крестился и склонялся в поясных поклонах.

Господи, спаси и помилуй Россию, только в Твоих, видно, это силах...

### 3

Суханов дошел с процессией до конца (Станкевич не захотел, отправился восвояси), хотя немного и поотстал, болели ноги, однако дотопал-таки до начала Кронверкского проспекта, до самого дома Кшесинской, изысканного, изящного, сейчас горевшего всеми окнами, иллюминацией, украшенного алыми знаменами.

С балкона перед остатками прежней толпы, с подошедшими прямо сюда, — по большей части праздного любопытства ради, — хрипло (в который ведь раз за ночь!) говорил Ленин, уже знакомое чуть не наизусть Николаю Николаевичу: грабители капиталисты... истребление народов Европы ради наживы кучки эксплуататоров... защита отечества — это значит защита одних капиталистов против других...

Вот такого-то бы за это на штыки поднять, неожиданно, ни к кому не обращаясь, заговорил близ Суханова солдат с красной на рукаве повязкой. А? Что говорит! Кабы вниз сюда сошел, надо бы ему показать, да и показали бы! А? Вот за это ему немец-то и платил. Эх, надо бы ему!

Да, будет сегодня разговоров в казармах и по домам...

Знакомые у него, конечно, нашлись и здесь, провели во дворец, разгромленный, следы разгула били в глаза повсюду, мебель либо растащили, а то успели спрятать, сейчас всюду стояли плохонькие стулья, табуретки, даже садовые скамейки, кухонные и конторские столы, только немного намекало на прежнюю, очевидно изысканную роскошь.

На боковой лестнице Николай Николаевич лицом к лицу столкнулся с Лениным, тот устало спускался с балкона. Заочно оба знали друг друга, Суханов привычно, по-репортерски, назвался, Ленин заговорил охотно и неожиданно оживленно: а, Суханов-Гиммер, оч-чень приятно, вот вы какой, не представлял... Многолько мы с вами в печати полемизировали, не обижаетесь?

Что тут было ответить... Он, конечно, считал это н о р м а л ь н о й полемикой: называл «умным» (так и писал, в кавычках) господином, пустейшим болтуном... Впрочем, Троцкого или Керенского не такими словечками клеймил. У всякого свои понятия о стиле политических дискуссий...

Ленин усадил рядом на первый подвернувшийся стул, говорил — видать, никак не мог остановиться, разогнавшись. Разносил только недавно встречавших его Чхеидзе, Церетели, Стеклова, особенно почему-то последнего, Суханов возражал.

Но тут позвали пить чай. Закуска оказалась не хуже и не лучше, нежели в столовой исполкома, привычной Суханову. Долго чаевничать не пришлось: попросили вниз, в зал, там собрались две сотни партийных активистов.

Информировали не совсем точно: там были действительно и функционеры, и рабочие, и какие-то девицы, пишбарышни навверное. Завели приветствия, доклады с мест, а уже было два часа пополудни. Что-то произнес Лев Борисович Каменев, вспомнили наконец о Григории Евсеевиче Зиновьеве, ведь приехал вместе с Владимиром Ильичом, похлопали, попросили сказать несколько слов, он поблагодарил, промолчал.

Наконец поднялся Ленин. «Он потряс,— писал Суханов,— не только ораторским воздействием, но и несслыханным со-

держанием своей... речи... В этой речи было достаточно много и ошеломляющего содержания, и ярких, цветистых красок. Но не было в ней... анализа объективных предпосылок, анализа социально-экономических условий для социализма в России... Каким образом... Советы, представляя небольшое меньшинство страны, в качестве носителей пролетарской диктатуры, против воли, против интересов большинства устроят социализм — об этом оратор также умолчал совершенно. Каким образом, наконец, вся его концепция мирится с элементарными основами марксизма (единственно от него не отрешивался Ленин в своей речи), об этом не было сказано ни полслова. Всю эту сторону дела, касающегося того, что именовалось доселе научным социализмом, Ленин и гн о р и р о в а л так же радикально, как с о к р у ш а л он основы текущей социал-демократической программы и тактики. Это было весьма замечательно. Это был кричащий пробел, зияющая пустота, которая впоследствии была заполнена лозунгами: «Творите социализм снизу, как сами знаете!» и «Грабьте награбленное!».

(Необходимое и очень важное отступление, вернее, забегание вперед. В апреле следующего года, по воспоминаниям Л. Д. Троцкого, Ленин подтвердил ему: «Я как-то действительно это сказал... сказал да и подзабыл, а они (кто? — В. Е.) из этого сделали целую программу». И юмористически замахал рукой. В тот же день, когда состоялся этот разговор, Ленин заявил с трибуны заседания ВЦИК: в лозунге «грабь награбленное» «я не могу найти что-нибудь неправильное... Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то — почему же здесь нельзя обойтись без латинских слов?» Последовали аплодисменты.)

Он кончил речь. Суханов вспоминает: ему восторженно хлопали, но г р а м о т н ы е демонстрировали полную растерянность. К кому из видных большевиков ни обращался Николай Николаевич, они совершенно не знали, что сказать. Лев Борисович Каменев, усмехнувшись, ответил: подождите, подождите... Вскоре он выступил против установок Ленина.

У Суханова осталось ощущение, словно его всю ночь молотили по голове цепями, было ясно одно: с Лениным ему не по дороге.

Совсем рассветало, началось утро 4 апреля.

Александр Федоровичу позвонил Суханов в восемь, тот, оказалось, вовсе не ложился (сам Николай Николаевич прикорнул у друзей). Рассказал Керенскому, что слышал «у Кшесинской», собеседник неопределенно хмыкнул. Тогда Суханов добавил практическую информацию: сегодня в полдень, в Таврическом, Ленин выступит все о том же, а после, часа через полтора, повторит доклад на совещании всех социал-демократов — большевиков, меньшевиков и внефракционных. Приехал бы, Александр Федорович, это вполне удобно, а послушать собственными ушами — полезно: может, оно и бред, но вовсе не лишенный смысла и дает пищу для размышлений. Да, и еще: заседание это — попытка подготовить объединительный съезд социал-демократов всех направлений. Послушай, не пожалеешь. А если, поскольку ты министр, не хочешь засвечиваться, я тебя встречу в два часа у служебного входа, пройдем незаметно.

Таврический дворец знал Суханов наизусть и провел Керенского в какой-то непонятный закуток, откуда был виден зал, кафедра и хорошо слышно. Они чуть припоздали, Ленин уже говорил. Вскоре стало ясно: поскольку здесь преобладают его идейные противники, он повторяется не буквально, не зовет стать на его точку зрения, но содержание вчерашней речи, по сути, не изменил. Верные большевики — их тут оказалось не много — то и дело рукоплескали, не в пример вчерашнему (пришли в основном рабочие и солдаты, мало что понявшие), остальные их чувств отнюдь не разделяли.

Член исполкома, меньшевик Борис Осипович Богданов, человек весьма импульсивный и вдобавок лишь недавно выпущенный из тюрьмы, сидя напротив кафедры, то и дело прерывал докладчика, не выбирая выражений: все это бред (слово для оценки новых откровений Ленина сделалось вскоре прямо-таки неизменным), это бред сумасшедшего... Стыдно аплодировать такой галиматье, кричал он в зал, вы позорите себя! Тоже мне марксисты... Ленин продолжал как ни в чем не бывало.

Выступили несколько человек, только меньшевики. И. П. Гольденберг (недавний большевик) заявил, что Ленин водрузил знамя гражданской войны в среде революционной демократии. Ю. М. Стеклов обвинял докладчика в незнании обстановки в России (по справедливости, между прочим). Стало очевидным:

ни о каком объединении не может быть и речи, все обрушились на Ленина. Поддержала его только Александра Коллонтай, только-только из меньшевиков заделавшаяся большевичкой. Но бурная ее речь вызвала насмешливый смех, шум, она имела неосторожность выразиться весьма двусмысленно: я отвергаю единение с теми, кто не может и не желает совершать... Тут и поднялся хохот: о теории свободной любви Александры Михайловны, красавицы из красавиц, достаточно понаслышались.

Никакой, видите ли, поддержки Временному правительству, повторял Керенский слова большевистского закоперщика, как там у него дальше, надо разъяснять лживость, да-да, всех его обещаний, разоблачать это правительство... Разъяснять, что Советы есть единственно возможная... Да ради Бога, господа, мы вам эту власть хоть сию минуту отдадим, посмотрим, что вы станете с нею делать... Ах, как звучит: переход всей государственной власти в руки Советов! Скажите на милость — государственная власть, народное правительство! Трамвай в Питере пустили, после неделю спорили: а надо ли брать с солдат пяточок за проезд или бесплатно? Уездному собранию такие проблемы решать — за четверть часа... Никакой полиции, никакой армии, никакого чиновничества, только, выходит, один господин Ленин со своими цека и пека вас и от грабителей оборонит, и германца расколошматит, и Россией станет управлять... Бред собачий.

Суханов слушал, поулыбался, потом вспомнил, как вчера один солдат разорялся: на штыки бы этого Ленина поднять, не зря ему немцы платят. Погоди, Александр Федорыч, вот он свою партию в бараний рог скрутит, в кулак сожмет да как шархнет...

Минут через пятнадцать, проводив закоулками разъяренного министра, Суханов отправился на заседание исполкома и там опять увидел Ленина, тот был смирен, скромн, подчеркнута уважителен и убедителен. Попросил покровительства и защиты от буржуазной травли и клеветы. И исполком во главе с изруганным им Чхеидзе, Скобелевым и прочими решил: **п о т р е б о в а т ь** (вот он, ленинский урок!) от Временного правительства принять меры к немедленному пропуску в Россию всех эмигрантов независимо от политических взглядов; поместить в печати сообщение Ленина об обстоятельствах проезда большевиков через Германию; ввести в состав исполкома



Совета... О сем тут же выписали и вручили удостоверение. Ленин благодарил, пожимал всем руки. Сказал на прощанье, что тезисы сегодняшней речи напечатает «Правда», Апрельские тезисы, так вроде будут называться. Кто его еще не слышал — милости просим ознакомиться.

Больше в исполкоме Владимир Ильич не появлялся — только после победы Октября.

Тезисы напечатали, а в следующем номере — статья Л. Б. Каменева, и 12-го числа — тоже, он своего старшего товарища не щадил: назвал схему Ленина «неприемлемой», поскольку она «исходит из признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую», говорил о необходимости учета исторической обстановки, соотношения классовых сил в данный момент, в данной стране, чего нет в тезисах Ленина, а потому нет и ответа ни на один вопрос политической жизни России сегодняшнего дня. Каменеву вторил его партийный соратник С. Я. Багдатьян, он отвергал основные пункты тезисов. Старейший марксист Георгий Валентинович Плеханов, тяжело больной (он лишь совсем недавно вернулся в Россию), написал злую статью с заголовком, говорящим сам за себя: «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас весьма интересен», где характеризовал тезисы в целом как «безумную и крайне вредную попытку посеять анархическую смуту в России». Променьшевиков, эсеров, кадетов нечего и говорить — все они ополчились дружно, забыв о своих разногласиях, слов не выбирали — впрочем, виновник шумихи тоже не выбирал. Ленин убеждал, доказывал, спорил, опровергал, уговаривал, грозил, бранился и вроде достиг кое-чего, правда, не очень значительного, но лиха беда начало: Петербургский комитет РСДРП(б), кучка отборных, особо доверенных признать не признала, но положила тезисы в основу обсуждения вопроса о текущем моменте, как бы отметив тем самым важность новых тактических установок.

## 5

Если по совести, то Керенского сейчас волновала и тревожила не столько вся эта, никакими действиями пока не подкрепленная, большевистская распря: Александра Федоро-

вича куда больше беспокоили дошедшие чуть не до кулачной драки разногласия в правительстве между ним, Керенским, и Милюковым, а также появление в Питере французских социалистов и предстоящий приезд Альбера Тома, который станет давить не только на правительство, но и по линии *масонской*, что, разумеется, останется сокрытым и от министров, и от Совета, и вообще от публики, однако практически окажется весьма сильным средством воздействия.

Сущность разногласий министров иностранных дел и юстиции заключалась в следующем.

Линию свою и руководимого им министерства П. Н. Милюков видел в «активной борьбе на три фронта: оборона против циммервальдизма (признание империалистического характера войны с обеих сторон и ложность лозунга «защита отечества». — *В. Е.*), против стремлений Керенского к усилению его собственной власти и за сохранение полноты власти правительства, созданного революцией», — вот его подлинные слова.

Конкретно политика Милюкова сводилась к борьбе за освобождение славянских народностей, населявших Австро-Венгрию (союзницу Германии в войне), образование чешско-словацкого и сербско-хорватского (тоже славянского) государств, слияние украинских земель Австро-Венгрии с Малороссией. Кроме того, *idée fixe* Милюкова оставалось обладание Россией Константинополем и проливами как средство дополнительного импульса к последующему развитию экономики и внешней торговли страны; вот почему он выступал против тезиса о «мире без аннексий и контрибуций», но заявлял при этом, что «цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов». Он считал, что долг каждого гражданина — защищать отечество (объявив это с момента начала войны), а в апреле 1917-го был по-прежнему убежден, что сепаратный мир с Германией — предательство по отношению к союзникам.

Керенский и его сторонники в правительстве, а также исполком Совета считали, что Милюков продолжает империалистическую политику царизма, выполняет его секретные соглашения с Францией, Англией, Италией. В вопросе о Константинополе Керенский опирался и на военный авторитет генерала М. В. Алексева, который был против любых авантюр

в зоне проливов, и на вывод генерала Алексея Николаевича Куропаткина, сделанный еще в 1909 году: России не только «невыгодно присоединять к себе Константинополь и Дарданеллы, но такое присоединение неизбежно ослабит ее и создаст опасность долгой вооруженной борьбы за удержание этого опасного приобретения». Керенский — вместе с Советом — активно отстаивал требование мира без аннексий и контрибуций, призывал Милюкова не накалять страсти вокруг вопроса о цели войны, подчеркивал, что неоднократные публичные выступления министра иностранных дел воспринимаются в революционных, демократических, социалистических кругах как свидетельство вероломства Временного правительства.

4 апреля Морис Палеолог устроил в посольстве завтрак, пригласил Керенского, а также членов французской делегации Мутэ (адвокат), Кашена и Лафона (оба — преподаватели философии). Александр Федорович, провозглашая тост, кратко изложил суть своих разногласий с Милюковым, достаточно резко сказал, что союзники должны пересмотреть свою программу мира, приноровить ее к концепции русской демократии, выражаемой Временным правительством; если это будет сделано, он, Керенский, энергично высказывается за необходимость продолжать борьбу против германского милитаризма.

Ему не возражали: похоже, французские социалисты молча соглашались с ним.

Во время приема тех же французов и примкнувших к ним англичан-лейбористов (рабочая партия) О'Гарди (столяр) и Торна (металлург) 6 апреля в Мариинском дворце Милюков заявил от имени правительства, что оно, как и прежде, будет добиваться уничтожения германского милитаризма и стремиться исключить в будущем возможность каких бы то ни было войн. В ответной речи Керенский говорил: мы решили раз и навсегда прекратить в нашей стране все попытки к империализму и захвату, мы мечтаем о том, чтобы идея русской демократии о братстве народов превратилась в действительность, и ждем от союзников также отказа от империалистических устремлений.

Выслушав эту перепалку, Мутэ и Кашен поделились впечатлениями с Палеологом: они еще верят в возможность гальванизовать русский народ смелой демократической политикой, ориентированной на интернационализм, о чем, по сути, говорил министр Керенский.

Неожиданно посол произнес пылкий монолог: русская революция, по существу, анархична и разрушительна. Представленная самой себе, она может привести лишь к ужасной демагогии черни и солдатчины, к разрыву всех национальных связей, к развалу России. При необузданности, свойственной русскому характеру, она скоро дойдет до крайности: она неизбежно погибнет среди опустошения и варварства, ужаса и хаоса... Поддержка, которую вы оказываете крайним элементам, ускорит окончательную катастрофу.

Но гости не вняли: по словам Марсея Кашена, они не хотели бы разочаровываться в славянской душе.

Воскресным вечером 9 апреля на Финляндском вокзале Морис Палеолог, П. Н. Милюков, М. И. Терещенко, А. И. Коновалов встречали французского министра Альбера Тома.

В Европейской гостинице, сравнительно недавно отделанной в модном стиле модерн, Палеолог с глазу на глаз информировал гостя о положении в России, особо — о конфликте между Милюковым и Керенским, сказал, что, по его мнению, следует поддерживать первого, ибо он следует политике альянса (Антанты). Тома возразил мягко: мы должны очень остерегаться, чтобы не задеть русскую демократию.

На следующее утро оба они завтракали вместе с итальянским (Карлотти) и английским (Бьюкенен) коллегами. Палеолог: «С Милюковым и умеренными Временного правительства у нас есть еще шансы задержать успехи анархии и удержать Россию в войне. С Керенским обеспечено торжество Совета, а это значит разнуздание народных страстей, разрушение армии, разрыв национальных уз, конец Русского государства».

Поддержанный Бьюкененом, Альбер Тома высказался категорически: «Вся сила русской демократии в ее революционности. Керенский один не способен создать с Советом правительства, достойного доверия».

Вечером 12 апреля Тома беседовал с Керенским, тот настойчиво требовал, чтобы союзники открыто отказались от политики аннексий и контрибуций. На француза, по его собственному признанию, произвели сильное впечатление сила его аргументации и пыл, с каким он свою позицию защищал.

В эти же дни Джордж Бьюкенен провел несколько встреч в английском посольстве с Керенским, Г. Е. Львовым, Терещенко, представителем Совета Церетели. Английский посол

не скрывал того, что было ясным: союзники заинтересованы в продолжении Россией войны; это трудно, однако почему бы не попробовать? Керенский, не отвечая утвердительно и прямо, обещал возродить энтузиазм армии.

В газетах от 12 апреля Керенский напечатал, в форме официального сообщения, что Временное правительство готовит ноту к союзным державам с точным изложением взглядов на цели войны... Министр иностранных дел, которому и надлежало делать такого рода заявления, узнал о подготовке ноты лишь из газетной публикации. Он, естественно, оскорбился и решил не уступать своих позиций. И пожаловался Палеологу: ох, ваши социалисты не облегчают мне моей задачи. Основания для вздохов имелись: и Альбер Тома, и Марсель Кашен со товарищи явно поддерживали Керенского, не соглашались с Палеологом (которому, кстати, Тома привез письмо главы правительства А. Рибо об увольнении посла в отставку, он собирался в путь, но до последнего дня не прекращал свою служебную деятельность).

Столица забурлила.

## Глава десятая

Я, наверно, больше чем кто-нибудь другой из членов Временного правительства ошушал настроение масс и сознавал настоятельную необходимость самых решительных шагов.

*А. Ф. Керенский*

### 1

С тех пор как в Петрограде совершилась, по определению Палеолога, революционная драма, не проходило, пожалуй, и дня, не отмеченного демонстрациями, манифестациями, церемониями, процессиями, всякого рода шествиями, не говоря уж о ставших непреходящими митингах.

3 апреля, на Пасху (за полсуток до приезда Ленина), к Таврическому дворцу, резиденции и Временного правительства, и Совета, двигалась от Александро-Невской лавры вереница странников. Они распевали псалмы, а вместо хоругвей несли транспаранты — красные, между прочим: «Христос Воскресе! Да здравствует свободная Церковь!», «Свободному народу — свободная демократическая Церковь!».

В Таврическом саду побывали процессии евреев, мусульман, буддистов, рабочих и — отдельно — работниц, учителей и учительниц вместе, подмастерьев, сирот, глухонемых, акушерок, даже... проституток. У всех были свои требования к правительству.

17 апреля потрясенные петербуржцы, как продолжали они себя называть, невзирая на переименование города, наблюдали манифестацию и н в а л и д о в из столичных лазаретов и госпиталей. Несколько тысяч калек, увечных воинов, как их называли, безногих, безруких, обмотанных повязками, в шатких шеренгах; слепых вели сестры милосердия, ампутированные ехали в ручных колясках, тупали костылями, некоторые ехали на извозчиках — те, кто не могли иначе передвигаться... По обе стороны Невского и Литейного перед ними обнажали головы, становились на колени, многие плакали. Несли плакаты: «Война до конца!», «Наши раны требуют победы!», «Полное уничтожение германского милитаризма». Керенский вышел из автомобиля, стоял на тротуаре у перекрестья проспектов. Несчастные жертвы требуют, чтобы так же калечили их братьев, сыновей... Он хотел выйти, стать на грузовик, говорить, звать, но понимал: нет, на этот раз не сможет...

Когда приблизились к Таврическому, на ступени вышел как-то придавленный, потерянный после образования правительства М. В. Родзянко (но кабинет во дворце сохранил, Дума, официально распущенная, продолжала существовать, изредка собиралась на частные совещания), постоял, собрался с духом, перекрыл басом весь гвалт, успокоил, но говорил — о войне до победного конца, калеки восторженно кричали.

Начали травить большевиков — до приезда Ленина на них не обращали внимания, а сейчас обнаружили внутреннего врага, без существования коего России жизнь не в жизнь. Поводы находились, правда перемещивалась с вымыслом и откровенной ложью, политика — с бытовой сплетней.

Сперва им тыкали в лицо провокаторами, разоблаченными агентами еще царской охранки: совсем свеженьким секретарем союза печатников Михайловым, затем сотрудником «Правды» Черномазовым, вспомнили, идя в глубь времени, прискорбно знаменитого думского депутата-двурушника Малиновского.

Потом вытаскивали на свет Божий всякие пикантные подробности личной жизни — Льва Каменева, Юрия Стеклова.

Дошла очередь до Ленина, принялись за него без удержу, без передыху, набросились разом со всех сторон. Начали, разумеется, с «пломбированного вагона», с лозунга: «Ленин — назад в Германию», от городских мещан этот призыв скоренько перекинулся на заводы, на солдатские казармы. 14 — 16 апреля все газеты напечатали обращение изначально революционнейшего Балтийского флотского экипажа, чьи матросы стояли в почетном карауле при встрече на Финляндском вокзале 3-го числа: «Узнав, что господин Ленин вернулся к нам в Россию с соизволения его величества императора германского и короля прусского, мы выражаем свое глубокое сожаление по поводу нашего участия в его торжественном въезде в Петербург... Если бы мы знали... какими путями он попал к нам, то вместо восторженных криков «ура» раздались бы наши негодующие возгласы: «Долой, назад, в ту страну, из которой ты приехал».

Хулили за прошлое (дворянин, генеральский сынок), за сегодняшние высказывания, за буржуиство: дескать, занял под собственное жилье дворец царской любовницы Матильды Кшесинской (на самом деле Ленин и Крупская с 4 апреля по

5 июля обитали безвыездно в квартире его сестры Анны по улице Широкой, дом 48, занимали там одну комнату). Над домом Матильды, где в самом деле размещались ЦК и ПК большевиков, развевался красный флаг, туда и сюда непрерывно сновали деловитые люди, из раскрытых окон слышался треск пишущих машин, доносились телефонные звонки, обрывки споров, — все равно никак не желали верить, что это — не квартира. Под окнами здесь каждый вечер начали собираться толпы, орали, ораторствовали, угрожали расправой, — в газетах уверяли, что Ленин выходит на балкон, оправдывается, объясняется, извиняется.

Солдатская исполнительная комиссия Петроградского Совета, Московский солдатский Совет вынесли резолюцию о з а щ и т е от Ленина и от его пропаганды. Гимназисты провели манифестацию: «Арестовать Ленина», «Долой большевиков» — слышалось и виделось на каждом перекрестке.

Пустили в ход широкую контрагитацию, особую активность проявили «Известия» Совета, но результатов не было. И до главного — до германских денег и германского же шпионажа Ленина пока не добрались.

## 2

Страну захлестывали мутные волны анархии.

Дисциплины в армии практически не существовало, приказы не выполнялись, офицеров повсюду оскорбляли, унижали, подвергали издевательствам. Считалось, что в стране гуляют около миллиона двухсот тысяч дезертиров, они плотно забили железнодорожные вокзалы, останавливали проходящие поезда, парализуя движение. На узловых станциях пассажиров выгоняли, а то и вышвыривали, занимали вагоны, понуждали железнодорожников пускать состав туда, куда желалось им, дезертирам. Проехав какое-то расстояние, на первой попавшейся станции митинговали, приказывали везти обратно.

Такой же беспорядок господствовал в администрации. Любые начальствующие лица потеряли авторитет, служащие основное рабочее время проводили на митингах, заседаниях, прочем словоговорении.



Упраздненную полицию сменила Красная гвардия, неорганизованная, самостийная, составленная зачастую из деклассированных элементов.

Росли аграрные беспорядки, особенно в Курской, Воронежской, Тамбовской и Саратовской губерниях.

Назревали экономические забастовки в городах, положение становилось угрожающим, цены росли значительно быстрее и в более крупных размерах, чем жалование рабочих и служащих.

Население будоражили агитаторы всех мастей, разных партий, направлений, просто авантюристы, каждый дул в свою дуду, люди их не понимали. Временное правительство и Советы тонули в собственных распрях. Большевики пока отсиживались, помалкивали, пытались исподволь укрепить свое весьма малозаметное положение.

Петроградский Совет, опасаясь взрыва, решил провести организованную мирную демонстрацию, выпустить пар. Приурочили к традиционному празднику Первого мая, а чтобы отметить его «вместе с трудящимися всего мира», назначили на 18 апреля старого, российского стиля. Попытки провести на Марсовом поле умиротворяющую в политическом смысле манифестацию не удалось: собралась тьма народу, но отнеслись к происходящему как к народному гулянию: пели что придется, плясали, выпивали. Дважды выступал Ленин, его не услышали, как и других ораторов. Затея провалилась.

### 3

Поскольку обращение Временного правительства от 27 марта содержало утверждение, что целью России является «длительный мир», «основанный на самоопределении наций», оно вызвало разнотолки в стране, а главное, непонимание со стороны союзников, расценивших эту формулировку как намерение России выйти из войны, что и вызвало приезд делегаций Англии и Франции, в беседах с ними вопрос не был окончательно прояснен. Временное правительство отнюдь не желало недоразумений с Антантой, однако и не хотело, чтобы внутри страны его обвинили в проведении империалистической политики (в таком смысле многие истолковывали мартовское обращение).

После длительных споров, недоразумений, некомпетентного или по-журналистски легковесного вмешательства прессы, препирательств между Милюковым и Керенским, правительство в обстановке строгой секретности 15 апреля приступило к разработке нового воззвания, на этот раз адресованного союзникам и содержавшего разъяснение документа, опубликованного в марте. Текст сразу же получил название «Ноты Милюкова», хотя подписали его все министры, включая Керенского.

18 апреля (в день праздничной первомайской демонстрации) ноту по телеграфу передали правительствам Антанты. В тексте, в частности, говорилось, что Временное правительство «спешит присоединить свой голос к голосам союзников» и нет никакого повода думать, «что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе». Временное правительство заверяло о намерении соблюдать обязательства, принятые в отношении союзников, и продолжало «питать полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны».

19 апреля текст ноты доставили в исполком Совета, в редакции газет.

Исполком тотчас собрался на заседание, где господствовали растерянность и смятение, страх перед возможной отставкой Временного правительства и перед необходимостью в таком случае брать власть в свои руки. После долгих разговоров решения никакого не приняли, потребовав от правительства дополнительных разъяснений.

В тот же вечер в Михайловском театре, на митинге-концерте, в присутствии Милюкова и Палеолога, Керенский, бледный, совершенно измученный, сверх обычного нервный, произнес странную, не понятую публикой речь: если не хотят мне верить и за мной следовать, я откажусь от власти. Никогда я не употреблю силы, чтобы навязать свое мнение... Когда страна хочет броситься в пропасть, никакая человеческая сила не сможет ей помешать, и тем, кто находится у власти, остается одно: уйти...

Милюков не сразу догадался, что Керенский говорит не о себе, а об уходе правительства ради передачи власти ему, Керенскому.

20 апреля «ноту Милюкова» опубликовали все основные газеты, с утра на заводах и в казармах столицы начались митинги протеста против политики Временного правительства. Солдаты рвались на улицы.

Начало положил социал-демократ Линде, вольноопределяющийся Финляндского полка. После его зажигательной речи полк направился к Мариинскому дворцу — резиденции правительства, — затем к нему примкнули распропагандированные посланцами Линде Московский и 180-й полки, часть 2-го Балтийского флотского экипажа, всего более пятнадцати тысяч человек. Число их постепенно увеличивалось — прибывали новые части под единым лозунгом: «Долой Милюкова!» С великим трудом члены исполкома Соболев и Гоц совместно с главнокомандующим войск округа генералом Корниловым убедили солдат разойтись по казармам. (Милюков утверждал, что большинство солдат не понимали, зачем их сюда привели. Кроме войск, писал он, в демонстрации участвовали рабочие-подростки, не скрывавшие, что им за это уплачено (кем? — В. Е.) по 10 — 15 рублей. Павел Николаевич согрешил против совести: ничего подобного не было.)

Вослед солдатам выступили и рабочие (отнюдь не оплаченные подростки, как утверждал Милюков) с антиправительственными лозунгами; это были люди, возбуждаемые большевиками. Навстречу им двинулась контрдемонстрация с плакатами: «Доверие Милюкову!», «Да здравствует Временное правительство!». На Невском они столкнулись, возле Казанского собора началась стычка, стрельба, убиты двое солдат.

В то время, когда солдаты митинговали возле Мариинского, в квартире Гучкова, на Мойке, собрались министры (Керенский отсутствовал, считая, что к этому его обязывает звание товарища председателя Совета; на самом же деле боялся повредить себе, опасался, как бы при формировании нового состава кабинета не повторилась история с включением его в нынешнее, доживающее свой короткий век, правительство Львова). На совещании были Верховный главнокомандующий М. В. Алексеев, генерал Л. Г. Корнилов и командующий Черноморским флотом адмирал А. В. Колчак. Все трое военных считали целесообразным применить против бунтовщиков в силу. Единого мнения достигнуть не удалось, хотя Корнилову в применении оружия отказали единодушно. Керенский вспоминал: «Мы все были убеждены в мудрости нашего курса и чувствовали уверенность, что

население не допустит никаких актов насилия по отношению ко Временному правительству». Американский историк Ричард Пайпс отмечает: «Так в первый, но отнюдь не в последний раз Временное правительство, столкнувшись с открытым вызовом своей власти, уклонилось от применения силы — факт, не ускользнувший от внимания ни Корнилова, ни Ленина».

События 20 апреля были стихийными и по факту их возникновения, и по сути. В начале их большевики не имели ни малейшего отношения к беспорядкам, застигнутые ими врасплох (как и событиями Февраля). Они и тогда, и впоследствии утверждали, что ЦК РСДРП(б) не одобрял антиправительственных демонстраций, а транспаранты «Долой Временное правительство!» и «Вся власть Советам!» манифестанты вынесли по распоряжению мелкого большевистского функционера С. Я. Багдатьяна — такая версия была полной нелепостью, не такие, как Багдатьян, распорядились.

Исполком Совета отмежевался от солдатской демонстрации, назвал ее недоразумением, созданным некоторыми ответственными личностями. Ленин критиковал — все в тот же день, 20-го — Советы и призывал их взять власть в свои руки. Реальная возможность такого поворота событий была, но исполком испугался, что его скинут большевики или подавят верные правительству войска. Действительно, присмотревшись к событиям, большевики попытались принять в них действительное участие.

21 апреля ленинский Центральный Комитет с утра обратился к рабочим с призывом присоединиться к антиправительственной демонстрации. Откликнулись лишь три небольших завода, не свыше тысячи человек (в советской однотомной энциклопедии «Великая Октябрьская социалистическая революция», выпущенной уже при Горбачеве, в 1987 году, сказано: 21 апреля по призыву большевиков вышли на демонстрацию с требованием мира и передачи власти Советам около 100 тысяч рабочих и солдат). Исполком к этому времени получил — в ответ на свое требование — разъяснение правительства, суть его сводилась к нескольким словам: Россия воюет не с захватническими целями, а защищается. О войне до победного конца здесь вообще не упоминалось. Исполком Совета обрадовался такому заверению и счел его своей победой. Тем временем руководитель Военной организации большевиков

Н. И. Подвойский потребовал, чтобы из Кронштадта прислали в Питер отряд надежных матросов. Это неизбежно привело бы к погромам и полностью противоречило заявлению Ленина о том, что якобы 21 апреля он и его сотоварищи проводили всего-навсего «мирную разведку».

Правительство организовало значительно более многочисленные демонстрации в свою поддержку. Там было много злобы против Ленина, хотя обыватели припутывали вождя большевиков к кризису без всяких оснований: Ленин, как считает Суханов, в эти дни затаился, помалкивал. Несмотря на волнение на улицах, готовое преобразиться в восстание, он не пытался возглавить его и дать ему свои лозунги, хотя некоторые из них могли бы иметь очень большой успех. Но вместе с тем это грозило и гражданской войной. За Лениным пошли бы, но — меньшинство. Ленин осознал это и пока только наблюдал события и учился у них. Выставив лозунг «Вся власть Советам!», партия не собиралась осуществить эту программу в апрельские дни; позиция большевиков была не тверда и не действенна.

Имея реальную возможность взять власть в свои руки мирным путем, отказался сделать это и соглашательский, нерешительный Совет, несмотря на то что антиправительственные демонстрации шли уже и в иных городах России: Москве, Харькове, Нижнем Новгороде и других, а Временное правительство не имело надежной опоры в войсках.

Вечером 21 апреля исполком признал «инцидент исчерпанным».

Тогда же на заседании правительства Г. Е. Львов заявил о наличии министерского кризиса. Он говорил, что за последнее время правительство не находит в Совете поддержки, но встречает там попытки подрыва его авторитета. Если мы не годимся для нашего ответственного поста, то мы готовы для блага родины сложить свои полномочия, уступив место другим.

Странно, рассуждал Милюков, при чем тут Совет? Надо обращаться к мнению страны, но как она может выразить свое мнение?

Он был прав. Но от имени народа заговорил Совет.

22 апреля меньшевики и эсеры в Петросовете высказались за пополнение состава кабинета своими представителями Совета. На следующий день исполком выдвинул вопрос о соз-

дании коалиционного правительства, а еще через сутки министр Н. В. Некрасов выразил согласие с этим предложением.

Тогда же в Мариинском дворце Керенский повстречал Суханова, с ходу принялся убеждать, сколь тяжело положение, власть разваливается, помогите хоть вы, Совет, ваша позиция в принципе мне кажется неверной, но все-таки вы стоите за организованность...

26-го правительство обнародовало жалостное обращение, заявляя, что не может больше управлять и желает привлечь «к ответственной государственной работе представителей тех активных творческих сил, которые доселе не принимали прямого участия в управлении государством». В тот же день Г. Е. Львов направил председателю исполкома Чхеидзе и председателю бездействующей Государственной думы Родзянко письма, в которых говорилось о намерении правительства включить в свой состав представителей Совета.

Решительными противниками коалиции выступили большевики и меньшевики-интернационалисты, руководимые Юлием Осиповичем Мартовым. При голосовании 29-го этого вопроса в исполкоме им удалось перевесом в один голос сорвать принятие положительного решения: они считали, что власть должна перейти к Советам. Однако сторонники вхождения в правительство настояли на повторном голосовании, оно состоялось в ночь с 1-го на 2 мая. Путь к созданию коалиционного правительства был открыт. Новое правительство обещало быть более эффективным, без противостояния двух группировок, Советы принимали на себя ответственность за положение в стране. Единственной альтернативой власти оказались большевики, они решительно отвергли участие в правительстве.

Морис Палеолог в поезде, увозящем его на родину, еще не зная о составе нового правительства, загодя отводил в нем руководящую роль Керенскому, записывал на последней страничке своего «российского» дневника: «Я допускаю в лучшем случае, что Керенскому удастся восстановить немного дисциплину в войсках и даже гальванизировать их. Но как, какими средствами сможет он реагировать на административную организацию, на аграрное движение, на финансовый кризис, на экономическую разруху, на повсеместное распространение за-

бастовок, на успехи сепаратизма?.. Поистине, на это не хватило бы Петра Великого».

Умный француз знал, что говорил. Не только Керенскому, но и всему новому кабинету эти задачи оказались не по плечу. За апрельским кризисом Временного правительства последовали новые кризисы, в конечном счете они привели к победе большевиков.

#### 4

2 мая состоялось совещание представителей Временного правительства с исполкомом о предварительных наметках по новому составу. Было совершенно ясно, что пост военного и морского министра займет Керенский. Совет желал иметь ровно ш е с т ь мест из тринадцати — четырнадцати, то есть непременно оставаться в меньшинстве. Специально для них создавались министерства не ключевые, но непосредственно связанные с нуждами населения: министерства почт и телеграфов, труда, продовольствия, государственного призрения; правда, на последний из перечисленных назначили кадета князя Шаховского, но зато на «старый» пост министра земледелия утвердили эсера В. М. Чернова, да оставался эсер Керенский, да чуть позже портфель получил «трудовик» Переверзев. Ровно шесть «министров-социалистов». А «министров-капиталистов» — девять.

5 мая правительство у т р я с л и окончательно. По сравнению с прежним оно выглядело так.

Ушли в отставку А. И. Гучков и П. Н. Милюков.

П е р е м е н и л и п о с т ы:

Переместился на должность военного и морского министра А. Ф. Керенский.

Место Милюкова занял М. И. Терещенко.

Портфель министра финансов он передал бывшему министру земледелия А. И. Шингареву.

В прежних ролях остались: министр-председатель и министр внутренних дел князь Г. Е. Львов; министры — путей сообщения (с возведением в ранг заместителя председателя) Н. В. Некрасов, торговли и промышленнос-

ти — А. И. Коновалов, просвещения — А. А. Мануйлов, обер-прокурор Синода — В. Н. Львов, государственный контролер — И. В. Годнев.

Назначены на существовавшие ранее должности:

министра юстиции — Павлен Николаевич Переверзев (? — ?), адвокат; «трудовик» (близкий к эсерам), тесно сотрудничал с Керенским; малозаметная личность, вскоре ушел из политики;

министра земледелия — Виктор Михайлович Чернов (1873 — 1952), дворянин, недоучившийся (исключен за революционную деятельность) студент-юрист, эсер, член Петросовега, после Октября — во Франции, во время Второй мировой войны — участник движения Сопротивления.

Заняли вновь учрежденные посты:

министра почт и телеграфов — Ираклий Георгиевич Церетели (1881—1959), дворянин, исключен из Московского университета (юридический факультет) за участие в революционной работе, учился в Берлинском университете. Меньшевик. Депутат II Государственной думы. Член исполкома Петросовета. После Октября — в эмиграции;

министр труда — Матвей Иванович Скобелев (1885—1938), из семьи промышленника. Окончил Венский политехникум. Меньшевик. Депутат IV Думы. Товарищ председателя исполкома Петроградского Совета. В 1920 году выехал в Париж, в 1922-м вступил в РКП(б), с 1925-го — в Москве, на советской работе. Расстрелян в 1938 году, в 1957-м реабилитирован;

министра продовольствия — Алексей Васильевич Пешехонов (1867—1933). Учился в духовной семинарии, работал статистиком. Основатель партии народных социалистов. Член исполкома Петроградского Совета. В 1922 году выслан за границу, неоднократно обращался к Советскому правительству с просьбой разрешить вернуться на родину, получал отказы;

министра государственного призрения — Дмитрий Иванович Шаховской (1862 — 1939). Князь, внук декабриста. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Кадет. Масон. Депутат I Государственной думы. После Октября пытался бороться с большевиками. В начале 1920-х годов отошел от политической деятельности. В 1939 году расстрелян. Реабилитирован в 1957-м.



Таким образом, из двенадцати членов прежнего правительства (считая «краткосрочного» Ф. И. Родичева) в коалиционном правительстве осталось 9. В новый состав вошли 6 кадетов и примыкавшие к ним — по одному «трудовику», «прогрессисту», «октябристу», народному социалисту, по двое эсеров и меньшевиков. Показательно, что девять человек были юристами с законченным и незаконченным образованием.

По оценке П. Н. Милюкова, — правда, обиженного, — «коалиция» была основана не на полном соглашении, а на гнилом компромиссе, который вводил борьбу Совета с правительством в самую среду нового кабинета.

## Глава одиннадцатая

Даже при самом большом желании мы не могли бы передать кому-либо власть — по той простой причине, что передать ее было некому!

*А. Ф. Керенский*

### 1

Подавая 1 мая князю Г. Е. Львову прошение об отставке, А. И. Гучков писал: «Ввиду тех условий, в которые поставлена правительственная власть в стране, в частности власть военного и морского министра в отношении армии и флота, условий, которые я не в силах изменить и которые грозят роковыми последствиями армии и флоту, и свободе, и самому бытию России,— я по совести не могу далее нести обязанность военного и морского министра и разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении Родины, и потому прошу Временное правительство освободить меня от этих обязанностей».

Керенский усмотрел в этом тексте огульное и необоснованное обвинение всего Временного правительства, демократических элементов общества, отсутствие популярности Гучкова среди солдат и матросов; Александр Федорович не увидел здесь беспощадно точной оценки истинного положения вещей и расценил уход Гучкова как измену общему делу и нежелание разделить ответственность за все, что происходит в России.

Между тем чувства ответственности и смелости Гучкову было не занимать. Уже когда вопрос об его отставке был решен, он 4 мая на частном совещании членов Государственной думы высказал то, о чем думали и в личных разговорах заявляли многие: «На началах непрекращающегося митинга управлять государством нельзя, а еще менее можно командовать армией на началах митингов и коллегиальных совещаний. А мы ведь не только свергли носителей власти, мы свергли и упразднили самую идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых строится всякая власть».

Теми же днями, в другой речи, он продолжил свою мысль: «Болезнь наша заключается в том странном разделении между властью и ответственностью, которая у нас установилась. Наверху — полнота власти, но без тени ответственности, а на

видимых носителях власти (т. е. Советах.— В. Е.) — полнота ответственности, но без тени власти... Развал правительственной власти неизбежен, только сильная власть может спасти страну от той анархии, которая в дальнейшем своем развитии несомненно приведет нашу Родину к гибели».

Александр Иванович понимал... И, уйдя из правительства, продолжал бороться против хаоса и анархии, вероятно отдавая себе отчет в безнадежности такого рода усилий...

В этих условиях довольно трудно понять, почему на ключевой пост министра военного и морского оказался назначенным Керенский (он-то этого весьма и весьма желал, но мало ли кто чего хочет). Подействовала ли на Г. Е. Львова действительно яркая и, по-видимому, искренняя речь, произнесенная Александром Федоровичем 29 апреля перед офицерами-фронтниками: «Неужели Русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов!.. Я жалею, что не умер два месяца назад. Я бы умер с великой мечтой, что мы умеем без хлыста и палки управлять своим государством»? Или, с самого начала признав Керенского негласным лидером, он решил оставить ему ведущее место в правительстве и укрепить его более значительной должностью? Или видел в нем и связующее звено, и буфер во взаимоотношениях с Советом? Или все-таки Львов был масоном и его связывали с Керенским тайные нити?

Однако известно, что, прежде чем назначить Керенского, князь поручил одному из своих приближенных по Союзу земств, В. В. Вырубову, направить Верховному главнокомандующему (занимавшему этот пост с 19 апреля) Алексею письмо с просьбой высказаться по кандидатуре военного и морского министра. Прочитав записку, генерал сказал, что это вопрос сложный и серьезный, он должен посоветоваться с главнокомандующими фронтами. Вернувшись через полчаса, протянул листок, где было написано: (1) Керенский; (2) Пальчинский<sup>1</sup>. Удивленный Вырубов спросил: разве нет кандидата из воен-

<sup>1</sup> Пальчинский Петр Иоакимович (1875 — 1929), по специальности горный инженер, беспартийный, прекрасный организатор. С 1915 года — член правительственного Совета обороны. При Временном правительстве (буржуазном) — председатель этого же органа. После Октября работал в советских хозяйственных органах. Расстрелян в 1929 году по обвинению во вредительстве.

ных? На что Алексеев ответил: мы полагаем, что в нынешний момент пост военного министра не должен занимать генерал (в самом деле, и Гучков, старый и отважный вояка, не был ведь генералом; но причина, скорее, заключалась в другом — военная верхушка опасалась д в о е в л а с т и я в армии: функции главноверха и военного министра, в отличие от царских времен, не были теперь строго разграничены и Алексееву «конкурент» был ни к чему). Вырубов из Могилева телеграфировал Львову, тот пригласил Керенского, сообщил о мнении Алексеева и главнокомов фронтов.

Это походило на жеребьевку перед шахматной партией, когда игроки угадывают, кому достанутся белые фигуры, зажав в кулаках по разноцветной пешке или ферзю. Львов, деликатнейший человек, чувствовал неловкость ситуации (может, не следовало говорить о второй кандидатуре?) и теперь выкручивался: дескать, наличие в этом кратчайшем списке кандидатуры многоуважаемого Петра Иоакимовича (он специально обозначил этим торжественным отчеством, обычно звали — Акимович) лишь подчеркивает то обстоятельство, что именно вы, Александр Федорович, являетесь единственно возможной персоной, поскольку, отдавая должное превосходным организаторским способностям Пальчинского, главнокомандующие понимают, что он недостаточно известен в общественных и военных кругах и особенно на фронте, на этом фоне вы особенно выигрываете... Нет уж, Александр Федорович, голубчик, не упрямитесь, всем нам нужен человек с вашим именем, вашим общественным положением, вашей, не побоюсь сказать, славой, вашим умением говорить с народом. Ваш долг перед революцией (он слегка споткнулся, не переносил в ы с о к и х митинговых слов) зовет вас занять этот пост. А милейшего Петра Акимовича мы пригласим в товарищи министра промышленности и торговли...

Как водится, Керенский попросил разрешения подумать до вечера, хотя в том не было никакой нужды. Не только теперь, а и когда создавалось нынешнее, вернее, уже бывшее правительство, он и наяву, наедине с собой, и во сне видел себя военным (вдобавок и морским) министром, считал, что именно в этом качестве может спасти Россию; а побывав однажды в Ставке вместе с Гучковым, познал и всю сладость особого воинского чинопочитания, пускай даже теперь и уп-

рошенного, ограниченного, четкости ритуала встреч, приветствий, отдания чести, барабанного боя, звона оркестров, прохождения вдоль строя почетного караула, вытянувшихся в струнку генералов,— ах, как тешило это — тогда совсем незаслуженное, не положенное по уставу министру юстиции,— ах, как славно было на душе, насквозь пропитанной честолюбием, желанием славы, восторгом популярности. Ему льстило, его тешило вожаемое предложение,— ему, умному, в приличных летах, отнюдь не подростку, не гимназисту, перебегающему в юнкерское училище, загодя испытывая еще в гимназическом ранце тяжесть фельдмаршальского жезла,— ему, зрелому мужу, политику, знаменитости, министру,— кружило голову при воспоминаниях о том, как он срывает голос на солдатских митингах и, став военным и морским министром, еще и еще будет срывать, возвещая о том, как он, никогда не служивший в армии даже вольноопределяющимся, не ведавший, с какого конца заряжается винтовка, револьвер, тем более пушка, пойдет командовать полками, дивизиями, армиями, фронтами, ведя (его слова доподлинные) «на почетную смерть на глазах всего мира»... Он как бы забывал, что нынче не те времена, когда Суворов помахивал сабелькой, выпрыгивал вперед: за мной, чудобогатыри; когда Кутузов сидел на складном стульчике, поставленном на бугре, к нему скакали адъютанты и ординарцы, и поле боя расстилалось перед ним, и бухались, вздымая пыль, пушечные ядра, и генералы бежали впереди атакующих солдат, сверкая эполетами, призывая к победе и добиваясь ее... Он знал, конечно: теперь это вовсе не так, но подобные картины то и дело возникали перед ним.

Он очень хотел быть военным (и вдобавок морским, ни с кем не поделив красивую власть) министром и поэтому прилюдно уговаривал Александра Ивановича Гучкова не уходить в отставку, искренне не понимая, как можно отказываться от такой должности, и зная, что Гучкова не переупрямишь, а демонстративные публичные убеждения Керенского только раздражают и уж никак не убедят окружающих в том, что он, Александр Федорович, решительно на незримый маршальский жезл не претендует...

Он напишет после: «Должен со всей откровенностью признаться, что с самого начала гучковского кризиса меня не оставляло предчувствие, что именно на меня ляжет тяжелое бремя его наследства». Он солжет: не с отставки Гучкова, а тогда, в

марте; не тяжелос предчувствие, а собственное неумное желание; не бремя, но сладостный полет...

Он солгал Львову, сказав: сама мысль возложить на свои плечи такую огромную ответственность повергает меня в ужас, я просто не в состоянии дать немедленный ответ... Ответственность его не пугала, напротив, притягивала, ответственность за судьбу России, возможность спасти ее, растерзанную, расхлябанную, гибнущую...

Он и в самом деле вдруг заколебался, но — как, отчего? «Я поначалу посчитал для себя невозможным отказаться хоть на какое-то время от участия в принятии главных политических решений в составе правительства. Политическая ситуация внутри правительственной коалиции была настолько нестабильна, что пустить дело на самотек было нельзя» — так рассуждал он, словно был главой правительства, будто без него никто не сможет ликвидировать неустойчивость, нестабильность, словно он — главный, основной, незаменимый, — велико было его самомнение, что тут скажешь... Ирония судьбы заключалась в том, что, исчерпав свою законодательную инициативу, кое-как утвердив государственную новую власть, запутанное и запуганное правительство, названное первым коалиционным, по сути, родилось в обстановке уже predetermined нового кризиса, снова оказался прав Николай Суханов, отнюдь не провидец, предсказавший падение того, изначально, правительства ровно через два месяца, и кем бы ни был в правительстве Керенский, не окажись его там вовсе — кризис этот был неотвратим и неизбежен.

А еще он подумал (и написал) о том, что, если не воспрепятствует он — а никто другой не сможет, — Германия навязет сепаратный мир, и только масонское братство может сорвать это позорное соглашение. И сейчас, размышляя о новом назначении, он, в числе прочего, желал выполнить долг чести перед союзниками, — а для этого необходимо возобновить операции на фронте, к чему не готовы и чего не жаждут другие, включая Верховного главнокомандующего Алексея. Он забыл — или не хотел принимать во внимание в тот момент, — что, по традиции, главноверх подчинялся только государю, а в демократических государствах — председателю правительства, что функции военного министра ограничены, что Николай II, взяв на себя верховное командование, принял под свое начало Генеральный штаб. Потом — вспомнил и сообразил: а что теперь мешает ему, Керенскому, поступить точно

так же, не будучи Верховным,— сделать Штаб одним из управлений министерства... Сообразив это, он снял трубку. Помедлил. Повесил. Подумал еще. Сформулировал — с великим удовольствием: у правительства нет иной альтернативы, Пальчинский — не конкурент.

Позвонил, сказал уверенно: Георгий Евгеньевич, после трудных раздумий считаю своим долгом и полагаю за высокую честь с благодарностью принять ваше лестное предложение, понимая всю меру ответственности...

Он велел принести из министерской библиотеки доставшиеся в наследство от царских времен нужные справочники, начиная с 1802 года, когда Александр I учредил министерства, и последние, за 1916 год, вышедшие уже при Временном правительстве; прикатили было целую тележку, он отмахнулся — тащите назад, нет времени рыться, подготовьте краткую справку. И через час список его основных предшественников лег на стол. Он вчитывался, теща самолюбие: из восьми министров один — Дмитрий Алексеевич Милютин — был особой первого класса по табели о рангах, генерал-фельдмаршалом, пятеро — полными генералами (от инфантерии, от кавалерии), двое — просто генералами. Ах, как он снова пожалел: не сверкать ему эполетами с толстыми шнурами, с золотым шитьем, не сиять орденами на лентах, в петлицах, на шее, на груди, не слышать титулования — ваше высокопревосходительство. Единственно, что сделает: заменит пиджак думца и митинговый френч на светлый, английского сукна, военного образца, наденет фуражку с матерчатым козырьком, закует тощеватые ноги в выпуклые жесткие краги, обзаведется пальто из шинельного сукна.

В исполнение обязанностей он вступил 2 мая.

Всеведущий Суханов — еще в газетах не напечатали — позвонил по телефону: поздравить честь имею, ваше высокопревосходительство, господин фельдмаршал, причитается с вас рядовому ополченцу... а пошел ты к черту,— Керенский засмеялся, не сдержавшись,— и не каркай опять, что на два месяца. А это мы еще поглядим, серьезно сказал Николай Николаевич. Поможет тебе Бог, Саша.

Хоть в последнее время они как-то без причин и охладели друг к другу, звонок этот был Александру Федоровичу приятен: первое поздравление, и не от случайного кого-то, а от старого друга, как ни толкуй.

Коалиция («политический омнибус», по выражению злоязычного и вдобавок оскорбленного Милюкова) была создана с весьма существенной оговоркой. Министры-социалисты несли, согласно постановлению Совета, ответственность перед ним (Керенский не спорил, но и не собирался выполнять, тем более — по военным-то делам) и не должны были проявлять активной законотворческой и другой крупной государственной деятельности до утверждения правительства, вернее, социалистической части его, Всероссийского съезда Советов, назначенного на первые числа июня. Таким образом, в течение месяца шестеро (фактически — пятеро, без Керенского) министров-социалистов практически бездействовали. Временное правительство выглядело «как бы еще более временным». Майское затишье. Перед очередной грозой?

5 мая новый кабинет — это становилось традицией — опубликовал программную декларацию.

В первом ее пункте говорилось, что правительство, отвергая в согласии со всем народом всякую мысль о сепаратном мире, открыто ставит своей целью скорейшее достижение всеобщего мира без аннексий и контрибуций на началах самоопределения народов; подтверждалась верность декларации от 27 марта (по существу, в ней содержались фразы, совпадающие с теперешними).

Пункт второй определял роль вооруженных сил России: под руководством Временного правительства они не допустят, чтобы Германия, разгромив союзников на Западе, обрушилась бы всею силой на Россию. Укрепление начал демократизации армии, организация и укрепление боевой силы ее как в оборонительных, так и в наступательных (разрядка моя; вот оно, долгожданное наступление, обещанное пускай не прямо.— В. Е.) боях будет являться первостепенной задачей.

О главнейших внутренних проблемах — о хлебе, земле, финансах, местном самоуправлении, Учредительном собрании — говорилось, как и прежде, общими, отвлеченными словами, ни к чему не обязывающими и неспособными вызвать доверие к правительству.

Важнейшее из важнейших — подготовка к выборам в Учредительное собрание, ради чего, собственно, и существовало Временное правительство, — не двигалось с места. Особое сощещание по подготовке закона о выборах, созданное еще



13 марта, свое первое заседание провело лишь 25 мая (председателем был кадет, профессор-юрист Федор Федорович Кошкин).

Смысл последовавших за декларацией персональных заявлений новых министров сводился к тому, что очередная и конкретная задача власти заключается в ликвидации «фактического перемирия на фронте, в возобновлении боевых операций», для чего требуется агитационное и организационное воздействие на армию.

Таким образом, военный и морской министр едва ли не единственным из коллег оказался полностью «при деле», и опять ему не хватало часов в сутках, чтобы исполнить задуманное на сегодня.

Начал он, естественно, с ближайшего окружения. Требовались люди с независимыми суждениями, полностью осознавшие суть происходящего в стране и вооруженных силах, готовые служить делу, а не личности, — но, конечно, при полном уважении и доверии к Керенскому, — верящие, что здоровые политические силы на фронте и в тылу преодолели деморализующее влияние как германцев, так и большевиков.

Таких людей Керенский нашел; товарищами министра стали генерал-лейтенант Маниковский, полковники Генерального штаба Туманов и Якубовский, позднее — в морском ведомстве — первый заместитель министра по стратегическим и политическим вопросам капитан Дудоров, заместитель по техническим операциям капитан Кукель. Взамен смещенного в дни апрельских событий Корнилова командующим столичным военным округом министр назначил молодого генерала П. Половцева, а его помощником по политическим вопросам лейтенанта А. Кузмина.

А главное — отозвал с фронта своего друга с молодых лет и близкого родственника, брата жены, полковника Генерального штаба Владимира Львовича Барановского, он служил в штабе 1-го корпуса генерала А. С. Лукомского. По добром согласию поручил шурина должность начальника своего личного секретариата с обязанностями ежедневно докладывать о текущих событиях, о назначениях в Ставке (их производил главковерх), держать в курсе событий, происходящих в столице во время поездок министра на фронт, руководить политической

работой в вооруженных силах, для чего в секретариате создавался специальный отдел (так что политические органы в армии и на флоте России первыми ввели вовсе не большевики, приоритет принадлежит Александру Федоровичу). Недоброжелатели тотчас прозвали Барановского «нянькой Керенского».

С Володей провели несколько часов, радуясь близости, возможности говорить обо всем откровенно; условились, что не надо играть в субординацию: наедине и вне службы остаются на «ты». Александр Федорович посетовал, что присвоение первых генеральских званий отсрочено до Учредительного собрания (ох, как многое откладывали до него!), придется потерпеть, походить Володе в погонах с двумя просветами без звездочек. Вспомнили Сашу Овсянникова, Сережу Васильева, — Барановский тоже их потерял из виду, война, что поделаешь. Об Ольге и своих племянниках Володя не спросил — значит, побывал там, прежде чем направиться сюда. Керенский испытал облегчение и благодарность за это умолчание.

В день, когда был обнародован новый состав правительства, Керенский издал свой первый приказ:

«Взяв на себя военную власть государства, объявляю: 1) Отечество в опасности, и каждый должен отвратить ее по крайнему разумению и силе, невзирая на все тяготы. Никаких просьб об отставке лиц высшего командного состава, возбуждаемых из желания уклониться от ответственности в эту минуту, я поэтому не допущу; 2) самовольно покинувшие ряды армии и флотских команд (дезертиры) должны вернуться в установленный срок (15 мая); 3) нарушившие этот приказ подвергнуты будут наказанию по всей строгости закона».

Тогда же в Петроград приехали по собственной инициативе Верховный главнокомандующий Алексеев, главкомы фронтов генералы Брусилов, Щербачев, Гурко, Драгомиров, Юзефович. По их настоянию собрали совещание, в нем участвовали: от правительства — Львов и Керенский, от Совета — Скобелев и Церетели (одновременно они были министрами). Обсуждали вопрос о положении в армии. Из слов военачальников было ясно — положение катастрофическое, дисциплина отсутствует. Главный протест генералов вызвало — такой слух прошел — предстоящее подписание Керенским «Декларации прав солдата». Гучков отказался утвердить этот документ, командующие пытались предотвратить непродуманный, по их общему мнению, шаг нового министра. Из какого-то явно неуместного

упрямства или не разобравшись в сути Александр Федорович этот приказ, зарегистрированный 11 мая под № 8,— п о д п и с а л, демонстративно пренебрегая мнением главных военных лиц государства. Генералы выразили открытое недовольство. Керенский взбеленился и сделал явно нелепый ответный ход: по его представлению правительство отрешило от должностей и назначило со значительным понижением опытных, образованных, показавших себя в деле Михаила Васильевича Алексева и Василия Иосифовича Гурко. Верховным главнокомандующим стал более сдержанный на слова генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов.

Ничем не оправданный и неуместный взбрык Керенского неожиданно вызвал сумятицу и дополнительный разброд не только в среде военных, но и широкой общественности.

В сущности, приказ № 8, или декларация, не являл собою ничего принципиально нового по сравнению со знаменитым приказом № 1 Петроградского Совета. А то, что не совпадало, вызвало раздражение солдат и восторги либеральной интеллигенции, протест офицерского корпуса. Разногласия коснулись таких положений документа, которые были шагом назад в объявленной дальнейшей демократизации вооруженных сил. Так, разрешение солдатам пользоваться всеми правами граждан, быть членами любой политической организации, свободно высказывать свои взгляды сопровождалось оговорками о том, что эти права должны быть согласованы с требованиями военной службы и воинской дисциплины и осуществляться только во внеслужебное время. Решительно отвергался принцип выборного начала в армии. В боевой обстановке офицерам позволялось единолично применять все меры принуждения до вооруженной силы включительно.

С точки зрения армейских устоев, особенно в военное время, эти ограничения были совершенно оправданны, что подтверждали участники совещания — генералы, но отвергали штатские либералы. Исполком Петросовета усмотрел в приказе лишь одно нововведение: освобождение солдат «от рабского отдания чести», словно это было главным и в правах бывших нижних чинов, и в министерской декларации, рассчитанной на то, что «свободная армия станет сильнее прежней». Самим же солдатам нужны были не отвлеченные гражданские права, смысл которых большинство и не понимало, и не интересовалось ими, солдаты требовали мира, жаждали одного права — поскорее вернуться домой. Не вдаваясь в подробности шумной

кампании, скажем лишь, что один из первых громких шагов нового министра оказался в целом весьма неудачным и, не побоимся этого слова, вредным, хотя и отвечавшим духу демократии (которая, однако, не может быть безбрежной, и ее установления и правила должны соответствовать определенным условиям места и времени).

### 3

В один из майских дней Керенский принял приглашение выступить на митинге рабочих Обуховского завода. Митинги он любил, отказывался от произнесения публичных речей лишь в случаях крайней занятости, на этот раз таких причин не было. Александр Федорович сказал Барановскому — такой он завел обычай, — куда отправляется и надолго ли, и поехал на Шлиссельбургский проспект Александровского села (так по старинке назывался рабочий пригород столицы). Поездку он считал важной: завод трудился на оборону, значительная часть рабочих состояла в партии эсеров или сочувствовала ей, перед п р о л е т а р и я м и, не «разбавленными» случайными людьми, выступать ему доводилось редко...

На заводском дворе ждала толпа, было все, что полагалось, к чему он привык: приветственные выкрики, транспаранты, знамена, двое шли впереди, расчищая путь, к министру тянулись, чтобы пожать руку, но, увидев, что правая на перевязи (он уверял, что распухла от бесчисленных рукопожатий), отдергивали свои тяжелые, темные от металлической окалины, со вздутыми венами кисти, норовя хотя бы коснуться одежды. Что касается Керенского, то его узкая ладонь и в самом деле опухла от рукопожатий, пришлось сделать повязку, клали компрессы, отек скоро прошел, но руку он еще недели две-три носил на черной перевязи, что придавало мужественный вид, наводило на мысль о фронтовом увечье или об э с е р о в с к о м прошлом, о каких-то попытках, издевательствах царских палачей; он и слегка прихрамывать стал иногда, будто ноет больная с детства нога; в сочетании с полувоенной одеждой, ни на чью не похожей, все это с о з д а в а л о о б р а з.

Едва приметная, тем более напускная хромота не мешала ему идти быстро и легко, и так же незатрудненно он преодолел толкучку в железных — обе створки настежь — воротах громадного з а б р о ш е н н о г о цеха (пояснили: здесь изготавливают артиллерийские башни для корабельных орудий). Тол-

па монолитно двигалась следом, заполняя бескрайний, тускло освещенный зал, уставленный непонятными станками; свет проникал сквозь век невымытый стеклянный потолок, сказали, что сейчас врубят электричество (военные предприятия снабжались бесперебойно). И еще, подведя к прочно сбитой, хотя и временной трибуне, сообщили, что большевики малость завелись у них, пригласили на митинг своего Ленина и запретить было никак невозможно, иначе сорвали бы выступление его, Александра Федоровича. Но ждать Ленина не будут, надо начинать, поскольку время рабочее.

Приставной, надежно поддерживаемой лестничкой Керенский взлететь не взлетел, однако шустро, может быть слишком шустро для своего положения и возраста, одолел незначительную высоту. Трибуна оказалась тесна: вдвоем с тем, кому предстояло вести митинг, они заняли всю площадку. Придется стоять впритык, когда появится тот, третий. А может, запоздает или вовсе не явится хотя бы потому, что наверняка знает, как а я здесь аудитория, чужая, чуждая ему, возможно, открыто враждебная. Или, явившись, наберется такта не становиться рядом с министром, что, впрочем, маловероятно, поскольку для него Керенский — прежде всего болтушка, хвастунишка, балалайка (как только не называл в своих статьях и речах). Хам, конечно, и невежа, никогда Александр Федорович на политическое хулиганство не отвечал и не унижится впредь и, кроме того, не оскорбит память своего отца, написавшего ту характеристику, и вообще лучший способ бороться против большевиков — не замечать их, пускай себе твякают.

Дали яркий, как для работы, свет. Александр Федорович оперся о плохо оструганные перила, толпа снова заорала восторженно, снизу полетел букет, неуместный в этой обстановке, председатель поймал, протянул было министру, тот показал на больную руку, слегка поклонился, букет исчез.

И тут откуда-то сбочку возник, сопровождаемый двумя протарьями (это слово Керенский употреблял только иронически), мелко стал преодолевать открытое пространство перед трибуной, — низкорослый, явно непропорционально сложенный, даже в одежде заметно: ноги коротковаты, а плечи непомерно широки, в плохо отглаженных и как бы ушитых брюках, в темном, с белым горошком галстуке и рабочей кепке с надломленным, кажется, козырьком, он шел слегка набычившись, не разговаривая с провожатыми, не глядя на толпу, и, хотя шагжки его были и мелкими, и быстрыми, а поступь

стремительна, понятно было, что он устал, озабочен и не желает скрывать этого — каков есть, таков и есть. Отвергнув помощь, неловко вскарабкался на трибуну, поздоровался за руку с председателем, глянул бегло на Керенского, кажется, усмехнулся, переведя взгляд на черную перевязь, не кивнул даже, на лице отразилась не злоба, а откровенная насмешка, и Александр Федорович не ощутил опасности, напротив, озлился, тем более что, сдернув кепку и сунув ее в карман, гость тихо сказал что-то председателю, — толпа смолкала настороженно, — тот на несколько секунд замялся, а Ленин, бесцеремонно оттеснив плечом соперника (Керенского передернуло), уже стоял у перильца, вскинув ладонь и обозначив тем самым начало речи. Слово имеет товарищ Ленин, объявил явно обескураженный такой беспардонностью председатель и развел, насколько мог в тесноте, руками: что, мол, поделаешь. Керенского почти затрясло, да ведь не драку же устраивать, не хватать за шиворот. Но каков наглец!

И тут отовсюду загрохотали, словно театральный гром за сценой, металлические листы, зазвенели железяка о железяку, понесся умелый, пронзительный, в три пальца свист: долой, долой, поезжай к себе в Германию, просим товарища Керенского, просим!

Александр Федорович сделал из-за спины Ленина, — тот еще молчал, все равно бы не услышали, — отмахку, потом жестами пытался изобразить: пускай, мол, говорит; народ наконец утих, и Ленин без вступительных слов завел уже привычное Керенскому: империалистическая война... переход к революции социалистической... никакого доверия Временному правительству (и это при нем-то, при министре!)... Ленина перебивали криками, свистом, он останавливался, смотрел угрюмо, было ясно: доскажет свое до конца. Поняли, смирились, благо речь продолжалась минут пять, и, досказав ее, он сделал приветственный взмах кепкой, нахлобучил ее и полез с трибуны задом, его подхватили те двое — сопровождающих? телохранителей? — и он исчез так же неожиданно, как и возник.

В сознании своей силы, уверенности, властности, отслушав овацию, Керенский заговорил, дав зарок ни прямо, ни намеком не упоминать этих большевиков и их только что постыдно провал и в ш его с я незадачливого оратора... Его, Александра Федоровича, от трибуны до автомобиля несли на руках...

Хотя Ленин жил в Петрограде уже более месяца, в массах его знали мало, разве что преимущественно слышали о нем как о германском шпионе. Шумная встреча на вокзале была,

разумеется, недурно организованным и срежиссированным спектаклем, но там не многим удалось его разглядеть вблизи и услышать толком, а те, кто стоял поблизости — у броневика, у дворца Кшесинской, — могли ли они по митинговой речи понять, каков этот человек, что собою представляет.

Выступал он перед народом редко. Подсчитано, что за три месяца легального пребывания в столице — с 4 апреля по 4 июля — он произнес около шестидесяти речей. Но сюда включаются около тридцати пяти выступлений на чисто большевистских конференциях, заседаниях, собраниях, причем на некоторых он брал слово по два-три раза перед одной и той же аудиторией; шесть раз говорил на съездах Советов и в Петросовете (иногда тоже по два раза). Перед массовой аудиторией он появлялся не свыше двадцати раз, причем слушатели были разношерстные — и рабочие, и солдаты, и некоторая часть интеллигенции. На специально рабочих митингах (в числе упомянутых двадцати) — девять, перед солдатами — трижды.

Фотографии, биографические сведения в печати о нем не появлялись. Так что, по правде, знали его в лицо и внимательно, подробно выслушивали в основном профессиональные революционеры, советские работники, партийные функционеры, депутаты, делегаты. После выступлений на митингах он, как правило, немедленно уходил, не задерживаясь, чтобы ответить на вопросы, побеседовать.

Он вообще, вероятно, не умел разговаривать с теми, кого называют «простыми людьми», не имел среди них товарищей. Еще в начале его революционной деятельности в Санкт-Петербурге в 1893 — 1897 годах основной круг его общения составляли студенты, молодые инженеры. Рабочий кружок из восьми-девяти человек, который он вел, не отличался популярностью, численность его не росла, второго, третьего кружка он, человек незагруженный, не заводил. Во всех пятидесяти пяти томах так называемого П о л н о г о — на самом деле в него не вошли многие и многие документы — собрания его сочинений он упоминает только двоих р а б о ч и х — Ивана Васильевича Бабушкина и Василия Андреевича Шелгунова, и — ни одного солдата или крестьянина, с кем бы лично был знаком. Еще более показательный факт: он восемь лет проучился в Симбирской гимназии, переходя из класса в класс практически с одними и теми же ребятами. И только один оставил о Владимире Ульянове — гимназисте кратчайшие воспоминания. За три года, проведенные в большом селе Шу-

шенском, он знал лишь хозяина дома, в котором жил, да двух-трех спутников по охоте, общался — ради чего ездил в другие села — только со ссыльными революционерами.

Отнюдь не случайно, конечно, в начале мая в Петроградский Совет на имя Ленина пришло датированное 24 апреля письмо солдатского комитета 8-й конноартиллерийской бригады (действующей армии):

«Ввиду того что между солдатами батареи происходит много трений относительно Ленина, просим не отказать дать нам скорейший, по возможности, ответ. Какого он происхождения, где он был, если был сослан, то за что? Каким образом он вернулся в Россию и какие действия он проявляет в настоящий момент, т. е. полезны ли они нам или вредны? Одним словом, просим убедить нас своим письмом так, чтобы после этого у нас не было никаких споров, не теряли бы напрасно время и другим товарищам могли бы в состоянии доказать».

Письмо, конечно, передали адресату.

Какой удобный, какой прекрасный повод! Не надо никаких юбилеев, не надо проявлять нескромность и набиваться самому. И есть возможность опровергнуть буржуазную клевету (споры-то, о которых в письме, понятно о чем). Прекрасно! Ответим через газету, да-с!

Он взял пачечку стандартных листов хорошей бумаги, привычно пронумеровал в правом верхнем углу цифрой 1, отчеркнул ее снизу полукружием (навык газетного работника!) и, явно для публикации, после обращения «Товарищи» кратко изложил содержание их письма. И далее — начисто, без единой помарки, с абзацами, безупречно: ни одна буква не пропущена по недосмотру или спешке, ни единая запятая, и правое поле ровнехонькое; никак не похоже на черновик, писал обдуманно, старательно, чтобы прямым в набор.

«Отвечаю на все эти вопросы, кроме последнего, ибо только вы сами можете судить, полезны вам мои действия или нет. Зовут меня Владимир Ильич Ульянов.

Родился я в Симбирске 10 апреля 1870 года. Весной 1887 г. мой старший брат, Александр, казнен Александром III за покушение (1 марта 1887 г.) на его жизнь. В декабре 1887 г. я был первый раз арестован и исключен из Казанского университета за студенческие волнения; затем...»

Лист кончился. Взял другой, продолжил:

«...выслан из Казани.



В декабре 1895 г. арестован второй раз за социал-демократическую пропаганду среди рабочих в Питере».

Дальше чисто.

Странно. Обещал ответить на все вопросы, а вот о происхождении умолчал (поскольку оно дворянско-генеральское). Далее: они писали Л е н и н у, а он отвечает: я — Ульянов, так он это или не он, откуда солдатам знать про псевдонимы. Про брата — уж больно «в лоб», не сказано, что Александр царя не убивал, а надо бы уточнить ради своей же пользы: народ покусителей на государей не жаловал. Выслан из Казани — куда (ведь спрашивали напрямую). Не обозначил, что не в Сибирь, а в Кокушкино, имение деда, всего двадцать четыре версты от губернского города Казани, в семейную обстановку, где жил себе припеваючи, купался, гулял, читал, готовился сдавать экзамены за университет... Мало сказал солдатам Владимир Ильич, да лукаво.

И главное, не дописал. То ли совестно стало себя приукрашивать, подделываться под и д е а л пролетарского революционера, то ли не знал, как дальше выкручиваться: попробуй объясни кратко, понятно и честно, как вернулся в Россию? Что подделывает сейчас (новую революцию готовит?)...

Времени не нашлось закончить? Были поважней дела? Были дела, конечно, многие и важные. Но ведь это — особое, единственное, ему лично адресованное, его лично касающееся, он служит народу, а народ — пускай его мельчайшая частица, всего-то артиллерийская батарея, несколько десятков солдат, — интересуется, кто он такой, куда их вести намерен; и есть возможность рассказать о себе через газету, хотя бы одну, другие наверняка перепечатают — сенсация ведь!

Закончила — вернее, сама составила полный текст — верная жена и секретарь Надежда Константиновна Крупская, за своей подписью, рассказала о Ленине в третьем лице, оставив началом его доподлинные слова. Заглавие дала неподходящее вовсе: «Страничка из истории Российской социал-демократической партии». Очень быстро, в считанные дни, пристроила в газету «Солдатская правда», та напечатала 13 мая. Другие не польстились, не повторили публикацию. Зато подсуетился — вперед батьки — услужливый пламенный пропагандист Емельян Ярославский, тиснул биографию вождя в мощной газете «Социал-демократ», издаваемой во всемирно известном городе Якутске с населением аж 6382 души.

Сам о себе Ленин больше не написал ни строчки (если судить по его опубликованным работам).

Как бы отвечая на последний вопрос из солдатского навивного послания, образ Ильича дорисовал кроме Крупской еще и Уинстон Леонард Спенсер Черчилль в 1929 году:

«Ни один азиатский завоеватель, ни Тамерлан, ни Чингисхан, не пользовался такой славой, как он. Непримирымый мститель, вырастающий из покоя холодного сострадания, здравомыслия, понимания реальной действительности. Его оружие — логика, его расположение души — оппортунизм. Его симпатии холодны и широки, как Ледовитый океан; его ненависть туга, как петля палача. Его предназначение — спасти мир; его метод — взорвать этот мир. Абсолютная принципиальность, в то же время готовность изменить принципам. Он ниспровергал все. Он ниспровергал Бога, царя, страну, мораль, суд, долги, ренту, интересы, законы и обычаи столетий, он ниспровергал целую историческую структуру, такую, как человеческое общество. В конце концов он ниспровергал себя. Интеллект Ленина был повержен в тот момент, когда исчерпалась его разрушительная сила и начали проявляться независимые, самоизлечивающие функции его поисков. Он один мог вывести Россию из трясины... Русские люди остались барахтаться в болоте. Их величайшим несчастьем было его рождение, но их следующим несчастьем была его смерть».

#### 4

К чести Керенского надо сказать, что, ничего ровнешенько не смысля в оперативных, тем более стратегических, сугубо военных, генеральских делах, он старался не вступать в них, не мешать, не обнаруживать свое и без того всем понятное невежество. Он взял на себя то, что называется моральным состоянием солдат и офицеров, — возвышение их упавшего почти до нуля боевого духа.

Началом его активных действий по подготовке наступления войск стал опубликованный 14 мая приказ, собственно и не приказ, а официальная прокламация, написанная лично им.

«Во имя спасения свободной России вы пойдете туда, куда поведут вас вожди и правительство. Стоя на месте, прогнать врага невозможно. Вы понесете на концах штыков ваших мир, правду и справедливость. Вы пойдете вперед стройными рядами, скованные дисциплиной долга и беззаветной любви к революции и родине».

В таком патетическом духе выдержан весь текст, он дышал истинным, искренним подъемом. Керенский вновь, как в февральско-мартовские дни, чувствовал себя героем революционной России, ее главной надеждой и опорой. Перед выездом на фронт он заявил репортерам: я буду иметь полное основание рассеять тот пессимизм, который сейчас очень распространен даже среди некоторых начальственных лиц...

На фоне разгоравшейся в стране шовинистической кампании, проходившей под слитным, слышимым чуть не на всю Россию и за ее пределами воплем: «В наступление!», под напором и умолениями все еще не покинувшего Россию Альбера Тома и вновь объявившегося здесь одного из лидеров II Интернационала, бельгийского правого социалиста Эмиля Вандервельде, — оба неустанно твердили о войне до победного конца (эту же формулу поддерживал еще не смещенный главноверх Алексеев), подписав приведенный выше приказ-воззвание, 12 мая Керенский отправился в войска, преисполненный истовой веры в то, что прямое общение с офицерами и солдатами поможет поднять боевой дух и ускорить подготовку к сражению.

Фронт простирался от Балтийского моря до Черного, линия его проходила через Ригу — Якобштадт — Барановичи — Пинск — Галич — Станислав. Прежде чем поехать на Юг, министр провел инспекцию частей Петроградского гарнизона, посетил базы флота в Гельсингфорсе и Свеаборге, отметив, по его выражению, что «в Балтийский флот широко внедрились германские агенты и агенты Ленина».

Отсюда Керенский отправился на Юго-Западный фронт, где предполагалось осуществить намечаемое наступление. Главнокомандующим здесь был генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, шестидесятичетырехлетний, испытанный в боях военачальник, прославленный прорывом австро-германского фронта в 1916 году («Брусиловский прорыв»), который привел к разгрому армии противника.

В ставке Брусилова, в Каменец-Подольске, проходил съезд делегатов всех участков фронта. Выслушав их выступления, доклады комитета армии и самого Брусилова, Керенский ощутил настроение в войсках: после трех лет тяжелой войны измученные солдаты задавали себе один и тот же вопрос — почему я должен сегодня или завтра умереть, если дома началась новая, свободная жизнь? Этот вопрос парализовал их волю.

Ни одна армия, рассуждал Александр Федорович, не может, не имеет права ставить под сомнение цель, ради которой она сражается. Все, что происходило тогда в русской армии, — нарушение субординации, мятежи, переход целых подразделений и частей на позиции большевизма (агенты Ленина старались вовсю), бесчисленные и бесконечные политические митинги, массовое дезертирство, — все это, видел и понимал министр, приводило к тому, что люди оказались в состоянии почти неодолимого желания бросить оружие и бежать прочь из окопов, и дальше, дальше. Чтобы восстановить у них боевой дух, следовало преодолеть их животный страх и разрешить сомнения простой и ясной истиной: ты, он, я, каждый должен принести себя в жертву во имя спасения отчизны. Перед самим собой Керенский вынужден был признать: секрет успеха большевистской пропаганды среди рабочих (далеко не всех) и солдат (едва ли не всех) объясняется именно тем, что ленинские выученики говорят с такими же, как они, на простом, понятном языке, играют на глубоко укоренившемся инстинкте самосохранения. И совсем неудивительно будет, если солдаты рано или поздно пойдут за большевиками. Даже помыслить страшно.

И он обратился к делегатам съезда: конечно, легко призывать измученных, растерянных людей бросить оружие и вернуться домой, где только началась новая жизнь. Но я зову вас на бой, на героический подвиг — я зову вас не на праздник, а на смерть, я призываю вас пожертвовать жизнью во имя спасения родины!

Во время инспекционной поездки Керенского и Брусилова по частям фронта на митингах их встречали аплодисментами, окружали плотным кольцом, подолгу не отпускали, забрасывали вопросами. Иногда выталкивали вперед какого-нибудь большевистского агитатора и заставляли повторить свои доводы перед лицом высочайшего начальства, а затем освистывали и прогоняли его.

Повсюду: в окопах, на кораблях, на парадах, на заседаниях армейских и корпусных съездов, в театрах, в городских думах, в Советах — в Гельсингфорсе, Каменец-Подольске, Одессе, Севастополе, Киеве, Могилеве, Риге, Двинске, Тарнополе, — словом, там, где побывал военный и морской министр в эти недели перед наступлением, лишь дважды, на один-два дня возвращаясь — по пути — в столицу, он, как отмечает Н. Суханов, говорил все о том же, все с тем же неподдельным, искренним подъемом, революционным пафосом. Он говорил

о свободе, о земле, о братстве народов, о близком светлом будущем страны. Он призывал солдат и граждан отстоять все это с оружием в руках и оказаться достойными великой революции. Он указывал на самого себя как на залог того, что жертвы не будут напрасны, что ни единая капля крови свободных русских людей не прольется зря, ради иных, посторонних целей.

Его поездка превратилась в триумфальную. Даже Миллюков, холодный, ироничный, недоброжелательный, с признательностью и оттенком несвойственного ему умиления признавал это.

Министра носили на руках. К ногам Керенского, зовущего на смерть, летели в знак ничем не измеримого преклонения наипочетнейшие Георгиевские кресты, возлагаемые тем самым на алтарь отечества как символ преданности ему и готовности исполнить свой долг. Случилось и нечто прямо противоположное: в одном из полков общее собрание солдат и офицеров постановило наградить военного и морского министра этой высочайшей наградой, которая присуждалась только за личную доблесть и отвагу (вспомним, как дорожил ею Николай II и постоянно, до смертного часа, носил на груди, пренебрегая прочими знаками почета и славы). И Александр Федорович, взяв крестик Георгия в руку, сказал: я не заслужил, я не участвовал в боях, благодарю за честь, товарищи и братья, но принять не смею... Он поклонился в пояс под восторженный рев, передал орден Брусилову, сказав, чтобы слышали все: прошу вас, генерал, хранить это при полковом знамени как символ верности полка делу революции. Если это и был ж е с т, то невероятно эффектный.

А женщины на собраниях и митингах в городах снимали с себя драгоценности и отдавали — на дело победы, столь желанной неведомо почему. И десятки, сотни тысяч солдат на огромных митингах кричали: пойдем! докажем! не подведем!

Двадцатипятилетний Константин Паустовский, будущий известный писатель, опубликовал в газете «Война и мир» 9 июня репортаж:

«...когда медленно подходил поезд, все обнажили головы. Но это не было преклонение, это было что-то большее; может быть, это была любовь к человеку, который в необычайном напряжении делает то дело, которое мы еще не способны оценить во всем его значении; была любовь к человеку, который

дни и ночи думает лишь о том, что говорит ему совесть и долг, — о революционном подвиге...

...Он вышел с измученным, характерным лицом человека, который не спал несколько ночей, со строгими глазами и резкими движениями. Потом... я услышал его голос — сорванный, хриплый, но сильный и волевой. Он говорил лаконично. Бросал короткие, быстрые фразы, как удары. Но за всеми словами было слышно одно — твердое, светлое «я верю».

«Пусть нас, — сказал он в другом месте, — зовут мечтателями и великими романтиками. Мы останемся ими...»

Таким я понял Керенского — он человек громадной воли, и вместе с тем он великий мечтатель».

Насчет громадной воли молодой и восторженно-романтический Паустовский ошибался: именно воли Керенскому недоставало, и это было одной из субъективных — не самых главных — причин краха Февраля. Что касается другого качества — тут он прав...

Он был настолько же прав, насколько ошибся другой, более зрелый и несомненно более значительный и опытный в жизни и в политике писатель — англичанин Герберт Уэллс, который, побеседовав в Москве с Лениным 6 октября 1920 года, назвал его «кремлевским мечтателем»... Вот уж кому не подходило подобное определение — вождю большевиков, рационалисту, прагматика, расчетливому политику, готовому поступиться любыми принципами ради достижения собственных целей... Керенский был другим, хотя, конечно, во многом Ленину уступал...

А вдоль фронта, опережая стремительные передвижения Керенского, бежали достоверные рассказы о нем, наспех сложенные легенды, правдоподобные вымыслы.

Рассказывали — и это вошло в воспоминания видных деятелей той поры, — что в 12-й армии Северного фронта министру доложили: есть у них большевистский агитатор, с которым трудно совладать, под его влиянием оказался, в сущности, целый полк. Вместе с командующим армией генералом Радко-Дмитриевым Керенский отправился туда. Митинга не устраивали, собрали солдат в укромном месте, куда не долетали шальные вражеские пули, завязался простой сердечный разговор (Керенский и это умел). Среди прочих выделялся не-

высокий, собою невидный, ничем не примечательный солдат, он молча сидел поодаль, в беседе не участвовал. Александру Федоровичу подсказали: это он и есть, тот самый... Через некоторое время, подталкиваемый однополчанами, большевик заговорил: вот вы, господин министр, нас убеждаете, надо, мол, воевать против немцев, чтобы крестьяне могли занять землю, а какой смысл ее получать, если меня убьют... Керенский слышал подобное сотни раз, так думают и остальные, никакими аргументами не убедишь... Александр Федорович громко сказал командующему: генерал, прикажите немедленно отослать этого парня в свою деревню, пускай односельчане знают, что русской армии трусы не надобны... Видно было, как солдат переменялся в лице, побледнел... Несколькими днями позже от полкового командира пришла просьба отменить приказ: солдат стал образцовым, агитацию прекратил...

Кто знает, может, и правда, всякое бывает...

Но, самокритично отмечал Керенский, перемены в настроении солдат после его встреч с ними, как правило, оказывались, мягко говоря, недолговечными; однако в тех частях, где командиры, комиссары, комитеты смогли осознать важность слов военного министра, моральный дух значительно укреплялся. Правда, офицеры, враждебно настроенные к Временному правительству (было таких немало), продолжал Александр Федорович, дали ему прозвище «главноуговаривающий», но это, как утверждает он, не оскорбляло его.

Что ж, возможно, правда и это... Не бросавший слов на ветер скептик Милюков замечал: что происходило за линией, до которой доносились восклицания министра, оставалось, конечно, неизвестным; было бы, однако, несправедливо не отметить, шепетильно продолжает он, что между ближайшим окружением Керенского и толпой любопытствующих создалась прослойка энтузиастов, действительно увлекшихся идеей наступления, сложились некоторые организации офицерских союзов, сочувствующих новому строю...

А Керенский говорил, говорил, говорил...

Русская революция из рабов делает свободных людей... Нам суждено повторить сказку Великой французской революции... Я мог бы объявить вам: вы свободные люди, идите домой, там ждут вас земля и воля. Темные люди пойдут, и они не виноваты в том, никто не учил их, о них не заботился; но

тогда погибнет армия, и с ней погибнет свобода, погибнет революция... Вы самые свободные солдаты мира... Наша армия при монархе совершала подвиги; неужели при республике она окажется стадом баранов... Если вам предстоит почетная смерть на глазах всего мира, позовите меня: я пойду с ружьем в руках впереди вас... Вперед, на борьбу за свободу, не на пир, а на смерть зову я вас...

Конечно, выступая в эти недели десятки, сотни раз, он не мог постоянно варьировать свои речи, да в том и не было нужды: каждый полагал, что министр говорит только для него, для их полка, дивизии, делегатов... Он повторялся, но бил в одну точку — и всегда, в каждом случае, достигал успеха.

И даже генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин, в целом относившийся к Керенскому недоброжелательно, писал:

«Был несомненно такой короткий, но довольно яркий период в жизни Керенского — военного министра — я его отношу приблизительно к июню, — когда не только широкие круги населения, но и русское офицерство подчинилось обаянию его экзальтированной фразы, его истерического пафоса. Русское офицерство, преданное на заклятие, тогда все забыло, все простило и мучительно ждало от него спасения армии».

Русская армия, искусно подогреваемая военным министром, готовилась наступать. Однако полной уверенности в успехе, что бы ни говорил Керенский, не было и не могло быть: следовало учитывать экономическое положение страны.

## 5

Все более явственно давала о себе знать очевидная каждому обывателю хозяйственная разруха, она грозила страшным экономическим и продовольственным кризисом. К маю дыхание голода явственно витало в столице.

Хлебный паек уменьшили вдвое, до  $3/4$  фунта (300 граммов), не стало в продаже мяса, масла, круп, сахара. Возле провизионных лавок и булочных «хвосты» вырастали с вечера; те, кто побогаче, нанимали специальных «стояльцев». Правительство определило минимальную норму подвоза в Петроград



топлива, провизии, сырья — две тысячи вагонов в сутки, — но и она не выполнялась. Как ветром сдуло столь привычных питерцам разносчиков, которые с раннего утра заполняли дворы, отягченные корзинами с горячими батонами, «домашними» булками, калачами, мелочью ценою в копейку на выбор — розанчиками, pistolетиками, подковками с маком и тмином, облепленными глазурью или присыпанными солью. Пропали мороженщики со своими тележками и квасники, словно растаяли разносчики снеди: селедок, огурчиков, ягоды. Не появлялись финские молочницы с их отменно свежим продуктом. Все это, доступное каждому жителю, осталось только в воспоминаниях. Зато их место заполнили старьевщики, готовые с криками «купить — продать» брать что угодно, теперь они приходили по нескольку раз, отнеся купленное и уверенные, что снова не уйдут с пустыми руками.

Все денежные накопления трудового населения обратились в дым, в ничто. Люди перепугались; пришло то состояние, которое в английской юриспруденции именуется «пребывание в телесном страхе». Люди поняли, что они попросту нищают...

18 мая министр торговли и промышленности, отнюдь не слабовольный и тем более не трусливый Александр Иванович Коновалов, вышел в отставку, заявив, что причиной является «отсутствие уверенности, что Временное правительство при данных условиях сможет проявить полноту власти».

Товарищ (заместитель) Коновалова П. И. Пальчинский заявил, что положение принимает характер катастрофы. Министр государственного призрения князь Д. И. Шаховской на вопрос репортера: как же быть, сахара нет, а народ привык пить чай вприкуску, — ответил с налету: можно завязывать ложечку сахарного песка в тряпочку и присасывать ее. То ли забыв, то ли не зная, он перефразировал аналогичный совет Марии-Антуанетты, мы его уже вспоминали: если у крестьян нет хлеба, пускай едят булочки... В Питере не было сахарного песка, булочек тоже (были, конечно, но по несусветным ценам).

Ответом явилось некоторое повышение активности рабочих масс, фабрично-заводские кандидаты увеличили — ненамного — число голосов, полученных при выборах (частичных) в Советы и районные думы Петрограда.

Тем временем правительства союзных держав нажились, и это бесспорно доказывало, что они преодолели силу

давления революции, бросают открытый вызов и русской демократии, и трудящимся своих стран. Отсюда вытекало, что если русская революция не найдет в себе сил разорвать с союзной империалистической буржуазией, то она обречена на близкое и позорное поражение.

Отменить обещанное союзникам еще при царизме наступление Временное правительство уже не могло. Не могло никак...

## Глава двенадцатая

Нам угрожает серьезная сила. Люди, объединившиеся в ненависти к новому строю, найдут путь, которым можно уничтожить русскую свободу. Они достаточно умны, чтобы понять, что провозглашением царя ничего не достигнут, так как нет штыка и шашки на них. И они идут путем обманным, путем проклятым, идут к голодной массе и говорят: требуйте всего немедленно; шепчут слова недоверия к нам, всю жизнь положившим на борьбу с царизмом. И мы должны сказать им: остановитесь, не расшатывайте новые устои.

*А. Ф. Керенский*

### 1

На Кадетской линии Васильевского острова, в доме № 1, здании Первого кадетского корпуса, — оно тянулось от Невы до Большого проспекта, — 3 июня открылся Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Собралось около тысячи ста делегатов, из них большевиков — сотня, остальные — эсеры, меньшевики, социалисты вне фракций.

Наметили порядок заседаний: революционная демократия и правительственная власть; отношение к войне; подготовка к Учредительному собранию; национальный, земельный, продовольственный вопросы и прочее, всего двенадцать пунктов.

Начали в семь вечера. От Временного правительства явился только Керенский, встретили овацией.

Докладчик по первому вопросу от имени исполкома Петросовета, представитель Бунда Михаил Исаакович Либер и выступавший в прениях первым (в качестве министра) Церетели утверждали, что Советы не в состоянии одни управлять страной, взять в руки полноту власти. В настоящий момент, говорил Церетели, в России нет политической партии, которая могла бы взять в руки власть. Из левой стороны зала, где спереди расположилась фракция большевиков, отчетливо раздалось: «Есть!» Все повернулись и увидели Ленина, он стоял с протянутой вперед левой рукой. «Есть!» — повторил он. Это было на вечернем заседании 4-го. И, сразу попросив слова, Ленин с трибуны говорил, отвечая министру-социалисту: «Ни одна партия от этого (от взятия власти) отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком». Подавляющее эсеро-меньшевистское большинство съезда встретило эти слова издевательским

смехом. «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» — можно было бы ответить им. Ибо они не знали о том, что происходит в городе.

А пока Ленину отвечал Керенский, он бросил в лицо его сторонникам: вы предлагаете идти путем, которым шла французская революция в 1792 году... Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса... восстанет диктатор, — не я, которого вы стараетесь изобразить диктатором, — когда вы бессознательным, безумным союзом с реакцией уничтожите нашу власть, вы откроете двери подлинному диктатору... И вот наш долг, долг революционной демократии сказать: не повторяйте ошибок истории, вас зовут на путь, который, как когда-то Францию, приведет Россию к новой реакции, к новым потокам крови...

(Вот и Керенский-«балалайка»... Кто откажет ему в прозорливости, в даре предвидения?)

Совсем нелепо прозвучала отповедь А. В. Луначарского, он вразумлял Керенского с марксистских позиций, разъясняя ему и присутствовавшим прописи о том, как марксизм рекомендует действовать в революционных условиях.

## 2

Отдадим должное Ленину: слов на ветер он не бросал (если и случалось, то редко и не по столь важным вопросам). Когда он выкрикнул свое: «Есть!», ставшее, по выражению не лишнего ехидства Ричарда Пайпса, «легендарным в коммунистической агиографии» (описании жизни и деяний святых), Владимир Ильич знал, что говорил и что было неведомо делегатам съезда Советов и правительству. 1 июня Военная организация большевиков (вероятнее всего, с одобрения, а то и по инициативе Центрального Комитета) приняла решение провести 10 июня вооруженную демонстрацию, численность которой большевистский ЦК определил в 40 тысяч солдат и красногвардейцев. Намечалось пойти к Мариинскому дворцу, вызвать оттуда министров, провокационными вопросами к ним распалить неизбежно собирающуюся толпу и тут же арестовать весь кабинет, а затем объявить о переходе власти в руки ЦК («Есть такая партия!»).

Съезд шел своим чередом, а 6 июня Центральный Комитет РСДРП(б) рассмотрел этот план, а через день собрался, чтобы обсудить последние приготовления. И тут произошел раскол:

Л. Б. Каменев, москвич В. П. Ногин, Г. Е. Зиновьев высказались против путча. Поддержали эту идею И. В. Сталин, секретарь ЦК Е. Д. Стасова и В. И. Невский. Однако (протоколы не сохранились), видимо, Ленин одержал верх. 9-го агитаторы отправились на заводы и в казармы, газета Военной организации «Солдатская правда» печатала инструкции для демонстрантов, призывая к революционной войне против капиталистов.

Из листовок и газеты большевиков наконец-то о демонстрации узнал съезд Советов. Ленин спохватился,— может, вспомнил слова Ногина на недавнем сборище заговорщиков: «Наступления в два дня не готовятся»? — и дал отбой: покориться воле съезда, запретившего на три дня всяческие манифестации; более того — принять участие в мирном шествии, назначенном Советами на 18 июня, в день начала наступления на фронте.

Задумав впервые совершить вооруженный переворот, большевики, ничего еще не сделав, потерпели поражение. Чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, Ленин писал: большевики отменили демонстрацию, вовсе не желая вести рабочих на отчаянный бой в данный момент, против объединенных кадетов, эсеров и меньшевиков...

Одновременно большевики открыто заявили, что впредь считают себя вправе действовать независимо от Советов, даже если они станут правительством.

А ведь лозунг «Вся власть Советам!» большевики еще не сняли...

Возникла перспектива образования более чем странного т р о е в л а с т и я. Временное правительство — Советы — большевики как партия власти с неведомо какими государственными органами управления.

Заметив это, Церетели на съезде Советов заявил: большевиков надо обезоружить... Заговоров мы не допустим.

Большинство съезда его не поддержало, оно предпочло оставаться в убеждении, что сторонники Ленина — обычная и подлинно социалистическая партия,— пускай и пользующаяся сомнительными средствами, но никак не контрреволюционная группа, рвущаяся к захвату власти революционным путем.

Можно себе представить, как усмехался товарищ Ленин: он-то знал, к чему они стремятся.

А пока съезд Советов, полностью состоявший из представителей различных социалистических партий, вполне

мог мирно, бескровно, путем голосования взять власть в свои руки. И не сделал этого. За резолюцию доверия Временному правительству высказалось большинство: Советы никак не хотели брать власть, хотя она, по выражению Ленина, валялась под ногами в грязи, и только большевики, говорил он, не побрезгуют поднять и очистить ее от любого навоза.

### 3

18 июня, в воскресенье, демонстрация в столицах и во всех крупных городах, назначенная постановлением съезда Советов, посвящалась памяти жертв революции. Реальный смысл манифестаций был иным: объявив свободу лозунгов на манифестациях, решили проверить, хотя бы прикинуть истинное соотношение политических сил. Метод несколько необычный и с точки зрения статистики вряд ли репрезентативный, однако в какой-то степени могущий достигнуть намеченной цели.

Мешанина лозунгов и призывов, написанных на транспарантах, оказалась невообразимой. В течение пяти дней — с 13-го по 17 июня — все партии вели активную агитацию на заводах и в воинских частях. Предварительный прикид показал, что предпочтение лозунгам большевиков отдавалось только в отдельных случаях, хотя после огромного митинга на Марсовом поле (участвовало около полумиллиона человек!) большевики объявили, будто тон манифестации задавали именно они, якобы впервые рабочие открыто выразили мощный протест не чисто буржуазному правительству, а правительству с участием социалистов-предателей. На самом деле лозунгов о недоверии нынешнему правительству попросту не было, несли лишь старые транспаранты: «Долой 10 министров-капиталистов»... (наряду, конечно, с прочими призывами).

Подлинную картину должны были показать события ближайших дней.

### 4

Вечером 13 июня Керенский выехал в Ставку, в Могилев. Здесь окончательно определили дату начала наступления — 18-е.

Впоследствии Керенский писал: «План наступательной операции 18 июня в общих чертах состоял в том, что все

фронты, один за другим, в известной последовательности наносят удары противнику с таким расчетом, чтобы противник не успевал сосредоточивать вовремя свои силы на месте удара. Таким образом, общее наступление должно было развиваться довольно быстро».

16-го военный министр подписал в Тарнополе боевой приказ по армии и флоту, подготовленный в Ставке после консультаций с недавно назначенным Верховным главнокомандующим А. А. Брусилowym. Из Тарнополя Керенский вместе с главнокомандующим Юго-Западным фронтом генералом А. Е. Гутором выбыл поездом в распоряжение боевых позиций 7-й армии, весь день он объезжал полки, которые на рассвете должны были вступать в бой.

Он не задерживался в штабах, отказывался от обременительной свиты, брал с собою только несколько офицеров. Не переодевшись в армейскую форму, как ему настойчиво предлагали, он спускался в траншеи, окопы, влезал, согнувшись, в блиндажи, выходил на артиллерийские позиции. Он не собирал никаких митингов — войска находились в боевой готовности. В перемазанной глиной одежде, заляпанных грязью всегда блестящих крагах, он присаживался на вырубленные в глине ступеньки, на услужливо подложенные солдатские ранцы, угощал папиросами (запас их имелся у одного из адъютантов), иногда отведывал армейского табачку. У него хватило такта не говорить о смерти во имя революции, не обещать, что сам пойдет впереди с винтовкой в руках, он находил человеческие, добрые слова, он был прост и полон сострадания к тем, кто завтра станет под бешеный огонь, к тем, кто захлебнется собственной кровью. Редко в жизни он был открытым, доступным, своим, и иные солдаты обращались к нему: ты, товарищ министр,— и это было не панибратством, а — братством, и звучало для него волнующе и сладко, и, быть может, эта ночь без сна, в грязи, в окопной вони была для него вершиной, взлетом, звездными часами. Он достойно завершил то, что в одной из его биографий, написанных в наши дни, обозначено как «колоссальные усилия к организации наступления русской армии», как писал скептический Николай Суханов, он «проявлял в то время изумительную деятельность, сверхъестественную энергию, величайший энтузиазм. Он, конечно, сделал все, что было в человеческих силах». И он, человек, не отличавшийся вообще-то храбростью, проявил тогда истинное мужество: русские войска уже вторые сутки вели обстрел позиций противника, била тяжелая артиллерия из

тыла, лупили рядом пулеметы, трещали винтовочные выстрелы, в таких случаях, понимал даже он, штатский человек, возможна и шальная пуля, и недолет снаряда, но вместе с солдатами он был в траншеях, в окопах и старался, как и все, не проявлять даже признаков естественного и непостыдного страха...

Не вздремнув ни минуты, накурившись до одури, выпив где-то в блиндаже традиционную чарку с солдатами и поручиками, он поехал на командно-наблюдательный пункт, расположенный на одном из господствующих над местностью холмов. Здесь собрались генералы и офицеры командования и штабов фронта и 7-й армии. Воздух уже содрогался от непрерывной пальбы орудий, над головами, воя, неслись снаряды. Все смотрели на часы. Напряжение становилось невыносимым. И вдруг сразу наступила оглушительная тишина. Вот когда Керенского, по его признанию, охватил страх: вдруг солдаты не пойдут вперед? Поле битвы перед ним казалось огромной пустой шахматной доской. Но вот оно ожило, крохотные фигурки заполнили его. Пошли!

18-го и 19 июня части и соединения 7-й и 11-й армий, наступавшие на участке Поморжаны — Бережаны и наносившие главный удар на Львов, успешно продвигались, взяли в плен несколько тысяч солдат и захватили десятки орудий; о боевых действиях регулярно сообщали в столицу для всеобщего сведения.

## 5

Начавшееся наступление, победные телеграммы о нем вызвали небывалое оживление всех сил в Петрограде.

Оборонцы стали еще громче призывать к внутреннему единству перед лицом внешнего врага. Усилились нападки на большевиков, их предупреждали о недопустимости саботажа действий власти, сопротивления отправке маршевых рот на фронт. Буржуазные круги надеялись, что боевые успехи отвлекут внимание народа от тягот военной разрухи, сделают невозможным братание солдат, укрепят дисциплину и остановят разложение армии. Буржуазные газеты славил Керенского, называя его «безупречным социалистом-демократом», а наступление — свершившимся чудом.

Вплеснулись шовинистические настроения. Если 18 июня обыватель смотрел на пролетарско-солдатскую демонстрацию



из-за оконных занавесок, то на следующий день центр столицы залило мутным националистически-обывательским потоком.

19-го около двух часов пополудни на Невском стали собираться толпы так называемой «чистой публики». Разбрасывали экстренные выпуски газет, несли плакаты с приветствиями действующей армии и призывами к доверию правительству, всюду пестрели портреты Керенского. Вскоре количество манифестантов достигло нескольких тысяч: делегация георгиевских кавалеров, инвалиды, члены крайне правой меньшевистской организации «Единство» (среди них «парсуну» военного министра, словно икону, у груди, на сложенных молитвенно ладонях нес «первый марксист России», почтенный и почитаемый Георгий Валентинович Плеханов, тяжело больной, на седьмом десятке лет — по понятиям того времени, глубокий старик, жить ему оставалось меньше года, от всяких дел он наотрез отказывался, а сюда вот явился, еле передвигая ноги, впрочем, ему вскоре подали извозчика). Взявшись за руки, шли солдаты, офицеры, дамы, дети. Достигнув Мариинского дворца, с балкона его произносили речи, призывая к сплочению и к помощи русской героической армии.

Затем на сцену явились кадеты с плакатами опять же о доверии Временному правительству, о войне до победы, о верности союзникам. Подняли и понесли на руках своего лидера — Милюкова, группами обходили иностранные посольства, откуда раздавались приветственные речи послов союзных держав. Шествовали, митинговали допоздна.

Одновременно обострилось политическое положение, чему немало способствовали анархисты. Их основной базой была часть дома, чьим владельцем был член Государственного совета генерал-адъютант П. П. Дурново. После Февраля этот прекрасный особняк заняли различные рабочие организации, к ним присоединились и анархисты. Попытка министра юстиции Переверзева выселить из дома — памятника архитектуры всех непрошенных «квартирантов» привела к забастовке рабочих Выборгской стороны и вооруженному сопротивлению анархистов, часть последних арестовали. В ходе демонстрации 18 июня, увлекая за собой несколько сотен заводских, анархисты напали на тюрьму «Кресты», освободили шестерых своих товарищей, а заодно и большевика Ф. П. Хаустова. 19-го тот же Переверзев приказал роте Семеновского полка окружить дачу, где, по предположению, находились освобожденные солдаты, возникла пе-

рестрелка, последовали аресты, что привело к решению анархистов устроить вооруженное выступление против Временного правительства.

Разгром дачи Дурново, призывы анархистов чуть было не привели к грандиозной стачке всего многотысячного коллектива Путиловского завода, она неминуемо стала бы всеобщей. Ухудшилось снова продовольственное снабжение столицы.

Напряженной стала обстановка в гарнизоне, поводом послужило распоряжение правительства о фактическом разоружении и отправке на фронт 1-го пулеметного полка, где было сильным влияние большевиков. Одновременно еще продолжавшийся (он завершился 24 июня) съезд Советов одобрил почти все пункты «Декларации прав солдата».

На рабочих и солдат Питера все это действовало самым возбуждающим образом.

К концу вторых суток наступления оно захлебнулось. Командующий 11-й армией генерал И. Г. Эрдели докладывал, что в результате прошедших боев в большинстве полков никакого воодушевления не наблюдается, а в некоторых возобладало убеждение, что задачу свою они уже выполнили и нет смысла идти дальше. К словам генерала Керенский с горечью добавил, что офицеры ряда частей выражали нескрываемое удовлетворение по поводу провала операции.

Возникали и другие обстоятельства.

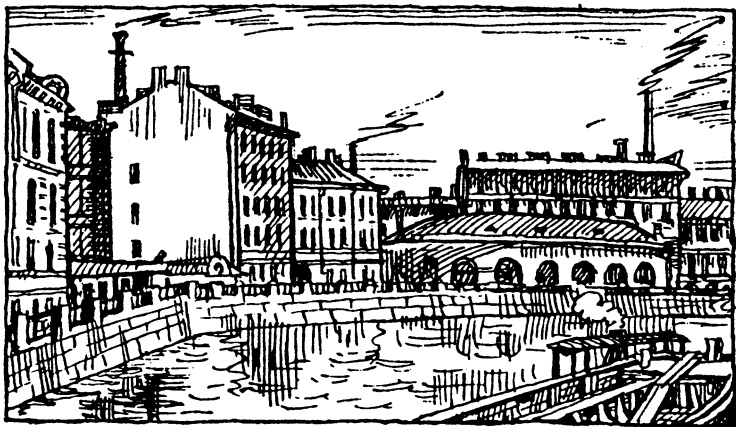
20 июня в секретной телеграмме Керенский сообщил Терещенко, что тяжелая артиллерия, присланная союзниками, состоит из брака, треть орудий не выдержала двухсуточной умеренной стрельбы; союзники задерживают присылку аэропланов и различной материальной части взамен убывшей. Полковник Нокс (британский военный атташе), совершая поездку по Юго-Западному фронту, позволяет себе шумно критиковать русскую армию и открыто выражать неприязнь к новому строю в России.

Терещенко ответил, что дипломатам союзников сделаны соответствующие представления относительно материально-технического обеспечения, а Нокс отзывается с фронта.

Керенский отбыл в 8-ю армию (командующий — генерал Л. Г. Корнилов), которая по его приказу 23 июня начала наступление, прорвала австрийский фронт силами до десяти дивизий, нанося удар с позиций Галич — Станислав на Калуш и Белехов, захватила 7 тысяч пленных и 48 орудий. Затем,

развивая успех, заняла Галич, Калуш и Станислав и к 30 июня вышла на рубеж реки Ломница. На этом наступательный порыв войск фронта иссяк.

Побывав в Молодечно и Киеве, 3 июля военный министр вернулся на фронт, где обстановка за неделю изменилась до неузнаваемости. В столице и на фронте события развивались с невероятной и непредсказуемой быстротой и размахом.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(Июль — ноябрь 1917 г.)

### Глава первая

Когда в июле внешние и внутренние враги свободы в России потерпели крах в попытках сокрушить едва родившуюся в России демократию, Ленин молчаливо признал справедливость этих фактов, покинув пределы страны... Выбора у него не было.

*А. Ф. Керенский*

### 1

1 июля, суббота.

В этот погожий день в Петрограде внешне все обстояло благополучно. Народу — куда меньше, чем в другое время года: состоятельные горожане выехали на дачи, другие, свободные от работы, проводили время на Островах, в парках Царского Села, Петергофа, Гатчины. Бойко торговали магазины на Невском разными товарами. Угрюмо-пустыми выглядели лавки с провизией — вернее, почти без нее. На тротуарах, усеянных подсолнуховой шелухой, возле стен, давно не крашенных, но пестревших плакатами, воззваниями, листовками, объявлениями «куплю — продам», — повсюду сидели на ломаных ящиках,

подстеленных рваных мешках и рогожках бесчисленные спекулянты-мешочники. Уже обыкновенная, уже привычная жизнь еще недавно чопорного, величавого Санкт-Петербурга, Петрограда, Питера...

Но по всему городу, особенно в рабочих слободах, на заводских окраинах, передавалось из уст в уста только что напечатанное в газетах сообщение: ввели продовольственные карточки; на человека по два фунта сахара в месяц, полфунта мяса в неделю, — для занятых физическим трудом фунт, — четверть фунта масла, причем его будут выдавать нерегулярно, когда только появятся запасы. В тот день в лавках рабочих кооперативов давали только мясо и гниловатые овощи.

Еще мало кто знал, что в войсках гарнизона начинаются волнения. На Петроградской стороне Гренадерский полк принял накануне резолюцию недоверия Временному правительству, министру Керенскому и всем партиям, их поддерживающим. Сегодня с утра послали агитаторов в другие полки и к рабочим — «если вы не выступите — сами возьмем власть».

В 1-м пулеметном полку — крупнейшей силе гарнизона, около 20 тысяч солдат, полторы тысячи пулеметов, 5 тысяч винтовок, — размещенном на Выборгской стороне (три батальона) и в Ораниенбауме (батальон), взбудораженные слухами то ли о расформировании полка, то ли об использовании его против революционных солдат — бушевали всюду, призывали к вооруженному выступлению против правительства. Пулеметчиков подстрекали анархисты. А тут еще и само правительство мужиков, которые в шинелях, обьегорило: посулило сорокалетних, семейных временно, на страду, отпустить домой, под ручательство однополчан, — и от слова своего отказалось.

Большевики собрались во дворце Кшесинской на городскую конференцию. Они решили сделать все возможное, чтобы предотвратить вооруженное выступление, а демонстрации ввести в мирное русло.

2 июля, воскресенье.

Политический кризис разрастался. Министры вечером собрались в квартире Г. Е. Львова, поводом было обсуждение вопроса о независимости Украины (?). Не согласившись с большинством, министры-кадеты А. А. Мануйлов, В. Н. Шаховской, А. И. Шингарев и управляющий одним из министерств В. А. Степанов заявили о своей отставке. Все понимали, что предлог несерьезен, одной из истинных причин была боязнь ответственности за поражение на фронте. Явно начинался оче-

редной кризис правительства, новый этап — дело шло к ликвидации двоевластия и, возможно, к установлению контрреволюционной диктатуры.

Официальная пресса обвинила большевиков в намерении свергнуть правительство. Они отмалчивались.

Анархисты-коммунисты на даче Дурново устроили тайное собрание, решили подбить массы, прежде всего 1-й пулеметный полк, к выступлению против власти, реквизиции фабрик, заводов, денег и продовольствия. Начать наметили следующим утром. Анархистская «братва» рассыпалась по городу, к ним присоединялись крайне правые экстремисты, включая черносотенцев, проводивших погромную агитацию.

В Народном доме большевики провели совместное собрание с солдатами пулеметного полка; ленинцы находились в растерянности: они боялись, что преждевременные и неорганизованные действия могут вызвать взрыв патриотического негодования. Они, с одной стороны, вели усиленную агитацию, чтобы создать высокий уровень напряжения, с другой — сдерживали всякие активные действия, которые могли выйти из их контроля и перейти в антибольшевистский погром (уже бывали случаи, когда их гнали с митингов прочь: «обойдемся без вас»). Одни из большевиков считали, что войска удержать уже немислимо и надо их возглавить, другие — что поднимать мятеж рано.

А погром назревал.

## 2

3 июля, понедельник.

К полудню пулеметный полк вышел на стихийный митинг во дворе деревянных казарм на Большом Сампсониевском проспекте. Со взвинченными речами выступали анархисты. Но сильнее, чем их истерические призывы, действовали выступления представителей рабочих и фронтовиков, убеждавших свергнуть правительство и немедленно передать всю власть Советам. Попытки пулеметчиков-большевиков (их организация в полку была незначительной, в пределах тридцати — пятидесяти человек, и состояла почти целиком из вступивших в партию после победы Февральской революции, то есть людей политически неопытных) предотвратить или, на худой конец, отсрочить решение оказались бесплодными. Участники митинга решили выйти на улицы в пять часов пополудни, послать

делегатов в другие полки гарнизона, на заводы, в Кронштадт, в Ораниенбаум, где располагался еще один батальон их полка.

(Вот один из образцов документов, четко определяющий цели и задачи готовящегося выступления: «Мандат. Сим уполномочиваются товарищи Гуреев, Пахомов и Никонов отправиться в Ораниенбаум для объявления постановления о вооруженном выступлении трех батальонов 1-го пулеметного полка завтра, 3 июля, для свержения Временного правительства и восстановления власти Советов р. и с. депутатов и чтобы просить товарищей поддержать наши выступления».)

Руководство мятежным полком взял избранный на митинге Временный революционный комитет. На заседание Петроградской конференции большевиков послали двух представителей, которые объявили о начале выступления. Участники конференции на свой риск и страх (не было Ленина, не от кого получать у с т а н о в к у!) разъяснили делегатам, что выступление нецелесообразно, поскольку не подготовлено и несвоевременно, однако солдаты-уполномоченные заявили, что они лучше выйдут из партии, но не станут действовать против постановления всего полка.

Вскоре к казармам на Сампсониевском явилась наспех сколоченная группа: несколько членов большевистской фракции Совета, работники Военной организации большевиков, трое делегатов городской конференции. Их долго не пропускали на территорию, где всюю шла подготовка выступления, в ней участвовало много рабочих. Наконец большевику Михаилу Михайловичу Лашевичу удалось добиться, чтобы его выслушали. Как только он упомянул о необходимости хотя бы отсрочить мятеж, раздались крики: «А, и ты продался буржуйам!» — и дальше говорить ему не дали.

Не подействовали и соответствующие обращения ЦК РСДРП(б), городской партконференции, ЦИК Советов.

В пять часов дня, — время назначенных действий, — полк как бы заколебался, движение затормозилось. Но стало известно, что оно вспыхнуло в Ораниенбауме и Кронштадте, что на улицы вышли колонны рабочих заводов «Новый Лесснер», «Русский Рено», «Новый Парвизайнен», «Нобель», «Эриксон», «Путиловский». Тогда три батальона пулеметного полка около семи вечера выступили тоже — под руководством своего революционного комитета, в них насчитывалось более пяти ты-

сяч солдат и 2025 пулеметов. Двигались сначала разными путями с целью соединиться у дворца Кшесинской, а затем направиться к Таврическому. Несли лозунги: «Вся власть Советам!», «Мир без аннексий!», «Помни, капитализм, булат и пулемет уничтожат тебя!». В пути к ним присоединились Гренадерский, Павловский, 3-й стрелковый и 180-й пехотный запасные полки. Оставались в стороне от активных действий полки Финляндский, Волынский, Литовский, Измайловский, Кексгольмский.

В середине дня, вызванный телеграммой с фронта, в Питер прибыл военный министр Керенский. Приезд его был странным: пробив в городе несколько часов, не посетив мятежные воинские части, он вечером уехал обратно в Ставку. То ли недооценил обстановку, то ли не пожелал принять участие в неизбежной схватке, противоречащей принципам демократии, то ли испугался, то ли потому, что из агентурных данных он знал о готовящемся наступлении противника и счел свое пребывание на фронте более необходимым. Странные поступки случалось совершать Александру Федоровичу, им нет объяснения и, вероятно, не будет.

Не менее удивительным представляется поведение Ленина. Его представители, члены партии, в том или ином количестве были в каждом полку, на каждом предприятии. Назревавшее недовольство было, конечно, ему известно, его пресловутое политическое чутье подсказывало — могло, должно предсказать, — что события вот-вот примут критический характер. И тем не менее большевистский вождь вдруг, сославшись перед ближними товарищами на худое самочувствие, 29 июня, за сутки до развернувшегося мятежа, покинул Питер и отправился отдыхать. К изумлению своего верного прислужника (так и хочется употребить иное, более резкое, слово), Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, вечером на его даче в деревне Нейвола близ Выборга появилась тройца: Владимир Ильич с сестрой Марией Ильиничной и «пролетарским поэтом» Демьяном Бедным (Ефимом Алексеевичем Придворовым). Обескураженный хозяин дачи разместил негаданных гостей по комнатам (Владимиру Ильичу — две комнаты в полумансарде), и, вовсе не производя впечатления тяжело больного, на следующее же утро тот гулял вместе с хозяевами по окрестностям, купался, поигрывал в шашки, — словом, вел образ жизни беззаботного дачника, даже прислугу за газетами на станцию не



посылал. Впрочем, кажется, в промежутках что-то писал. Никаких признаков болезни жена Бонч-Бруевича — Вера Михайловна Величкина, врач, — не обнаружила, выглядел вполне нормально.

Поведение Ленина показалось Бончу (так его называли в партийной среде) как бы диковинным: приехал не прямым путем, по железной дороге из Питера на Выборг, а как-то о к р у ж н о: а как именно — даже Бончу не сказал; покинул Питер в предвидении крупных событий... и накануне столичной конференции большевиков, где от него ждали многого.

Можно предположить, как это делают несоветские историки, что Ленин просто у д р а л из Питера, опасаясь вполне возможного ареста.

Существовала такая профессиональная байка: «Настоящий репортер — тот, кто успевает на пожар за пять минут до начала пожара». Л и т е р а т о р, как неизменно писал он в анкетах, Ульянов-Ленин, видимо, обладал этим профессиональным качеством: в тот день, когда он улепетнул из Питера, арестовали некую коммерсантку Суменсон, через которую большевистская партия получала неизвестного происхождения деньги — молва гласила, что германские, — и он почел за благо не рисковать.

Так он предавался удовольствиям (купаться любил, играл в шахматы, но здесь их не нашлось, были только шашки), когда вдруг около полуночи на дачу явился заведующий отделом редакции «Правды» Максимилиан Александрович Савельев и сообщил, что в столице назревает бунт. Хочешь не хочешь, надо было ехать, отсиживаться здесь попросту стыдно (Керенский, о чем не знал, естественно, Ильич, предпочел то ли укрываться, то ли в самом деле руководить — в Ставке, где ему решительно ничего не грозило; Ленин поневоле полез в пекло). Всею командой — Бонч-Бруевич, Мария Ильинична, Савельев и он — поутру сели в дачный поезд. Было уже 4-е число.

А покуда он там к а й ф о в а л в Нейвола, — не привыкать, сколько лет отсиживался в Европе, когда на родине вершились события исключительной важности, — сейчас в Питере из искры возгоралось пламя (излюбленное его выражение).

Реальная власть стремительно уплывала из рук Совета и не попадала в терпевшее кризис Временное правительство, его председатель Львов тоже отсиживался в своей квартире и проводил ч а с т н ы е совещания на извечную российскую тему «что делать».

А на улицах началась — сперва беспорядочная — пальба, кто в кого попало. Около полуночи на перекрестке Невского и Садовой рванула чья-то граната, а вслед за этим по колонне демонстрантов у Литейного, Садовой, возле Казанского собора с крыш и чердаков, из окон верхних этажей застрекотали винтовочные, револьверные, пулеметные выстрелы, они слились в сплошной рев. Часть мятежных солдат залегла и стала отстреливаться. На мостовых зачернели убитые и раненые... Последняя группа демонстрантов ушла от Таврического только в пятом часу утра 4 июля. Взять руководство движением большевики либо не могли, либо не хотели (их позиция не подтверждается никакими документами, либо не сохранившимися, либо уничтоженными, либо сокрытыми по сей день).

(Зато каким-то чудом безымянный ныне любитель сделал с верхней точки поразительный снимок расстрела на Садовой — упавшие на мостовую, в панике бегущие неведомо куда люди... Без этой фотографии редко обходится любая книга, посвященная событиям тех дней,— еще бы, не подделка, не фальшивка, не кадр из игрового фильма вроде сверхпопулярного кадра из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», где изображен штурм Зимнего так, что мизансцена не имеет ничего общего с исторической реальностью.)

### 3

4 июля, вторник.

От станции Мустамяки, где они сели, до Финляндского вокзала езды — час с небольшим. Ленин всю дорогу молчал, смотрел в окошко. На площади взяли извозчика, поехали в свой штаб — дворец Кшесинской. Утро выдалось славное, солнечное, казалось, в городе все налаживается: ходили трамваи, открылись магазины, начали работу учреждения, рабочие шли на утреннюю смену. В казармах — тихо.

Но примерно часам к одиннадцати беспорядки возобновились, хотя и ЦИК, и Временное правительство практически одновременно вынесли постановления о запрещении всяких демонстраций.

Между 10 и 11 часами утра на судах и баржах прибыли из Кронштадта около 10 тысяч матросов, солдат и рабочих. Ошвартовались в самом центре города, на правом берегу Невы, вдоль Университетской набережной. По Дворцовому и Нико-

лаевскому мостам они перешли на ту сторону и направились к зданию ЦК большевиков. Вскоре ожидалось прибытие войск из Ораниенбаума, Петергофа, Красного Села.

К середине дня на улицах было уже около 500 тысяч манифестантов.

Перед кронштадтцами с балкона выступали Яков Михайлович Свердлов и Анатолий Васильевич Луначарский, их слушали не очень внимательно — незнакомые фигуры, — требовали Ленина. Закончив совещание с товарищами из ЦК и ПК, он вышел на балкон. Произнес, по оценке Н. Суханова, довольно двусмысленную речь: от огромной аудитории не требовал никаких решительных действий, даже уличных манифестаций, только усиленно критиковал Временное правительство и Совет, призывал к бдительности, выдержке, стойкости, к верности большевикам (по другим сведениям, воскликнул при этом: «Вся власть Советам!»).

Отсюда кронштадтцы направились к центру города, куда именно и зачем — никто толком не знал. В пути к ним присоединялись колонны рабочих и солдат. Двигались они и в других местах — по Суворовскому проспекту, на Васильевском острове, на Каменноостровской. Всюду по демонстрантам начали стрелять провокаторы, хорошо укрытые и замаскированные. Особенно досталось на Сенной площади путиловцам, — их было около 60 тысяч, — вторично их поливали огнем у Апраксина двора. Сперва кронштадтцы ответной пальбы не открывали, но в конечном счете вынуждены были отстреливаться. Рабочие же шли безоружными. По официальным данным, за 3-е и 4 июля зарегистрировано 16 убитых, 40 умерших от ран и около 650 раненых. Поскольку стреляли из домов (или используя предлог), матросы начали обыски, они оборачивались грабежами, пострадали многие магазины, особенно продовольственные, винные, табачные. Картина выглядела странно, это не походило ни на манифестацию против Временного правительства, ни на восстание против него, за власть Советов. Демонстрациями, в сущности, никто не руководил, не было единого плана, вместо военных действий — беспорядочная пальба, в которой неизвестно, в кого же, собственно, стреляли, и чаще всего попадали в случайных прохожих, людей из толпы. Львов характеризовал события как «безответственное выступление элементов крайнего меньшинства, встреченное населением крайне враждебно», в чем, несомненно, есть значительная доля истины.

Весьма показателен такой факт. С Путиловского завода двинулась огромная колонна, в 30 (по другим данным — 60) тысяч человек, говорили, что с артиллерией и пулеметами. Вышли на Невский и Литейный. И вдруг разразился проливной дождь. Повстанцы разбегались, будто на них обрушился сильнейший ружейный или пулеметный огонь, заполнили подворотни, подъезды, навесы. Дождь разогнал, казалось, готовую к боевым действиям армию. Собрать ее вновь не удалось, она попросту расплылась.

Кронштадтцы, достигнув Таврического, послушав речи, отправились восвояси, оставив в Питере только несколько сотен человек.

К вечеру солдаты нескольких гвардейских полков выделили команды «для наведения порядка в городе». Демонстранты еще сохраняли численный перевес на улицах, но «верные правительству» силы активизировались. Последняя схватка между манифестантами и казаками произошла примерно в восемь вечера на углу Шпалерной и Литейного.

На совещании членов ЦК и ПК под руководством Ленина приняли решение об организованном прекращении демонстраций, чтобы уберечь основные силы от разгрома. Стало известно, что Керенский отправил с фронта в Питер отряд кавалерии, пехоты, броневиков, самокатчиков — всего 15 — 16 тысяч человек. Из Кронштадта двигался отряд миноносцев — на сей раз тоже в помощь правительству.

Интересен как бы заочный диалог между Лениным и Троцким.

Ленин: оба выступления масс — и апрельское, и июльское — представляли собой очень сильные стихийные взрывы, вплотную подходившие к началу гражданской войны. При всей стихийности важным было то, что рабочие и солдаты руководствовались революционной программой борьбы, разработанной большевиками.

Троцкий: партия большевиков жила в политической пустоте. Большевики выступили вслед событиям, не имея четкой программы.

Ленин: если бы демонстранты победили, большевики не знали бы, как воспользоваться победой, не смогли бы получить власть ни физически, ни политически... В июле мы наделали достаточно глупостей.

Троцкий: восстание масс без политического руководства...

Ленин: армия и провинция... могли пойти и пошли бы на Питер.

(В провинции демонстрации солидарности с революционным Петроградом прошли только после окончания событий, по большевистским данным продолжались с 4-го по 14 июля, охватили около полутора десятков городов и рабочих поселков, в основном в Центрально-Промышленном районе; участвовали в основном рабочие; никаких практических результатов эти выступления не дали и дать не могли хотя бы потому, что запоздали.)

#### 4

5 июля, среда.

Утром Я. М. Свердлов сообщил Ленину о разгроме редакции «Правды», о том, что сейчас город похож на оставленное поле боя: тротуары засыпаны битым стеклом — лупили чем попадя по витринам магазинов, окнам домов, трамвайные провода оборваны, на мостовых следы крови, редкие прохожие пробегают, пугливо озираясь, фабрично-заводские не приступили к работе, снова начинаются уже явно бессмысленные митинги, опять оживили погромную агитацию анархисты. Начались обыски, аресты. Готовится властями захват дворца Кшесинской, ЦК и ПК оставили здание. Яков Михайлович настойчиво советовал Владимиру Ильичу покинуть квартиру, где происходил этот разговор (Широкая ул., 48, кв. 24 — ее занимала сестра Анна Ильинична Ульянова-Елизарова с мужем), тут возможен обыск. Ленин возражать не стал, накинул на себя плащ Свердлова, оба отправились на набережную реки Карповки, дом 25, где в квартире 18 жила семья большевика Сергея Сулимова. Его дома не было, гостей встретила хозяйка, тоже большевичка, Мария Леонтьевна. Ленин был явно напуган: по сути, он б е ж а л из дома сестры; тотчас сел писать статьи — успел настрочить целых пять! — в свою защиту от обвинений в германском шпионаже; сказал Сулимовой, что его, наверное, «подвесят», начеркал записку Л. Б. Каменеву, начинающуюся словами: «Если меня уokoшат...» Проведя бессонную ночь, он удрал из этой квартиры на другую... С утра 5 июля по ночь с 24-го на 25 октября он прятался, часто меняя места. Но об этом — чуть дальше...

На объединенном заседании ЦИК Советов и исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов были одобрены меры Временного правительства против рабочих и солдат. «Приз-

вали для охраны Таврического дворца войска,— отмечал И. В. Сталин,— заявили, что мы вызвали вооруженное восстание, и объявили нас изменниками революции». Приняли решение о создании специальной комиссии для «проведения дальнейших решительных мероприятий». Председателем стал командующий Петроградским военным округом генерал-майор Половцев, от Временного правительства в нее вошли министр труда Скобелев и управляющий Морским министерством Лебедев; член ЦИК Гоц и председатель Совета крестьянских депутатов Авксентьев. Временное правительство объявлялось правительством «спасения революции» с чрезвычайными полномочиями.

Двоевластие кончилось. Слабость Советов, их соглашательская политика, нежелание взять власть мирным путем,— а такая возможность была,— привели к единовластию Временного правительства, которое тоже не обладало достаточной силой для наведения подлинного порядка в стране.

Именно от июльских событий начинается отсчет нового этапа Февральской революции, завершившегося Октябрьским переворотом, величайшей трагедией России.

Самая грубая ошибка большевиков — участие в июльских событиях,— которая чуть не привела к уничтожению их партии, в конечном счете менее чем через четыре месяца обернулась их бескровной победой, приведшей к небывало кровавым последствиям, по масштабам, вероятно, не имеющим аналогов в истории человечества.

## Глава вторая

После подавления июльского восстания влияние большевиков резко уменьшилось. Почти нигде в стране нельзя было услышать голоса большевистских агитаторов-пораженцев; представители ленинской партии исчезли из президиумов местных Советов, а на фронте солдаты нередко сами арестовывали большевистских агентов и изгоняли их из своих рядов. Ленин и его сторонники прекрасно отдавали себе отчет в упадке своего влияния. Открыто признал это и Троцкий, (который.— В. Е.) недвусмысленно писал, что после июльского восстания большевистская партия была вынуждена на некоторое время перейти на нелегальное положение.

*А. Ф. Керенский*

### 1

К большевикам Керенский сперва относился со снисходительным презрением: жалкая кучка интеллигентов, отсиживаются за границей, через одураченных пролетариев распространяют здесь, в России, листовки; кучка вдобавок бранчливая, передравшаяся между собой. И при этом претендует, по их выражению, на роль партии авангарда, тупо долбит про классовую борьбу и гегемонию, примазывается к стихийным забастовкам. Свою извечную еврейскую обездоленность (Боже упаси, Александр Федорович ни в малой степени не был антисемитом, о чем свидетельствуют его дела) выдают за подлинную революционность (в том, что большевики — преимущественно евреи, он, как и многие, не сомневался; впрочем, к тому были реальные основания: не преимущественно, однако изрядно). Он выступал в качестве защитника по делу о большевистской фракции Государственной думы, вел процесс о большевистской экспроприации на Урале, поступая так, как велит присяга, чувство профессиональной чести, долг помочь суду в установлении объективной истины,— да, выступал, но это вовсе не означало хоть малого проявления симпатии к большевикам, а их пресловутые (как и эсеров) «эксы» (экспроприации) вызывали человеческое отвращение.

А Ленин... Трус, свободно разгуливающий в эмиграции, когда в России происходят события, отчасти им же и спровоцированные, так называемый вождь, что облюбовал себе место не в авангарде, не в арьергарде даже, а в глубочайшем европейском — по отношению к своей родине — тылу, «тео-

ретик», автор лозунга о борьбе за поражение русского правительства в войне, за превращение войны империалистической в войну гражданскую, беспринципный политик, всегда готовый переменить свою точку зрения в зависимости от развития событий, — это называется у них гибкостью тактики, — а в сущности, твердолобый догматик...

И он, конечно, не мог забыть то унижение, что пережил давным-давно в Симбирске, на Венце, тот презрительно-злой щелчок Ульянова, не мог избавиться от почти мистического чувства опасности, что возникало при упоминании имени этого человека, а позже — при очень редких с ним встречах на митингах, съездах, заседаниях. Это было чувство личной опасности, инстинктивное и, по трезвом размышлении, какое-то детское, — и в самом деле оставшееся от детства, — только стыдное, а не грозное на самом деле — ни для него, Керенского, ни для революции, для России. Такой опасности Александр Федорович не видел, не ощущал, не понимал долго-долго, слишком долго для стремительного того времени.

Только ехидную усмешку вызвало в нем, актере по глубинной сути, то балаганное действо, что отрежиссировали на Финляндском вокзале большевистские шестерки, встречая своего засидевшегося в европах вождя. Только бредом, как и почти все здравомыслящие, включая ленинских соратников, счел он дикие Апрельские тезисы, сперва принесенные с балкона дворца Кшесинской, хотя какую-то привычно-смутную опасность он почуял. И не зря: вдруг обнаружилось, что этот невзрачный, лысый, картавящий, талдычащий одно и то же, словно в голом черепе у него единственная извилина, — вдруг он за какие-то две-три недели если не убедил своих, то заставил их поверить в то, что его бред — вовсе не бред, а программа, теория, руководство к действию, и уже 20 — 21 апреля антивоенные демонстрации несли в числе прочих лозунгов и ленинские, уже раздался клич — создавать вооруженные отряды рабочих, а через неделю ушел в отставку военный министр Александр Иванович Гучков — войска не подчинялись ему.

Тогда же, в середине апреля, приехал очередной раз Альбер Тома, передал Георгию Евгеньевичу Львову исключительной важности сведения о связях ленинской группы с германским правительством и его агентами. Глава кабинета поручил Керенскому, Терещенко и Некрасову заняться расследованием,



при условии, что ни министры, ни Верховный главнокомандующий, никто никогда и ничего не узнают об этих фактах.

Вот когда Александра Федоровича обожгла всеохватная, яростная ненависть к этим авантюристам, пройдохам, предателям отечества, заговорщикам, пособникам врага, изменникам, продающим дело революции. И он, дав себе ранее слово не унижаться ни до какой полемики с Лениным, до ответов на его оскорбительную руготню в печати, затеянную с первых же дней Февраля, — Керенский теперь продержался — в ненависти, в злобе — месяц и не выдержал, сорвался без всякого повода, в заурядной, графаретной речи, в случайном месте — в Одессе, на съезде делегатов солдатских комитетов Румынского фронта, проходившем в середине мая.

Нам угрожает серьезная сила, говорил он, тогда уже военный министр. Люди, объединившиеся в ненависти к новому строю, найдут путь, которым можно уничтожить русскую свободу. Они достаточно умны, чтобы понять... нет штыка и шашки за них. И они идут путем обманым, путем проклятым, идут к голодной массе и говорят: требуйте всего немедленно; шепчут слова недоверия к нам, всю жизнь положившим на борьбу с царизмом. И мы должны сказать им: остановитесь, не расшатывайте новые устои...

Это было начало. И не грубо-лубочное, как выразился Суханов, тыканье в глаза большевистскими провокаторами Малиновским и Черномазовым. И не обывательские сплетни, нелепые и безосновательные, а главное несущественные, — о plombированном вагоне из Германии, байки эти достаточно скоро утихли сами по себе. Это было продуманное, выношенное слово. Александр Федорович начал понимать, — да, с тех апрельских дней, — большевики суть уже определенная, притом растущая, медленно, однако растущая сила, активно враждебная революции, правительству, народовластию, свободе. Он запальчиво говорил об этом на расширенном заседании Петросвета в Мариинском театре, прямо обвиняя большевиков в измене революции.

Кусаться начали и по мелочам. 4 июня на съезде Советов, после своей (недооцененной!) речи («Есть такая партия!»), Ленин, возбужденный собственной отвагой, сцепился с Керенским из-за сущей ерунды. В ответ на требование лидера большевиков арестовать во имя революции несколько сотен крупных капиталистов, Керенский возразил: что же мы, социалисты или держиморды? И хотя было сказано — *мы*, на ворах вспых-

нули шапки, левый, большевистский, сектор затопал и завопил, требуя извинения. И председательствующий, меньшевик Евгений Петрович Гегечкори, человек небыстрого ума, долго и нудно вразумлял, что слово произнесено вполне литературное, у Гоголя есть... Тогда позвольте сказать, с места бросил Анатолий Васильевич Луначарский, что вы, господин Гегечкори, не кто иной, как д е р ж и м о р д а... Сказав друг другу г у с а к а, стороны сочли себя удовлетворенными.

А незадолго перед тем, то ли 16-го, то ли 18 мая, начальник штаба главковерха генерал Антон Иванович Деникин вручил военному министру, находившемуся в Ставке, пакет с протоколом допроса якобы бежавшего из плена некоего Ермоленко, зауряд-прапорщика (лица, в военное время замещающие должности младших офицеров, назначались из числа унтер-офицеров). В приложенном к протоколу донесении А. И. Деникин подчеркивал, что Ермоленко не перебежал, а был переброшен в тыл на фронте 6-й армии чуть ли не на аэроплане самими немцами для агитации в пользу заключения сепаратного мира с Германией. В своих показаниях он в числе прочего упоминал Ленина, которому якобы поручено всеми силами стремиться к подорванию (так в тексте.— *В. Е.*) доверия русского народа к Временному правительству. Многие в показаниях Ермоленко вызывало сомнения: и факты его личной биографии, и утверждение, что задание он получил не где-нибудь, а в главном штабе германской армии и что по прибытии в Могилев двое незнакомых лиц вручили ему на расходы пятьдесят тысяч русскими деньгами (огромная сумма! и всего-то на два месяца, дальше пообещали еще). Начальник военной контрразведки, которому Керенский п е р е д а л Ермоленко, увидел перед собой до смерти напуганного человека, который умолял его спрятать и отпустить, что и было после краткого допроса сделано, зауряд-прапорщик уехал в Сибирь и безвестно канул... Но протоколы его допросов остались... Их приберег на всякий случай министр юстиции Павел Николаевич Переверзев, чем не преминул похвастаться перед своим предшественником — Керенским, сказавшим удивленно: к чему столько возни вокруг темной лошадки и его галиматьи.

Тем не менее версия о шпионаже Ленина в пользу Германии, о золоте, регулярно получаемом за это, вскоре стала достоянием широких масс. Poleмика по этому вопросу сложна и запутанна, она продолжалась — собственно, и продолжается

среди западных историков — многие десятилетия. Большевицкие историографы, конечно, все начисто отрицали (теперь эта тема никого в России, кажется, не волнует), западные коллеги исписали груды бумаги, но большинство основывалось не на прямых доказательствах (и откуда им быть, никто Ленина за руку не поймал), а на косвенных и на логических выводах. Версии ученых противоречивы, и здесь не место делать попытку разбираться в этом историческом сюжете. Думается, скажем кратко, что обвинять Ленина в элементарном шпионаже — нелепо: не крал же он, в конце концов, секретные документы из кабинетов Военного министерства, не покупал их у чиновников, не лазил через забор на территорию оборонных объектов, — ему хватало дел и без того, да и вообще странно представить себе В. И. Ульянова в такой роли. Далее. У большевиков столько преступлений против собственного народа, что обвинять их еще в иудинном предательстве за тридцать сребреников — значит не прибавить, в сущности, ничего. Когда им, пламенным революционерам, позарез требовались деньги, — а требовались они постоянно и в немалых количествах, партийная касса была всегда тощей, — они не своей страной торговали, а либо устраивали кровавые «экссы», при которых часто гибли случайные прохожие или посетители банков, либо пользовались, выражаясь по-нынешнему, спонсорством таких неординарных богачей, как, к примеру, Савва Тимофеевич Морозов, либо устраивали фиктивные браки и затевали судебные процессы, чтобы завладеть наследством революционно настроенного капиталиста (бывали и такие!) Николая Павловича Шмита, либо при содействии Алексея Максимовича Горького одалживали крупную сумму у англичанина под расписку-обязательство вернуть после прихода к власти (отдали, помнится, лет через десять, через суд, и не взаимодателю, уже покойному, а его наследнику).

Словом, на наш взгляд, сейчас эта история не представляет жгучего интереса — по крайней мере для широкого читателя. Но тогда...

4 июля на сцене с шумом появился Григорий Алексеевич Алексинский, окончивший историко-филологический факультет Московского университета, участник революционного движения с 1899 года, большевик, член Петроградского комитета РСДРП, сотрудник многих большевистских изданий, делегат IV и V съездов партии, депутат II Государственной думы (большевистская фракция), популярный оратор, с начала войны —

«оборонец» и член группы Г. В. Плеханова. 21 июня назвал большевиков «пассажирами германского поезда, мешающими русской армии защищать Россию». А в указанный выше день заявил Петроградскому комитету журналистов, что большевики, в том числе Ленин, — агенты германского генерального штаба.

Председатель ВЦИК и Петросовета Чхеидзе, назвав большевиков зачинщиками и заговорщиками, в то же время отверг обвинение против Ленина и РСДРП(б) в шпионаже, рекомендовав Алексинскому воздержаться от публикаций на эту тему. Чхеидзе поддержал его товарищ по меньшевистской партии министр Временного правительства Церетели. Член ВЦИК, тоже меньшевик Либер Михаил Исаакович (ярый враг большевиков, но противник всякого насилия), узнав о предполагавшейся акции, воскликнул: «История будет считать нас преступниками!» — и с ним случился сильный нервный припадок.

Ничто не остановило Алексинского. Пользуясь поддержкой министра юстиции Переверзева, он за двумя подписями — своей и Панкратова, «частных лиц», — опубликовал в бульварной газетенке «Живое слово» (все другие газеты текст отклонили) э к с п о з е (краткое изложение документов).

Если первая подпись не вызвала удивления — ренегат, ставший ярим монархистом, — то второй «подписант» разочаровал многих, его знавших.

Василий Семенович Панкратов был активным членом революционной организации «Народная воля», в 1884 году приговорен к двадцати годам каторги, водворен в Шлиссельбургскую крепость, через пять лет сослан в Вилюйск, где пробыл пятнадцать лет, бежал, участвовал в Московском вооруженном восстании 1905 года, снова отправлен в ссылку, в Якутскую область. К моменту появления газетной публикации заведовал просветительным отделом штаба Петроградского военного округа. Вскоре лично Керенский назначил его комендантом здания в Тобольске, где содержалась под арестом царская семья.

Что побудило В. С. Панкратова скоропалительно, не будучи знакомым даже с материалами следственного дела, подмахнуть сочиненный в Министерстве юстиции «документ»? Остается только гадать. Во всяком случае, он от подписи своей не отказался и сведений, содержащихся в экспозе, не опровергал.

Вся публикация была построена в основном на показаниях зауряд-прапорщика Ермоленко, сопровождалась небольшой заметкой Министерства юстиции, где, в частности, говорилось,

что с текстом ознакомлены «некоторые члены Временного правительства». Керенский, по всей вероятности, среди них не значился, если учесть, как он отнесся к рассказанному Переверзевым о Ермоленко.

«Документ» на следующий день перепечатали все крупные газеты. «Правда», разгромленная тогда же юнкерами, смогла лишь 16-го издать специальный выпуск со статьей Ленина, в которой он, отвергая «позорную клевету», писал: «Вздорность клеветы бьет в глаза... Доклад о «документах» послан был Керенскому еще 16 мая... С 16 мая до 5 июля времени уйма. Власть, будь она властью, могла бы и должна была бы с а м а «документы» расследовать, свидетелей допросить, подозреваемых арестовать».

Керенский вынужден был признаться: «Мы, Временное правительство, потеряли навсегда возможность документально установить измену Ленина... Работа... по разоблачению большевистского предательства пошла прахом».

5 июля Переверзева отправили в отставку. Но дело было все-таки сделано: для массы слово «большевик», отмечает Н. Суханов, стало надолго синонимом всякого негодяя, убийцы, хриstopродавца, которого каждому надо ловить, тащить и бить.

Нет так уж далеки были м а с с ы от истины.

В ночь с 6-го на 7 июля Временное правительство приняло постановление (без указания конкретных лиц) о предании суду всех зачинщиков и участников восстания 3 — 4-го числа. В это время на заседание прибыл с фронта Керенский и с ходу потребовал принять более решительные и конкретные меры против большевиков вообще и вожаков их в частности. Недолго размышляя, составили приказ об аресте Ленина, Зиновьева, Каменева, Коллонтай, прапорщиков Семашко, Сахарова, мичмана Ильина (Раскольников) и Рошаля, а также якобы причастных к делу о «германских деньгах большевиков» присяжного поверенного Козловского, бывшего большевика; темную личность Парвуса (Гельфанда) и родственницу Ганецкого — Суменсон в качестве подозреваемых по статьям 51, 100 и 108 Уголовного уложения (измена и организация вооруженного восстания). Позже к списку прибавили Троцкого (еще не вступившего в РСДРП(б), его примут заочно, на VI съезде партии) и Луначарского.

Какова была участь подлежащих аресту (это важно знать, чтобы понять и оценить позицию и действия Ленина).

Григорий Евсеевич Зиновьев (по судебному делу — Апфельбаум) сперва намеревался явиться в суд, но поддался уговорам товарищей и скрылся вместе с Лениным, в начале августа нелегально вернулся в Питер, вскоре вышел из подполья и возобновил работу в ЦК.

Лев Борисович Каменев (Розенфельд) 9 июля добровольно отдался в руки властей, водворен в тюрьму «Кресты», 4 августа освобожден за отсутствием оснований для обвинения.

Александра Михайловна Коллонтай заключена в петроградскую Выборгскую женскую тюрьму, 19 августа в связи с ухудшением здоровья переведена под домашний арест, 9 сентября освобождена.

Василий Васильевич Сахаров, прапорщик, возглавивший бунт полка, посажен в «Кресты», освобожден 25 октября, участвовал в захвате Зимнего дворца.

Федор Федорович Ильин (Раскольников), мичман, кронштадтец, под угрозой Временного правительства лишиться всю крепость хлеба и жалованья, 13 июля добровольно явился в столицу, препровожден в «Кресты», 11 октября под давлением матросов освобожден.

Семен Григорьевич Рошаль, один из руководителей моряков Кронштадта, отсидел в «Крестах» до 25 октября.

Лев Давидович Троцкий открытым письмом заявил, что разделяет взгляды большевиков, 22 июля отконвоирован в «Кресты», где пробыл сорок дней.

Анатолий Васильевич Луначарский «взят» одновременно с Троцким и находился в «Крестах» до 8 августа.

Яков Станиславович Ганецкий (Фюрстенберг) и Александр Львович Гельфанд (Парвус) находились за рубежом, вне досягаемости российских властей.

Е. М. Суменсон и М. Ю. Козловский освобождены под залог — соответственно в 20-х числах сентября и в начале октября.

О прапорщике Семашко достоверных сведений автору найти не удалось: под этой фамилией в литературе упоминаются разные лица.

Что же касается вождя пролетариата Владимира Ильича Ульянова-Ленина, то его рабочие и солдаты Питера не видели в глаза с утра 5 июля до ночи с 24-го на 25 октября, без малого четыре месяца.

После предупреждения, сделанного Я. М. Свердловым о возможности его, Ленина, ареста, глава большевиков за трое

суток сменил шесть(!) конспиративных «крыш», пока не устроился основательно.

8-го доложили: подготовлено надежное местечко в поселке близ станции Разлив, это примерно тридцать пять верст от Питера, все обустроит рабочий Сестрорецкого оружейного, большевик с 1904 года Николай Александрович Емельянов, почти ровесник — на год моложе Владимира Ильича... Да мы знакомы, еще с пятого года, припомнил Ленин, а как его жена, не болтушка? Ну, что вы, наш, партийный товарищ. Ребят четверо, юноши, подростки — все парни хоть куда, помогут чем надо...

В ночь с 9-го на 10-е дачным поездом (Емельянов дожидался на Приморском вокзале) Ленин и Зиновьев уехали, были со всей лаской встречены хозяйкой, Надеждой Кондратьевной. Несколько дней жили на чердаке сарая, там темновато, пыльно, скучно, перебрались на берег озера Сестрорецкое — чем не место для конспиративного житья: озеро с двух сторон огибают линии железной дороги, вдоль проходит шоссе, рядом — залив, кругом дачи, Емельянов соорудил огромный шалаш на просторной поляне, близ опушки, на виду, уговорились изображать финнов-косцов (по-фински ни бум-бум, косу в руках не держивали, городские костюмы не сменили, не подгримировались никак, днем посиживали на пенечках, либо Зиновьев уходил в лес, а Ульянов возле шалаша строчил и строчил в толстую голубую тетрадь — подходящее для косца занятие; каждое утро приплывали ребята Емельянова со свежими газетами и свежей рыбой, варили уху на костерке, из Питера навешали Серго Орджоникидзе поочередно с Александром Шотманом, тоже средь белого дня.

Кон-спи-ра-ция!

Отловить их там — ничего не стоило, сразу после приказа об аресте могли, достаточно было перекрыть железные дороги и шоссе. И двумя-тремя полками прочесать местность. А они трижды обыскивали квартиру Елизаровых, один раз — дачу Бонч-Бруевича в Нейвола (как будто если оттуда приехал 4-го в Питер, туда и вернуться был должен, за дурака посчитали, что ли?). Да что, контрразведка у Керенского зря хлеб ела, не держала осведомителей... Удивительное дело — не нашли. Потому что не шибко искали.

А советские историки сколько лет втолковывали, пропагандисты перетолковывали: он-то хотел идти в суд, но партия запретила! И верно, запретила. Сначала, впрочем, на двух встречах нескольких функционеров, не имевших над Ле-

ниным никакой власти, но зато после — высший орган, партийный съезд, запретил. Однако — когда? 27 июля, в ту пору, когда все, кому положено, уже сидели. А грех не подчиниться, тем более — и лес тут под боком, и озеро, и трава-мурава, и пища каждый день свежайшая, и спать в шалаше уютно, и разговоры с Григорием умные, и ни разу не поссорились.

О том, что о т д ы х а л и тут вдвоем с Зиновьевым, впоследствии, по Сталину, врагом народа, наша историография помалкивала, как партизан на допросе. Даже в «Биографической хронике», якобы самом распронаучном издании — эти дни описаны только с употреблением единственного числа: Ленин поехал... прибыл... жил... встречался... Зиновьев — как человек-невидимка, фантом, мнимость. Лишь в 1961 году, во времена хрущевской о т т е п е л и, чудом прорвалась повесть отличного писателя Эммануила Казакевича «Синяя тетрадь», об этом самом. Вот был бестселлер, вот был гром! Ленин с Зиновьевым из одного котелка уху черпает! А повесть, увы, тем не менее фальшивая, сладенькая, Ленин там и з р е - к а е т, всех поучает, нет ни единого слова, кроме как про революцию...

Жили-поживали на природе до 6 августа, стало холодать по ночам, и, на этот раз в парике, гриме, с фальшивыми документами, Ленин в сопровождении Николая Емельянова, Эйно Рахья и Александра Шотмана убирается подальше, в Финляндию, а будущий враг народа, предатель и изменник Зиновьев — прямоком в Питер, на работу, в ЦК.

Эх, Александр Федорович, Александр Федорович, а ведь могли вы уберечь Россию от громаднейшей беды...

## 2

В канун июльских демонстраций и пальбы Временное правительство, словно не чувствуя, что грянет завтра, как уже говорилось, обсуждало важный, однако не экстренный вопрос о независимости Украины. В мнениях разошлись, и следом за ранее сдавшим свой министерский портфель А. И. Коноваловым заявили о выходе из правительства кадеты А. И. Шингарев, князь Д. И. Шаховской, А. А. Мануйлов и товарищ министра В. А. Степанов. Первая коалиция перестала существовать, от нее остались князь Г. Е. Львов, «триумвират» (никто не ведал, что — масонский, но про единение Керенского, Некрасова, Терещенко знали, конечно, все, и не только в прави-



тельстве). И остались «социалисты»: Переверзев (снятый с должности через три дня), Чернов, Скобелев, Пешехонов, Церетели, да «неопределенный» однофамилец председателя В. Н. Львов, да неприметный государственный контролер Годнев.

7-го утром объявил о сложении своих полномочий министра-председателя и министра внутренних дел Г. Е. Львов. По словам П. Н. Милюкова, глава первой коалиции добросовестно дотянул до конца ее существования и незлобиво ушел в тот момент, когда его место понадобилось для нового возвышения Керенского, которого князь услужливо рекомендовал в свои преемники. По свидетельству одного из осведомленных современников, Георгий Евгеньевич приватно сказал: в сущности, я ушел потому, что мне ничего не оставалось делать. Для того чтобы спасти положение, надо было разогнать Советы и стрелять в народ. Я не мог этого сделать. А Керенский может. А еще Львову приписывают слова об Александре Федоровиче: он был на месте со своим истерическим пафосом только тогда, когда нужно было разрушать...

В этих оценках есть изрядная доля правды, хотя Керенский повел себя и так, и не так, как предсказывал умный Львов.

Сделавшись министром-председателем (сбылась заветная, с первых дней революции, мечта!), Александр Федорович оставил за собою портфели военного и морского министра, а должность министра внутренних дел временно, до формирования нового состава правительства вручил Церетели (по совместительству с занимаемым постом министра почт и телеграфов). И представил на рассмотрение оставшимся министрам-социалистам проект правительственной декларации. Те вооружились ножницами и перьями, принялись кромсать ее вдоль и поперек, направо и налево, предполагая — или зная, — что не им придется сию декларацию проводить в жизнь. Поправки делали с прицелом на возвращение в правительство кадетов.

В частности, выбросили пункты о провозглашении России республикой, о роспуске Государственной думы и Государственного совета. Программную задачу Временного правительства сформулировали так: «Напряжение всех сил для борьбы с внешним врагом и для охраны нового государственного порядка от всяческих анархических и контрреволюционных покушений, не останавливаясь перед самыми решительными мерами власти». Такие важные пункты, как обещание созвать в срок Учредительное собрание, провести переговоры с союз-

никами о целях войны, подготовить законы о регулировании хозяйственной жизни и контроле над промышленностью, по рабочему и аграрному вопросам, отодвинули на задний план, трактуя их как выбрасывание массам.

Кадеты, однако, требовали большего, в частности официального отстранения Советов от государственных дел. ЦИК и исполком крестьянского Совета пошли на полную капитуляцию, постановили объявить формируемый кабинет «правительством спасения революции», имеющим чрезвычайные полномочия. Такая официально признанная независимость правительства от Советов объяснялась в числе прочего и тем, что в провинции возмущение политикой Временного правительства не было столь выраженным, как в столице, не было тогда, по словам Ленина, всенародного революционного подъема.

Было решено наделить Керенского правом самолично намечать кандидатов в состав нового правительства.

Вполне удовлетворенный всем этим, военный министр и глава практически еще не существующего правительства отбыл на фронт, успев подписать постановление о расформировании участвовавших в манифестациях полков и приказ об аресте и предании суду лиц, ведущих антиправительственную агитацию.

### 3

После провала наступательных операций русской армии 10 — 30 июня через неделю ударные части вооруженных сил Германии под командованием генерала фон Ботмера завершили подготовку контрнаступления против русской 11-й армии Юго-Западного фронта в районе между Зборовом и рекой Серет, куда перебросили шесть отборных дивизий и большое количество артиллерии; в состав группировки входили и австрийские войска.

На рассвете 6 июля фон Ботмер предпринял мощную атаку, прорвал фронт в районе Калуша, что привело к отходу 7-й и 8-й русских армий и вызвало поспешный выезд Керенского в зону боевых действий. В первой половине дня 8-го он прибыл в штаб главнокомандующего Западного фронта Деникина, войскам которого предстояло назавтра вступать в бой. Настроение солдат показалось Керенскому превосходным; он глубоко ошибался.

В сухих, лишенных эмоций мемуарах Керенского вдруг прорвалось неожиданное:

«Ни разу за все время пребывания на фронте не было у меня столь сильного желания, как тогда, провести всю ночь в окопах с солдатами, а наутро пойти с ними в бой. И никогда прежде не испытывал я такого стыда, что не делаю того, к чему призываю их. Уверен, что всем людям, облеченным особой ответственностью, довелось пережить в жизни минуты горького презрения к самим себе, но у меня, как и у других, не было выбора: сражению предстояло начаться на следующий день, а мне ничего не оставалось, как возвратиться в Петроград...»

Дальше уже идет привычное кокетство, но эти строки дорогого стоят, хочется верить в их искренность, как верится в подлинную верность Керенского делу революции, той, Февральской, которая могла сделать Россию процветающей, свободной, просвещенной, — и не сделала, и во многом тут повинны не только объективные причины и обстоятельства, не только большевики, но и Александр Федорович, один из самых ярких людей во всех составах Временного правительства, чьи плечи да и способности оказались слабее ноши, взваленной на него по прихоти Истории и по его жгучему желанию, несоизмеримому с реальными возможностями.

На следующее утро, спозаранку, он уехал, а войска Деникина пошли на штурм вражеских позиций, и о том написал фактический тогда глава германского верховного главнокомандования генерал пехоты Эрих Людендорф:

«Наиболее яростным атакам 9 июля и в последующие дни подверглись войска... в районе Крево, к югу от Сморгона. Здесь русские прорвали растянувшуюся на большом протяжении линию обороны одной из пехотных дивизий, несмотря на проявленное ею мужество. В течение нескольких дней положение казалось крайне серьезным, пока его не восстановили введенные в бой резервы и артиллерия. Русские ушли из наших окопов».

Ушли — это неточно. Как показало расследование, дивизия была буквально сметена с лица земли огнем артиллерии противника, ее потери составили 95 офицеров, включая двух полковых командиров, и около 2 тысяч солдат из уже неполного состава.

Западный, Румынский и Северный фронты вели активные боевые действия двое суток, но затем солдаты отказались наступать и самовольно покинули передовую. Правда, Румынский фронт еще продвигался вперед, но ввиду неблагоприятной

обстановки на Юго-Западном фронте боевые действия здесь были прекращены по приказу Керенского 14 июля.

Ожесточенные бои германских войск с 24-го по 30-е закончились лишь их незначительным продвижением. Командование начало их переброску в район Риги.

В итоге июньско-июльских боев русские войска оставили Галицию, потеряв свыше 150 тысяч человек, что привело к падению морального состояния войск, усилило антивоенные и антиправительственные настроения.

#### 4

Прекратив боевые действия на Румынском фронте, Керенский предложил Верховному главнокомандующему Брусилову провести 16 июля в Ставке (в Могилеве) совещание высших генералов (кого именно — по усмотрению главноверха), чтобы выяснить действительное состояние фронтов, последствия июльского разгрома (определение Деникина) и направление военной политики в ближайшем будущем.

На совещании присутствовали: Александр Федорович Керенский, Алексей Алексеевич Брусилов, министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко, начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Александр Сергеевич Лукомский, военный советник правительства генерал Михаил Васильевич Алексеев, генерал в отставке Николай Владимирович Рузский, главнокомандующий Северного фронта генерал Владислав Наполеонович Клембовский, главнокомандующий Западного фронта генерал Антон Иванович Деникин, начальник его штаба генерал Сергей Леонидович Марков, комиссар Юго-Западного фронта Борис Викторович Савинков, еще несколько генералов и офицеров из свиты военного министра.

Предполагалось участие генералов Василия Иосифовича Гурко и Абрама Михайловича Драгомирова, но Керенский, что было не внове, попросту закапризничал по-дамски, телеграфировал, что, если они будут на совещании, — там не будет его. Лукомский предполагает, что министр, зная прямолинейность и резкость обоих генералов, выдвинутых войной, опасался нелицеприятной критики — ее Александр Федорович ох как не любил. Брусилову пришлось извиняться перед уважаемыми военачальниками, естественно незаслуженно оскорбленными. Керенский извиняться и не подумал.

Отсутствовал и главком Юго-Западного фронта генерал Лавр Георгиевич Корнилов ввиду тяжелого положения на его участке. Брусилов телеграфировал, чтобы свои соображения тот высказал письменно.

Совещание открыл Брусилов, сказал несколько общих, ни к чему не обязывающих фраз и в дальнейшем помалкивал. Слово сразу предоставил Деникину.

Антон Иванович начал без экивоков: прошу меня извинить, я говорил прямо и открыто при самодержавии царском, таким же будет мое слово и теперь — при с а м о д е р ж а в и и р е в о л ю ц и о н н о м .

И он — с к а з а л !

...Вступив в командование фронтом, я застал войска его совершенно развалившимися... Многие части потеряли не только нравственно, но и физически человеческий облик... В полках по восемь — десять самогонных спиртных заводов; пьянство, картеж, буйство, грабежи, иногда убийства... Войска отказываются идти в бой... После выступления господина Верховного главнокомандующего на митинге его принимали восторженно, а после его отъезда продолжали выступать другие ораторы, призывали не слушать «старого буржуя» и осыпали его площадной бранью... Военного министра слушали восторженно тоже, но, когда он покинул полк, вынесли постановление: «не наступать»... Комиссары и комитеты вносят двоевластие, допускают преступное вмешательство, разлагают армию... Смещают старших начальников, отменяют их приказы... С поля боя бегут целыми полками и дивизиями... Говорят, армию разлагают большевики — я протестую. Армию разлагают другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма... Развалили лица, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии... В результате ряда законодательных мер упразднена власть и дисциплина, оплеван офицерский состав... Высшие военачальники, включая главнокомандующих, выгоняются, как домашняя прислуга... Военный министр заявил на Северном фронте, что может в двадцать четыре часа разогнать весь высший командный состав и армия ему ничего не скажет...

Он заканчивал почти двухчасовую речь.

Обращаюсь к Временному правительству:

ведите русскую жизнь к правде и свету — под знаменем свободы! Но дайте и нам реальную свободу вести в бой войска под боевыми знаменами. Есть Родина. Есть море пролитой

крови. Есть слава былых побед. Но вы — вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними. Если в вас есть совесть.

Керенский встал, пожал Деникину руку, сухо сказал: спасибо, генерал, за смелое, искреннее слово.

В заключительной речи Керенский оправдывался, указывал на неизбежность и стихийность «демократизации» армии, обвинял старый режим. И не дал никаких конкретных указаний.

Через два дня Брусилов был уволен с должности главноверха. Керенский объяснил это катастрофичностью положения фронта, отсутствием в армии твердой руки, неспособностью генерала разбираться в событиях и предупреждать их, отсутствием влияния на солдат и офицеров. В тот же день, 19 июля, на пост Верховного главнокомандующего Временное правительство назначило генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова. Никто не мог предвидеть последствий этого решения.

## 5

После долгих споров, переговоров, согласований, утрясок, уступок, компромиссов, борения личных амбиций, начавшихся 7 июля, — в конце концов 24-го числа было окончательно сформировано второе коалиционное (кадеты в него вошли, поймавшись) Временное правительство. Волею Провидения, ходом Истории, обостряющейся борьбой ему дано было существовать тридцать четыре дня — до 26 августа.

Должности в нем остались те же самые, кроме обер-прокурора Синода. От предыдущего состава вошли 6 человек, большинство (за исключением А. Ф. Керенского и Н. В. Некрасова) сохранили прежние портфели. 9 министров оказались новичками.

Остались из первого коалиционного:  
министр-председатель (новая для него должность), военный и морской министр А. Ф. Керенский;  
министр иностранных дел М. И. Терещенко;  
министр земледелия В. М. Чернов;  
министр финансов (бывший — путей сообщения) и заместитель министра-председателя (впервые) Н. В. Некрасов;  
министр продовольствия А. В. Пешехонов;  
министр труда М. И. Скобелев.

Вошли в правительство впервые:

министр внутренних дел Николай Дмитриевич Авксентьев (1878—1943), доктор философии, эсер;

министр юстиции Александр Сергеевич Зарудный (1863—1934), юрист, член партии народных социалистов, масон;

министр торговли и промышленности Сергей Николаевич Прокопович (1871—1955), доктор философии, «нефракционный социалист», масон;

министр путей сообщения Петр Петрович Юренев (1874—1943), инженер путей сообщения, кадет;

государственный контролер Федор Федорович Кокошкин (1871—1918), профессор-юрист, кадет;

министр просвещения Сергей Федорович Ольденбург (1863—1934), академик-востоковед, кадет;

министр исповеданий (пост учрежден вместо должности обер-прокурора Синода) Антон Владимирович Карташев (1875 или 1870—1960), профессор богословия, кадет;

министр государственного призрения Иван Николаевич Ефремов (1866—после 1933), окончил физико-математический факультет университета, «прогрессист», масон;

министр почт и телеграфов Алексей Максимович Никитин (1876—?), юрист, меньшевик, масон.

Все без исключения — с высшим образованием, в том числе академик, пятеро профессоров и докторов наук. Весьма показательно — и полезно для правительства — наличие пятерых юристов и четверых экономистов по образованию. Кадетов оказалось пятеро, эсеров четверо, двое меньшевиков, остальные — социалисты «разных мастей». И — семеро масонов.

Кратковременная деятельность нового Временного правительства характерна стремлением укрепить персональную власть Керенского, его военные функции. Был учрежден пост управляющего Военным министерством, его занял — с правами товарища министра — известный в прошлом эсеровский террорист, руководитель их боевой группы Борис Викторович Савинков (1879—1925), человек огромной личной смелости и решительности, умный, находчивый, склонный к авантюрам. Был сформирован — правда, с неопределенными функциями — Комитет обороны, в составе ведущих министров: самого Керенского, его заместителя Некрасова, а также Авксентьева, Терентьева и Пешехонова (кроме последнего — все масоны). Учреждена личная канцелярия министра-председателя.

Под лозунгом спасения революции усиливались карательные меры. Еще до окончательного формирования правительства, 12 июля, была восстановлена смертная казнь на фронте и учреждены «военно-революционные суды» (по образцу царских военно-полевых судов). Военному министру и министру

внутренних дел были предоставлены исключительные полномочия по борьбе с антиправительственным и антивоенным движением, в частности право запрещать проведение соответствующих собраний и съездов, закрывать неугодные газеты и журналы.

Ради укрепления государственной власти правительство пошло на укрепление связей с Церковью. Должность обер-прокурора Синода, обладавшего контролируемыми и директивными функциями, была упразднена, вместо него учреждено Министерство исповеданий, состоявшее из Департамента по делам Православной Церкви и Департамента по делам инославных и иноверческих исповеданий. 15 августа это благое дело благословил Поместный собор Православной Церкви.

Решили хоть как-то сдвинуть — хотя бы формально — с мертвой точки вопрос о созыве Учредительного собрания. С 7 августа действовала Всероссийская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия (Всевыборы) под руководством кадета Н. Н. Авинова. При этом срок выборов был перенесен с 17 сентября на 12 ноября, а созыв соответственно с 30 сентября на 28 ноября. (Комиссия только в сентябре провела кампанию по составлению списков избирателей.)

У растерянного Керенского возникла навязчивая идея возможности монархического переворота. Его, как и многих социалистов, скорее напугало, чем обрадовало рвение, с которым верные правительству воинские части подавляли июльский мятеж. Как ни удивительно, но до сей поры для Александра Федоровича большевики являли собой угрозу лишь как люди, провоцировавшие действия... монархистов (такое суждение высказывает Ричард Пайпс). 7 июля Керенский настоял на отправке царской семьи подальше от греха — в Сибирь, в целях и собственной, и их безопасности.

А еще происходило в ту пору «великое переселение народов». Ради престижности, что ли, Временное правительство переехало в Зимний дворец, где заняло бывшие покои Николая II, а Керенский — Александра III, где не только работал, как его коллеги, но и жил, чем дал повод для недоброй сплетни, будто спит в опочивальне царицы, за что немедленно получил прозвище «Александра Федоровна».

Освобожденный правительством Мариинский дворец вскоре стал резиденцией Временного Совета Республики (Предпарламента).



ВЦИК и Петросовет покинули Таврический дворец и заняли половину здания Смольного, не вышвырнув, правда, из другой половины Институт благородных девиц (что тоже дало повод к шуткам и насмешкам).

Таврический некоторое время пустовал, потом его начали приводить в порядок, предназначив для размещения Учредительного собрания.

Изгнанные из дворца Кшесинской, большевистские органы пристроились на обочинах, не претендуя больше на пышные хоромы: Центральный Комитет обрелся где-то близ Кировской, в районе Литейного, а Петроградский — вовсе на отшибе, в Нарвском районе, около Петроградского шоссе.

Обиталища эти всем им пришлось занимать не долго...

## Глава третья

К августу большинство земств и городских управ уже были реорганизованы на основе принципа всеобщего голосования. После восстания 4 июля большевики в Советах, особенно в провинции, практически потеряли всякое влияние. Да и сами Советы, сыграв свою роль в период падения монархии, по сути дела, были на грани самораспада... Многие из них прекратили существование, еще больше существуют лишь на бумаге.

*А. Ф. Керенский*

### 1

26 июля в столице, на Выборгской стороне, в доме 62 по Большому Сампсониевскому проспекту полулегально открылся VI съезд РСДРП(б). Оно проходило без основных «вождей»: Ленин по-прежнему трусливо прятался и «руководил» съездом через связных, посылая записки и распоряжения, Троцкий (он еще не был членом большевистской партии, принят в нее с большой группой своих товарищей-«межрайонцев» на этом съезде, но уже был виднейшей фигурой) сидел в тюрьме, Зиновьев скрывался вместе с Лениным.

Высказавшись против явки в суд Ленина и Зиновьева, съезд продемонстрировал нерешительность, неуверенность в борьбе против власти Временного правительства, хотя в декларациях заявлял о готовности добиться победы над ним, о резком изменении своей тактики.

Съезд постановил временно снять лозунг «Вся власть Советам!», заявил о завершении мирного периода развития революции и взял курс на подготовку вооруженного восстания, которое привело бы к установлению диктатуры пролетариата. 3 августа он закончил свою работу.

В первой половине августа Петроград не переживал потрясений, какие выпали ему в апреле, июне, июле. Но за внешним спокойствием назревал глубинный взрыв. Большевики пока призывали не поддаваться на возможные провокации, удерживали рабочих и солдат от разрозненных, стихийных действий, следить за развитием событий; они не преминули вскоре развернуться.

### 2

Керенский в ту пору говорил: мы в правительстве все время ощущаем необходимость установить более тесные связи со

всеми организованными силами страны и в то же время изложить и объяснить как нашу политику, так и стоящие перед нами проблемы.

31 июля Временное правительство приняло постановление: «Ввиду исключительности переживаемых событий и в целях единения государственной власти со всеми организованными силами страны, созвать 12 — 14 августа Государственное совещание в Москве». Текст был написан Керенским, инициатива принадлежала ему. Подлинная цель созыва совещания заключалась в сплочении сил вокруг правительственной программы, в попытке создать поддержку ее народом и в умалении и без того бесконечно слабых авторитета и роли Советов. Вот почему на совещание были приглашены депутаты Государственной думы всех четырех созывов (самая крупная делегация), представители кооперации, торгово-промышленных кругов и банков, профсоюзов, городских дум, земств, Советов крестьянских и Советов рабочих и солдатских депутатов, научных организаций, интеллигенции, буржуазно-националистических организаций, духовенства, комиссаров Временного правительства и само оно в полном составе, — всего около 2500 человек. Местные Советы допущены не были. Большинство делегатов составляли кадеты и монархисты. Большевики присутствовали только как представители профсоюзов, кооперации и т. п., а не как самостоятельная делегация.

Ответ на это ЦК РСДРП(б) в резолюции, принятой 6 августа, решил создать на совещании свою фракцию, которая должна была выработать декларацию, зачитать ее перед началом работы совещания и демонстративно покинуть зал.

Для проведения совещания Керенский и его правительство избрали Москву — и не случайно. Им казалось, что на удалении от беспокойного Питера, революционного Балтфлота легче обойтись без всяких общественных, тем более антиправительственных эксцессов. Кроме того, первопрестольная представлялась им возможным полюсом и оплотом «национальной России», и перемещение сюда центра всей политики может привести к национальному сдвигу, укреплению власти и, возможно, ее окончательному выздоровлению — так заявил профессор Московского университета князь Евгений Николаевич Трубецкой. Более откровенно высказалась черносотенная питерская газета «Вечернее время»: «Московские идеи, московские настроения далеки от гнилого Петрограда — язвы, заражающей Россию».

Казалось, и правительство, и сиятельный историк, и громылы «Черной сотни» были правы. Участники совещания съезжались во вторую столицу заранее — и просто погулять вволю, посмотреть на древний город, и потолковать перед началом еще не виданного, европейского по форме, российского по размаху схода. Словом, время проводили и для удовольствия, и с пользой для дела.

8 августа в квартире известного московского врача, кадета Николая Михайловича Кишкина (будущего министра последнего состава Временного правительства) тайно собралось несколько человек, громко назвавших себя Съездом общественных деятелей. То были: Павел Николаевич Милюков, видный юрист Василий Алексеевич Маклаков, бывшие члены Временного правительства Владимир Николаевич Львов и Андрей Иванович Шингарев; октябристы — член III и IV Государственной думы Сергей Илиодорович Шидловский и председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко. По поручению главковерха Л. Г. Корнилова перед ними выступил член Главного комитета Союза офицеров капитан В. И. Роженко. Он изложил план заговора, рассчитанного на то, что вот-вот должно начаться организуемое большевиками восстание. Участники «тайной вечера» сошлись на том, что план слишком эскизен, недоработан, а главное, неисполним. Однако в резолюции осудили Временное правительство за то, что оно ведет страну по ложному пути, и потребовали от него решительных действий в борьбе с «ядовитыми всходами... во всех областях народной жизни».

В тот же день прошел II съезд представителей торговли и промышленности, на котором прозвучали открытые призывы к контрреволюционному мятежу, к разрыву с «комитетами и советами и другими подобными организациями». Один из организаторов съезда, крупнейший фабрикант и банкир Павел Павлович Рябушинский, с трибуны заявил: «Нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они опомнились». (В большевистской прессе эта фраза была истолкована как призыв к буржуазии задушить революцию «костлявой рукой голода» — статьи Сталина и Зиновьева — и на протяжении многих десятилетий цитировалась именно так, выдернутой из контекста, с противоположным сказанному смыслом.)

Перед совещанием Москву поставили на положение особой охраны, были приведены в боевую готовность военные училища, повсюду расположились специальные инспекторы, которым подчинялись все чины милиции. Началась открытая мобилизация всех антипролетарских, антисоветских сил. В армии формировались ударные части, «батальоны смерти», союзы георгиевских кавалеров и т. д. Возникли «Военная лига», «Союз воинского долга», «Союз спасения Родины», «Союз чести» и другие — все они сходились в одном: установить сильную, твердую, незыблемую власть, то есть, попросту говоря, диктатуру. «Она должна начаться с армии и распространиться на всю страну», писала 12 августа газета «Утро России».

Большевики тоже не дремали. По решению общегородской их конференции при поддержке профсоюзов в день открытия совещания состоялась всеобщая стачка рабочих Москвы, в ней участвовало свыше 400 тысяч трудящихся города и окрестностей. Забастовки и митинги протеста прошли в других промышленных городах: Киеве, Харькове, Екатеринбурге, Саратове и т. д. Стачка сыграла большую роль в подготовке к большевистскому перевороту.

### 3

Солнечная Москва выглядела с утра 12 августа непривычно: всегда оживленная, всегда по-особому, по-московски, говорливая, она словно обезлюдела, будто пережила повальный мор; только воздух казался — или был — чище и прозрачнее, нежели всегда: остановились фабрики и заводы, не дымили их трубы. Но тревожно, как перед погромом, выглядели закрытые ставнями витрины магазинов, исчезли неведомо куда извозчики — и лихачи, и «ваньки». Не рассыпали искры шустрые трамваи. Не открывались двери ресторанов, бытовых мастерских, кинотеатров. Не отправлялись с вокзала дачные поезда. Не светило электричество там, где ему и днем полагалось гореть. Словом, Москва замерла, жизнь кипела только в самом центре, в округе Большого театра, оцепленного тремя шеренгами юнкеров, — здесь собралось не меньше десяти тысяч горожан: кто выразить протест, кто поглазеть на публику, приглашенную сюда, а кто и приветствовать их. И важно, и торопливо, и смущенно, показав пропуск, делегаты собирались подняться по ступеням, войти в тяжелые двери, оставить в

гардеробах легкие плащи, шляпы, кепки и занять указанные места в прекрасном пятиярусном зале... «Чистая» публика заполняла его, и лишь на галерке мелькали солдатские рубахи и пиджачки рабочего люда.

В три часа пополудни на сцене появились все члены Временного правительства. Керенский занял председательское место. Выждал, пока смолкнут аплодисменты. Заговорил сначала спокойно: объявляю Государственное совещание, созванное верховной властью государства Российского, открытым под моим председательством как главы Временного правительства...

П. Н. Милюков вспоминал: на трибуне стоял молодой человек с измученным, бледным лицом в заученной позе актера. Выражением глаз, которые он фиксировал на воображаемого противника, напряженной игрою рук, интонациями голоса, который то и дело поднимался до крика и падал до трагического шепота, размеренностью фраз и рассчитанными паузами этот человек как будто хотел кого-то утратить и на всех произвести впечатление силы и власти...

Павлу Николаевичу вторит Владимир Дмитриевич Набоков, управляющий делами Временного правительства: Керенский произвел удручающее и отталкивающее впечатление. То, что он говорил, не было спокойной и веской речью государственного человека, а сплошным истерическим воплем психопата, обуянного манией величия. Чувствовалось напряжение, доведенное до последней степени желание произвести впечатление, импонировать.

Он говорил без малого два часа. О многострадальной родине... о чести и достоинстве русской демократии... о том, что каждое его слово — только правда... И главное, о том, что железом и кровью подавит движение, подобное июльскому... И что вместе с союзниками будет продолжать войну до победного конца...

По обыкновению войдя окончательно в раж, Александр Федорович выкрикивал нечто не совсем внятное: он-де вырвет цветы из своего сердца, растопчет их, запрет сердце на ключ, а ключ кинет далеко в пропасть...

Некая дама истерично кричала с места: не надо, не надо! И разразилась рыданиями. Кто-то из первых рядов рванулся целовать оратору руки.

Он, по-видимому, совершенно потерял самообладание, вспоминал Набоков, и молот такую чепуху, которую пришлось тщательно вытравлять из стенограммы.

Слушали его — кто с привычной усмешкой, кто с изумлением, кто с восторгом. А он, отговорив, как водится, упал в кресло за столом президиума, но тотчас, видимо, спохватился, что публика этого не поймет, как понимали близкие и знакомые, сел прямо, закрыв лицо ладонями... Следом выступал — с приветствием — городской голова эсер Вадим Викторович Руднев. Трудно было ему говорить после т а к о й речи, он очевидно смущался, спотыкался, хотя ораторствовать был привычен.

Но главное событие произошло на следующий день, 13-го: столица встречала Верховного главнокомандующего, вдруг ставшего национальным героем, генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова.

На всем протяжении длинющего перрона Александровского вокзала загодя выстроились георгиевские кавалеры — офицеры и солдаты — каждый с огромным букетом. Почетный караул от Александровского военного училища и женского батальона. Члены Государственной думы и представители торгово-промышленных кругов...

Поезд приближался медленно, торжественно, з н а ч и т е л ь н о. Под звуки военного оркестра и громогласные «Ура!» на площадке салон-вагона возник маленький, невзрачный, с азиатским лицом Корнилов — мундир с аксельбантами, два «Геоργия» — в петлице и на шее. Личный конвой — текинцы из «дикой дивизии» — выпрыгнули из других вагонов, рассыпались цепью вдоль всего состава, установили пулеметы, направленные дулами во все стороны. Корнилов не спустился, а соскочил на перрон, принял рапорт начальника почетного караула, не дрогнув мускулами лица, выслушал приветственную речь бывшего министра «однородного правительства» Федора Измайловича Родичева, тот разливался соловушкой: вы теперь символ нашего единства, на вере в вас мы сходимся все, вся Москва. И мы верим, что... клич — да здравствует генерал Корнилов! — теперь клич надежды — сделается возгласом народного торжества. Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас! Гряди, вождь, спасай Россию!

Офицеры подхватили Корнилова на руки, намереваясь нести к автомобилю. Однако новоявленный и нововенчанный в о ж д ь отбрыкнулся: он пожелал остаться в собственном поезде.

Возвращаясь мыслями к тем трем дням, писал впоследствии Керенский, я сегодня понимаю, что совершил тогда одну большую ошибку. К тому времени я уже знал о готовящемся военном заговоре, имена некоторых его главарей.

Поезд главковерха в этот и последующие дни посетили казачий атаман генерал от кавалерии Алексей Михайлович Каледин, советник Временного правительства генерал Михаил Васильевич Алексеев, Павел Николаевич Милюков, известный черносотенец, один из убийц Григория Распутина монархист Владимир Митрофанович Пуришкевич, крупнейшие предприниматели Александр Иванович Вышнеградский и Александр Иванович Путилов,— все они, люди разных воззрений и политических убеждений, искали контакта с предполагаемым диктатором.

#### 4

Лавр Георгиевич Корнилов родился в 1870 году в одной из станиц Семипалатинской области, в семье казака, своим горбом за долгие годы дослужившегося до чина хорунжего (подпоручика), тогда второго снизу по табели о рангах. После ухода в отставку был волостным писарем, семья жила чрезвычайно бедно, и Лавр смог окончить всего два класса приходской школы. Кое-как умея читать и писать, без посторонней помощи, сам подготовился и был зачислен в Сибирский кадетский корпус, окончив его первым среди прочих. Был направлен в Михайловское артиллерийское училище. Затем с отличием окончил Академию Генерального штаба. В перерывах между учением и после академии служил в войсках Туркестанского округа, в его штабе, совершил несколько полевых поездок, опубликовал научные статьи и книгу. В совершенстве владел местными языками. Участвовал в русско-японской войне, был военным агентом (атташе) в Китае. В начале Первой мировой войны, будучи начальником дивизии, попал в плен (тяжелораненым), через год бежал. Это произвело сенсацию не только в армии, но и в обществе: конечно, побег из германской неволи случались, но совершали их солдаты, младшие офицеры, но уж никак не полковники и генералы, находившиеся, естественно, под особой охраной и постоянным наблюдением. Сразу же карьера Корнилова пошла вверх: он стал



командиром корпуса, а вскоре, после Февраля, командующим войсками Петроградского военного округа.

Он был предприимчив, бесстрашен, любознателен, независим, горд, но и прост в обращении, доступен, неприхотлив в быту, знал солдатский быт, натуру, запросы, за что его и любили солдаты. Да и внешне — если бы не генеральские погоны — не отличался от них: обыкновенное, невыразительное, калмыцкого типа лицо, невысокий рост, отсутствие генеральской выправки, нескладно сидящий мундир... Он умен, отменно разбирается в любом порученном деле. От политики, в общем, далек, карьере заслужил благодаря военным талантам.

Как и все военные, честолюбив, но при этом независим, знает себе цену, не кинется очертя голову, получив лестное предложение. Когда по совету своего ближайшего помощника Бориса Савинкова Керенский в срочном порядке в ночь с 7-го на 8 июля поручил Лавру Георгиевичу командование Юго-Западным фронтом, а уже через трое суток предложил пост Верховного главнокомандующего, Корнилов не торопился, он посоветовался с друзьями-генералами и высказал военному министру такие соображения: ограничить в правах армейские комитеты, вернуть офицерам дисциплинарные права, ввести смертную казнь на фронте и в тылу, подчинить военному командованию оборонную промышленность и железнодорожный транспорт. Уже после официального назначения в должность Временным правительством (18 июля) письменно заявил, что согласен принять командование на следующих условиях: он будет отвечать только перед собственной совестью и перед народом (читай: никому не подчиняться); он будет совершенно независим, отдавая приказы и производя назначения; дисциплинарные меры, которые он обсуждал с правительством (точнее, с Керенским), включая смертную казнь, будут действовать также и для тыловых частей (с введением ее на фронте Керенский уже согласился); правительство примет предложения, выдвинутые им прежде. Александр Федорович рассердился, но вынужден был согласиться на этот ультиматум, поскольку весьма нуждался в Корнилове, хотя большинство требований выполнять не собирался. Условия Корнилова просочились в печать — похоже, с его согласия — и вызвали сенсацию. Слава Лавра Георгиевича выросла еще больше. 24 июля он приступил к исполнению новых обязанностей. Начальником штаба при нем оставался Александр Сергеевич Лукомский.

Нельзя сказать, что Керенский совершил ошибку, не ведал, что творил, выдвигая на самую вершину власти человека с явными диктаторскими замашками. Он и сам уже достаточно явно стремился к установлению своей личной диктатуры, но, как предполагает, в частности, Ричард Пайпс, боялся близкого восстания большевиков, боялся разрыва с Советами, всячески заигрывая с ними, уже давно практически бессильными, и не принимая решительных мер против ленинской партии. Он — не без оснований — видел, что вокруг Корнилова сплачиваются все антидемократические силы, что генерал становится знаменем плетущихся заговоров правых элементов, — и тем не менее предполагал, что фактически получивший диктаторские полномочия Корнилов расправится с опасностью, угрожавшей Временному правительству и самому Керенскому и справа, и слева. Тем более что генерал в выражениях не стеснялся и особенно своих намерений не скрывал, по крайней мере пред близкими. Так, он сказал Лукомскому, что при необходимости разгонит Совет, повесит его лидеров, расправится с большевиками, установит в России твердую власть, способную спасти страну и армию. При этом сулил не использовать свои силы против Временного правительства и сохранить его. Вполне допустимо, что, как теперь выражаются, утечка информации при этом была, и Керенского такая позиция Лавра Георгиевича устраивала.

## 5

Совещание общественных деятелей, проходившее накануне открытия Государственного совещания в Москве, не ограничилось «тайной вечерей» в квартире Кишкина. Оно продолжилось — в виде пышного приема, устроенного Рябушинским в своем особняке, где присутствовали около четырехсот представителей торгово-промышленных кругов, деятелей правого направления. Тогда же Родзянко телеграфировал Корнилову: «Совещание общественных деятелей приветствует Вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв Вашего авторитета в армии и России считает преступными. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на Вас с надеждой и верою». (Однако когда Корнилов начал действовать, Родзянко занял позицию «сочувствия, но не содействия». Но телеграмма, конечно, придала генералу дополнительной уверенности.)

Утром 14 августа зал Большого театра оказался переполненным. Члены Государственного совещания и гости ждали выступления Верховного главнокомандующего. А за сценой Керенский уговаривал Корнилова не затрагивать политические проблемы, ограничиться вопросами военными. Корнилов нехотя согласился, при условии, что скажет все за него Каледин.

Столь вождельно ожидаемая речь главоверха разочаровала слушателей. И без того неважный оратор, — он умел хорошо, доступно, понятно, по-доброму выступать лишь перед солдатами, — генерал сказал уже привычные слова о разложении армии, об укреплении дисциплины, о восстановлении власти и престижа офицеров, кратко оповестил о положении на фронтах. И закончил: я верю в разум русского народа, верю в его светлое будущее.

От него ожидали большего. Но он либо сам не хотел, либо сдержал слово, данное главе правительства.

Зато, как и обещал Лавр Георгиевич, «за него» сказал генерал от кавалерии казачий атаман Алексей Максимович Каледин, перешеголять его было трудно. Он требовал полного запрещения митингов и собраний, упразднения всех Советов и комитетов на фронте и в тылу, пересмотра «Декларации прав солдата», введения равных карательных мер на фронте и в тылу, предоставления «полной мощи» «вождям армии».

С вялой речью выступил председатель ВЦИК Чхеидзе, умолчав о хлебе и земле, которых требует народ, о мире, желанном всей стране. Под занавес произошла трогательная сцена: от имени предпринимателей Александр Александрович Бубликов «побратался» с представителем меньшевистско-эсеровского блока Церетели. В самом конце Керенский огласил приветственную телеграмму президента США Томаса Вудро Вильсона, в которой выражалась готовность его правительства «оказать всяческую материальную и моральную поддержку правительству России для успеха... общего дела».

Для чего, собственно, созывалось московское совещание, многие и его участники, и в стране так и не поняли. Но результаты закулисных переговоров в ходе его и некоторых выступлений вскоре ощутили все. Большевики назвали совещание «коронацией контрреволюции».

Авторитет Керенского падал всюду, во всех слоях населения (за исключением, конечно, политически индифферентного крестьянства). Однако, с общей точки зрения, немедленное устранение его было бы преждевременным. Крупная буржуазия и торговый капитал, считавшие наиболее целесообразным установление в стране военной диктатуры, предпочитали, чтобы это произошло мирно, не путем еще большей разрухи, дальнейшего развала экономики, мятежей, которые еще неизвестно к чему могут привести. Нельзя было не учитывать, что Керенского поддерживали ЦИК Советов и исполком крестьянских депутатов, партии меньшевиков и эсеров, возглавляющие большинство Советов и комитетов в армии и в тылу.

Кадеты, обсуждая 20 августа итоги Государственного совещания, признали, что за Керенским есть еще определенные политические силы. Однако вставал вопрос: пойдет ли он сам на уступки?

П. Н. Милюков заявил: должен пойти! Для кадетской партии выгодней, чтобы жизнь нынешнего правительства продолжалась дольше, чтобы «неизбежные репрессии» по отношению к революционным организациям, проведение «хирургической операции» были предприняты по инициативе и решению самого «социалистического» правительства. Новым важным фактом является сейчас сведение на нет прежнего значения Советов рабочих и солдатских депутатов. Раз они бросились в большевизм, тем самым они предрешили свою судьбу.

Задачей дня стало как можно прочнее связать Керенского с Корниловым, вынудить их работать в одной упряжке. В числе прочего, с этой целью был распущен слух, что 27 августа, в день полугодовщины Февральской революции, большевики начнут мятеж с целью захвата власти. В случае необходимости такое вооруженное выступление можно было и спровоцировать: Петроградский гарнизон постоянно пребывал в возбужденном состоянии, а на взвинченную массу всегда не столь трудно повлиять, направить ее в любую сторону, тем более что политические устои солдат были весьма непрочными, единственный лозунг, который они понимали и безоговорочно поддерживали, — «Мир!», и не столь существенно, кто этот лозунг в данный конкретный момент провозглашал.

Намерение большевиков поднять вооруженное восстание не подтверждается никакими фактами, никакой логикой: хотя бы тем, что они при всем желании к мятежу не были готовы,

опыт 3 — 4 июля не прошел для них даром. Но в обстановке политической нестабильности масса охотно верит любым слухам, это известно тоже. Поверил и глава правительства Керенский.

О его непредсказуемости знали все политические и военные деятели, дружественные и враждебные ему. Именно поэтому следовало с в е с т и их с Корниловым, вынудить договориться между собой, заставить бить в одну точку, что облегчалось явным креном Александра Федоровича к установлению диктатуры.

С Корниловым поначалу казалось проще. Еще 13 августа, в Москве, Милюков приватно беседовал с генералом, предупредил, что, на его, Милюкова, взгляд, разрыв с Керенским несвоевременен, и генерал этого не оспаривал.

Вот почему совещание кадетского ЦК 20 августа высказалось за установление военной диктатуры.

Но — «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Когда началась бурная деятельность, выяснилось — с самых первых дней и даже часов, — что далеко не все просто, и далеко не прост Лавр Георгиевич Корнилов, человек волевой, самостоятельный, любивший властвовать и не склонный беспрекословно и безоговорочно подчиняться.

Личные отношения председателя и правительства и главноверха оказались испорченными еще со дня назначения Корнилова на указанный пост. Его ультиматум, лишь при признании которого он соглашался принять высшую военную власть, удивил даже корниловца Деникина. Б. В. Савинкову, в те дни комиссару Временного правительства на Юго-Западном фронте, еле удалось добиться, чтобы Корнилов снял свои требования.

Однако почти незамедлительно Корнилов встретился с Керенским с глазу на глаз и, как бы мимоходом, вручил новую записку, где в более тактичной, смягченной форме повторялись условия ультиматума и добавлялись новые требования. Под нажимом министров-кадетов Керенский вынужден был вынести вопрос на обсуждение правительства, которое после взвинченных прений «в принципе» одобрило записку Верховного, но проведение в жизнь решило, по сути, спустить на тормозах.

## 7

Положение в стране все обострялось, участились внешние проявления этого расстройтва. 14 августа в Казани произошел несомненно диверсионный взрыв пороховых заводов и артил-

лерийских складов, уничтоживший до миллиона снарядов и 12 тысяч пулеметов. 19-го газета «Русское слово» напечатала сообщение о предстоящем путче большевиков. 20-го числа после тяжелых боев немцы захватили Ригу и угрожали Петрограду. (Керенский считал информацию о выступлении большевиков фальшивкой, но решил использовать ее, чтобы обезвредить Корнилова, спровоцировав его на преждевременные действия.)

19 — 20 августа в Могилеве проходили совещания по выработке планов движения войск Корнилова к Москве и Петрограду, разгона Советов и ареста Временного правительства.

Керенский командировал в Ставку Б. В. Савинкова, назначенного товарищем военного министра и управляющим Военным министерством. Переговоры с главверхом происходили 23 — 24-го.

Сойдясь во мнении, что Керенскому и Корнилову перед лицом большевистской опасности следует действовать сообща (Лавр Георгиевич выразился в том смысле, что Керенский слаб и плохо выполняет свои обязанности, но все-таки нужен), поговорив о расширении политической базы правительства и о проведении военной реформы, Борис Викторович перешел к главному: добился от недоверчивого и упрямого Верховного главнокомандующего согласия передать министру-председателю непосредственное командование Петроградским военным округом и в течение двух дней направить туда из Великих Лук в полное распоряжение правительства 3-й кавалерийский корпус (командир — генерал-лейтенант Александр Михайлович Крымов), необходимый для жестокого подавления возможных демонстраций и прочих выступлений, а также разгона Советов. 3-й корпус избрали потому, что в него входила Кавказская конная туземная (так называемая «дикая») дивизия, она состояла из горцев-мусульман, нижние чины ее (их называли официально «всадниками») отличались жестокостью, беспрекословным повиновением (офицеры состояли из представителей родовитых фамилий Кавказа, к ним рядовые, по традиции, обращались на «ты»), получали высокое, двадцать пять рублей в месяц, жалованье, не ведали страха перед смертью по воле Аллаха. Они и составили основу только что формируемого корпуса, к ней добавлялись два осетинских и дагестанский полки. Это была специфическая, безжалостная сила, тем более что половина ее в с а д н и к о в была безграмотна и чисто автоматически исполняла команды любого, самого малого своего начальника, чаще всего поданные жестами.

Кроме того, Корнилов имел в столице, как выражались впоследствии, «пятую колонну» — 2 тысячи человек под командованием сотни засланных главковерхом офицеров, имевших задачей 26 августа, до подхода Крымова, захватить Смольный. Обещали свою поддержку и союзники.

Казалось, согласие достигнуто, установилось — пускай весьма непрочное — доверие между двумя претендентами на диктаторство. И тут, как иногда случается в истории, возникло непредвиденное обстоятельство — появление нового действующего лица, бывшего обер-прокурора Синода в однородно буржуазном и первом коалиционном правительствах — Владимира Николаевича Львова (однофамильца министра-председателя).

## 8

Сорокапятилетний Владимир Львов был человеком неуравновешенным, мятущимся, наивным и невероятно легкомысленным. Некоторые выражали сомнение в его психическом здоровье. Добившись приема Керенским 22 августа, он сообщил бывшему коллеге по правительству, что располагает сведениями о заговоре в Ставке, имевшем целью провозгласить Корнилова диктатором. Таких слухов было много, но что-то заставило Керенского насторожиться, однако, утверждал Александр Федорович, как только Львов исчез с его глаз, разговор тотчас был выброшен из головы, никаких поручений и полномочий Львову он не давал.

Тем не менее 24-го Львов объявился в Могилеве и на следующее утро был принят Корниловым, которому доложил, что является доверенным лицом министра-председателя и прибыл с весьма важной миссией. Очень странно, что главковерх не потребовал у «доверенного лица» никаких документов, подтверждающих его личность и полномочия. Поняв из беседы с посетителем, будто Керенский предлагает ему, Корнилову, стать диктатором, главковерх ответил, что, если это будет ему предложено, он не откажется, Лавр Георгиевич просил передать Керенскому, что готов предоставить тому и Савинкову убежище в Могилеве, где они могли бы обсудить вопрос о власти.

На следующий день Львов был у Керенского. Теперь он принял роль посланца Верховного главнокомандующего, объявил: Корнилов требует диктаторских полномочий. По словам

Керенского, он рассмеялся, но тут же весьма встревожился и попросил Львова изложить условия генерала письменно.

Львов написал:

«Генерал Корнилов предлагает:

- 1) Объявить Петроград на военном положении.
- 2) Передать всю власть, военную и гражданскую, в руки Верховного главнокомандующего.
- 3) Отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного управления министерств товарищам министров впредь до образования кабинета Верховным главнокомандующим.

Петроград.  
Август 1917 г.

*В. Львов».*

Керенский, по его словам, понял это так: уже начался военный переворот и главноверх собирается их арестовать. Как и Корнилов, он поверил Львову на слово, хотя это была явная фальшивка, сочиненная «послом-перебежчиком». Александр Федорович решил все-таки устроить проверку. Он предложил Львову встретиться на следующий день, 27-го, в восемь утра в Военном министерстве у аппарата прямой связи.

Львов запоздал, Керенский в одиночку вел игру: он говорил по телеграфу и от своего имени, и от лица Владимира Николаевича, якобы присутствующего тут. Керенский не обозначал, о чем он спрашивает, а Корнилов не знал, на что он, собственно, отвечает. Оба считали, что понимают друг друга, совершенно ничего не понимая (диалог достаточно длинен, не приводим его здесь, он цитировался в литературе многократно).

В итоге Керенский решил открыто порвать с Корниловым. Опоздавшего Львова тут же арестовали.

В полночь на заседании кабинета Керенский потребовал предоставить ему диктаторские полномочия. Министры единодушно согласились.

С этого момента Временное правительство фактически прекратило существование. С 4 часов утра 27 августа и до 26 октября все решения принимал Керенский — либо единолично, либо советуясь с членами «тройки», Н. В. Некрасовым и М. И. Терещенко. Ранним утром Александр Федорович телеграммой — без номера, даты и подписанной просто «Керенский» — объявил Корнилову об отставке. Главноверх признал депешу недействительной — отстранить его от должности (как и назначить) могло только правительство, а не председатель; о том,



что Керенский добился всей полноты власти, генерал знать еще не мог.

Во время этих событий, еще не получив известия о своем отстранении от должности, главковерх телеграфировал Савинкову, что 3-й корпус будет в Петрограде вечером 28 августа. Одновременно он просил с 29-го объявить столицу на военном положении.

Получив телеграмму Керенского в 7 часов утра 27-го, генералы в Ставке и Корнилов пришли в полное недоумение и, перебрав всевозможные варианты, решили, что министр-председатель взят в плен большевиками, уже захватившими Петроград. Корнилов повелел считать свою отставку недействительной и приказал Крымову ускорить продвижение войск в столицу.

Керенский решил предать события гласности. 27 августа редакциям газет и телеграфному агентству по его указанию был передан текст заявления «От министра-председателя», в котором говорилось об ультиматуме Корнилова (том самом, сочиненном В. Н. Львовым), о смещении Корнилова с должности, об объявлении Петрограда на военном положении, о намерении министра-председателя принять скорые, решительные меры, дабы в корне пресечь все попытки посягнуть на верховную власть в государстве, на завоеванные революцией права граждан.

Корнилов не замедлил с ответом, он обратился с воззванием, в котором действия Керенского назывались великой провокацией, а правительство обвинялось в государственной измене, в том, что оно под влиянием большевистского Совета действует в полном согласии с планами германского генерального штаба.

Ставка продолжала поддерживать Корнилова. Сначала генерал Александр Сергеевич Лукомский, а затем генерал Владислав Наполеонович Клембовский наотрез отказались принять предложенный им пост Верховного. Солидарность с Лавром Георгиевичем высказали все главнокомандующие фронтов, кроме Кавказского (генерал А. М. Пржевальский), многие командующие армиями. Масса офицерства была всецело на стороне отстраненного главковерха, но, не вовлеченная в борьбу, могла оказать лишь нравственную поддержку, и она ее оказала, но этого, конечно, Корнилову было недостаточно. Моральной поддержкой, выражениями «уверения в совершеннейшем почтении» ограничились правительства стран-союзников. Осталась в стороне так называемая общественность.

Атаман Каледин не смог повести за собой донское казачество. 5-я казачья дивизия не выступила из Финляндии, задержанная делегатами кронштадтских моряков. Экстремистская двухтысячная группировка, укрытая в столице, не решилась выполнить поставленную задачу. Продвижение войск под командованием Крымова замедлилось из-за остановки железнодорожного движения, части их оказались разбросанными на сотни верст. «Правительственные войска», в основном тыловые запасные батальоны, нервничали и не раз бросали свои позиции от одного только слуха о приближении казаков и «диких». Приказы Крымова не доходили до вверенных ему частей.

Керенский оказался в одиночестве. Он бесцельно слонялся по залам Зимнего дворца, ночью во весь голос — напомним, он был музыкален — распевал оперные арии. В ночь на 28 августа Некрасов, решив провести время до утра во дворце, сказал Александру Федоровичу, что на его месте отказался бы, как предлагает Корнилов, от власти, уступил ее генералу Алексееву (который отнюдь к тому не стремился) или еще кому-нибудь. Керенский устраняться от власти — по крайней мере, по видимости — не собирался, но боялся, что ее возьмет не Алексей, а большевики.

Большевики же, напротив, дрались теперь не за власть, они возглавили оборону Питера. Не ради спасения Временного правительства, конечно, а ради спасения и себя, и горожан от расправы, от диктатуры. За два-три дня создали десятки отрядов Красной гвардии и других вооруженных формирований общей численностью до 25 тысяч штыков. Тысячи рабочих рыли окопы, устраивали проволочные заграждения. Путиловский и Обуховский заводы с небывалой скоростью выпускали пушки, ремонтировали бронемобили. Из Кронштадта прибыли 5 тысяч революционных моряков.

Генерал Крымов, подойдя вплотную к Питеру, остановил войска, узнав, что город вовсе не находится в руках большевиков и помощь его теперь не нужна. Уссурийская казачья дивизия у Красного Села под Петроградом принесла присягу Временному правительству. Ставка была окружена.

Непредсказуемой оказалась реакция Ленина, для которого выступление Корнилова явилось полной неожиданностью. В статье «О компромиссах» он писал: «Компромисс (большевики с другими социалистами и ЦИК.— В. Е.) состоял бы в том, что большевики, не претендуя на участие в правительстве...

отказались бы от выставления немедленно требования перехода власти к пролетариату и беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это требование...» Впрочем, такой покладистости Владимиру Ильичу хватило не надолго...

Тогда же, 30-го, выслушав ежеутренний доклад начальника личного кабинета, родственника и друга Владимира Львовича Барановского, собравшегося уже уходить из кабинета, Керенский неожиданно остановил принятым лишь в неофициальной обстановке обращением: погоди, Володя, присядь, напишем еще одну бумагу... И продиктовал проект постановления Временного правительства (несуществующего!) о назначении Верховным главнокомандующим Керенского Александра Федоровича с освобождением его от обязанностей военного и морского министра...

Что ты делаешь, Саша, ты сошел с ума, воскликнул всегда сдержанный Барановский, разве нет у нас ни одного верного — верного и тебе! — генерала, зачем тебе эта непомерная ответственность в такую пору... И прости, Саша, одно дело быть военным министром, другое — главнокомандующим, ну, скажи по чести, что ты понимаешь в стратегии, да о какой стратегии речь, ты элементарной тактики в масштабе роты, взвода не знаешь, ты же загубишь все, что только можно, Саша, я прошу тебя...

Керенский молчал. После паузы продиктовал пункт о назначении начальником штаба при Верховном главнокомандующем генерала от инфантерии Алексева Михаила Васильевича... Да ты с ним говорил по этому поводу, Саша? Откажется он, вот будет конфуз... Лукомский, Клембовский — мало тебе? Или Бог троицу любит, ты с Господом решил поспорить? Саша, умоляю тебя... Полковник Барановский, сказал наконец Керенский, ступайте, уточните правильность формулировок — и на подпись мне, членов правительства я ознакомлю сам... Слушаюсь, господин... Верховный главнокомандующий, вставая, отчеканил Барановский. И добавил: Саша, Саша, как ты об этом еще пожалеешь...

(Пожалел и стыдился, что принял свой пост, генерал Алексеев, он пробыл в должности всего двенадцать дней; правда, он сумел при этом спасти Корнилова и других — всего тридцать два человека.)

Едва ли не первым шагом, который предпринял Керенский в новой должности, был вызов в Зимний генерала Крымова,

тот беспрекословно выполнил приказ и прибыл утром 31 августа. Вот как рассказывает об этом сам Александр Федорович:

«Когда мне было доложено, что явился генерал Крымов, я вышел к нему, просил его войти в кабинет, и здесь у нас был разговор. Вначале генерал Крымов говорил, что они шли отнюдь не для каких-либо особых целей, что они были направлены сюда в распоряжение Временного правительства, что как только выяснилась вся обстановка, то все недоразумение разъяснилось, и он остановил дальнейшее продвижение... Я знал Крымова и относился к нему с большим уважением... Я приблизился к нему и тихо сказал: «Да, я вижу, генерал, вы действительно *очень* умный человек. Благодарю вас». Тогда я... отпустил его, не подав ему руки... Я был официальным лицом в официальной обстановке... передо мной... стоял генерал, государственный преступник, и я не мог, не имел права поступить иначе».

Крымова при выходе никто не задержал, хотя его по меньшей мере следовало допросить в официальном порядке. Он отправился к давнему другу и там через час или два пустил в себя пулю. В Николаевском военном госпитале фельдшеры и прислуга с площадной бранью срывали с раненого повязки, Крымов изредка приходил в сознание и вскоре скончался. Публичные похороны запретили, вдова униженно просила у самого Керенского о разрешении частного погребения. Наконец добилась: позволили предать покойного земле по христианскому обряду, но не позже шести часов утра и в присутствии не более девяти (?) человек, включая и духовенство.

## 9

Думается, дело Корнилова (такой термин встречается в литературе, будем использовать его) является вполне закономерным, исторически обусловленным звеном в цепи событий, именуемых Февральской революцией, истоки «корниловщины» следует искать не в июле — августе, а в феврале 1917 года.

Революция в России была неизбежной. Она была «быстрой революцией», что обуславливалось отсутствием в стране того, что немцы называют *Mittelklasse* — «среднего слоя», резким противоречием между укладом жизни небольшого количества богатых и многомиллионным населением, влачащим жалкое

существование; банкротством монархической власти, недовольством либеральной интеллигенции, хозяйственной разрухой, развалом армии, отсутствием сколько-нибудь влиятельной политической партии, желающей и могущей возглавить стихийное движение масс, обострением национального вопроса и центробежным движением в западных регионах государства,— словом, причин было много, и они привели к мгновенным, застигнувшим в с е х врасплох действиям.

Революция эта была всенародной в том смысле, что она явилась результатом недовольства старой властью всех слоев населения. Но в вопросе о формах ее не существовало единомыслия, что проявилось с первых же дней.

Революция была м н о г о л и к о й. Крестьяне требовали земли. Рабочие — участия в прибылях или полного перехода прибылей к ним. Либеральная буржуазия жаждала изменения политического строя и умеренных социальных реформ. Революционная демократия — власти и максимума социальных достижений. Армия криком кричала о прекращении войны.

После падения царизма — не свержения, а мирного отречения монарха — в России не стало власти легитимной, опирающейся на юридическое обоснование. Вспомним ответ П. Н. Милюкова на вопрос: кто вас (Временное правительство) назначил? Революция, смущенно ответил он. Однако тотчас была пущена в ход теория о «всенародном происхождении Временного правительства» и (или) о «полномочности Совета рабочих и солдатских депутатов», якобы представляющего не более и не менее как всю русскую демократию. Столь же нелегитимными, выражаясь по-нынешнему, были и «частные совещания Государственной думы». С 3 марта 1917 года и до Учредительного собрания всякая (включая ленинский Совнарком) верховная власть была, в сущности, самозваной и не могла удовлетворить все классы населения в силу их непримиримости и неумеренности их запросов, причем запросы эти, как правило, требовали н е м е д л е н н о г о разрешения.

Ни одна из правивших структур (Временное правительство, Советы, отстраненная от власти, хотя формально не распущенная Государственная дума) не имела под собой надлежащей социальной опоры б о л ь ш и н с т в а (а таковым являлось прежде всего крестьянство, в том числе и одетое в солдатскую униформу). Но если бы даже Временное правительство — все равно, по сути, незаконное — пошло на прямое нарушение своего же статуса, им самим установленного, и, не дожидаясь

Учредительного собрания, дало крестьянам землю, оно не могло рассчитывать на подчинение «вольных хлебопашцев» общегосударственным интересам и на активную их поддержку. Занявшись черным переделом, селяне — в том числе и солдаты — почти наверняка не отблагодарили бы правительство большим количеством хлеба и множеством солдат. Осчастливив «мужиков», государство осталось бы перед по-прежнему не решенными проблемами: невоюющая армия, непроизводящая промышленность, разрушаемый транспорт и партийная междоусобица.

Пусть правительство было самозванным. Но на первых порах оно пользовалось широким признанием, имело преимущества перед другими претендентами на власть. Следовало использовать это преимущество, стать властью доподлинно с и л ь н о й, способной, — быть может, в исключительных случаях даже применением оружия, — довести страну до Учредительного собрания, охранить его, создать ему условия для исполнения подлинно всенародной воли.

Временное правительство не отважилось на это. А если бы и отважилось — вряд ли смогло осуществить практически: его сотрясали постоянные кризисы, шла бесконечная смена кабинета министров (та самая «министерская чехарда», над которой злобно измывались либералы в канун падения монархии), приходили случайно отобранные люди. Бесспорно отрицательную роль в ходе событий сыграло двоевластие, зависимость правительства от Совета (вспомним князя Г. Е. Львова: «власть без силы и сила без власти»).

Вся деятельность Временного правительства, хотело оно того или не хотело, имела характер не созидания, но разрушения, почти по большевистскому гимну: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...» Не было генерального плана строительства новой жизни («до Учредительного собрания!»), не было элементарных знаний в области управления. Не было п р е д р е ш е н и я по многим вполне разрешимым вопросам воли Учредительного собрания, которую достаточно легко было предвидеть. Зато было отторжение всего, что осталось от старого режима, — а ведь существовало и такое, что следовало бы сохранить, не ломать попусту, не изобретать заново велосипеды. И наконец, созидательной деятельности мешали претензии политических партий, каждая из которых тянула одеяло на себя и отличалась непомерными амбициями и взаимной непримиримостью.

Не повезло новой власти с ее первыми лицами: ни Г. Е. Львов, ни А. Ф. Керенский (каждый из них возглавлял правительство ровно по одной половине времени его существования) всяк по-своему не отвечали требованиям, предъявляемым этой должностью, да еще особенно в своеобразное смутное время.

Если все это так,— а это, безусловно, так,— почему же устранение явно негодной, изжившей себя царской власти есть величайшее достижение (Временное правительство задумывало в честь этого события воздвигнуть монумент в столице; не успело), а попытка свержения Керенского, предпринятая Корниловым, считалась мятежом?

Корнилов не был ни революционером, ни контрреволюционером, ни левым, ни правым, ни властолюбцем-авантюристом, ни политиком. Он был просто честным человеком, болеющим душою за терзаемую, разваливающуюся Россию. Он был солдатом, не знавшим иных способов борьбы за власть, кроме как способа военного. Он не понимал иной власти, нежели власть дисциплины, строгого повиновения, «твердой руки». Он был умным человеком и ощутил, понял, почувствовал, осознал: его поддерживает вся демократическая Россия, на его стороне главное оружие — армия, офицерство. Он вовсе не стремился к единоличной диктатуре, не отказывался от существования правительства (и с участием Керенского в роли министра юстиции). Он двинулся — по уговору с Керенским — спасать Петроград (и, следовательно, Россию) от большевиков (поверив, правда, ложной в тот момент тревоге) и вдруг смертно напугал и Керенского, и Советы, и большевиков, и либералов, остался в одиночестве — и проиграл.

А Керенский — победил. Это была пиррова победа, но все-таки на данном этапе — победа.

«Если бы Керенский спелся с Корниловым, то, конечно, октябрьского переворота не произошло бы» (Сергей Илиодорович Шидловский, помещик, депутат Государственной думы).

«Корниловщина и последующие события, как практические уроки, сделали возможной октябрьскую победу» (Владимир Ильич Ленин).

«Победа Керенского означала победу Советов, в среде которых большевики стали занимать преобладающее положение... Керенский окончательно оттолкнул от себя и Временного правительства... либеральные элементы... и офицерство. Потеряв решительно всякую опору в стране, Временное правительство считало возможным продолжить еще два месяца свои

функции, заключавшиеся преимущественно в словесной регистрации тех явлений окончательного распада, которые переживало государство» (Антон Иванович Деникин).

В статье «О компромиссах», написанной 13-го и опубликованной 19 сентября, Ленин заявил о возврате к доиюльскому требованию: вся власть Советам.

21 августа в секретном циркуляре товарища министра юстиции предписывается начальникам почтово-телеграфных округов отдать распоряжения по всем подведомственным им учреждениям о просмотре и выемке корреспонденции от имени и на имя В. И. Ульянова (Ленина) и отсылке ее судебному следователю по особо важным делам Петроградского окружного суда П. А. Александрову. Во исполнение этого циркуляра 26 августа (начало корниловских событий) соответствующие документы разосланы на места начальниками Петроградского, Московского, Пермского, Екатеринославского, Смоленского, Архангельского, Кишиневского, Одесского, Иркутского почтово-телеграфных округов. Это — по теперешней терминологии — один из важнейших элементов всероссийского розыска, прямое следствие слухов о заговоре большевиков. Для всеобщего сведения о действиях властей сообщение об этом напечатала газета «Рабочий путь», орган ЦК и ПК РСДРП(б).

## 10

Небольшое отступление, касающееся исключительно личной жизни Керенского.

В день начала событий, связанных с Корниловым, и еще, разумеется, не зная о них, поэт Александр Александрович Блок записывает в свой дневник о том, что А. Ф. Керенский развелся с женой (Ольгой Барановской) и в Романовском соборе Царского Села обвенчался с актрисой Елизаветой Ивановной Тиме, перед тем разведенной с Николаем Николаевичем Качаловым, ученым-химиком и технологом, родственником А. Блока (домашнее прозвище Никса). Дальше идет довольно невнятная фраза (дневник ведь не предназначался для печати): «Я нарочно записываю эту гнусность именно в такой день, в ней ясно видно, что такое контрреволюция».

Аристократичного Блока («гнусность», пишет он) возмутило обсуждение фактов чьей бы то ни было частной жизни в печати? Или поступок Керенского, с которым он был знаком?



Или несочетаемость мелкого с большим общественным событием?

Во всяком случае, самого факта поэт не опровергает, называет реальные имена (подробности добавлены здесь автором книги), и это единственное упоминание в просмотренной и изученной автором литературе, касающееся — хоть и бегло — судьбы Ольги Львовны Барановской-Керенской. В мемуарах Александр Федорович практически не касается своей семейной жизни.

Актриса Е. И. Тиме — реальное лицо. Если она и стала в самом деле женой Керенского — то ненадолго: вместе с ним не эмигрировала. Помню ее на ленинградской сцене, была знаменита. Еще об одной жене Александра Федоровича — уже вполне несомненной — будет сказано ниже.

## 11

И еще об одном — на этом раз политическом — событии, непосредственно связанном с происходившим в России в июле — августе 1917-го, о перемещении бывшего царя и его семьи, находившихся под домашним арестом в одной из императорских загородных резиденций — в Александровском дворце Царского Села с 9 марта, после прибытия Николая Романова из Могилева.

По собственной инициативе Керенский принял на себя личную ответственность за безопасность, здоровье и условия жизни царской семьи и выполнял эту обязанность отнюдь не формально: он посетил их свыше десяти раз.

Если первая встреча — 21 марта — была сугубо официальной, ознакомительной, неловкой и более чем сдержанной с обеих сторон (скажем, оба явно колебались, не зная, как поздороваться, нужно ли представляться друг другу; Керенский, волнуясь, отрекомендовался: министр юстиции, фамилии не назвал, сделал легкий поклон; Николай промолчал, тогда Александр Федорович подошел к нему, с улыбкой протянул руку, назвал по имени-отчеству; поклонился членам семьи; спросил о претензиях, нуждах, отношениях со стражей; просил не беспокоиться, не огорчаться особо, положиться на него; бывший царь — все еще настороженно и сухо — поблагодарил), — то с каждым новым свиданием отношения смягчались, делались все менее казенными, напоминающими встречи расположенных друг к другу знакомых.

Как жаль, Александр Федорович, сказал однажды Романов, что у меня не было такого хорошего министра, как вы... И Александра Федоровна вторила: он порядочный человек (давно ли, не зная его, она жаждала «Кедринского», как она называла его, повесить).

Доверие Николая Александровича к Керенскому дошло до того, что, когда последний попросил передать для следственной комиссии какие-либо царские бумаги, Романов открыл шкаф, предложил отбирать все, что понадобится, и вышел, а после не спросил даже, какие документы взяты. Или вот: уезжая 16 июня на фронт, Керенский уж совсем по-свойски заехал во дворец попрощаться, спросил, как у близкого человека, вина, выпили вдвоем на дорожку, бывший царь пожелал удачи.

И вот в обстановке напряженности, вызванной июльскими событиями, и в ожидании предполагаемого вооруженного выступления большевиков Керенский назначил переезд бывшего царского семейства. Собственно, решение об этом приняли еще в июле на специальном совещании у Г. Е. Львова. Речь шла о Сибири, классическом месте ссылки — никто не упрекнет, что «Николаю Кровавому» создали тепличные условия, это уж никак не Ливадия, куда так рвался Николай II во время подписания акта об отречении. После долгих дебатов, перебирания вариантов выбрали Тобольск.

Хотя и губернский, однако небольшой (22 тысячи жителей), тихий, полусонный городок, почти не затронутый революцией. Рабочих всего 600, никаких забастовок и митингов. Остальные — ремесленники, мещане, а того больше — мелкие купчишки и чиновники, духовенство. Богомольны: 25 церквей, по одной на тысячу душ. Железная дорога — в 250 верстах, летом с ней сообщение на пароходе, а зимою — санным путем. Жить спокойно, а задумают бежать (чего министры втайне желали) — оттуда прямой водный путь к Иртышу и Оби, к океану, в холодную пору — хорошо наезженная дорога к главным сибирским городам. Если удастся управиться с большевиками — довольно просто, хоть и утомительно, добраться в Англию, в Японию... А пока — лучше Сибирь, глушь, чем самосуд, как утешал интеллигентный, мягкий, добрый полковник-преображенец Евгений Степанович Кобылинский, начальник караула и о п е к у н и порученец бывшего императора.

27 июля Александр Федорович на машине подкатил к подъезду дворца. Как свой человек, прошел в царские апартаменты без доклада. Уселись рядом с Николаем Александровичем на диванчик — это уже в обычае, в привычке, в традиции. Вопросы о здравии каждого члена семьи, настроении — обязанность, вежливость, но и дружелюбие. И...

Николай Александрович, вам всем придется уехать. Почему? Так решило правительство, ради вашей безопасности. Но куда же, Александр Федорович? Простите великодушно, однако пока не смею сказать. Но я бы хотел в Ливадию... Сейчас это исключено, а наперед загадывать не станем, Бог даст... А теперь покорнейше прошу к сборам приступить незамедлительно. Ограничений никаких, из вещей берите что угодно и в сопровождение свое — кого угодно, на ваше усмотрение, однако в пределах сорока человек, и, конечно, с их доброго согласия... А пока позвольте откланяться, не волнуйтесь, все будет хорошо...

Тогда же Керенский провел здесь наисекретнейшее совещание: члены городского Совета Царского Села, полковник Кобылинский, несколько офицеров и унтеров, в их числе — председатель солдатского комитета прапорщик Ефимов. Министр-председатель объявил — господа, товарищи, секретно, строго-настроено, — по постановлению правительства Романовы вывозятся в Тобольск. За разглашение сего факта — ответственность по законам военного времени.

Выработали план: на подготовку четыре дня, включая сегодняшний. Подготовить два поезда (в питерском депо, не здесь): один для семьи, другой для остальных, включая охрану. Численность ее — триста пятьдесят человек, сведенных в батальон; все — из гвардейских полков, все — георгиевские кавалеры, провоевавшие не менее трех лет. Офицеров — шестеро. Командир батальона — полковник Кобылинский. Руководители экспедиции особого назначения — чрезвычайные уполномоченные Временного правительства, недавно побывавшие в Тобольске на рекогносцировке, — депутат Думы В. А. Вершинин и комиссар (мой личный друг, добавил Керенский) Павел Михайлович Макаров. Всем солдатам и офицерам выдать новое обмундирование, новое оружие, объявить о повышенных командировочных и выдаче наградных.

31 июля Керенский на гарнизонном плацу, ранним-ранним утром, без посторонних глаз, провел строевой смотр, остался доволен.

Тем временем полковник Романов подбирал спутников. Изъявили согласие сорок два человека: генерал-адъютант И. Л. Татищев, обер-гофмаршал В. А. Долгоруков; фрейлины и близкие прислужницы — баронесса С. К. Буксгевден, графини А. В. Гендрикова, Е. А. Шнейдер, М. Г. Тутельберг, А. Теглева; учителя-воспитатели Сидней (Иванович) Гиббс и Пьер (Андреевич) Жильяр; два доктора — лейб-медик Е. С. Боткин и врач наследника В. Н. Деревенько. Для обслуживания семерых членов семьи и тех, кто официально входил в свиту, — двое камердинеров (один с помощником) государя и государыни, семеро лакеев, четверо поваров, официант, пять служителей, трое слуг для наследника (круглосуточное дежурство по сменам), три комнатные девушки, писец, гардеробщик, парикмахер, заведующий погребом, воспитательница. Кажется, не забыли никого необходимого для скромной жизни в изгнании...

Проведя с утра 31 июля смотр караула и охраны, вечером Керенский объявился во дворце вместе с братом бывшего царя Михаилом Александровичем, бывшим кандидатом на престол. Объявил обоим, что отъезд — завтра поутру, а куда — не сказал. Свидание братьев наедине не разрешил, присутствовал сам, прощание длилось несколько минут. С членами семьи повидаться Михаилу не позволил. После его ухода объявил: едут в Тобольск, жить будут в доме губернатора, вам спокойно будет, Николай Александрович, гарантирую; при вас постоянно будет полковник Кобылинский, в его воспитанности и обязательности вы убедились.

Багаж перевезли на царскую железнодорожную ветку, сложили аккуратно, поставили охрану.

Ночь прошла без сна, сидели, одетые, в креслах, Керенский куда-то и зачем-то метался, звонил по включенному ради него телефону.

В пять утра 1 августа доложили, что поезда на станцию Александровская поданы (с опозданием; выяснилось, что солдаты отказывались перегружать багаж с перрона в вагон бесплатно, требовали по три рубля; злой граф П. К. Бенкендорф, из провожающих, выдал свои собственные). У подъезда дворца ждали три машины, в первые сели государь и все члены семьи, в третью — Керенский с двумя адъютантами, свита и обслуга — пешком. Несколько шагов от лестницы до машин показались верстами — и тем, кто шел, и тем, кто стоял, прощаясь (на платформу допускали только отъезжающих). Николай, два дня

не брившийся, чего с ним никогда не случалось, казалось, зарос дремучей бородой, он горбился, ведя под руку жену. Наследник, стараясь выглядеть шутивым, что-то жалко балаганил. Княжны — бледные, в пелеринах, жались друг к другу... Возле автомобилей выстроился конвой, Николай вяло взял под козырек, небодро сказал: здорово, молодцы. Ответили не сразу и еле слышно: здравия желаем, господин полковник.

Доехали. Керенский помог Александре Федоровне подняться в вагон, ввел в купе, поцеловал руку, сказал: до свидания, ваше величество,— не преминув вслух пояснить: как видите, я предпочитаю придерживаться старых правил.

В 6.10 утра тронулся первый поезд. Керенский стоял на перроне, рука под козырек. Николай — тоже, на площадке вагона. Следом двинулся второй состав. Оба — под японскими флагами.

Шли на максимальной скорости, не останавливаясь в городах и на узловых станциях — они были оцеплены войсками, публика из вокзалов и с дебаркадеров удалена. Остановки делали на полустанках, а когда хотелось подольше прогуляться — в чистом поле, под присмотром чрезвычайных уполномоченных Вершинина и Макарова.

На рассвете 4-го, медленно-медленно почему-то, миновали Екатеринбург. Бывшая царская чета стояла у окна (им не спалось), разглядывала стандартные пристанционные постройки — разве могли Романовы подумать, что весной будущего года они окажутся здесь...

Тем же вечером прибыли в Тюмень, на автомобилях переехали к пристани, разместились на трех судах. Ранним утром 5-го караван взял курс на Тобольск. Вскоре показалось село Покровское — родина Григория Распутина,— сгрудились все на палубе, смотрели на его большой белый дом среди темных изб, молились, крестились, плакали.

6-го ошвартовались в Тобольске, оказалось, что дом еще ремонтируют, неделю оставались на пароходах, съездили на лодках в Абалакский монастырь, где их — восторженно, равнодушно, злобно — окружила толпа. Отслужили молебен.

13-го вселились в двухэтажный дом, кирпичный, с балконом, окруженный садом, дом, принадлежавший ранее губер-

натору Ордовскому-Танаевскому, канувшему после Февральской революции в безвестность.

Отсюда они уедут 26 апреля 1918 года (уже при большевиках, и дата по новому стилю), 30 апреля придут в Екатеринбург, и в ночь с 16-го на 17 июля семью Романовых и несколько преданных им людей расстреляют в подвале этого же дома. Кирпичного. С балконом, как и в Тобольске.

## Глава четвертая

Ленин... вознамерился прийти к власти, надев личину защитника политических свобод и нового социального статуса, обретенного народом в результате Февральской революции. В начале сентября 1917 года никто конечно же и представить себе не мог ту форму политического садизма, в которую переродится большевистская диктатура с уничтожением демократической системы... что Ленину и его приспешники стремятся не к установлению народовластья, а к утверждению партийной диктатуры над народом.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Конец августа и начало сентября — переломные в развитии событий 1917 года. Они стали прологом Октябрьского переворота, задача завоевания власти большевиками была прямо поставлена в порядок дня.

31 августа на расширенном заседании ЦК РСДРП(б), куда были приглашены члены большевистской фракции ЦИК и Петроградского Совета, принята резолюция о власти, вечером она одобрена ВЦИК. Это была первая победа большевиков. Однако в вечернем заседании участвовало менее половины всех членов Совета, отсутствовали лидеры меньшевиков и эсеров, и было ясно, что позиции свои они так просто не сдадут.

После полуночи лидеры фракций поспешили в Зимний, где, было им известно, еще заседал Керенский с членами своего п р и з р а ч н о г о, формально ушедшего в отставку кабинета. По поручению ЦК партии эсеров Абрам Гоц и Владимир Зензинов заявили Керенскому, что их партия отзовет своих представителей из Временного правительства, если в его составе окажутся кадеты (последние 26 августа покинули правительство, развалив его, но 30-го заявили о согласии вернуться). Такое же заявление сделали и делегаты меньшевиков, верные союзники эсеров в этом вопросе. Явно растерянный Александр Федорович не нашелся что ответить, невежливо повернулся к депутациям спиной, вернулся в зал и прервал заседание.

Однако меньшевики и эсеры, не желая вступать в коалицию с кадетами, вовсе не собирались — да и кому охота в такой ситуации! — брать власть сами. После бессонной для всех ночи 1 сентября весь день шли переговоры с Керенским, по суще-

ству — толчение воды в ступе. Лидеры фракций ЦИК Церетели, Дан, оба меньшевики, и Гоц, эсер, твердили свое. Керенский теперь не отмалчивался, а перешел в атаку, припугнув оппонентов, что если уйдут кадеты, то уйдут и представители других буржуазных партий, а заодно и он сам. Но заверения о том, что кадетов не включают в правительство, Керенский опять не дал. Переговоры зашли в тупик. Вечером того же 1 сентября опять началось пленарное заседание ЦИК, оно продолжалось до утра 2-го.

Правительство находилось в полной растерянности и бездействии.

Пока ЦИК занимался словоговорением, Керенский вдруг проявил силу воли, решимость и, решив разрубить гордиев узел одним ударом, прибегнул к неожиданному и нестандартному для России маневру, дающему ему возможность выиграть время и создать видимость хотя бы частичного удовлетворения требований меньшевиков и эсеров.

В поисках выхода из острого и, казалось, безнадежного политического кризиса, «для восстановления потрясенного государственного порядка» 1 сентября было объявлено о решении образовать Директорию (Совет пяти).

Идею заимствовали из истории французской революции, когда в 1795 — 1799 годах существовало правительство республики под названием Исполнительная Директория, состоявшая из пяти человек и обладавшая практически всей полнотой власти.

Российскую Директорию составили: министр-председатель и Верховный главнокомандующий А. Ф. Керенский, бывшие члены предыдущего правительства — министры иностранных дел М. И. Терещенко и почт и телеграфов А. М. Никитин (все трое — масоны). Впервые после Февраля Военное и Морское министерства были, как при царизме, разделены, руководители их вошли в состав Совета пяти: военный министр — бывший до того командующим войсками Московского военного округа, окончивший Академию Генерального штаба, при назначении в порядке исключения произведенный (что было отменено революцией) в генерал-майоры Александр Иванович Верховский; морской министр — с должности командующего Балтийским флотом, контр-адмирал Дмитрий Николаевич Вердеревский (оба беспартийные). Кадетов, как видим, в Дирек-



торию не пригласили. Созданием Совета пяти, по существу, закрепился режим личной диктатуры Керенского.

В тот же день наконец было официально конституировано государственное устройство России — ее провозгласили республикой.

В ночь на 2 сентября меньшевистско-эсеровское большинство Советов на продолжавшемся двое суток совещании приняло резолюцию о поддержке Директории, тем самым предоставляя Керенскому полномочия на формирование правительства. Это была капитуляция. Имея еще возможность взять власть мирным путем, Советы пошли по пути соглашательства, резко осужденного большевиками. 3 сентября они вновь открыто заявили о необходимости перехода власти в руки рабочих и беднейшего крестьянства путем вооруженного восстания — однако не теперь, не сию минуту, а по мере нарастания революционного подъема и национального кризиса.

## 2

Национальный кризис выражался в том, что правительство оказалось парализовано, выполнялись только те его распоряжения, которые были продиктованы инициативой народных масс (провозглашение республики, арест Корнилова и других генералов и офицеров), остальные постановления игнорировались.

Резко обострилась национально-освободительная борьба: забастовочное движение и крестьянские волнения на Украине, в Белоруссии, в Бессарабии, Прибалтике, восстание дехкан в Средней Азии, движение на Северном Кавказе, требования предоставления полной независимости Финляндии, взятие власти революционным комитетом в Ташкенте...

Усилилось вмешательство союзников во внутренние дела: и предоставление Соединенными Штатами и Японией крупных кредитов, и требование Франции, Англии, Италии укрепления российской армии, влияние правительственного аппарата на фронте и в тылу.

Дегradировала экономика страны. Объем промышленного производства по сравнению с предыдущим годом уменьшился втрое, добыча угля скатилась на уровень 1911 года, полностью расстроен железнодорожный транспорт. Ускорился финансовый кризис. Повышение цен привело к выпуску бумажных

денег, прозванных «керенками», покупательная способность рубля упала до семидесяти довоенных копеек.

Россия катилась к катастрофе.

Керенский сделал отчаянную попытку хотя бы разобраться с положением в армии, с ее настроениями. Учредив Директорию, он выехал в Ставку, как ни уговаривал его Владимир Барановский не делать этого. В войсках главковерх не побывал: видимо, доводы Барановского и собственный, пускай и взвинченный, разум удержали. Единственным практическим результатом этого вояжа явилась отставка 10 сентября генерала Алексеева по его просьбе. Опытнейшего генштабиста сменил генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин, начальник штаба Западного фронта, почти на двадцать лет моложе Алексеева (родился в 1876 году), человек, верный Временному правительству и лично Керенскому. (После бегства последнего примет на себя обязанности главковерха и будет растерзан в клочья 20 ноября осатанелой толпой «революционных» солдат.)

Политический статус страны по-прежнему носил временный, неустойчивый характер. Директория, при всей полноте власти, ничего, в сущности, не решала (кроме провозглашения республики), еле управлялась с неотложными, однако не главными текущими делами. Надежды на стабилизацию, на укрепление власти Керенский возлагал на созываемое им Всероссийское демократическое совещание.

### 3

Совещание открылось 14 сентября в Петрограде, в Александринском театре. Решение о его созыве принял ЦИК, поставив на обсуждение один-единственный вопрос — о власти, то есть практически о формировании нового правительства. Приглашали по политическому признаку. Среди делегатов преобладали эсеры и меньшевики; большевики получили меньше двенадцати процентов. Парадокс: совещание, призванное обсудить проблему — вступать или не вступать в коалицию с кадетами, — самих кадетов насчитывало всего четверых. В резолюции предварительного заседания Совета коалицию вообще отвергли, выдвинув предложение о создании власти «из уполномоченных предста-

вителей рабочих, крестьянских и солдатских организаций (не только Советов), под контролем которых эта власть должна работать до Учредительного собрания». Однако такая позиция Петросовета никак не гарантировала успеха на совещании, где эсеры, меньшевики и примыкающие к ним делегаты составляли большинство.

Более того: Временное правительство объявило, что Демократическое совещание является «общественным», «частным», правительство как таковое в нем участия не примет (хотя министры могут выступать от своего имени), и никакой обязательной силы для кабинета решения совещания иметь не могут.

За несколько дней до совещания министр внутренних дел отдал приказ (опубликованный в газетах) об аресте Ленина и Зиновьева. Гладко писано в бумаге... Григорий Евсеевич находился на нелегальном положении, а Владимир Ильич — так и вовсе в Гельсингфорсе. Быть может, надеялись, что оба клонут на удочку, объявятся ради участия в совещании? Ни дурачками, ни героями они не были. Тем не менее при входе в театр тщательно проверяли документы, какие-то господа проходили мимо очереди делегатов, тщательно, нагло вглядываясь в лица: ведь приказано было арестовать *при входе, а не в зале*.

В заранее избранном президиуме поднялся председатель ВЦИК Чхеидзе, начал вступительную речь. В ней неудачи в решении основных вопросов революции, кризиса власти, и корниловское выступление он объяснял влиянием кадетов с их курсом на захват Константинополя, а также большевиков с их идеей социалистической революции...

Тут и вошел Керенский, появление его не вызвало былого энтузиазма, и речи председателя, как бывало, он не прервал.

Как быть? Что делать? — вопрошал тем временем Чхеидзе. Совещание должно ясно и определенно ответить на эти вопросы. Страна ждет власти революционной, которая последовательно, без всякого шатания выполнит ту программу, которая необходима для страны. И в качестве такой программы предложил декларацию, принятую Государственным совещанием в Москве ровно месяц назад, 14 августа, и огласил ее. Там говорилось, что в лице Советов революционная демократия не стремилась к власти, а поддерживала всякую власть, способную охранять интересы страны и революции, содержался призыв к поддержке Временного правительства, облеченного всей полнотой власти... (На последнем заседании Демократи-

ческого совещания, 20 сентября, эта декларация была заново принята без поправок.)

Слово получил Керенский. Теперь его шумно и продолжительно приветствовали. Он явно волновался, говорил с длительными паузами, вышел из-за кафедры, перемещался по сцене. О политической ситуации, об организации власти, о правомочиях и задачах совещания — ни слова; только потребовал доверия и поддержки. И вдруг — неожиданный поворот...

Временное правительство поручило мне приветствовать настоящее собрание, заявил он, уже наговорившись, казалось, вдосталь, а с приветствия следовало бы начинать... Но я не могу говорить, прежде чем не почувствую, что здесь нет никого, кто мог бы мне лично бросить упреки и клевету, которые раздавались в последнее время... (Раздались шумные массовые возгласы: есть, есть!) Позвольте мне поэтому изложить в кратких чертах то, что называется корниловщиной, и то, что, я могу сказать по праву, было мною вскрыто и уничтожено... (Снова выкрики: нет, нет, не вами, а демократией и Советами!)... Да, демократией, так как я все, что делал, делал ее именем...

И принялся подробнее излагать то, что всем было уже известно про выступление Корнилова. Как бы давая показания в качестве обвиняемого, хотя никто не давал повода к этому...

И снова — поворот: не ошибитесь, не думайте, что если меня травят большевики, то за мной нет сил демократии. Не думайте, что я вишу в воздухе, имейте в виду, что если вы что-нибудь устроите, то остановятся дороги, не будут передаваться депеши... (Одни рукоплещут, другие смеются.)

Керенский приободрился, заканчивал в мажоре.

Когда я прихожу сюда, я забываю все условности положения, какое я занимаю, и говорю с вами как человек... (Странная фраза: такое совещание проводится впервые и заседание первое...) Но человека не все здесь понимают, и я скажу вам теперь языком власти: каждый, кто осмелится покуситься на свободную республику, кто осмелится занести нож в спину русской армии, узнает власть революционного правительства, которое правит доверием всей страны.

Он выдавал желаемое за сущее, но того же самого хотели и делегаты: очень большая часть собрания провожала премьера долгой овацией.

А затем — после речи военного министра А. И. Верховского — совещание занялось ненужным и нудным делом: обсуждением того, быть в стране коалиции или же чисто демократическому правительству.

В это же время Ленин из своего укрытия писал Центральному Комитету: надо начинать вооруженное восстание... И в числе прочего указывал пальцем на Демократическое совещание: «...окружить Александринку». ЦК с ним не согласился. Ничего, согласится в другой раз...

Керенский же, как дознались бдительные меньшевики, пока шла говорильня, уже формировал правительство.

19-го на совещании приступили к голосованию. Оно получилось анекдотичным.

Резолюция о возможности коалиции с цензовыми (буржуазными) элементами была принята без поправок незначительным большинством.

Затем голосовались поправки: 1) из правительства должны быть устранены те кадеты, которые замешаны в деле Корнилова; 2) из правительства должна быть устранена вся кадетская партия. Совещание приняло обе поправки, то есть отказалось от коалиции с кадетами.

При утверждении резолюции с внесенными поправками ее провалили.

Итак, «не отходя от кассы» решили: кадеты могут входить в правительство — кадеты не могут входить в правительство — кадеты могут и не могут входить в правительство.

Т у п и к.

Решили договориться на заседании президиума совещания и представителей фракций и групп. Постановили: создать однородную социалистическую власть. Одновременно приняли предложение об организации Демократического совета, или Предпарламента.

22 сентября совещание окончило работу.

Но еще утром 21 сентября в переговоры с Керенским вступили эсеры Авксентьев и Гоц, меньшевики Церетели и Чхеидзе. Они заявили, что отказываются от всяких претензий на инициативу и организацию власти, и признали, что она должна исходить от самого Временного правительства.

Демократическое совещание кончилось п ш и к о м.

22-го в Зимнем дворце состоялось соединенное заседание Временного правительства и руководителей Демократического совещания, на котором Керенский заявил, что правительство не будет формально ответственным перед совещательным Предпарламентом.

На следующий день Всероссийский демократический совет одобрил соглашение меньшевиков и эсеров с кадетами о создании новой правительственной коалиции.

Тогда же, вопреки настояниям Ленина, партийное совещание приняло решение об участии большевиков в Предпарламенте, отмененное 5 октября.

И одновременно ВЦИК постановил созвать II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 20 октября.

#### 4

После длительных переговоров членов Директории и комиссии Демократического совещания с представителями московских промышленников была достигнута главная цель, которую преследовали Керенский, меньшевики и эсеры, созывая Демократическое совещание (и отменив его решения), — 25 сентября было сформировано третье коалиционное правительство, существовавшее до 25 октября — тридцать один день.

Входившие ранее во второе правительство:

- министр-председатель и Верховный главнокомандующий — А. Ф. Керенский, эсер, юрист, масон;
- министр внутренних дел и одновременно почт и телеграфов — А. М. Никитин, меньшевик, юрист, масон;
- министр иностранных дел М. И. Терещенко, беспартийный, экономист, масон;
- министр исповеданий А. В. Карташев, кадет, профессор богословия;
- министр продовольствия С. Н. Прокорович, беспартийный, доктор философии, масон.

Не входившие во второе правительство:

- военный министр Александр Иванович Верховский (1886—1938), беспартийный, высшее военное образование, генерал-майор;
- морской министр Дмитрий Николаевич Вердеревский (1873 — 1946), беспартийный, образование высшее военное, контр-адмирал;
- министр юстиции Павел Николаевич Малянтович (1870—1939), меньшевик, юрист, масон;

заместитель министра-председателя и министр торговли и промышленности (входил в состав однородного и первого коалиционного правительств) Александр Иванович Коновалов (1875 — 1948), кадет, инженер, масон;

министр путей сообщения Александр Васильевич Ливеровский (1867 — 1951), беспартийный, инженер, масон;

министр земледелия (с 3 октября) Семен Леонтьевич Маслов (1873 или 1874 — 1938), эсер, юрист;

министр финансов Михаил Владимирович Бернацкий (1876 — 1945?), радикал-демократ, профессор политэкономии, масон;

государственный контролер Сергей Алексеевич Смирнов (1883 — ?), кадет, экономист, масон;

министр просвещения Сергей Сергеевич Салазкин (1862 — 1932), кадет, доктор медицины;

министр труда Кузьма Антонович Гвоздев (1882 — ?), меньшевик, образование начальное (у единственного из министров всех составов);

министр государственного призрения Николай Михайлович Кишкин (1864 — 1930), кадет, врач, масон;

председатель Экономического совета (с 13 октября — Главного экономического комитета) Сергей Николаевич Третьяков (1882 — 1943), «прогрессист», экономист-предприниматель.

По партийности: эсеры — 2, меньшевики — 3, радикал-демократы — 1, беспартийные — 5, кадеты — 5.

По образованию: доктора наук и профессор — 3, высшее — 13, начальное — 1.

По специальности: юристы — 4, экономисты, инженеры, врачи, военные — по 2, прочие — 4.

Масоны — 10.

Программа правительства (декларация) не вносила ничего нового: заверения союзников о продолжении войны для защиты «общесоюзного дела», провозглашение необходимости восстановления дисциплины в армии, заявление о «недопустимости земельных захватов» и т. п.

Под давлением масс правительство ввело в действие с 1 октября указ о ликвидации земских начальников, издало 6 октября указ об упразднении «частных совещаний» Государственной думы, ее канцелярии, безжизненного Государственного совета, а также дворянских сословных органов, созвало 7 октября Временный совет Российской Республики (так официально стал со 2 октября называться Предпарламент), подтвердило сообщение о созыве Учредительного собрания.

Специальная Особая комиссия по составлению проекта основных государственных законов под председательством профессора государственного права Н. И. Лазаревского (затем В. М. Гессена) приступила к разработке Конституции Россий-

ского государства, согласно которой будущая Россия должна была стать буржуазной республикой во главе с обладавшим широчайшими, почти царскими, полномочиями президентом, избираемым Учредительным собранием на один год, и парламентом, состоявшим из верхней и нижней палат. Комиссия действовала с 11-го по 24 октября и не завершила своей деятельности, продолжив ее в 1919 году в Париже.

## 5

25 сентября по предложению большевистской фракции Петроградского Совета его председателем был избран Лев Давидович Троцкий (26 октября 1879 — 20 августа 1940; убит в Мексике по приказу Сталина). Родился в семье зажиточного землевладельца, крупного арендатора, обучался в реальном училище, в 1896 году вступил в социал-демократическое движение. При царизме провел два года в тюрьме и четыре года в ссылке. Находясь в эмиграции, окончил Венский университет. Занимался литературной деятельностью, стал приверженцем марксизма. В 1905 году был председателем Петроградского Совета рабочих депутатов, за что судим, приговорен к «вечному поселению» в Сибири, но по пути бежал. С конца 1906-го по май 1917 года находился в эмиграции. В июле 1917-го принят в большевистскую партию. Играл решающую роль в подготовке и проведении Октябрьского переворота, что первым публично отметил Сталин, через короткое время написавший прямо противоположное: что в деле Октября Троцкий не играл вообще никакой роли.

А большевистский Октябрь близился, близился...



## Глава пятая

На рабочих митингах они (большевики.— В. Е.) рассуждали о «диктатуре пролетариата». Только такая диктатура, уверяли они, способна защитить революцию и завоеванную свободу. Пролетариат — твердый и несгибаемый защитник мира, он требует свержения правительства Керенского, чтобы установить свою диктатуру в интересах самой революции; это — единственное средство, с помощью которого крестьяне, рабочие и солдаты смогут добиться демократического мира, земли и полной свободы. Многие рабочие свято верили во все это и были готовы разрушить свободу и распять революцию во имя грозящей тоталитарной диктатуры, уверенные, что выполняют «освободительную миссию» пролетариата.

*А. Ф. Керенский*

### 1

«Октябрь уж наступил»... В Питере начались привычные дожди, ветер с залива, с Невы летел по проспектам, метался по переулкам, празднo гуляющих на улицах не оставалось, а те, у кого была служебная или домашняя забота, пробегали, подняв воротники, придерживая зонты так, чтобы их не вывернуло наизнанку, о т л а в л и в а л и извозчиков, — прежде они гонялись за пассажирами, теперь все сделалось наоборот. Все опять пошло в столице кувырком, как это было в феврале, и, как тогда, большинство о б ы в а т е л е й, испытывая неопределенную тоску и тревогу, еще не понимало, что предстоит пережить столице, а за нею и всей России, не ведало, что происходит в бывших дворцах, на конспиративных квартирах, не больно-то интересовалось надоевшими митингами, проходившими теперь в заводских дворах, в казармах, да как-то нешумно, втихомолку, словно бы не криком, а шепотом. Редкие прохожие спешили утром на службу, вечером — по домам. Сквозь дождь и туман тускло посвечивали уличные фонари, они горели вполнакала, а в квартиры электричество подавали только с шести вечера до полуночи, а свечка стоила два рубля, а керосин почти невозможно достать, а едва стемнеет, почти в открытую орудовали грабители, и прежде всего их, а не какого-то восстания, о котором опять змеились скользкие слухи, боялся питерский обыватель.

И никому, кроме разве десятка человек, не было известно, что в первых числах месяца вернулся наконец после трехмесячной добровольной ссылки, вернулся в парике, очках, без

бородки, Ленин, о нем почти успели забыть даже власти, теперь на передний план у большевиков выходил какой-то Троцкий, он же, добавляли некоторые, Бронштейн, про него достоверно знали единственное — е в р е й, заговорщик, но и эти два бесспорно непристойных качества не волновали обывателя, жаждавшего лишь хлеба насущного и покою, как и рабочих вкупе с солдатами, им хватало своих забот.

Но, как в давние уже времена, существовало два Питера — рабочий, закопченный, кабацкий, казарменный, — так и теперь их сделалось два — обывательский, равнодушный ко всему, что не касалось лично его, — и другой, обуреваемый страстями, взвинченный, агрессивный, одолеваемый жадой власти, готовый ее защищать и захватывать, уверяя, что и захватывает и защищает во имя народа, ради его свободы, демократии, мира, благоденствия и благополучия. Он, этот второй Питер, в свою очередь, разделялся пополам, и каждая сторона величала себя революционерами, а противников — контрреволюционерами, себя — друзьями, а т е х — врагами народа, того народа, что в массе своей и не пытался разобраться, кто из них есть кто, а прятался по квартирам и казармам, иногда митинговал и хотел лишь, чтобы его оставили в покое, дав обещанное и тою, и другой стороной: землю крестьянам, фабрики рабочим, всем вместе — хлеб и мир.

## 2

Он поселился в рабочем районе, на Выборгской стороне, в доходном доме № 1/92, в четвертом этаже, в квартире 41, ее снимала большевичка, депутат Петроградского Совета, надежная, проверенная в конспирации, притом милая и приветливая женщина лет тридцати пяти — Маргарита Васильевна Фофанова. Она знала, конечно, к т о будет ее постояльцем, и отдала ему свою комнату, очень светлую, не загроможденную мебелью (кровать и диван под белыми покрывалами, комод, бамбуковая этажерка, рабочий столик с лампой под абажуром, паровое отопление, тюлевые шторы, стул с прямой спинкой), она кормила Владимира Ильича простенькими, но отменно свежими завтраками, обедами, ужинами, она спозаранку бегала за газетами, пряча кипу их в большую сумку, чтобы не вызвать подозрений. О том, что Ленин живет здесь, не знали даже члены ЦК; от природы трусливый, чему тьма примеров, он всех боялся, и только трое заходили к нему, тщательно скры-

ваясь, — Надежда Константиновна, сестра Мария Ильинична и постоянный связной и охранник, рабочий-красногвардеец Эйно Абрамович Рахья, молчаливый, как и все финны, и преданный революции и Ленину до невозможности, по какой-то причине и был расстрелян (будучи в «генеральском» звании комкора) в 1936 году...

Все-таки то ли была утечка информации, то ли власти предположили, что в сложившейся ситуации «вождь революции» должен находиться где-то неподалеку, — во всяком случае, 20 октября столичные газеты напечатали сообщение о том, что министр юстиции П. Н. Малянтович предписал прокурору Петроградской судебной палаты сделать немедленно распоряжение об аресте Ленина, что и было исполнено. Поздновато спохватились, надо было в Разливе брать, а сейчас — ищи-свищи в огромном Питере!

Ничего наверняка не узнали власти о двух секретнейших заседаниях большевиков 10 и 16 октября, где Ленин присутствовал и где выработали план и создали руководящие органы предстоящего восстания, хотя о нем уже в открытую говорилось на созванном ЦК большевиков съезде Советов Северной области 11 октября, хотя Каменев и Зиновьев из лучших побуждений и невольно подтвердили факт подготовки партии к выступлению, хотя уже не было секретом: это произойдет в канун II Всероссийского съезда Советов, назначенного на 20 октября. И комиссары Временного правительства, начиная примерно с 14-го, докладывали о том, что резолюции о восстании приняли Советы Минска, Саратова, Владимира, Иркутска, Киева, Московской области...

В эти дни, когда неизбежность выступления большевиков стала непреложно очевидной (гадали только — 15 или 20-го?) — управляющий делами Временного правительства Набоков спросил в частной беседе у Керенского, как тот относится к возможности предполагаемого события. И услышал: я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло... А вы уверены, что можете с ним справиться? Да, у меня больше сил, чем нужно. Большевики будут раздавлены окончательно...

Ошибался? Фанфаронствовал? Взъерепенивал себя? Не хотел раскрыться даже одному из самых приближенных людей? Не верил очевидному?

В отличие от июля силы находились в руках большевиков, и политическая обстановка складывалась в их пользу.

Прежде всего, городская партийная организация выросла до 50 тысяч человек (против 30 тысяч в июле).

Из семнадцати районных Советов в городе полностью стояли на большевистских позициях — одиннадцать. Петроградский Совет под руководством Троцкого большевизировался и, сбросив вялость и оцепенение, активно заработал — в нужном направлении. 12 октября при его исполкоме создали Военно-революционный комитет (ВРК) — по сути, легальный орган подготовки и руководства восстанием.

Стремительно росла Красная гвардия, к 20 октября она насчитывала свыше 20 тысяч вооруженных и обученных бойцов.

Петроградский гарнизон состоял из 150 тысяч солдат и офицеров (с пригородами — около 240 тысяч), в том числе 63 тысячи гвардейцев, 7 тысяч юнкеров, 5 тысяч «ударниц» женских батальонов. Пока гарнизон еще колебался, но усиленная агитация большевиков в его частях и отклик на нее позволяли надеяться на поддержку восстания значительным количеством войск. Надежную опору большевиков являл Балтийский флот, готовый в любой момент выступить против Временного правительства.

### 3

Самоуверенность — действительная или напускная? — Керенского, его полная неосведомленность в военных вопросах (в отличие от Ленина, проштудировавшего соответствующую литературу и написавшего совсем недурную инструкцию по действиям восставших), бессмысленные его надежды на спасение демократии с помощью Предпарламента, случайность в подборе состава правительства, по сути бездействовавшего, — все, и не только это, — приводило власть к непростибельным, «детским» ошибкам, толкало к гибели, ставшей неизбежной.

Между тем в Мариинском дворце, сохранившем былую роскошь и блистательный порядок, где заседал Предпарламент, не было ни революции, ни настоящего дела, там шли межпартийные дебаты, сводились старые счета, заключались блоки и соглашения. И как ни удивительно, отстраненности Совета Республики от реальных событий содействовал Керен-

ский. Достаточно привести фрагмент хотя бы одной его речи, 13 октября (напомним, что за день до того был съезд Советов Северной области, принявший резолюцию о восстании).

Здесь говорится, что население волнуется вопросом о съезде 20 октября, начал Керенский, хотя никто в Предпарламенте об этом не заикался. Я должен заявить, что Временное правительство в курсе всех предположений и полагает, что никаких оснований для паники не должно быть. Всякая попытка противопоставить воле большинства и Временного правительства насилие меньшинства встретит достаточное противодействие. Я человек обреченный, мне уже безразлично (ах, актер, ах, кокетка), и смею сказать: это совершенно невероятная провокация, которая сейчас творится в городе большевиками...

И, поругав как следует большевиков, которые «развращают массы», Верховный главнокомандующий закончил совершенно неожиданно: мы стоим на необходимости защиты слова и печати и ждем, когда само общественное мнение заставит исчезнуть те органы печати, которые под видом свободы служат шантажу, погрому и разврату масс...

Вот кто виноват, оказывалось,— печать. Не вооруженные большевики, не хозяйственная разруха, не развал армии,— репортеры и публицисты угрожают демократии... (Почитали бы эти слова депутаты теперешней, 1997 года, Государственной думы...)

Керенский не пожелал прислушаться к человеку более чем компетентному — к тридцатилетнему генерал-майору, выпускнику Академии Генерального штаба, военному министру Александру Ивановичу Верховскому. 17 октября на заседании Временного правительства он заявил: большевизм в Совете рабочих депутатов, а его разогнать нет сил. Я не могу предоставить реальной силы Временному правительству и потому прошу отставку... Через день там же он продолжил: народ не понимает, за что он воюет, за что его заставляют нести голод, лишения, идти на смерть. В самом Петрограде ни одна рука не вступится на защиту Временного правительства, а эшелоны, вытребованные с фронта, перейдут на сторону большевиков... Назавтра в Предпарламенте гнул свое: воевать мы не можем, нужен немедленный мир...

На руках бы носить умного и смелого генерала, отдать ему пост главковерха — куда там, разве Александр Федорович такое допустит. Верховского уволили... в отпуск на две недели. И отправили — в Валаамский монастырь, замаливать, вероятно,

грехи и в молитвах обрести веру. Он уехал 22 октября, в самое время, когда еще мог что-то сделать...

Керенский не проявлял никакой видимой тревоги при очевидной опасности положения. Выступление большевиков считалось сомнительным, поскольку его планы все раскрыты. Начальник штаба округа генерал-майор Я. Г. Багратуни докладывал Верховному главнокомандующему: большевики готовят мирную демонстрацию против правительства; впадать в панику могут только обыватели, а отвлекаться от серьезных государственных дел никаких оснований нет, поскольку тут одни большевики, а против них — вся страна, которая поддерживает правительство...

В те дни Керенский еще мог попытаться парализовать большевистскую партию, обезглавить ее, арестовать сотню человек. Тысяча офицеров и юнкеров уж наверняка нашлась бы у него для этой цели. Терять было нечего, следовало бурным смелым натиском сорвать движение. Но правительство не пожелало рисковать, оно, как ни удивительно, не тревожилось в сознании своей — столь призрачной — власти.

О беспечности властей ярко говорит мелкий, но выразительный факт. 18 октября — ровно за неделю до восстания, о котором всю трубили на каждом углу, — Петроградская городская управа целое заседание посвятила актуальнейшему вопросу: разрешить солдатам ездить в трамваях бесплатно (они и без разрешения так ездили), драть ли с них, как и с любого, плату в двадцать копеек или дать льготу — за билет пятачок...

19 октября командующий округом доложил Керенскому: нет никаких оснований думать, что гарнизон откажется выполнять приказания военного командования.

А через день гарнизон окончательно признал единственной властью Совет, а непосредственным начальствующим органом — ВРК. По существу, это и было переворотом: Временное правительство стало фактически безвластным. Но при этом новая государственная власть не объявлена, и Керенский еще мог, мобилизовав войска, расположенные близ столицы, нанести удар по мирно взбунтовавшемуся гарнизону. Однако ни правительство, ни, как ни странно, большевики не придали свершившемуся факту никакого значения.

Тем более что, когда через несколько часов, в ночь на 22-е, к командующему округом полковнику Полковникову явились представители ВРК и заявили, что отныне все распоряжения по гарнизону могут считаться действительными только

после того, как их завизируют они, командующий категорически отказался, представители Смольного молча удалились. Полковников вполне мог их арестовать. Он мог атаковать штаб революции — Смольный, тогда еще плохо защищенный. Ничего этого командующий не сделал.

Правда, Керенский высказывался за ликвидацию ВРК. Но Полковников убедил: не надо спешить, он с ними дело уладит. Главковерх стал ждать, пока образуется. И — образовывалось: командующий округом повел переговоры с Советом... о введении в него, Совет, представителей своего штаба... Коалиция, так сказать...

В ночь на 23-е штаб округа занимался будничным делом: отдавал распоряжения о караулах и нарядах, проверял несение службы в войсках. Все было в порядке, службу несли согласно уставу.

В понедельник, 23-го, Предпарламент обсуждал вопросы внешней политики. В это время большевики без боя овладели Петропавловской крепостью, ее гарнизон капитулировал... перед двумя безоружными ораторами — Троцким и Лашевичем. Большевики помимо прочего разбогатели на 100 тысяч винтовок из крепостного арсенала.

24-го штаб округа решился на боевые действия: несколько юнкеров явились в редакции большевистских газет «Рабочий путь» и «Солдат» и объявили их закрытыми. Наутро газеты вышли как ни в чем не бывало.

В тот час, когда юнкера истребляли большевистские различные печатные органы, к Петербургу из Гельсингфорса подходили два миноносца, посланные для поддержки восстания. По собственной инициативе Балтфлота: Смольный их пока не звал...

#### 4

Одно из важнейших условий успеха всякого наступления большевики утратили: фактор внезапности. Всем было ясно: если выступают, то до съезда Советов. Гадали лишь: 15 или 20-го? На заседании Временного правительства 14 октября большевиков вполне серьезно попрекнули: вместо торжественного объявления о точном дне своего выступления они решили законспирировать его.

Большевиков пытались запугать, заморочить и в какой-то мере преуспели в этом, они проявляли и беспечность, и са-

моуверенность. 17 октября бюро ЦИК приняло решение отложить съезд на 25 октября, что сбивало планы Ленина и его соратников, легко было догадаться, что отсрочка даст правительству возможность подтянуть дополнительные силы с фронта и из окрестностей Петрограда. Усиливалась охрана Зимнего, и будущие повстанцы не придали этому значения, не смогли активно воспрепятствовать, как и усилению мер по удержанию правительством самой грозной силы того времени — бронированных машин. Не воспрепятствовали и продвижению к столице ударных офицерских самокатных батальонов, казачьих войск — все это были части повышенной боеспособности и верные правительству. Далекое не сразу позаботились об охране и обороне Смольного.

В ночь на 23-е был весьма благоприятный момент для нанесения смелого и решительного удара, беспрепятственного овладения городом, однако Военно-революционный комитет занял выжидательную позицию, оттягивая время до открытия съезда и ради этого ведя авантюристическую и рискованную игру в виде переговоров со штабом округа. Левые эсеры под угрозой выхода из ВРК добились решения ЦИК о том, что комитет не является органом захвата власти, а создан исключительно для защиты гарнизона и революции от контрреволюционных посягательств и погромов. Это, а также предложение Полковникова о переговорах отвлекли внимание ВРК от выбора момента и дали правительству несколько часов передышки.

В ночь на 24-е Смольный пребывал в состоянии некоторой расслабленности: приказа о выступлении не было, нигде не замечалось и признаков активности правительственных войск.



## Глава шестая

Временное правительство заявляет: те элементы русского общества, те группы и партии, которые осмелились поднять руку на свободную волю русского народа... подлежат немедленному уничтожению... Заговор Ленина — это не плод какого-то недоразумения, а предательский удар...

*А. Ф. Керенский*

### 1

После получения известия о разгроме юнкерами двух большевистских газет ВРК издал «Предписание № 1», где наряду с сообщением о происшедшем событии указывалось на необходимость приведения частей в боевую готовность, присылки представителей на делегатское собрание в Смольный. Первые экземпляры приказа немедленно отправили в Петропавловскую крепость и на крейсер «Аврора». Распорядились об открытии всех большевистских газет, усиленной охране типографий.

Это был первый акт отпора Временному правительству, пока единственный, ибо в остальных распоряжениях говорилось только вообще о приведении сил в боевую готовность, о стойкости и выдержке. Большевики медлили, тянули время, не проявляли должной решимости, все еще занимались, по сути, агитацией, а не конкретными делами. Между тем времени у них, если они решили взять власть до открытия съезда Советов, оставалось мало, и правительство действовало более активно, нежели организаторы вооруженного выступления, делавшие ошибку за ошибкой.

Только сейчас — за подписью Я. М. Свердлова — телеграфировали в Гельсингфорс условной фразой: «Высылай устав», это значило — присылай 1500 отборных матросов и солдат. Но в лучшем случае они могли прибыть только через сутки.

Только сейчас подумали об охране Смольного, бывшего проходным двором, куда мог войти всяк желающий, хоть с пулеметом, хоть с пушкой, там творились бедлам и неразбериха. Днем сюда стали стягивать отряды рабочих и солдат. Настроение у них было неопределенное. Солдаты вели себя благожелательно, но никто не мог поручиться за их надежность в бою. Рабочие были надежны, но едва ли стойки, не понюхав ни разу пороху. Но, хотя пускай и сомнительную, охрану штаба

революции кое-как организовали, дальнейшие действия шли через пень-колоду, а ведь о б щ и й план восстания загодя разработал Ленин (не великий военный стратег, и тезисы его не блистали оригинальностью, но все же и н с т р у к - ц и я, притом дельная, была). При ВРК создали Военно-революционный центр по практическому руководству восстанием и послали комиссаров ВРК в воинские части и на важнейшие военные объекты, — но никто не додумался конкретизировать д е т а л ь н ы й план проведения операции, определить последовательность и время практических действий, назначить ответственных лиц, не распорядился сделать то, о чем напоминал глубоко штатский человек Ленин: в первую голову занять и удержать телефон, телеграф, железнодорожные вокзалы, мосты — азбучная истина, преданная забвению. Непосредственно боевыми действиями на ответственных участках руководили люди отнюдь не военные, в состав ВРК и его органов входили всего несколько офицеров в чине не выше прапорщика. Не было — как бы они назывался — командующего войсками восставших и полевого штаба при нем. Ленин «на смерть стоял на рубеже квартиры Фофановой», оттуда слал записки: скорей, скорей, иначе будет поздно, — однако сам в Смольном появился, по сути, к шапочному разбору, — но отсутствие или присутствие его вряд ли могло сыграть решающую роль, он умел руководить съездами и заседаниями, но не боями.

Так что расхожее утверждение советской историографии о том, что победа 25 октября 1917 года есть к л а с с и ч е - с к и й о б р а з е ц вооруженного восстания, увы, далеко от истины.

## 2

Между тем Временное правительство и прежде всего Керенский вышли из состояния анабиоза и, опираясь на штаб округа, принялись действовать.

Первое, что — к великому конфузу заговорщиков — было сделано: отключили телефоны в Смольном, связь пришлось осуществлять самокатчиками, а то и пешими посыльными. Затем последовали распоряжения правительства и военные приказы: частям оставаться в казармах, не выполнять ничьих указаний, кроме отданных органами Временного правительства, отстранять от дел всех комиссаров ВРК, вызвать на

Дворцовую площадь юнкеров Владимирского, Константиновского и Павловского училищ, женский батальон из Левашова, усилить охрану важнейших объектов города, сформировать два отряда из «увечных воинов» для поддержания гласности и порядка; передать штабу все без исключения автомобили, не принадлежавшие воинским частям; запретить любые митинги; потребовать от всех войск, государственных учреждений и частных лиц неукоснительного выполнения всех распоряжений штаба.

Керенский дополнительно приказал начать судебное преследование членов Военно-революционного комитета и уехал в Мариинский дворец, где еще заседал Предпарламент, решивший напоследок сыграть какую-то самостоятельную роль.

Прервав доклад министра внутренних дел А. М. Никитина о борьбе с анархией на водных путях (актуальная тема!), бледный Керенский объявил, что большевики приступили к активной агитации, — пока только агитации, — за н е м е д л е н н о е свержение правительства и подготовку восстания. Временное правительство, продолжал он, предпочитает быть убитым и уничтоженным, но жизнь, честь и независимость государства не отдать!

Ему ответили бурной овацией — все, кроме левых эсеров и меньшевиков — сторонников Мартова. Текст речи Керенского немедленно стали передавать по телеграфу на фронт, корпусным и армейским комитетам.

Через час Феликс Эдмундович Дзержинский, большевик, призванный осуществлять контроль за почтой и телеграфом, приказал занять Главный телеграф, а несколькими часами позже — Главное телеграфное агентство. Это было в пять пополудни и явилось первой конкретной инициативой ВРК. Поздновато начинали большевики...

Угроза выступления Временного правительства представлялась более реальной, чем наступление, а тем более победа ВРК. В семь вечера в Смольном на расширенном заседании Петросовета его председатель Л. Д. Троцкий заявил, что конфликт восстания сегодня или завтра не входит в планы большевиков — у порога съезда Советов.

В это время Фофанова принесла очередную записку Ленина в ЦК: промедление в восстании смерти подобно! Получив ответ, его не удовлетворивший, он снова посылает Маргариту Васильевну в Смольный, и еще раз — около девяти вечера,

попросив передать товарищам, что будет ждать ответа до одиннадцати часов.

Есть неподтвержденные сведения о том, что Керенский провел вечером совещание масонов, находящихся в городе.

Между враждебными сторонами еще не было сделано ни единого выстрела. Штаб и ВРК еще прошупывали силы друг друга. До шести вечера на улицах было совершенно спокойно. Ходили трамваи, работали магазины. К семи, узнав о том, что по приказу штаба юнкера начали разводить мосты, туда срочно послали большевистские красногвардейские отряды, которые оттеснили юнкеров и взяли под охрану все мосты через Большую, Малую Неву, Большую Невку, кроме Николаевского и Дворцового. Это была вторая операция ВРК, где он проявил неподчинение приказам еще существующей власти.

Смольный к вечеру принял вид боевого лагеря. Перед входом и внутри здания расположились две роты Литовского полка. Часть пулеметов подняли на чердаки. Затем несколько сотен красногвардейцев и саперов преградили все входы и выходы из дворца, теперь Смольный уже нельзя было захватить внезапной атакой: число его защитников достигло полутора тысяч.

Солдаты Измайловского полка овладели Балтийским вокзалом, другие революционные части блокировали все три юнкерских училища. Но ВРК все еще медлил с решительным наступлением, главные объекты находились в руках правительства.

Министры уехали из Зимнего около двух часов ночи 25-го. Керенский остался. Поспешил в штаб округа, рядышком, на Миллионной.

Здесь ему доложили: казаки отказались выступать, из окрестностей не прибыла ни одна часть, половина броневиков перешла к Смольному, остальные неведомо где.

Город оказался без защиты.

Между десятью и одиннадцатью ночи в сопровождении подоспевшего Рахья, надев парик, подвязав платком шеку, Ленин прибыл в Смольный. Встретился с членами ЦК и ВРК, побеседовал, подумал, постелил на пол пальто и уснул.

Поспал — около часу за всю ночь — и Керенский.

Наконец-то в эту пору по заданию ЦК Военно-революционный комитет создал Полевой штаб. В него вошли прапорщик запаса Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, Андрей Сергеевич Бубнов, Константин Степанович Еремеев, Николай Ильич Подвойский, бывший солдат-фронтовик Григорий Исаакович Чудновский. Штаб немедленно приступил к работе. С этого и следовало бы начинать...

## Глава седьмая

Мы были абсолютно уверены, что паралич, охвативший революционный Петроград, будет преодолен...

*А. Ф. Керенский*

### 1

Он тихо спал, усталый, уже насытый, уже напуганный уличными наглыми грабежами, продутый балтийскими и невскими ветрами, облепленный мокрой листвою, полутемный, ненагретый, прекрасный и черномазый, увенчанный золотом куполов и шпилей, прокуренный фабричными дымами город, чье гордое название Санкт-Петербург сменили на Петроград, и еще раз сменят, и вернут обратно изначальное имя, а в народе он всегда будет зваться Питером, и будет переходить от поколения к поколению незатейливая поговорочка: «Питер — народу бока повытер», и жить в нем будут петербуржцы и питерцы, со своим особенным говором, со своей особой гордостью, со своей, только им выпавшей, блокадной бедой, которая еще далеко-далеко впереди, а пока он спал, не слыша выстрелов, потому что их не было, и не слыша стука ружейных прикладов, топота солдатских сапог, фырчанья редких автомобилей, отрывистых команд, он спал и не знал, как и в феврале, что проснется в другом мире, в другой России, при иных хозяевах, чьи послушные и далеко не все и не всё понимающие сподвижники творят этой полутемной ночью черное, подлое, страшное дело, которое касается всех, кто спал сейчас, в переломные часы со вторника на среду 25 октября, не ведая и не слыша ничего.

Наскучавшись в почти четырехмесячном укрытии и безделье, не сняв парика и бабьей повязки на щеке — все еще боялся при полуторатысячной охране, — дав кому-то взбучку, а кому осторожную, чтоб не зазнавался, похвалу, рассыпав направо и налево указания и распоряжения, спал, словно бы не было времени выспаться впрок, вповалку с другими членами ЦК, прямо на полу в комнате 14 Смольного института благородных девиц, комнате заплеванной, провонялой, в нахлобученной на душный парик вытертой мерлушковой шапке, в зачуханном пальтеце, объявленный государственным преступником, — облыжно объявленный именно таковым, ибо на са-

мом деле был он преступником не против государства, а против народа — потомственный дворянин, помощник присяжного поверенного, ссыльнопоселенец, литератор, эмигрант, создатель одной из двух самых страшных в мире политических партий, вчера еще находившийся во всероссийском розыске, сегодня — партийный вожь, завтра станущий Государем всея Руси, никогда не носившим такого титула. Он спал и не слышал тоже ровнехонько ничего, спал спокойно, зная, что теперь настала его пора, пришло время, когда он рассчитается за казнь брата, за эмигрантскую склочную жизнь, за унижительную зависимость от всяких там Эйно Рахья, Николая Емельянова, Маргариты Фофановой, за потерю единственного в жизни истинного друга Юлия Мартова, за непослушанье, неповиновенье товарищей, не желавших понимать его, за отрешенность от подлинных интеллигентов, которых он вскоре выразительно и чохом назовет г о в н о м. Он спал, почесываясь, как блохастый — в периоды нервного напряжения его одолевала зудливая, по всему телу сыпь, — и его и соратников не сторожил, а охранял отныне специально выделенный караул у дверей...

А в последней в истории России демократической, если так позволительно выразиться, ночи, по его, Ульянова, на качке, по приказам ВРК и Полевого штаба теперь дела шли по плану, по порядку, так любимому им.

## 2

Александр Федорович Керенский, Верховный главнокомандующий и министр-председатель, рухнувший во френче, галифе и сапогах на пышную, каждый раз, когда он приляжет, прилежно заправляемую кровать предпоследнего государя, то ли спал, то ли пребывал в полудреме не свыше часу и около четырех утра 25-го, тщательно выбритый цирюльником, освеженный одеколоном и кофею, пересек Дворцовую, отмахнулся от доклада дежурного по штабу округа офицера, мимоходом отстранил от должности командующего округом Георгия Петровича Полковникова, еще не зная толком, что происходит в столице, прошел, отвечая поклонами на воинские приветствия, в свой тут кабинет.

В приемной сидел — вернее, спал сидя — некто в полевой офицерской форме, заслышав шаги, он, как механический

чертик, вскочил, механически одернул ремень и, кажется, пытался рапортовать, но Керенскому было сейчас не до ритуальных церемоний, он отрывисто спросил, кто вы, и тот начал все-таки рапортовать по всей форме, обалделый от бессонницы и краткого сна в приемной: член революционного комитета и его группы эсеров, прапорщик Сер... Хватит, Сережа, сказал Керенский, узнав, хватит. Понял. Ты — кто? Разведчик? Парламентер? Перебежчик? Провокатор? Мне вот как некогда разгадывать психологические шарады...

Моментально очухавшись, Сергей Васильев, — тот, тот самый эсер-студент из кружка студентов, что собирался у Оли, Ольги Барановской, и чуть было не принял Сашу Керенского в боевую группу. Но то было когда...

Садись, Сергей, хладно сказал глава несуществующего государства и главоверх неопределенного войска, садись и говори — что хочешь говори, даю десять минут. Хочешь выпить? Ты, вижу, полуживой. А ты? А я — нет, я живой. Чокнулись, выдохнули, Керенский сказал: я тебя, Сережа, слушаю, с чем пришел.

Послушай, Сашка, торопливо и споткнувшись на обращении заговорил Васильев, я, конечно, поступаю непристойно, не имею права тебе говорить, что происходит у нас, в ревкоме, мне размышлять некогда, я должен был решить, или я сохраняю большевистские секреты, либо гроблю тебя, лично тебя, на твое правительство мне, извини, начхать, а ты — есть ты, и хоть столько времени не виделась... И прости, я ради Ольги, ради ребятишек ваших... Я все знаю, как у вас в семье, но не в этом дело... Выпей еще, Сережка, сказал Керенский, это иногда помогает. Тот послушно хлестанул до донышка наполненного фужера. Слушай, Саша, сказал он, закусив махорочным дымком, слушай меня — беги. Они тебя законопатят в Петропавловку навечно, они тебя расстреляют, повесят, четвертуют, колесуют, не знаю что, но они тебя не просто казнят, а мучительно. Ты их не знаешь, а я с ними в военревкоме... Сережка, друг, спасибо, сказал Керенский. Иди, нет, стой, я сейчас. И, взяв именной, с высшими своими титулами, бланк, написал: гражданин Российской Республики Сергей Васильев является лицом неприкосновенным, уполномоченным выполнять только ему известные задания... Расписался. Поцеловались...

(А-а, Керенского шпион, сказал матрос и выстрелил ему в висок. Это было в Зимнем, где Васильев шел в отряде Чуд-



новского на поиски и арест Временного правительства. Видимо, интеллигентская внешность Сергея вызвала пьяные подозрения матросика Балтийского флота...)

Чего с ним почти не случалось, Александр Федорович вытер глаза и велел вызвать начальника контрразведки правительства подполковника Сурина, велел и запереть дверь. Слушаю вас, подполковник, сухо сказал он.

Около полуночи, докладывал Сурин, отряд красногвардейцев Сестрорецкого района установил охрану на подступах к Смольному: возле Охтинского моста, у Суворовского проспекта, близ Смольного монастыря и вдоль берега Невы. Одновременно 2-й пулеметный запасный полк выступил из Петергофа, с ходу овладел станциями Стрельна, Сергиева Пустынь и Лигово, перекрыв тем железнодорожный путь юнкерам из Ораниенбаума и Петергофа на Петроград и лишив их телефонной, телеграфной и даже почтовой связи.

В час сорок пять минут пополуночи боевой отряд большевистски настроенных моряков занял здание Главного почтамта. Примерно в то же время саперы 6-го запасного батальона оцепили Николаевский вокзал. В два часа на городскую электростанцию прибыл комиссар Совета, по его приказу без сопротивления выключили освещение правительственных зданий. На крейсере «Аврора» офицеры отказались выполнить приказ большевиков вести судно к Николаевскому мосту, их арестовали матросы, командование кораблем принял комиссар Бельшев и вынудил командира исполнить приказ. В три тридцать («когда вы, господин председатель, изволили отдыхать») «Аврора» отдала якорь у Николаевского моста и овладела им. Телеграф и Телеграфное агентство отбить у большевиков не удалось.

Керенский отпустил начальника контрразведки и собрал высших чинов штаба. После короткого совещания начали рассылать телеграммы, приказы, посылают нарочных. Стало ясно: надежд на пополнение верными войсками — нет. В восемь утра оперативный дежурный по штабу доложил: в руках восставших все железнодорожные вокзалы, предприятия связи, Государственный банк, четыре крупные газетные типографии — словом, почти все, кроме Дворцовой и Исаакиевской площадей и прилегающих к ним кварталов.

Как вскоре выяснилось, все эти операции происходили вполне спокойно, правительственные войска не оказывали, в общем, никакого сопротивления, важнейшие объекты занимали небольшими группами красногвардейцев, словно просто-напросто производили смену караулов: более слабая группа юнкеров уходила, ее место занимала более сильная — повстанцев. Не регистрировали ни одной жертвы. Из гарнизона численностью в 150 — 200 тысяч человек участвовали, вероятно, не более одной десятой части, штаб восстания действовал, как и войска, — вяло, осторожно, ошупью.

Простая логика подсказывала — следовало в первую очередь парализовать политический и военный центр правительства, то есть занять Зимний дворец и Штаб, изолировать старую власть и ее аппарат. Это важнейшее дело почему-то откладывали и откладывали. Более того, не сделали самого элементарного — не произвели военной разведки. Оба помещения — Зимнего и Штаба — фактически уже не охранялись, проникнуть туда не составляло ни малейшего труда любому лазутчику, самому неопытному. У подъезда Штаба не выставили даже часовых, войти внутрь мог любой желающий. Для взятия Керенского и Штаба хватило бы столько людей, сколько их входило в состав ВРК. Однако, как справедливо отмечал впоследствии Л. Д. Троцкий, план овладения Зимним разрабатывался в стиле большой операции: когда штатские или полустатские приступают к разрешению чисто военной задачи, они всегда склонны к стратегическим мудрствованиям, не обращая внимания на «мелочи». Что и говорить, если даже телефонную связь Штаба «наступающие» догадались отключить в семь утра 25-го!

Даже возле кабинета Главковерха в Штабе, у дверей его ни караула, ни адъютантов, ни прислуги, открывай дверь и бери голыми руками и председателя правительства, и собранных здесь министров. Но восставшие готовились к боевой о п е р а ц и и, схватке, сражению, такой простой вариант захвата либо не приходил им в голову, либо казался слишком уж будничным, они жаждали подвига, битвы, дыма, огня, визга снарядов, штурма, натиска!

Спокойствие на октябрьских улицах, отсутствие толп и боев давали противникам повод говорить о заговоре ничтожного меньшинства, об авантюре кучки большевиков, — это подлинные слова Троцкого. Заговор, а не восстание, не революция, тем более — не Великая, тем более — не социалистическая

(слово социалистическая было упомянуто Лениным в те дни лишь 2 ноября, мимоходом!).

Но о революции он при том, конечно, говорил.

В десять часов утра 25-го он закончил писать, править и согласовывать с членами ЦК и ВРК «Обращение к гражданам России!». Текст его гласил:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Немедленно отправили в типографии, а в 2 часа 35 минут пополудни в Актовом зале Смольного открылось общее собрание Петросовета и делегатов II съезда Советов, где Ленин впервые после долгого перерыва выступил с речью, повторив те же положения.

Это была либо заведомая ложь, либо шантаж, либо попытка ввести население в заблуждение. Временное правительство еще не было низложено, оно существовало в качестве официально признанной власти, худо-бедно, а организовывало в столице оборону, а вне ее — подавление мятежа. Низложенным оно станет тогда, когда либо будет арестовано, либо само перестанет признавать себя правительством и фактически откажется от власти.

И почему, согласно обращению, власть переходит (или, как сказано тут, уже перешла) не в руки съезда Советов, высшего органа народовластия в тот период, не в руки ВЦИК, исполнительного органа Советов всей России, а — Совету одного лишь города, пускай столичного, и даже не ему, а его временному придатку, ВРК, созданному с весьма локальной целью — защиты порядка в городе и самовольно (вернее, по указанию партии большевиков, не являвшейся правящей) расширившему свои функции до органа руководства восстанием. Но — не органа же власти. В воспоминаниях встречается такой эпизод: Ленина спросили — Владимир Ильич, а почему и при

чем тут ВРК? А, какая разница, отмахнулся вождь, после разберемся... И в самом деле, какая разница... Те, кому надо было понимать, понимали: к власти приходит п а р т и я. Партия огромная — 350 тысяч человек, организованная, спаянная — нет, не передовой теорией, как будут талдычить впоследствии, — а железной партийной дисциплиной, вооруженная — не только винтовками, пулеметами, пушками, броневиками, но и четко поставленной целью, ясными и доступными пониманию любого безграмотного крестьянина лозунгами, партия, имевшая во главе — вождя, волевого, безжалостного, который «знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть», который дорожил лишь собственной жизнью и тщательно ее оберегал, однако меньше всего думал о жизнях тех, кто доверился ему, и тех, кто примкнул по недоразумению, и уж конечно тех, кто посмел выступить против... Партия эта называла себя рабочей — и в самом деле, к октябрю пролетарии составляли в ней около шестидесяти процентов, ее организации находились главным образом в промышленных крупных центрах, — но уже тогда фактически она была партией профессиональных революционеров, функционеров, уже своего рода номенклатуры, и в дальнейшем она станет укрепляться именно в таком обличье, и народ доживет до того времени, когда в Конституции страны — единственной такой в мире — будет официально записано, что правящей силой государства является не народ, не его выборные органы, а она, партия (на деле же — верхушка ее аппарата...).

### 3

Куда как ближе к истине был полковник Г. П. Полковников, который в то же время, когда Ленин дописал свое обращение, телеграфировал (в 10 часов 15 минут) в Могилев, в Ставку, начальнику штаба главковерха Н. Н. Духонину и главному Северного фронта В. А. Черемисову: «Временное правительство подвергается опасности потерять полностью власть, причем нет никаких гарантий, что не будет сделана попытка к захвату Временного правительства».

Тогда же, в десять, Полковников вызвал прапорщиков Штаба Книрша и Соболева и приказал достать два автомобиля для Керенского, который будто бы решил ехать в Тосно для встречи прибывающих с фронта войск. На самом деле Александр Федорович, как всегда почуяв реальную опасность, на-

целился удирать и спасать свою жизнь в прифронтовой полосе, под укрытием верных войск. В Штабе не оказалось ни одной машины. Прапорщики обратились в американское посольство, и там Керенскому предоставили автомобиль марки «рено». Подъезжая к Штабу, она встретилась с найденным таки председателем, открытого типа красавцем фирмы «Пирс-Арроу», в него и сели Керенский, помощник главнокомандующего округа капитан Козьмин и их адъютанты; американский — с охраной — двинулся следом.

Верный своему стилю, Александр Федорович живописует: понимая всю рискованность такого шага, я решил ехать через город... Когда подали мой превосходный открытый автомобиль... я тронулся в путь... Мое появление на улицах охваченного восстанием города было столь неожиданно, что... многие из «революционных» стражей вытягивались по стойке «смирно» и отдавали мне честь!

Он не сказал, что попрощался только с Коноваловым и Кишкиным, не упомянул почему-то о такой эффектной — не мог без актерства! — детали: прежде чем вырваться на прямую дорогу, он велел шоферу сделать несколько п а р а д н ы х кругов по Дворцовой площади. А уж потом автомобили нырнули под арку Главного штаба, проследовали по Морской, по Вознесенскому и Забалканскому проспектам и взяли курс на Гатчину, а оттуда — в Псков, в ставку Северного фронта.

После отъезда, точнее же бегства, Керенского его заместитель А. И. Коновалов около полудня открыл заседание Временного правительства, присутствовало десять министров и их товарищей. Выразив неудовольствие действиями Полковникова, решили назначить малоизвестного и малопопулярного, сугубо штатского человека, врача, министра государственного призрения Николая Михайловича Кишкина «уполномоченным по водворению порядка в столице и защите Петрограда от всяких анархических выступлений», а его помощниками — товарищей министров Петра Иоакимовича Пальчинского и Петра Моисеевича Рутенберга (между прочим, организатора убийства Георгия Гапона в 1906 году). Оба они были по специальности инженерами. Таким образом, «чрезвычайная тройка» составила опять-таки из сугубо гражданских лиц. Они перешли в штаб округа и к четырем часам пополудни произвели смену военного руководства Петрограда. Это уже не имело никакого практического значения, до падения Зимнего дворца

оставалось менее полусуток, хотя это могло произойти и раньше при всей безалаберности большевиков.

#### 4

Только к шести часам пополудни войска ВРК снова приступили к действиям (правда, в час дня они вступили в Мариинский дворец и распустили Предпарламент, но это не могло считаться боевой операцией, «парламентарии» сдались без сопротивления, охраны они не имели). В короткое время матросы и солдаты вступили в Главное адмиралтейство и арестовали Морской штаб, затем Военное министерство, окружили Дворцовую площадь и заняли все исходные пункты для штурма Зимнего. Ленин торопил: он требовал ареста Временного правительства до открытия съезда Советов. Приказ его не был выполнен: таинственная громада дворца пугала, никто не знал, что там происходит, какие силы сосредоточены, каким способом вести штурм (без которого еще вчера вообще можно было обойтись и овладеть дворцом с министрами без шума). Медлить с открытием съезда было уже нельзя.

По данным анкетной комиссии, из 670 Советов, приславших делегатов, 505 имели поручение голосовать за передачу власти Советам, остальные — за коалиционную власть демократии. Крестьянские и солдатские организации признали съезд незаконным и бойкотировали его, считая, что это лишь съезд тех Советов, где преобладали большевики,— это, между прочим, соответствовало истине.

Первое заседание открылось в 10 часов 40 минут вечера, Ленин не присутствовал. После длительных споров меньшевики и эсеры объявили большевистский переворот незаконным, потребовали переговоров с Временным правительством и около часу ночи покинули зал.

Министр юстиции Временного правительства меньшевик П. Н. Малянтович писал о том, как в эти часы в огромной мышеловке Зимнего бродили, изредка сходясь все вместе или отдельными группами на короткие беседы, обреченные люди, одинокие, всеми оставленные... Вокруг нас, писал он, была пустота, внутри нас пустота, и в ней вырастала бездумная решимость равнодушного безразличия...

Семен Леонтьевич Маслов написал и послал друзьям записку: он, министр земледелия Маслов, умирает с проклятием по адресу демократии, которая послала его в правительство, а теперь оставляет без защиты...

Конечно, еще несколько часов назад, — а вполне возможно и сейчас, — они могли разойтись по таким местам, где находились бы в полнейшей безопасности. Но остались из идейных соображений: они верховная власть, которую могут передать только Учредительному собранию. Но если так, почему они праздно отсиживались, еще надеясь на то, что Керенский выручит, почему не сопротивлялись, почему не отдали охранявшим 2,5 тысячам человек приказ открыть огонь и биться до последнего?

Не стреляли и те, кто держал дворец в осаде. Наконец, в семь вечера прислали министрам ультиматум: если через двадцать минут не сдадутся... Министры решили не отвечать. Время прошло. Снова последовал ультиматум; опять промолчали. (Ультиматум еще с утра в Смольном впрок написал Антонов-Овсеенко.) Предусматривалось, что после сигнального выстрела с Петропавловской крепости даст холостой выстрел «Аврора» и начнется бой. В самый критический момент из крепости сообщили: стрелять не могут никак — снаряды не подходят к пушкам, нет какого-то масла, нет каких-то панорам... Одна причина сменяет другую, ясно, что это все — л и п а, просто — н е х о т я т. Антонов решил дать приказ выпалить из сигнальной пушки (по которой в полдень питерцы проверяют часы)... И она не может выстрелить! Прошел час, полтора после крайнего срока ультиматума. Наконец, не дождавшись сигнала Петропавловки, бухнула холостым выстрелом «Аврора» — в 9 часов 40 минут вечера. Это был знаменитый з а л п «А в р о р ы», которым долгие годы морочили людям головы, возглашая несуществовавший залп историческим, обозначившим начало новой эры в истории человечества...

Наконец бестолково, по-базарному заговорили орудия Петропавловки. Палили редко и в белый свет как в копеечку: было три попадания, не причинившие никакого существенного вреда. После большевики объясняли: мы берегли культурные ценности... Стрелять не умели, а не ценности берегли (о том, как обошлись с ценностями, скажем ниже).

Ружейные выстрелы раздавались изредка во дворце, долетали до столовой возле Малахитовой комнаты, где наконец собрались все министры. Им время от времени докладывали: охрана понемногу самовольно уходит... Большевики прони-

кают во дворец, но их останавливают и разоружают, вот одну группу разоружили, человек 40, вот другую — до сотни... Опять они ворвались, опять ушла часть юнкеров. Сколько осталось и с той и другой стороны? Когда же конец? Министры уже равнодушны. Но во дворце стреляют... Кто? В кого? Второй час ночи.

Около часу, когда выяснилось, что юнкеров перед дворцом не осталось, отважные красногвардейские командиры Антонов-Овсеенко и Чудновский повели отряд внутрь дворца (до того туда пробирались по своей инициативе случайные группы). Вошли через левый, Детский подъезд. Пробирались наугад, хотя Чудновский вечером вел здесь переговоры, его благополучно отпустили, дали провожатого, не завязывали глаза, мог бы хоть что-то высмотреть, хоть приблизительно запомнить дорогу. Натолкнулись на юнкеров — штыки у них наперевес. Предложили мальчишкам сдаться. Те молча бросили винтовки. Вперед, во второй этаж! Двери, двери, в какую податься? Распахнули одну, в первом ряду отважный боец революции истошно заорал: **к о н н и ц а!** Какая конница, как она может оказаться во втором этаже, зачем и с кем рубится? Вгляделись: да ведь это — **к а р т и н а** во всю стену, в натуральную величину. И посмеяться некогда, не до смеха. Наконец кто-то в серой тужурке — тихонько: пожалуйста, сюда, господа-товарищи, не знаю, как величать... Теперь дело пошло: служители дворца раскрывали перед ними двери; **ш и к а р н ы е** комнаты, огромные залы оставались позади. Там и тут юнкеришки поднимали руки, кидали на пол оружие.

Где Временное правительство? Кажется, в Малахитовом зале. Ведите, чего крутите.

Наконец — вот: Малая столовая. Они сидят у стола. Ждут. Вы — члены Временного правительства? Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными! Члены Временного правительства подчиняются насилию и сдаются, чтобы избежать кровопролития, ответил А. И. Коновалов.

Установили личности арестованных, отобрали документы, личное оружие, переписали фамилии, составили протокол задержания — все законно! Чудновский позвонил в Смольный: в 2 часа 4 минуты был взят Зимний дворец. Шесть человек убито павловцев. Комендант Зимнего дворца Чудновский.

Пешком, под усиленной охраной — не охраняли от бегства, берегли от самочинной расправы, — доставили в Петропавловку, где уже в свое время отсидели свое царские министры.



Конвоиров было 25, арестованных 18. Окажись среди них Керенский — вряд ли обошлось бы без самосуда.

Между прочим, Антонов в комнату к министрам попал не сразу... Юнкера остановили его группу у двери, откуда вышел Пальчинский и разрешил войти к членам правительства только одному представителю захвативших дворец. Потом допустили еще Чудновского. Так что известные картины и фильмы, где изображена вооруженная толпа, ворвавшаяся в Малую столовую, — это очередная фантастика, как и залп «Авроры» (ох, и досталось литератору и историку В. Кардину, когда он в «Новом мире», при Хрущеве, разоблачил эту легенду!).

И вообще — всякая «проза» в описании тех исторических событий никак не устраивала ни мемуаристов, ни историков, ни художников. Раз уж укоренились штампы: свержение самодержавия, залп «Авроры», штурм Зимнего и тому подобное, — следовало дать им соответствующие описания.

Вот, к примеру, как — приблизительно — рисовал картину мемуарист Н. И. Подвойский, между прочим, в «штурме Зимнего» не участвовавший (находился в Смольном): визжат ядра орудий, рвутся гранаты, трещат пулеметы, идущие на приступ «перелетают» баррикады, защитники смяты, двор занят, врываются во дворец, разметывают защитников правительства, юнкера бросают оружие, отважные герои ищут «виновников», взламывают двери запертых комнат, вот у одной окостеневшие от ужаса юнкера, они, не дрогнув, выполняют свой долг, прочь с дороги, а, Временное правительство, долой его, наставляют штыки — долой, массы врываются в комнату, низвергнутые лепечут о защите от масс...

Прекрасно! Незабвенно! Героически!

И большинство источников, якобы исторических, не приводят фразу, услышанную поручиком Синегубом, фразу одного из министров: мы не сдались и лишь подчинились силе, и не забывайте, что ваше преступное дело еще не увенчалось окончательным успехом...

И умалчивают о том, что во дворец ворвалась не революционная когорта славной большевистской рати, а в полном смысле толпа, настроенная на насилие и эксцессы, возбужденная стрельбой и запахом пороха. Хулиганские элементы — а они преобладали в толпе, которую немислимо назвать военным отрядом, — начали свои подвиги с вандализма — у портретов выкалывали глаза, с кресел срезали кожаные сиденья,

яшки с бесценным фарфором протыкали штыками, ценные миниатюры, иконы, книги сошвыривали на пол, по ним топали грязными сапожищами. Это установила и запротоколировала 27 октября специальная комиссия, созданная Советом.

Очень кратко, выразительно, пускай и не совсем научно выглядит запись в личном дневнике товарища министра народного просвещения Временного правительства академика Владимира Ивановича Вернадского: «Кошунства в Зимнем дворце — в Церкви Евангелие обоссано, Церковь и комнаты Николая I и Александра II превращены были в нужники! Кошунство и гадость сознательные!»

В 3 часа 10 минут возобновил работу съезд Советов, он заслушал телефонограмму об аресте членов Временного правительства, заключении их в крепость, разоружении юнкеров и офицеров, заслушал ряд сообщений о переходе на сторону восставших военных частей, направленных в Питер Керенским. А. В. Луначарский от имени фракции большевиков огласил написанное Лениным обращение, провозглашавшее переход всей власти в руки Советов. В 5 часов утра съезд почти единогласно (он теперь был почти полностью большевистским) утвердил этот документ.

Утром 26-го Петроград полностью находился во власти ВРК. Шло разоружение военных училищ, предписывалось открывать магазины, возобновилась работа трамваев. Были назначены временные комиссары РВК во все центральные правительственные учреждения. Во избежание политических спекуляций отдано распоряжение об освобождении из Петропавловской крепости всех министров-«с о ц и а л и с т о в» (только их!) и о содержании их впредь под домашним арестом. Но притом дополнительно подвергнут аресту случайно находившийся до того на свободе министр продовольствия с о ц и а л и с т Сергей Николаевич Прокопович.

## 5

В девять часов вечера 26 октября открылось второе (и последнее) заседание съезда Советов.

Председательствующий доложил, что президиум принял решения об отмене — в который раз! — смертной казни, об

освобождении всех политических заключенных, — и царских сановников? — о мерах, принятых по задержанию А. Ф. Керенского.

Затем с докладом выступил Ленин. Он зачитал проект Декрета о мире, принятый единогласно за час до полуночи. Декретом этот документ был назван скорее по недоразумению или для придания ему видимости законодательного акта: он был, по сути, декларацией о намерениях, воззванием к воюющим странам, но его содержание отвечало чаяниям народа.

Почти столь же единодушно (против — один, восемь — воздержались) приняли представленный Лениным Декрет о земле, согласно которому все земли со всем инвентарем передавались в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Частная собственность на землю отменялась, она объявлялась всенародным достоянием, за каждым провозглашалось право на землю, в сельском хозяйстве запрещался наемный труд. Единственная цель этого Декрета заключалась в том, чтобы обеспечить поддержку крестьянства на выборах в Учредительное собрание.

Затем приступили к формированию правительства.

Этому предшествовали некоторые закулисные события. Не сразу нашли подходящее название. От слова министр отказались как от буржуазного. Кто-то предложил: Совет Комиссаров. Нет, сказали, слишком уж куце. Наконец сошлись: Совет Народных Комиссаров, или Совнарком. Срок действия его предполагался до созыва Учредительного собрания, то есть на месяц, поэтому Совнарком также именовался «Временным рабочим и крестьянским правительством».

Возглавить его Ленин предложил Л. Д. Троцкому, тот отказался: если я займу эту должность, враги наши станут говорить, что Россией правит еврей. Кстати, в составе правительства он был единственным евреем, так что чистейшей, беспардонной ложью являлись и являются подсчеты антисемитов, в которых фигурируют десятки, а то и сотни еврейских фамилий людей, стоявших якобы в новой Советской республике у вершин власти. «Статистики» такого сорта включают в свои списки служащих аппарата правительства, наркоматов, военачальников, военных комиссаров, руководителей местных органов... Конечно, подобным способом можно набрать и десятки тысяч: роль евреев в революции общеизвестна и вполне объяснима историческими и социальными причинами...

Левые эсеры от участия в правительстве отказались, потребовав, чтобы кабинет включал также меньшевиков и эсеров.

От председательского поста, между прочим, отнекивался и Ленин, предпочитая работать в ЦК партии, действовать, так сказать, из-за кулис, дергая за ниточки. Мы на это не согласились, рассказывал А. В. Луначарский, заставили его самого отвечать в первую голову, а то быть только критиком всякому приятно... Но, став главой правительства, Ленин если не формально, то фактически руководил и с в о и м ЦК...

Новый кабинет в основном повторял структуру прежнего, только добавили должность председателя (а не комиссара) по делам национальностей да вместо военного министра — комитет в составе трех комиссаров.

Утвержденный съездом состав Совнаркома был следующим (биографические сведения внесены автором книги).

Председатель Совета — Владимир Ильич У л ь я н о в (Ленин)<sup>1</sup>;  
Народный комиссар по внутренним делам — Алексей Иванович Р ы к о в (1881 — 1938), из крестьян, учился на юридическом факультете, член РСДРП(б) с 1898 года.

Нарком земледелия — Владимир Павлович М и л ю т и н (1884 — 1937), из семьи сельского учителя, был студентом университета, член РСДРП(б) с 1903 года, меньшевик, с 1910-го — большевик.

Нарком труда — Александр Гаврилович Ш л я п н и к о в (1885—1937), из мещан, рабочий, член РСДРП(б) с 1901 года, с 1903-го — большевик.

По делам военным и морским — комитет: народные комиссары — Владимир Александрович О в с е н к о (Антонов) (1883 — 1938), из семьи офицера, окончил военное училище, член большевистской партии с мая 1917 года; Николай Васильевич К р ы л е н к о (1885 — 1938), из семьи служащего, окончил университет, член РСДРП(б) с 1904 года; Павел Ефимович Д ы б е н к о (1889—1938), образование начальное, из крестьян, член РСДРП(б) с 1912 года.

По делам торговли и промышленности — Виктор Павлович Н о г и н (1878 — 1924), из семьи приказчика, образование начальное, рабочий, член РСДРП(б) с 1903 года.

Народного просвещения — Анатолий Васильевич Л у н а ч а р с к и й (1875 — 1933), из семьи высшего чиновника, учился в университете, примыкал к большевикам с 1903 года, принят в партию в июле 1917-го.

Финансов — Иван Иванович С к в о р ц о в (Степанов) (1870 — 1928), из семьи мелкого служащего, окончил учительский институт, в партии с 1904 года.

По делам иностранным — Лев Давидович Б р о н ш т е й н (Троцкий) (1879 — 1940), из семьи зажиточного землевладельца, окончил университет, в революционном движении с 1896 года, принят в большевистскую партию в июле 1917-го.

<sup>1</sup> В списке указаны паспортные, подлинные фамилии, а в скобках — партийные или литературные псевдонимы; так в тексте подлинника — В. Е.

Юстиции — Александр Васильевич Оппоков (Ломов) (1867—1937), из семьи агронома, окончил университет, член РСДРП(б) с 1903 года.

По делам продовольствия — Иван Адольфович Теодорович (1876 — 1940), из дворян, учился в университете, в большевистской партии с 1903 года.

Почт и телеграфов — Николай Павлович Авиллов (Глебов) (1887—1937), из семьи сапожника, рабочий, член РСДРП(б) с 1904 года.

Председатель по делам национальностей — Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) (1879, по другим сведениям 1878 — 1953), из семьи сапожника, учился в духовной семинарии, член РСДРП(б) с 1901 года.

Состав резко отличается от любого созыва Временного правительства Львова и Керенского. По социальному происхождению: из семей дворян, землевладельцев, высших чиновников и офицеров — 4; офицеров среднего звена и служилой интеллигенции — 3; из мелких служащих, из мещан, из ремесленников, из крестьян — по двое. Образование: высшее — 4, незаконченное высшее — 6, среднее — 1, начальное — 4.

С ноября 1917-го по январь 1918 года состав Совнаркома неоднократно изменялся: утверждались новые комиссариаты, некоторые наркомы отказывались от должностей, в члены правительства входили левые эсеры, затем они снова сдавали свои портфели. Правительство в основном стабилизировалось в марте 1918 года.

Избрав также новый Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет из 101 человека (62 большевика, 29 левых эсеров и несколько представителей других социалистических партий), II Всероссийский съезд Советов около пяти часов утра 27 октября завершил работу.

Советская власть начала практически действовать в тот же день — до Учредительного, как было объявлено, собрания.

Л. Д. Троцкий: «Если бы большевики не взяли власти в октябре — ноябре, они, по всей вероятности, не взяли бы ее совсем. Вместо твердого руководства массы нашли бы у большевиков все то же, уже опостылевшее им расхождение между словом и делом и отхлынули от обманувшей их партии в течение двух-трех месяцев, как перед тем отхлынули от эсеров и меньшевиков».

По договоренности, установленной еще при Керенском, в случае захвата власти большевиками и ареста министров оставшиеся на свободе (если таковые окажутся), а также товарищи (заместители) министров или соответствующие им по рангу лица должны были немедленно организовать подпольное Временное правительство, главной целью которого была бы борьба за созыв Учредительного собрания в установленные сроки. Таким образом обеспечивалась преемственность власти, и подпольное правительство можно было бы назвать Четвертым: якобы низложенное, оно продолжало трудиться три недели, рядом с другим, тоже Временным (Пятым? Или Четвертым-бис?), названным так самими большевиками.

В подпольное правительство вошли — на прежних должностях, под председательством С. Н. Прокоповича, шестеро министров и столько же исполняющих обязанности министров, их товарищей. Были заняты все основные посты, за исключением военного, морского, исповеданий, торговли и промышленности, а также Верховного главнокомандующего, генерала Духонина, который находился вне подчинения кому бы то ни было до 20 ноября, когда открыто отказался повиноваться Совнаркому сдать должность назначенному Советами прапорщику Н. В. Крыленко и был зверски убит — растоптан — разъяренной солдатской толпой в Могилеве на глазах нового главковерха-большевика.

Заседания правительства Прокоповича проходили в особняке товарища министра народного просвещения графини Софьи Владимировны Паниной.

Конечно, реальные возможности в деятельности подпольного правительства были весьма и весьма ограниченными: в любой момент новые власти могли обнаружить своего тайного соперника. Однако, как пишет исследователь этого уникального в истории — и не только российской — сюжета современный нам историк И. Мочалов, подпольные кружки, секретные собрания, правительства в изгнании и т. п. — все это истории известно. Но вот целое (или почти целое), парламентски правопреемное и законно действующее правительство, ушедшее в тень в своей собственной стране, не захваченной никаким иноземным поработителем, — такого, кажется, кроме нас, грешных, никто еще не видывал...

Главное практическое дело, осуществленное этим правительством, — организация успешного неповиновения государственных чиновников и служащих новой власти, их саботаж, во многом парализовавшие Совнарком и его учреждения.

Основным актом правительства Прокоповича, актом не отчаяния, но высокого гражданского мужества явилось опубликование 17 ноября в газете партии конституционных демократов «Наша речь» постановления: назначить открытие Учредительного собрания в Петрограде в Таврическом дворце 28 ноября в два часа дня.

Здесь же напечатали передовую статью, резко осуждающую большевиков, объявляющую их незаконной властью, предупреждающую об установлении их жесточайшей диктатуры.

Реакция не замедлила последовать: в тот же день, 17-го, власти запретили «Нашу речь», а заодно и еще восемь газет, реквизировали типографию «Новое время», арестовали некоторых сотрудников редакций.

И конечно, всех, кто подписался под обращением к народу об Учредительном собрании — министров и их товарищей, всего 12 человек, — отправили «под надежным караулом» в Кронштадт под надзор местного Совета. Но, по правде сказать, ненадолго. До созыва Учредительного собрания большевики еще воздерживались от «резких телодвижений». Либеральничали, с позволения сказать. Они взяли власть, по выражению Ленина, всерьез и надолго, и у них еще будет возможность показать свою силу.

Показательна в этом отношении судьба членов последнего Временного правительства, третьего коалиционного.

Керенский А. Ф. — скрылся, эмигрировал в июне 1918 года, умер в Нью-Йорке в 1970-м, на девяностом году жизни.

Никитин А. М. — 19 ноября арестован, в декабре освобожден; в мае 1920 года арестован, осужден к лишению свободы на 15 лет; в 1921-м помилован, работал в Москве; в августе 1930 года арестован, через четыре месяца выпущен; дальнейшая судьба неизвестна.

Верховский А. И. — летом 1918 года арестован, вскоре освобожден; служил в Красной Армии, воевал, преподавал в военной академии; в 1931-м осужден на 7 лет лагерей, в 1934-м досрочно освобожден; в 1938 году по тому же обвинению расстрелян; реабилитирован.

Вердеревский Д. Н. — 26 октября арестован, на следующий день освобожден; сотрудничал с Советской властью (на военно-мор-

ском флоте); впоследствии эмигрировал; незадолго до смерти принял советское подданство: скончался в Париже.

Малянтович П. Н.— арестован и освобожден 26 — 27 октября 1917 года, сотрудничал с Советской властью в качестве адвоката, в 1938-м расстрелян в возрасте 69 лет.

Коновалов А. И.— арестован 26 октября 1917 года, вскоре освобожден, в начале 1918-го эмигрировал, умер в Нью-Йорке.

Ливеровский С. Л.— арестован 26 октября 1917 года, вскоре освобожден, работал в Ленинграде на научной и преподавательской работе, участвовал в проектировании «Дороги жизни» во время блокады, умер 84 лет от роду.

Маслов С. Л.— арестован и освобожден 26 — 27 октября 1917 года, снова задержан 19 ноября, вскоре отпущен; работал в Москве до пенсии (1929), в 1930 — 1934 годах находился в ссылке; в 1938-м расстрелян в возрасте 73 лет.

Бернацкий М. В.— 26 октября 1917 года арестован, вскоре освобожден; активно боролся против Советской власти; в 1920-м эмигрировал, умер в Париже.

Смирнов С. А.— 26 октября 1917 — начало 1918 года — под арестом, эмигрировал во Францию, судьба и год смерти неизвестны.

Салазкин С. А.— 26 — 27 октября 1917 года под арестом, затем на родине занимался научной и педагогической деятельностью.

Карташев А. В.— под арестом 26 октября 1917 — начало 1918 года. Затем эмигрировал, умер во Франции девяностолетним.

Гвоздев К. А.— как и остальные, пробыл два дня в крепости, затем 19 ноября сослан в Кронштадт, летом 1918 года состоял в антисоветской организации, затем отошел от политической деятельности, был на хозяйственной работе. В 1931-м приговорен к 10 годам лишения свободы, отбывал наказание без перерыва 25 лет (до 1956). Дальнейшая судьба неведома (при освобождении ему было 74 года).

Прокопович С. Н.— 26 октября задержан на несколько часов, затем вел антисоветскую деятельность, 19 ноября выслан в Кронштадт, вскоре освобожден; в 1922 году выслан за границу, умер в Женеве.

Кишкин Н. М.— после Октябрьского переворота отбыл кратковременный арест; работал врачом в России, где и умер.

Третьяков С. Н.— под арестом 26 октября 1917 — конец февраля 1918 года, занимался антисоветской деятельностью; в 1920-м эмигрировал во Францию; с 1929-го — агент НКВД, раскрыт немцами во время оккупации ими этой страны, казнен как советский шпион в 1943 году.

Итак, из 16 человек все, кроме Керенского, сразу после Октябрьского переворота подвергались кратковременным арестам. Затем пятеро вскоре эмигрировали. Десять человек остались на родине, сотрудничали с Советской властью, из них трое расстреляны в 1930-х годах, трое находились в длительном заключении, трое прожили благополучно до естественной смерти.



Любопытно сравнить эти сведения с данными о членах первого Советского правительства (в том составе, в каком оно образовано 26 октября 1917 года).

Из 15 народных комиссаров (включая председателя В. И. Ленина) 5 человек умерли в результате тяжелых болезней: Ленин В. И. (1924), Ногин В. П. (1924), Скворцов-Степанов И. И. (1928), Луначарский А. В. (1933), Сталин И. В. (1953). Девять расстреляны в конце 1930-х годов.: Рыков А. И., Милютин В. П., Шляпников А. Г., Антонов-Овсеенко В. А., Крыленко Н. В., Дыбенко П. Е., Ломов-Оппоков Г. И., Теодорович И. А., Глебов-Авилов Н. П. И один — Троцкий (Бронштейн) Л. Д. — убит в Мексике по приказу Сталина в 1940 году...

Думается, эти сведения дают пищу для многих размышлений.

## 7

А Керенский, более или менее благополучно миновав Гатчину, к вечеру 25 октября прибыл в Псков, где размещалась ставка командующего Северным фронтом генерала Владимира Андреевича Черемисова. Прежде чем встретиться с ним, Александр Федорович приказал найти своего шурина, генерал-майора (присвоил ему все-таки этот чин!) Владимира Львовича Барановского, занимавшего при Черемисове должность генерал-квартирмейстера (начальника оперативного отдела штаба). Заперлись в его одноэтажном каменном особнячке. Господи, родная душа, свой до конца человек, единственный, кому теперь можно доверять... Володя, конечно, был откровенен и нелицеприятен, как всегда рассудителен и притом четок, как и полагается штабному работнику. На Черемисова не надейся, Саша, говорил он, заигрывает с большевиками, чуть не все время торчит в Совете, разглагольствует о демократизации армии, говорят, даже покровительствует изданию большевистской газеты, норовит угодить новым господам. Дело наше в целом плоховатое, но еще есть надежда врезать большевикам, давай попробуем через Краснова Петра Николаевича... Но он же Третьим корпусом командует, который в корниловском деле нас подвел? Ну и что? С тех пор корпус пополнен новыми людьми, и Краснов — не Крымов, казачьей породы мужик...

Тут же Барановский написал текст телеграммы генералу Краснову: в Петрограде беспорядки, срочно отправить туда Донскую дивизию. Главковерх Керенский.

Вскоре пришел ответ: приказание будет исполнено, Краснов.

На следующее утро Петр Николаевич с большим трудом собрал 10 казачьих сотен, полтора дивизиона легкой артиллерии, бронепоезд и один броневик. На рассвете 27-го отряд без боя занял Гатчину, ее гарнизон частично заявил о нейтралитете, а частично присоединился к мятежникам. Керенский, прибывший вместе с войском Краснова, объявил город на военном положении, ввел смертную казнь, арестовал членов местного Совета, расположился в Гатчинском дворце, в четыре часа пополудни телеграфировал петроградскому гарнизону: вернуться не медля ни часу к исполнению своего воинского долга. Керенского поддержал Духонин, обещая, что верные Ставке войска двинутся на Петроград.

Петроградский ВРК, как уже стало привычным, медлил. Только к вечеру 27-го несколько тысяч солдат отправили почему-то в районы Красного Села, Лигова и Петергофа. А Краснов двинул в другом направлении и утром 28-го занял Царское Село, создав непосредственную угрозу Петрограду. Ленин возглавил комиссию по организации разгрома мятежа.

В ночь на 28-е подняли по тревоге весь трудовой Питер, объявили всеобщую мобилизацию, вызвали верных моряков из Кронштадта. Первые отряды двинулись в направлении Красного Села и Пулкова.

А мятежники были в Царском Селе и готовились вступить в столицу тридцатого. В столице лихорадочно готовился мятеж юнкеров, которые должны были нанести удар в спину советским войскам.

Юнкерский мятеж поднялся 29-го и имел успех, вскоре решительными действиями большевистских частей подавленный.

30 октября Краснов был вынужден сдать Царское Село. 1 ноября комиссар Совнаркома П. Е. Дыбенко решил начать в Гатчине переговоры с Керенским.

## Глава восьмая

Я полагаю, что очевидный паралич воли, который сыграл... столь важную роль в наступившей катастрофе, имел глубокие психологические корни, которые определяли деятельность самых стойких приверженцев демократии того времени. Прежде всего, речь идет о широко укоренившемся страхе начала гражданской войны, которая могла легко вылиться в контрреволюционную войну против демократии в целом. Кроме того, не следует забывать, что в глазах многих людей большевики были всего лишь самым крайним левым крылом социал-демократов. А идея, что «врагов слева» не бывает, имела самое широкое хождение. Среди большинства левых царило убеждение, что люди, по их утверждению выступающие от имени пролетариата, не могут подавить свободу...

*А. Ф. Керенский*

### 1

Затемно, примерно в четыре часа то ли утра, то ли еще ночи 1 ноября по просьбе присланных в Царское Село парламентариев, в Гатчину, занятую войсками Краснова, прибыл красавец матрос, высоченный, с черной бородой, по которой его узнавал весь Балтийский флот, а теперь и многие в Питере, член Совета Народных Комиссаров Павел Ефимович Дыбенко в сопровождении комиссара одного из большевистских отрядов, тоже матроса В. Трушина.

Переговоры со здешним казачьим комитетом продолжались до восьми. Нешибко грамотный, но поднаторелый в митинговой агитации Дыбенко сумел убедить казачков в бессмысленности их сопротивления и даже в необходимости арестовать Керенского. После этого перешли в Гатчинский дворец, где укрывался низложенный глава бывшего Временного правительства. Здесь Дыбенко начал новый этап переговоров: об условиях полного прекращения боевых действий.

Тем временем генерал П. Н. Краснов поднялся на третий этаж дворца, где в одной из бесчисленных комнатушек, под какой-то лестницей (дворец много раз перестраивали и наградили черт те чего) укрывался Керенский. Предложил ему ехать в Петроград, явиться в Военно-революционный комитет и провести переговоры с ним, а не с какими-то двумя матросами, пускай один из них и является членом большевист-

ского правительства. Александр Федорович согласился, но попросил не спешить, ведь оба знали, что из Луги вот-вот должно прибыть подкрепление.

Зато — имея в виду то же обстоятельство — торопился подписать соглашение с казаками Дыбенко. Не тратя времени на частности, он выложил перед комитетом заранее подготовленный документ, где, в частности, говорилось о передаче А. Ф. Керенского новым властям для гласного суда над ним, об амнистии участникам данного восстания, о правах казачьих войск вообще, об установлении в Гатчине порядка и свободного, но чрезвычайного режима. Казаки настояли: вписать пункт о том, что Ленин не должен входить как в министерство, так и в народные организации, пока не будут опровергнуты возведенные на него обвинения в измене. Дыбенко не стал спорить: Ленин уже у власти и никакая сила его не сбросит. Павла Ефимовича беспокоило другое: кто раньше подоспеет сюда — отряды Керенского и Краснова из Луги или же его, Дыбенко, из Царского Села.

Побывав у «высоких договаривающихся сторон», генерал снова поднялся в клетушку к бывшему премьеру, сообщил, что казачки согласились выдать Александра Федоровича большевикам и, по одной версии, деловито посоветовал своему бывшему верховному начальнику застрелиться, по другой — тот сам высказал эту мысль, загодя понимая, что не хватит духу. Краснов ушел по своим делам.

И почти сразу объявился — в форме и при погонах капитана — Григорий Иванович Семенов, знакомый Александру Федоровичу по партии эсеров, назначенный им на должность комиссара 3-го конного корпуса, его сопровождал матрос. Семенов сделал Керенскому знак, чтобы молчал, его спутник положил на стул сверток, сорвал бечевку. Брюки клеш, флотский бушлат, бескозырка без ленточки, большие, как полумаска, шоферские дымчатые очки. Ни о чем не спрашивая, недавний Верховный главнокомандующий сбросил свой знаменитый френч, переобуться было не во что, забыли, он натянул широченные клешы поверх ботинок и гетр. В трудные минуты он, случалось, легко поддавался чужой воле, а Григорий Иванович слыл среди своих человеком решительным, твердым, все умеющим рассчитывать наперед (это он впоследствии долго

и тщательно готовил покушение на Ленина, совершенное на заводе Михельсона в Москве 30 августа 1918 года, а затем сыграл провокаторскую роль в организации и проведении большевистского процесса над эсерами в 1922 году).

Гатчинский дворец — четырехэтажный, запутанный — Семенов, как видно, изучил загодя основательно, вел уверенно какими-то переходами, лесенками, темными закоулками, попадались встречные матросы, не поймешь чьи, но никто в сутолоке не обратил внимания на диковинную группу — пехотного капитана и двух матросов, один из них выглядел более чем нелепо: косо нашлепнутая бескозырка без ленточки, бушлат с рукавами чуть пониже локтей, шоферские очки, брюки клеш. Боковой неприметной дверью вышли наружу, здесь Семенов сказал, что дальше сопровождать не может, его каждый красновец знает и может заподозрить неладное — негоже комиссару корпуса то ли разгуливать в подобной компании, то ли конвоировать лично какую-то матросню, поведет вот он, Ваня,— и указал на смущенного матроса, того, что принес одежду.

Теперь предстояло самое страшное — одолеть единственный выезд с парадного двора по разъемному мосту. И в самом деле, на них уже пялились, хохотали, указывали пальцами на ряженого Керенского, тот сообразил притвориться пьяным, закачался довольно натурально, Ваня стеснительно взял его под руку. Один из казаков приблизился, на ходу бросил: машина у Китайских ворот, поспешайте. А к ним уже направлялась толпа, положение становилось отчаянным. Но тут опять нашелся спаситель: офицер, весь в бинтах, забился якобы в припадке, вроде потерял сознание, к нему кинулись, и Керенский со своим спутником прибавили шагу.

Машина, слава Богу, у ворот была. Александр Федорович сел рядом с шофером в офицерской шинели, пожал руку, на всякий случай не представился: может, прапорщик не знает, кого везет, зачем выдавать себя. Промолчал и тот. Ваня втиснулся на заднее сиденье, где разместились трое солдат с винтовками. Дорога на Лугу была пустынная, офицер спокоен и молчалив, насвистывал что-то, кажется, из репертуара знаменитого Александра Вертинского.

Девяносто верст от Гатчины до Луги, целых два часа, ну, если поднажать, полтора, а машина открытая, все на виду, и кто знает, откуда вынырнет кто-нибудь — красновцы ли, боль-

шевики ли, любому покажутся подозрительными... И куда они едут — никто не сказал... К счастью, остановились через час на полпути, шофер пригласил: выходите, пожалуйста, Александр Федорович. Следом вылез и Ваня. Прощайте, Александр Федорович, сказал офицер, Ваня остальное сделает, храни вас Господь... Лишь после растерянный, подавленный Керенский сообразил: не узнал имени-отчества спасителя, не поблагодарил его и солдат, не пожал руки...

Они вдвоем остались на опушке.

У моего дядюшки здесь, в лесу, дом, спокойно тут, тихо я вчера побывал, они рады будут вас принять, прислугу отпустят, объяснил Ваня. Хорошие они люди, а звать — господа Болотовы, Петр Георгиевич и Анна Ивановна. Помещики они но крестьян не обижали никогда, злобы на них нет. Главная усадьба, деревня Ляпунов Двор, — в семи верстах, а здесь вроде дача...

Толсто усыпанная листвою тропинка вела вглубь, деревья заголились, от ветерка постукивали ветви друг о друга. В бушлате было холодно, особенно зябли обнаженные чуть не палец руки. Шоферские очки он снял, хотел отшвырнуть. воняли чужим потом и машинным маслом, но Ваня сказал: не надо, еще могут сгодиться. И в самом деле, кто знает, как повернется судьба... Тропинка представлялась нескончаемой. ветер, казалось, все усиливался. Но вот обозначилась в прогала поляна, посерединке — совсем не лесная сторожка, как почему-то представлялось Керенскому, а особняк о два этажа, ладно и со вкусом сложенный из сосновых бревен, с террасою. Ваня сказал: вы тут посидите на пеньшке, я мигом... И в самом деле, возвратился почти тут же, порадовал: горничную, она же и кухарка, отправили отдохнуть к родным, дядюшка и тетюшка мои счастливы принять вас, пожалуйста, Александр Федорович.

## 2

Шесть недель провел он в уютном, теплом, устроенном — даже библиотека имелась кроме той, что в главном поместье, — доме гостеприимных, интеллигентных (он окончил Петровскую сельскохозяйственную академию, она — Бестужевские курсы) людей. Они одарили гостя удивительным добросерде-

чием и душевной щедростью, семейной заботой, не намекнув даже малой малостью, какой опасности себя подвергают. А ведь знали, конечно, что еще 27 октября в «Известиях» опубликовали оповещение властей: «Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и другие арестованы Революционным комитетом. Керенский бежал. Предписывается армейским организациям принять меры для немедленного ареста Керенского и доставки его в Петроград. Всякое пособничество Керенскому будет караться как тяжкое государственное преступление».

Он же существовал здесь в отчаянии, ужасе, ненависти, осознании собственной незащитности и беспомощности, в бессилии изменить что-либо при очевидной гибели того, за что он искренне, истово, вдохновенно, неумело и неподъемно своим силам боролся. Нервы сдали совсем, и поведение его было явно неадекватным: он и верный оруженосец Ваня, к слову, к о л л е г а, студент юридического факультета, не задумываясь о безопасности немолодых хозяев, днем и ночью держали под рукой принесенные откуда-то Ваней гранаты со вставленными запалами; не выходя даже в темное время на крыльцо,— а чтобы дальше, о том и не помышляли,— попросив плотно задернуть все занавеси. Он не снимал очки, которыми прежде пользовался только для чтения в одиночестве, отпустил взъерошенные патлы, никудышные усенки, какое-то подобие бородачи, волосы росли только на щеках, подбородок и горло оставались голые; одевался в хозяйское, нелепо сидящее платье (не в бушлате и клеше же оставаться), редко принимал ванну, боясь быть застигнутым обнаженным, ибо человек без одежды незащищен и вдвойне, втройне, вдесятеро уязвим... Страх — особенно по ночам, в тиши, в глуши — сделался его н о р м а л ь н ы м состоянием, он либо не спал, либо вопил от кошмаров, либо пробуждался от дальнего, из хозяйской деревеньки, собачьего лая и опасно хватался за поставленную на боевой взвод гранату,— неосторожное движение и — в з р ы в! Он исхудал, как ни откармливала его Анна Ивановна, он мучился тиком, из последних сил держался, чтобы не обременить хозяев и Ваню, ходивших за ним, как за тяжело больным ребенком.

И пришло время, когда стало невтерпез, неумогу сидеть загнанным зверем и ждать, пока застучат в дверь прикладами, скрутят, швырнут кулем в сани, повезут на позор, на расправу, на погибель.

Невропаты,— а Керенский, несомненно, был таковым изначально,— после периода более или менее длительного возбуждения, взвинченного бессилия переходят либо к депрессии, либо к потребности активного осознанного действия. Иногда это реакция организма на усталость, измотанность, порой толчком может послужить некое событие, встряска, перемена в жизни.

В доме получалось несколько газет, и Петр Георгиевич аккуратно их подшивал — кадетские, меньшевистские, большевистские — для истории, но после переворота доставка прекратилась, многие газеты позакрывали, а ходить на почту не отваживались. Но, понимая, каково без прессы политику, Ваня, по собственному почину, сменив матросскую форменку и брюки на охотничью куртку и штаны хозяина дома, отправился в Луту и приволок в заплечном мешке залежавшиеся на почте газеты — аж за две недели. Александр Федорович вцепился в них и закрылся в отведенной ему комнате. Педантичность, привитая с детства, и выработанная за годы политической деятельности привычка следить за событиями в их реальной и логической последовательности побудили не хвататься за первые попавшиеся номера и не за самые свежие, а разложить сперва по названиям, потом — внутри каждой стопки — по числам, а уж после, извинившись, что не выйдет к ужину, — хозяйка, жалеючи и понимая, понаделала разнообразных и вкуснейших бутербродов, а хозяин от щедрот своих присовокупил бутылку легкого вина, понимали, что у гостя праздник,— Александр Федорович поставил снесь на низкий столик, газеты разложил перед собою на полу, уладился в удобнейшем кресле, закурил, и...

«Товарищи крестьяне!

Все добытые кровью ваших сынов и братьев свободы находятся в страшной смертельной опасности!

Гибнет революция! Гибнет родина!..

26 октября партия социал-демократов большевиков и руководимый ею Петроградский Совет Р. и С. Д. захватили в свои руки власть... Объявили государственным преступником министра-председателя, Верховного главнокомандующего А. Ф. Керенского...»

Спасибо, друзья! И как это вы, руководители Совета крестьянских депутатов, сумели столь быстро, в тот же день, 26-го, ухватить суть, углядеть — это дальше изложено — все бедствия, что несут нам большевики, отважились заявить о неповиновении этой власти, поставить задачи! И молодцы —



товарищи эсеры, успели напечатать в нашей газете «Дело народа» через сутки, 28 октября! Вот он, ответ большевикам, которые тупо талдычат, будто русское крестьянство есть их вернейший союзник...

Двое суток он почти не выходил, только в туалет да поесть, чтобы не обидеть хозяев, и наконец добрался до того, что окончательно потрясло его, — до горьковской «Новой жизни» за 7 ноября. Максима Горького — не человека, не был знаком, а писателя — он не любил, считал напыщенным, нарочитым, вычурным, однолинейным, наставительным, но здесь его статья (не ради уничижения так обозначил, а по невеликому размеру) была неожиданной.

«...Ленин, Троцкий и их приспешники отравились гнилым ядом власти, как это явствует из их отношения к свободе слова, личности и всех прав, во имя которых боролась демократия. Подобно слепым фанатикам и безответственным авантюристам с головокружительной быстротой они несутся к так называемой «социальной революции», которая на самом деле ведет лишь к анархии и гибели пролетариата и революции. Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть — что из этого выйдет... Рабочие не должны позволить авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам пролетариат. Рабочий класс должен понять, что Ленин — не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата».

Отложив газету, он писал своим ужасающим почерком (диковинно, но это так: когда впоследствии, в эмиграции, он перешел на пишущую машинку, то и на ней ухитрялся печатать совершенно неразборчиво), писал взахлеб, как и говорил, звинчивая себя, не выбирая слов, писал, еще не зная, куда пошлет, как сможет передать, не будучи уверен, опубликуют ли хоть где-нибудь, ему надо было выплеснуться, ему требовалось напомнить, заявить о себе: он жив, он действует, он борется. Он писал:

«Опомнитесь! Разве вы не видите, что воспользовались простотой вашей и бесстыдно обманули вас?.. Шайка безумцев, проходимцев и предателей душит свободу, предает революцию, губит родину нашу. Опомнитесь все, у кого

еще осталась совесть, кто еще остался человеком!.. Это говорю вам я — Керенский... Опомнитесь же, а то будет поздно и погибнет государство наше. Голод, безработица разрушат счастье семей ваших, и снова вы вернетесь под ярмо рабства.

Опомнитесь же!»

Как он сумел передать в Питер, через сколько рук — не догадаешься. («Доставили мои верные друзья», глухо сказано в мемуарах.) Но — доставили. И напечатала газета «Дело народа» 22 ноября.

А дальше произошла необъяснимая история, о которой и намеком не упомянуто в его воспоминаниях,— в них вообще много умолчаний, темных мест, о чем уже говорилось.

Он собрался вдруг и в 20-х числах ноября уехал в Новочеркасск, где, услышал он от «верных друзей», формируется Добровольческая армия. Можно себе представить, с какими трудностями и с каким риском он добирался туда. Добрался. Явился к приглашавшему сюда для борьбы с революцией членов Временного правительства и членов Совета Республики, генералу от кавалерии, главе донского казачества Алексею Максимовичу Каледину... Но не был им принят, лаконично констатирует генерал-лейтенант А. И. Деникин.

Удивляться поступку Каледина не приходится. Удивляться надо Керенскому. Разве он забыл, разве мог забыть, что прямой, честный, властный генерал с самого начала не выполнял распоряжений Временного правительства о демократизации в войсках, был за то отстранен от командования 8-й армией; агитировал в пользу Корнилова и личным приказом Керенского был отчислен от должности войскового атамана с преданием суду (приказ, правда, не был исполнен казаками); открыто заявлял, что Временное правительство всего лишь придаток Советов... На что рассчитывал Александр Федорович, ища у гордого генерала-атамана — чего? покровительства? дела? На что он надеялся — на забывчивость Каледина? На возможность наладить отношения в новых условиях? Алексей Максимович решил все возможные варианты просто: он Керенского не принял, словно жалкого просителя из отставных поручиков.

А ведь там были М. В. Алексеев и А. С. Лукомский, там, в Новочеркасске, какого же черта понесло Александра Федоровича к самому неподходящему?

Нет ответа. Непредсказуемый человек.

Ясно одно: ничего ему не оставалось, ненужному, униженному, оборванцу, не допущенному пред генеральские гордые очеса,— ничего не оставалось, как возвращаться, с трудностями, с риском,— к милым интеллигентам Болотовым, которые, конечно, измучились от страха держать в доме столь опасного гостя и теперь облегченно вздохнули, но виду не покажут, примут опять как ни в чем не бывало. Следовало возвращаться и искать, куда ему приткнуться, ему, еще недавно обитавшему не где-нибудь, а в императорских покоях, ему, бродяге, бывшему месяц назад первым человеком государства, да какого — огромной России, которую он любил, которой он служил истово, управлял, как умел и как мог. Мало он мог и управлял плохо... За что теперь расплачивался и он, и великая, любимая им Россия...

Он вернулся, он рассыпался в извинениях, он твердо обещал уладить все в считанные дни, ссылался опять на неведомых «верных и надежных друзей»... Они существовали-таки и, судя по всему, начали подыскивать столь же или даже более надежный приют.

А большевики, словно марсиане из романа Герберта Уэллса «Война миров», точно мерзкие змеи, описанные Михаилом Булгаковым семь лет спустя в повести «Роковые яйца» (яркие у него были прототипы!), как полчища осатанелых крыс, заливали, захватывали, завоевывали, покоряли Россию — где, по их песне, «штыком и гранатой», где пушками и бронепоездами, где лживым словом поднаторелых агитаторов, большевики, встречаемые приветственными кликами и проклинаемые, иногда — добродушные, чаще — свирепые, не ставящие человеческую жизнь ни в грош, уже успевшие опьянеть от запаха крови, одержимые бредовой идеей раздуть мировой пожар и пронести свою заразу по всем странам,— большевики писали декреты и воззвания, принимали Декларацию прав народов и лишали этих прав, призывали мусульман бороться за освобождение от всех форм угнетения, арестовывали руководителей партии кадетов, проводили выборы в Учредительное собрание, выборы, которые заведомо должны были проиг-

рать, создавали Всероссийскую чрезвычайную комиссию, невиданную гильотину для народа, готовили мирные переговоры, уничтожали сословия и чины, создавали революционные трибуналы и совнархозы, начинали национализировать банки и заводы... И клялись, заверяли, убеждали, проповедовали, что все это делается народом, ради народа, именем народа... И со страхом ждали Учредительного собрания, только до созыва которого им полагалось держать власть в своих руках.

## Глава девятая

Я убедился, что и руководители западной демократии, и рядовые граждане, и даже социалисты слишком упрощенно понимают суть большевистской революции... Они рассматривали беспрецедентную российскую катастрофу как «событие сугубо местного значения», которое стало логическим следствием истории русского народа, никогда не знавшего свободы и даже не понимавшего ее сути... Помню разговор... с... Гильфердингом<sup>1</sup>. Речь зашла о русской революции... Гильфердинг неожиданно воскликнул: «Но как же могло случиться, что вы потеряли власть, держа ее в своих руках? Здесь такое невозможно!» Видимо почувствовав бестактность своих слов и не желая обидеть меня, он тут же примирительным тоном добавил: «Но так или иначе, а русские не способны жить в условиях свободы».

*А. Ф. Керенский*

### 1

Александра Федоровича все сильнее одолевала навязчивая идея: любой ценой, любыми способами, любыми средствами пробраться в Петроград к открытию Учредительного собрания. И советом, и требованием, и упреком казались ему почти наизусть затверженные слова из газеты эсеров «Дело народа»:

«Недавний официальный глава Российской республики и революции должен сейчас где-то скрываться и скитаться, а имя Керенского сделалось почти запретным именем согласно повелению тех, кто захватил вооруженной рукой власть в государстве.

Сейчас Керенский ушел из политической жизни, но с созывом Учредительного собрания он к ней вернется. И тогда он даст отчет в своей деятельности народу, который в Учредительном собрании сумеет оценить по заслугам все положительное и все отрицательное, что имелось в политической деятельности А. Ф. Керенского за все восемь месяцев его работы в качестве одного из министров, а позднее и председателя Временного правительства русской революции».

<sup>1</sup> Гильфердинг Рудольф (1877—1943) — один из лидеров австрийской и германской социал-демократии. Выступил с ревизией марксизма. Враждебно относился к Советской власти и диктатуре пролетариата. После захвата власти фашистами эмигрировал во Францию, где был выдан гитлеровцам и умер в тюрьме.

Восемь месяцев... Он как-то не задумывался над этим: всего восемь месяцев. Нет, куда меньше, если считать по дням, если вычесть периоды кризисов, когда не занимались, говоря правду, настоящим делом, а суетились, делили портфели, примеряли людей к должностям и должности к людям, подсчитывали, сколько надо и сколько набралось кадетов и нужны ли они, сколько меньшевиков, имеет ли смысл назначать врача и «естественника» министром земледелия, годится ли включать белую ворону Гвоздева, дремуче неграмотного, но зато — рабочего, знающего жизнь заводских до подноготной. Если вычесть эти суматошные дни кризисов, — сюда надо включить и все время правления Директории, — то сколько же останется деловых, дельных, творческих? Полгода всего. Боже мой, всего полгода... А сколько растрчено на всякие разногласия, регламенты, утверждения порядка дня, ненужные речи перед праздно любопытствующей толпой...

Он попросил горничную — в его отсутствие она вернулась, и хозяева под честное слово никому не проболтаться о госте оставили ее в доме — сходить в Лугу за газетами и поискать хорошую, толстую, в коленкоре тетрадь. Обложился газетными подшивками, свежими номерами, книгами...

## 2

Учредительное собрание (по-французски *Constituante*), собрание представителей народа, специально избранное и созданное для составления и принятия новой конституции, впервые осуществилось во Франции (1789) под названием Национальное собрание. Затем они состоялись в Бельгии (1830), снова во Франции (1875) и т. д.

В России требование Учредительного собрания (Великого собора) выдвинули декабристы (в 1821 — 1824 годах). Затем эта идея пропагандировалась народнической организацией «Земля и воля» 1860-х годов и вошла в программные документы «Народной воли» (начало 90-х годов XIX века).

В начале нашего столетия лозунг Учредительного собрания получил широкое распространение в политической борьбе против самодержавия. Первыми его вспомнили большевики в 1903 году. Ленин утверждал, что «в буржуазной республике Учредительное собрание является высшей формой демократизма». В 1917-м, после Февральской революции, он видоизменил свою точку зре-

ния, заявив (в Апрельских тезисах), что государственной формой диктатуры пролетариата является республика Советов, по сравнению с которой парламентарная республика явилась бы шагом назад (утверждение было чисто умозрительным, не основанным на историческом опыте, ибо Советской власти к тому времени ни в одном государстве никогда не бывало). Очевидно понимая шаткость ленинского утверждения, большевики не отбросили лозунга Учредительного собрания, мотивируя это его популярностью среди широких масс (и добавляя при этом свое привычное: «главным образом, мелкобуржуазных», хотя идея пользовалась прочным успехом прежде всего среди интеллигенции). С довольно часто присущей ему нелогичностью Ленин в то же время писал, что гарантия успеха и созыва Учредительного собрания одна: увеличение числа и укрепление силы Советов, хотя на деле Учредительное собрание Советам противопоставлялось и призвано было заменить их власть парламентской.

Правительство князя Г. Е. Львова потому и назвалось Временным, что главной его задачей были подготовка и созыв Учредительного собрания, после чего этот кабинет прекращал существование, отдав на усмотрение Собрания вопрос о государственном устройстве страны. При всех изменениях состава правительства оно оставалось Временным, главная цель — неизменной. Временным — тоже до Учредительного собрания — назвал себя и большевистский Совнарком (при этом Ленин облыжно заявлял, что буржуазия боролась против созыва Учредительного собрания). Они не против боролись, они — эсеры, меньшевики, кадеты — боялись, что большевики запретят выборы. И хотя первые декреты Советской власти содержали оговорку о их действии «впредь до Учредительного собрания», их политические противники заявляли, что только свержение большевиков откроет возможность для выборов. Время шло, большевики сохраняли власть, и она переходила к Советам по всей России, на всех уровнях. В этих условиях мелкобуржуазные партии согласились с проведением выборов, видя в Учредительном собрании последнюю надежду для себя, возможность отобрать власть у Советов. И хотя самой «рабоче-крестьянской власти» Учредительное собрание не было нужно, она не могла не считаться с тем, что идея Собрания не изжита среди трудящихся, особенно крестьянства.

Вот почему после своей победы большевики подтвердили дату проведения выборов, установленную Временным прави-

тельством, — 12 ноября. В условиях неразберихи в стране, фактического начала гражданской войны, распада органов управления и других причин голосование затянулось (в некоторых местах — до начала 1918 года) и состоялось не во всех избирательных округах, но оснований признать выборы недействительными — не было. Результаты показали сокрушительное политическое поражение большевиков: за них отдали голоса 24 процента явившихся на избирательные участки, тогда как эсеры получили 40 с лишним процентов; остальные 36 распределялись между антибольшевистскими партиями (кадеты, меньшевики и другие). Большевики весьма неуклюже пытались выдать свое поражение за победу, но, понимая, естественно, что четвертью голосов они не проведут в Собрании ни одного своего предложения, им уготована роль не слишком сильной оппозиции, а узурпированной ими в октябре власти законным путем им не удержать.

Не отважившись отказаться от созыва вполне легитимного Собрания, большевики предприняли превентивные меры.

23 ноября Ленин приказал арестовать всех членов Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии (Всевыборы), созданной Временным правительством 7 августа. Член ЦК РСДРП(б) Моисей Соломонович Урицкий, юрист по образованию, назначен комиссаром Совнаркома в этой арестованной, однако не ликвидированной комиссии. Дав ее членам время поразмышлять «под сенью дружеских штыков», их отпустили с Богом; они, безумцы, заявили об отказе подчиняться дальнейшим решениям Совнаркома. Пользуясь данным ему правом, Урицкий заменил непокорных (всех или частично — неведомо), возглавил комиссию. Тогда же СНК ввел должность управляющего канцелярией Учредительного собрания (еще не созванного!) и утвердил в ней большевика Сергея Ивановича Гусева (Яков Давидович Драбкин). Открытие Собрания назначили на 5 января 1918 года.

28 ноября, в день, когда Учредительное собрание должно было открыться согласно постановлению Временного правительства, возле Таврического дворца собралась демонстрация. Требовали Собрание начать, хотя прибыли всего 172 депутата. Часть из них под прикрытием митингующих проникла в здание дворца, пытаясь занять его целиком. Ленин вызвал в Смольный командующего войсками Петроградского военного округа В. А. Антонова-Овсеенко и приказал немедленно разогнать



манифестацию, очистить дворец, лишить избранных депутатов права входа туда до официального начала работы. Распоряжение выполнили. Последовало разъяснение правительства: Учредительное собрание может быть открыто при наличии 400 депутатов из 800 избранных (уже не Собрание определяло судьбу правительства, а правительство решало дела Собрания).

Большевики надеялись, что из-за разрухи на транспорте, плохой почтовой и телеграфной связи, политической нестабильности установленный ими кворум не соберется и вопрос решится автоматически. Однако на всякий случай приняли подстраховочную меру: по указанию Ленина ВЦИК принял декрет о праве избирателей отзываться депутатов, не оправдавших их доверия (любопытно, как можно определить, оправдали, не оправдали, если они еще не приступали к работе?). В соответствии с нелепым декретом ряд крестьянских и солдатских съездов лишил депутатских полномочий весьма популярных деятелей: эсеров Николая Дмитриевича Авксентьева, Екатерину Константиновну Брешко-Брешковскую, Абрама Рафаиловича Гоца, кадета Павла Николаевича Милюкова и других. Руководителей партии кадетов и среди них некоторых членов Учредительного собрания (несмотря на делегатскую неприкосновенность) арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Не пощадили и своих. ЦК РСДРП(б) 11 декабря разогнал бюро собственной фракции в Учредительном собрании (Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, В. П. Милютин, М. А. Ларин и другие) — они считали созыв Учредительного собрания завершающим этапом революции и выступали против контроля партии и правительства за его подготовкой и проведением.

В декабре же «Правда» опубликовала список резолюций с требованиями исключить из состава Собрания законно избранных «представителей буржуазии» — меньшевиков и эсеров. Многие местные Советы под давлением большевиков требовали роспуска (еще не созванного!) Собрания.

За два дня до его открытия ВЦИК принял написанную Лениным «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Имелось в виду, что она будет представлена Учредительному собранию на одобрение сразу после его открытия. 4 января «Правда» опубликовала «Декларацию» вместе со статьей, где говорилось, что вся власть в России принадлежит Советам и всякая попытка присвоить себе те или иные функции государственной власти есть контрреволюционное действие, которое будет подавляться всеми средствами вплоть до во-

оруженной силы. Таким образом, большевики отменили постановление II съезда Советов, где говорилось о том, что форму государственного устройства России определит Учредительное собрание, а Советское правительство является в р е м е н н ы м и существует лишь до созыва Собрания.

Ленин ультимативно заявил в печати о «единственном шансе» для Учредительного собрания — согласиться на перевыборы его членов, признать Советскую власть и ее политику. Под этими лозунгами 3-го и 4 января на всех заводах и в полках столицы проходили организованные большевиками митинги, где ораторы призывали массы дать отпор «провокационным подстрекателям» сторонников Учредительного собрания.

К открытию Собрания большевики готовились как к нашествию полчищ вооруженных врагов.

Еще 28 ноября, в день демонстрации с требованием немедленно открыть Учредительное собрание, власти арестовали активных участников этого движения, бывших министров Временного правительства Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева, заключив их в Трубецкой бастион Петропавловской крепости.

Явно спровоцированным представляется очень похожее на инсценировку покушение на Ленина 1 января 1918 года: его автомобиль, где вождь ехал с сестрой Марией Ильиничной и Фридрихом Платтенom ранним вечером, в людном месте обстреляли из револьвера. Автомашина была с брезентовым, легко пробиваемым пулей верхом, шла малой скоростью по горбату мосту, злодеяние ограничилось царапиной на пальце Платтена, но шум подняли основательный. Доехав до Смольного, Владимир Ильич в присутствии многих сказал во дворе очевидно провокационную, обдуманную фразу: в настоящее время ни один большевик России не может уклониться от опасности. Затем спокойно пошел на заседание Совнаркома и первым делом собственноручно вписал в проект одной из резолюций пункт о создании революционных трибуналов.

(В литературе бытует версия о том, что одним из участников покушения был «серый кардинал» Временного правительства, весьма темная фигура — Николай Виссарионович Некрасов. Якобы уличенный в организации этого террористического акта, он незамедлительно перешел на службу Советской власти под другой фамилией, работал в системе кооперации, был в мае 1921 года принят Лениным и имел дружественную беседу (о чем нет упоминания в Биохронике В. И. Ленина),

в 1931 году коллегией ОГПУ приговорен к 10 годам заключения, через два года досрочно освобожден, работал на строительстве канала Москва — Волга служащим, — канал сооружали заключенные, а персонал состоял из штатных и нештатных сотрудников ОГПУ. В 1940 году — расстрелян. Реабилитирован в 1990-м.)

На следующий день после покушения в записке председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому Ленин напоминает об активизации арестов «контрреволюционных организаций».

3 января Петроград объявлен на осадном положении. Назначена Чрезвычайная комиссия по охране города (одной ВЧК мало?!) и Военный штаб, их основные фигуранты — председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов, управляющий делами СНК Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, нарком по военным делам Николай Ильич Подвойский, нарком почт и телеграфов левый эсер Прош Перчевич Прошьян, руководитель комиссии по созыву Учредительного собрания Моисей Соломонович Урицкий. Для охраны Таврического вызваны команда крейсера «Аврора» и две роты с броненосца «Петропавловск».

Район вокруг Смольного вручили попечению В. Д. Бонч-Бруевича, окрестность Таврического отдали в ведение назначенного комендантом дворца бывшего начальника гарнизона Петропавловской крепости в дни Октября — Георгия Ивановича Благодрава. Дворец окружили цепью увешанных оружием, перепоясанных и перекрещенных пулеметными лентами балтийских братьшек и каменными войсками, стойко неподвижными латышскими стрелками, наделенными волчьим инстинктом повиновения вожаку стаи.

Внутри здания расположился матросский караул под началом найденного Бонч-Бруевичем в логове анархистов двадцатидвухлетнего матроса Анатолия Железнякова, для которого единственным смыслом собственной, едва начавшейся жизни было — палить из маузера хоть в кого прикажут, хоть в кого придется, хоть в белый свет, хоть в копеечку. (Эта невинная забава дорого ему обошлась: воюя после в степях Украины, где он проявил фантастический полководческий дар, воспетый в сочинении поэта Михаила Голодного — «он шел на Одессу, а вышел к Херсону», обмешулил ся верст этак на двести; позже, чтобы садануть из любимого маузера, высунул буйную и неразумную головушку в дверь мчащегося поезда, и головушку снесло.)

Все улицы, ведущие к Таврическому, перекрыли.

Газета эсеров «Дело народа» выдала афоризм: «Пуля — не избирательный бюллетень, и штык — не избирательный манифест». Глубиной мысли и силой художественного образа отнюдь не поражает, истина аксиоматична. Большевики с их склонностью к однолинейным аксиомам могли бы и продолжить: «Советская демократия — не свобода, а насилие над ней». Но они к самокритике не были расположены.

Зато умело готовились встретить опаснейшего врага — Учредительное собрание и его избирателей, еще не до конца оценивших новую демократию высшего типа по сравнению с продажной буржуйской.

### 3

В начале декабря, хмурым рассветом, к лесной даче Болотовых подкатили двое крестьянских саней-розвальней. С них кулями свалились несколько толсто одетых солдат с винтовками в руках и гранатами на поясе — опять же «надежные и верные друзья», которым предстояло живым и невредимым доставить бывшего главу государства в еще более тайное убежище где-то между Лугой и Новгородом, поближе к Николаевской железной дороге, соединяющей обе столицы.

Переоблачившись в привезенное солдатское обмундирование, дабы не отличаться от спутников (телохранителей и провожатых), Александр Федорович получил в дар от хозяев натальную иконку — единственное, что возьмет с собой после, покидая Россию. Отблагодарить было нечем, предлагать деньги было бы оскорбительным. (В средствах Керенский не нуждался, захватил, видимо, при бегстве достаточно; кстати, в январе 1918 года выяснилось, что накануне Октября Временное правительство через Азово-Черноморский банк вывезло в Стокгольм и депонировало в Шведский государственный банк золото в слитках на 5 миллионов рублей, а в Петрограде на счету А. Ф. Керенского числилось 1 миллион 474 тысячи в золотом исчислении; их конфисковали постановлением СНК от 4 января, тоже в ряду мероприятий, предшествующих Учредительному собранию.)

Две подводы с десятком солдат возглавлял сын богатого лесопромышленника З. Беленького, в чье лесное поместье Заплотье, полностью отрезанное сейчас от внешнего мира, и доставлял бывшего премьера Беленький-младший, унтер из гарнизона Луги.

Ехали по заметным лесным и проселочным дорогам медленно, очутились, того не ведая, на окраине Новгорода, подкатили к дому — он оказался местным Советом, — шархнулись наугад в противоположную сторону, заплутались окончательно, а стемнело, следовало отыскать предусмотренную на такой случай запасную квартиру. Бог вывел к ней.

Вот оказался сюрприз — не придумали ничего иного, выбрали... приют для умалишенных. Впрочем, выбрали не случайно и, конечно, не смеху ради: заведение стояло далеко на отшибе, никто сюда не заглядывал, к безумным сиротам, врач, заранее, разумеется, предупрежденный, оказался — сама любезность, для пущей конспирации поместил в женскую половину, конечно, в отдельную палату, притом с весьма неприметной дверью, гарантировал абсолютную благонадежность персонала. Унтер Беленький с товарищами уехали, твердо заверив, что вернуться не позже чем через неделю (служба!). Дни проходили в чтении (у доктора — библиотека, и получались свежие газеты), вечера — в чаепитии вдвоем, в интересных разговорах.

Через шесть дней явился унтер с тою же командой. Куда теперь отконвоируете, поинтересовался Керенский. А в Бологое приказано, так постепенно и будем перемещаться к Питеру.

Обедать завернули на постоялый двор, пожилая хозяйка обрадовалась, заезжие гости теперь в редкость, хлопотала, повела в гостиную — веселенькие обои и занавесочки, крашенный под орех шкаф, венские гнутые стулья вокруг стола и вдоль стен, иконы в красном углу, а в простенке меж окон, в рамочке и под стеклом — литографированный портрет, — весьма удачный, с подписью, сделанной от руки: «Министр-председатель Временного правительства, Верховный главнокомандующий Александр Федорович Керенский». Рассмеялись, хозяйка не поняла, обиделась было, но Беленький объяснил: не над ней хохочут, а потому, что Керенский давно не председатель и прочее, исчез из России, след простыл. Хозяйка перепугалась, тотчас портрет сняла, возражений не последовало: хоть бородатый и лохматый солдат в очках никак не походил на главоверха, но береженого, известно, Бог бережет.

К вечеру очутились в очередном пристанище — имени Лядно, — близ Бологого, там, отпустив солдат, остался и юный Беленький охранять, там встретили и Рождество Христово, и новый, 1918, год, а на следующий день собрались в Питер.

Ехать решили тем поездом, что отправлялся из Бологого в одиннадцать вечера. Он опаздывал, прогуливались по плат-

форме. На другой стороне дебаркадера стояли группой железнодорожники, они вдруг переместились туда, где фланировали Керенский с Беленьким. Все пропало, глупо как... Но подошедшие сняли форменные фуражки, один сказал: Александр Федорович, мы вас по голосу узнали, не беспокойтесь, не выдадим, только будьте поопасливей, не разговаривайте на улице громко, ваш голос вся Россия знает!.. И верно ведь, почти вся Россия, где только не довелось побывать.

Без происшествий под утро 3 января прибыли в Питер, на извозчике доехали по условленному адресу.

#### 4

К полудню, как заранее условились через посредников, на конспиративную квартиру пришел Владимир Михайлович Зензинов, член ЦК эсеров, редактор их газеты «Дело народа», член исполкома Петросовета. Поначалу беседа шла очень дружелюбно, постепенно и незаметно обернулась почти враждебным спором. Поведав о мерах, которые предпринимают и — еще по слухам — собираются предпринять большевики против Учредительного собрания и демонстрации в его защиту, Зензинов категорически заявил, что появление Керенского на открытии (он собирался воспользоваться билетом какого-нибудь малоизвестного депутата из провинции, сохранив теперешнюю видоизмененную внешность) сопряжено с огромной опасностью, билета ему никто не даст, а если и даст, то при проверке, а она предстоит неоднократная и очень тщательная, Александра Федоровича всенепременно узнают, он не имеет права на такой риск, его имя — это знамя борьбы за демократию, против большевиков. Спасибо за такие лестные слова, уже огрызнулся Керенский, но не вы ли, уважаемый редактор, писали, что Керенский отчитается перед Учредительным собранием, забыли, так могу вырезку предъявить... Зензинов помедлил, возразил: положение в городе после конца ноября, когда мы это о вас публиковали, коренным образом изменилось. Ваше открытое появление на трибуне станет концом для нас всех, для партии... Не будет, не извольте беспокоиться, мишенью стану я, а на вас даже внимания не обратят... Позвольте, позвольте, Александр Федорович, мы отдавали и отдаем должное значению вашей личности, но зачем уж так одного себя ставить превыше всех... Виноват, погорячился, Владимир Михайлович, покорнейше прошу...

Дальше в мемуарах Керенского: «Я поделился с ним своими истинными намерениями, взяв с него слово, что он никому не расскажет о них до моей смерти. Должно быть, мой план показался ему безумным, однако растрогал его до слез, и, пожимая мне на прощанье руку, он сказал: «Я обсужу его с друзьями».

И далее — примечание: «По чисто личным соображениям я даже сейчас не могу раскрывать суть этого плана».

В который раз эта необъяснимая таинственность много лет спустя... Единственное объяснение, вернее предположение: опять нечто связанное с масонами, с верностью масонской клятве, с обещанием хранить их тайны до гробовой доски. Версия вероятная, однако не более чем вероятная. Трудно предположить, что, пробыв в Питере с 3-го до, как минимум, приблизительно вечера 5-го, Александр Федорович ни с кем, кроме Зензинова, не виделся и не советовался; не сидел же он взаперти в одиночестве на чужой квартире... Можно предположить — встречался с масонами...

На следующее утро, 4-го, Зензинов передал решительное указание ЦК: н е т ! Керенский ответил, что всегда подчинялся партийной дисциплине, повинуется и на сей раз.

Спросил, кого намерены избрать председателем Учредительного собрания. Виктора Михайловича? Чернова? Да, его. Боже упаси! Да, умен, да, талантлив, да, известен и в партии, и вне ее, — но ведь нужен человек с большей силой воли и в большей степени отдающий себе отчет в причинах и сути трагедии нынешней России... Зензинов спорить не стал: дело решенное.

Что касается силы воли — не Керенскому бы о ней говорить...

## 5

«Союз защиты Учредительного собрания», созданный в ноябре 1917 года, состоял в основном из правых эсеров, народных социалистов, меньшевиков, радикально настроенной интеллигенции, студентов и учащихся старших классов, служащих и действовал вполне открыто в обеих столицах, Одессе, Самаре, других крупных городах, издавал газету, распространил свыше

двухсот тысяч экземпляров листовок. Смысл его деятельности заключался в том, чтобы добиться передачи власти в стране Учредительному собранию, устранив от нее большевиков с их Советами.

Главные надежды «Союз» возлагал на проведение мощной демонстрации перед Таврическим дворцом за несколько часов до открытия Собрания, то есть утром 5 января. Полагали, что основная масса петроградских обывателей (не вкладывая в это понятие уничижительного смысла) настроена противобольше-вистски, в хитросплетениях борьбы между партиями практически не разбирается, а Учредительное собрание, о котором с начала марта прошлого года только и разговоров со всех сторон, наверняка расплетет все узлы, все и всех поставит на свои места, даст каждому то, чего желают: всем хлебушка с маслом, рабочим — заводы и фабрики, крестьянам — землю, а России — мир, конец окаянной, губительной, всем обрыдлой войны. Ну, а грамотеям — свободу, которая им и хлеба, и земли дороже.

Однако, всего этого и впрямь желая, обыватель на митинги не рвался: после того как скинули царя, речей понаслушались за десять месяцев на сто лет вперед... Но со всех сторон жужжали в уши, орали во всю Ивановскую, совали под глаза листки, тащили за руки, уговаривали, грозили, сулили, стращали, нахваливали его, народ, который только один в силах защитить всемогущую Учредилку от любых ее недругов и недоброжелателей, наипервейшие из которых — большевики. Их, еще толком не зная, ненавидели все, как, впрочем, начинали задним числом ненавидеть и сшибленное ими Временное правительство, и Советы, не делая меж ними особого различия, разбираться, кто из них есть кто и чего хочет, народ не умел и уже не хотел, ну их всех к Богу...

«Союз» не смог добиться и активной поддержки в столичном гарнизоне и на крупных предприятиях, — снова и снова сказывалась извечная слабость демократической интеллигенции, истово верующей в народную исконную мудрость, в готовность встать и защитить себя, лишь бы знать от кого.

Большевики же пока что народу худого много сделать не успели, они только становились на ноги, проноравливались к новому положению, улещивали, заманивали, — как скоро они покажут себя, никто в народе не предполагал, не имел оснований предвидеть то, что уже успела предугадать интеллигенция, притом не вся еще тоже, а лишь часть ее, — и потому шансы одолеть Ленина с приспешниками в борьбе за Учре-



дительное собрание и на нем — были невелики, как и в недавние Октябрьские дни, когда на Дворцовой площади колготились и постреливали, а рядышком и окрест, на Васином острове и на Садовой, на Охте и Загородном, на Фонтанке и Выборгской стороне спали покойно или досиживали в ресторанах, смотрели спектакли, и, выходя на улицу, только самые нервные жались поближе к стенкам, остерегаясь шальной пули. Нет, на массы надежда была плоховата.

Боевая организация эсеров пыталась сколотить дружины из рабочих — сорвалось; предлагала изолировать Ленина и Троцкого — их, эсеровский, ЦК не согласился, а затем, 3-го числа, категорически запретил вооруженное выступление как несвоевременное и ненадежное деяние. Вооруженную борьбу с большевиками они расценивали как братоубийство.

Большевики о своей вооруженной борьбе с политическими противниками и просто с толпой, с народом, так не думали. Хотя побаивались еще, но это скоро пройдет, они им всем покажут... И своим в том числе — пожалуй, покрепче (помнили, наверно, поговорку: бей своих, чтобы чужие боялись).

С утра 5 января на улицах собирались группы, вяло, отчасти робко, во всяком случае без воодушевления. Из всех предприятий организовано, с флагами, песнями вышла только колонна Экспедиции заготовления государственных бумаг (впоследствии — Гознак), наиболее грамотная часть рабочих, элита.

Когда манифестанты проходили мимо казарм Семеновского полка, несколько сотен солдат, не одетых, без шапок и шинелей, враспояску, вывалились на Загородный, смеялись, напутствовали: дай вам Бог удачи, побейте большевиков; смотрите, защищайте Учредилку как следует; Ленина, Ленина в плен берите... Ни один солдат к демонстрации не присоединился. Правда, за углом, на Звенигородской, принырнули к рабочим несколько десятков шинелей.

Невский и часть Литейного забило непроходимой людской массой. На Пантелеймоновской, у Фонтанки прорвали цепь матросов заграждения.

И ударили выстрелы. Толпа шарахалась из стороны в сторону, затыкала собой переулки, подворотни, где-то, вроде застрекотал пулемет... Кричали: проклятья, призывы, что-то бессмысленное.

Будь выступление вооруженным, демонстранты наверняка смогли бы ворваться в Таврический, но что это дало бы? Внут-

решения охрана перестреляла бы в замкнутом пространстве, откуда не было пути назад.

По официальным (большевистским, других не обнаружилось) данным, в демонстрации участвовали от 50 до 60 тысяч человек, погибло — по всему городу — восемь. Проверить эти сведения (пока?) не представляется возможным. Но сразу вспоминается: именно столько солдат Временного правительства были застрелены красногвардейцами при так называемом штурме Зимнего. Октябрьский переворот и открытие Учредительного собрания оплачены одной ценой... За четыре дня до годовщины Кровавого воскресенья 1905 года большевики устроили кровавую пятницу, пусть пока еще в малых масштабах. Именно об этом писал Максим Горький в «Новой жизни» 9 января 1918 года.

## 6

Вместо назначенного на полдень, открытие Учредительного собрания произошло четырьмя часами позже.

В этот промежуток большевики в Таврическом провели заседание ЦК, где заслушали текст написанной Лениным «Декларации прав...» (он присутствовал) и решили, что, если Учредилка (за нею уже закрепилось это небрежное название) не примет Декларацию в тот же день, — непременно в тот же день, ибо «промедление смерти подобно», — большевики покинут собрание (и тем самым лишат его кворума и, следовательно, автоматически обрекут на гибель). Собранию предлагалось также одобрить все декреты и основные постановления Советской власти. В том, что Собрание все эти документы отвергнет, сомнений не было. Еще до начала его работы судьба Учредительного собрания была предрешена.

Они демонстративно явились в зал через несколько минут после того, как делегаты расселись по местам, успокоились, утихли, и по решению Совета старейшин (то есть руководителей фракций) представитель самой крупной партийной группировки, эсеров, и один из самых солидных по возрасту, шестидесятилетний Сергей Порфирьевич Швецов, взошел на кафедру, чтобы произнести вступительную речь, а затем объявить уважаемое собрание открытым. Заговорить ему не дали: приветственные и протестующие возгласы, аплодисменты, свист, просто шум слились воедино. Вот под этот аккомпанемент

вожди большевиков — Ленин, Бубнов, Дзержинский, Луначарский, Сталин, Троцкий и кое-кто еще хозяйским шагом проследовали в правительственную ложу, хотя были в данном случае просто рядовыми членами Учредительного собрания и место их было в общем огромном амфитеатре, среди других членов своей фракции.

А невысокий, с нарочито замедленными движениями, — как часто это желают низкорослые, чтобы казаться солиднее, — облаченный в кожаную куртку (профессиональная одежда шоферов, становившаяся как бы вицмундиром к о м и с с а р о в), Яков Михайлович Свердлов спокойно вышел на подиум президиума, приблизился к кафедре, — так здесь, с думских времен, почтительно именовали трибуну, — и, не проронив ни слова, уверенно взял из руки оторопелого старика Швецова бесполезный председательский колокольчик, легким движением устранил Сергея Порфирьевича с председательского места, — тот в растерянности, не возмущившись, тотчас спустился в амфитеатр. И, перекрыв непотребный гул уже знаменитым басом, самоназначенный председатель объявил Собрание открытым и, не дав народным избранникам опомниться, гулко огласил текст «Декларации», он начинался так: «Россия объявляется республикой Советов... Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам». Это был ультиматум. Затем Свердлов предложил утвердить, как решило бюро большевистской фракции по указанию ЦК, все основополагающие акты Советской власти и так же неторопливо, спокойно, под свист и аплодисменты (которые бывают не только восторженными, но и насмешливо-протестующими, поди разбери), громкими даже на ковровой дорожке сапогами проследовал в правительственную ложу... Там возбужденный Ленин, иногда краем уха ловя доносившиеся с трибуны знакомые ему слова в исполнении Свердлова, болтал с американцами-журналистами Джоном Ридом и Альбертом Рисом Вильямсом: расспрашивал о работе в Бюро заграничной пропаганды РСДРП(б), о том, что Вильямс изучает столь ужасно трудный, а для иностранца и вовсе непостижимый русский язык, излагал свой собственный метод овладения чужеземной речью, иногда невпопад бросал реплики в зал... Словом, попросту говоря, чихать он хотел на это Учредительное...

А руководители фракций демократических (мелкобуржуазных, по терминологии большевиков) партий еще пытались спасти явно безнадежное положение. Лидер эсеров, избранный

таким председателем Собрания, Виктор Михайлович Чернов говорил: состав Учредительного — живое свидетельство мощной тяги России к социализму... Советы, как органы общественного контроля, должны быть не соперниками, а союзниками Учредительного собрания... Россия станет федеративной демократической республикой, союзом свободных равноправных народов, шествующих под красным знаменем социализма... Добровольческая армия... под красным знаменем социализма обеспечит возможность России заниматься делом социалистического переустройства...

По сути — призыв к компромиссу, к сотрудничеству, к взаимопониманию... Доброжелательный, товарищеский тон. Никаких намеков на конфронтацию, тем более вооруженную...

Как отреагировал Ленин? По обыкновению — неадекватно и, другого слова не сыщешь, — хулигански.

В статье «Люди с того света», написанной по живому следу, 6 января, — такие вот перлы: Учредительное собрание — «мир сладеньких фраз, прилизанных, пустейших декламаций, посулов»; «общество трупов... мумий». Правые эсеры — «покойники в гробу». Чернов — «сахарный сладкопевец», у которого нет «ни капли мысли». Заседание Учредительного собрания — «тяжелый, скучный и нудный день».

Ночью с 5-го на 6-е большевики хлопнули дверьми. Уходя, Ленин сказал своим: пускай выговорятся до конца, надо свободно их выпускать, но утром во дворец никого не впускать. Поразмыслив, ушли и левые эсеры. Лишенные кворума делегаты продолжали «выговариваться». В четыре утра 6-го начальник караула матрос Железняков, подойдя к Чернову, произнес знаменитое, заранее составленное и отрепетированное: «Имею инструкцию... Прошу очистить зал. Караул устал». Чернов тянул еще с полчаса. Около пяти утра зал Таврического опустел.

6-го, придя на дневное заседание, делегаты, которые еще на что-то надеялись, нашли все входы во дворец запертыми и охраняемыми.

В ночь с 6-го на 7-е ВЦИК по докладу Ленина принял написанный им декрет о роспуске Учредительного собрания и о включении делегатов-большевиков и левых эсеров в состав ВЦИК с правом решающего голоса. «Шел в комнату, попал в другую...»

Когда происходило это историческое заседание (при большевиках вскоре все их съезды, пленумы, заседания, совещания стали титуловаться историческими), в Мариинской тюремной больнице на Литейном, куда утром 6-го по указанию Свердлова перевели из Петропавловской крепости арестованных 28 ноября 1917 года бывших министров Федора Федоровича Кокошкина (родился в 1871 году) и Андрея Ивановича Шингарева (1869 года рождения), тяжело заболевших, — случилось невероятное: несколько матросов и солдат из революционного войска ворвались в больничную палату и закололи штыками, прямо в постели, беспомощных двоих бывших членов правительства. Безоружный персонал не оказал сопротивления.

«Мученическая гибель Кокошкина и Шингарева недаром вызвала в русском мыслящем обществе взрыв чувства, близкого к отчаянию, — писали «Русские ведомости» 17 января. — Она как будто впервые открыла многим всю глубину бездны, в которую свалилось несчастное наше отечество... За что отданы лютой смерти эти люди, которыми гордилась бы всякая страна? Не спрашивайте — за что. За то же, за что может быть убит каждый из нас в любой час, в любую минуту... Общая безжалостность, общее бесчеловечие — таков социализм нынешних его возглавителей».

Была ли эта зверская акция организована ВЧК? Или то был акт политического воздействия на большевиков? Или просто бандитизм — но почему такой точно рассчитанный и целенаправленный? Почему убийство совпало с разгоном Учредительного собрания? Почему Ленин, безгранично занятый всевозможными делами, два дня, 7-го и 8-го, столько времени отдал этому страшному эпизоду: звонил, вызывал, назначал комиссии, менял сотрудников, грозил строжайшими наказаниями, отдавал распоряжения всем и всяческим властям Петербурга о розыске виновных в убийстве? Чего он так испугался?

В Петрограде прошли похоронные манифестации. В Москве по убиенным отслужили панихиду в храме Христа Спасителя.

К концу месяца дело закрыли. Убийц не нашли. Знакомая нам картина нынешних дней конца XX века...

Что же касается оставшихся не у дел членов Учредительного собрания, то они намеревались возобновить свою работу не позднее 1 февраля в Киеве, находящемся под властью наци-

оналистического правительства Украины, но это не удалось — в город вошли войска Советов. Лишь 8 июня в Самаре, после захвата ее восставшими пленными чехами, образовался Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), он объявил себя верховной властью, действующей от имени Учредительного собрания, которое намеревался созвать. К августу власть Комуча распространилась на Среднее Поволжье и Уфимскую губернию. 13 декабря часть его членов расстреляна в Омске белогвардейцами.

А Совет Народных Комиссаров 18 января устранил из названия Советского правительства слово *временное*, из текстов законов, принятых им, — ссылки на временный, «до созыва Учредительного собрания», характер.

Итак, 18 января 1918 года, в четверг (еще по старому стилю) в России окончательно (и, думали многие, навсегда, навечно) утвердилась Советская власть, диктатура одной партии.

И даже умный, образованный, утонченный поэт Борис Пастернак словами своего alter ego доктора Юрия Живаго восхитился: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости... В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально-близкое, издавна знакомое».

## Глава десятая

После роспуска Учредительного собрания обстановка в Петрограде стала невыносимой, и оставаться в городе было бессмысленно. А посему было решено, что, пока она не изменится, мне следует уехать в Финляндию.

*А. Ф. Керенский*

### 1

Кем было решено — неясно, зачем — тоже. На что надеялись, на какое изменение обстановки? Почему — в Финляндию, где назревала рабочая революция? Похоже, это — очередные метания Александра Федоровича, потерявшего себя.

Он подоспел туда как раз к началу революции, 12 января, жил близ города Або, в имении Франкенгейзера, а позже — у офицера Бойе, в полном комфорте, в политические дела не вмешивался, имел паспорт гражданина Швеции и, после того как 5 марта на территорию Финляндии начали высаживаться германские войска, так же спокойно и почти привычно 9 марта вернулся в Петроград. Бороду он теперь носил постоянно, длинные волосы и очки — тоже, и ареста, в общем, не боялся, хотя и не высывался.

С вокзала он пешком отправился... к дому тещи (непонятно все же, где Ольга с детьми, какие у них взаимоотношения, верна ли «сплетня», поведенная Александром Блоком, о женитьбе Керенского на актрисе Тиме?), приблизился к дому Барановских на 9-й Рождественской, что в районе Смольного, недалеко от Таврического. «По счастью, улица была безлюдна, а прислуги не было дома», — записывал он. Значит, теща в доме была? Разговаривали они? О чем? Неизвестно. «Оставаться так близко от места, где... меня хорошо знали в лицо (речь, несомненно, о Думе) было весьма рискованно. Поэтому было решено (кем? с кем?), что ночью я укроюсь в доме на дальней стороне Васильевского острова» (выходит, что, по всей вероятности, день он провел у тещи и с тещей).

Там, в квартире женщины-врача, — ее муж находился на фронте, — Александр Федорович прожил довольно долго, хозяйка с утра до вечера отсутствовала, и, пользуясь одиночеством и раздобыв копии стенограмм Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, быстро написал, — а изда-

тельство спешно выпустило, — небольшую книгу «Дело Корнилова», она вышла тем же летом в Москве.

Правительство переехало туда, Петроград опустел, дичал, зарастал травой, голодал; понемногу исчезали лошади, собаки, кошки, даже воробьи; книгу он завершил, мир с Германией и ее союзниками — похабный и позорный, по выражению Ленина, — подписали, члены Учредительного собрания перебрались в Сибирь, снова в теперь уже бывшей столице делать Керенскому было нечего, а он жаждал дела, сам не ведая какого, ясно только, что направленного против большевиков.

Он решил поехать в Москву, связаться с друзьями, а от туда — прорвав большевистские линии, — перебраться на родную Волгу или в Сибирь...

## 2

В Москве, по уговору с кем-то, его под фамилией Лебедев приютила в своей квартире незнакомая Е. А. Нелидова, это был район Смоленского рынка у Арбата. Отношения сложились легкие, дружеские, напряжение ушло, Керенский был полон надежд и планов, не казавшихся ему несбыточными. В те времена в первопрестольной, суматошной, еще не устоявшейся, уже озабоченной начавшимся голодом, деятельностью расплодившихся всевозможных политических групп, союзов, организаций, всеобщим хаосом, — заниматься нелегальной работой оказалось намного легче, нежели в Петрограде, и затеряться тут проще, если обнаружится слежка, впрочем, маловероятная — похоже, большевики о нем забыли, сбросили со счетов. Начались встречи с разными людьми в доме Нелидовой, хождения по нелегальным собраниям.

Его спокойно навещала, хотя и находилась на нелегальном положении, семидесятилетняя тучная и одышливая красавица Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, она искренне уважала и по-матерински любила Александра Федоровича, еще прошлой весной увидев в нем — ее выражение — достойнейшего из достойных граждан земли Русской, гражданина, своим решительным, мужественным словом и образом действий спасшего Россию в революционные дни Февральского переворота. Керенский за добро заплатил добром — поселил тогда «бабушку русской революции» в Зимнем, где она много и плодотворно работала, писала. Узнав об отказе эсеров в июне 1917 года избрать Александра Федоровича в состав



своего ЦК, вышла из числа его почетных членов. Словом, они, несмотря на разницу в возрасте, дружили, сближала их и ненависть большевиков, а затем и эсеров (в ноябре 1917-го ее и Керенского норовили исключить из партии, где она была одним из старейших членов). Узнав о планах Александра Федоровича уехать на Волгу, спокойно возразила, что ЦК эсеров его туда не пустит, мнения о нем в ЦК разнообразные, в том числе резко нелестные, а у самих у них разброд и хаос.

Встретился он со своим молодым другом и единомышленником Борисом Флеккелем, тот собирался тоже на Волгу и очень хотел ехать вместе с Керенским, переговоры с руководством партии взял на себя и через несколько дней, удрученный и подавленный, пришел сказать, что ничего не вышло, планы их вызвали недовольство у «Союза возрождения России». О существовании такой организации Александр Федорович слышал — но только мельком — в Петрограде, теперь понадобилось разузнать поподробнее, насколько это возможно.

После Октябрьского переворота и заключения (в марте 1918-го) Брестского мира все основные политические партии раскололись на части, фракции, группы, часто враждебные друг другу и единые, как правило, лишь в ненависти к большевикам.

«Союз возрождения России» был организацией своеобразной, он состоял не из людей одного какого-либо политического направления, а объединял и народных социалистов, и меньшевиков, и эсеров, и членов плехановской группы «Единение», и кооператоров. Их сплачивало одинаковое отношение к основной проблеме: стремление к конкретным действиям во имя ее решения. В «Союзе», созданный в марте 1918 года в Москве, входили видные деятели буржуазной демократии: народные социалисты Николай Васильевич Чайковский, Венедикт Александрович Мякотин, Алексей Васильевич Пешехонов; эсеры Николай Дмитриевич Авксентьев, Андрей Александрович Аргунов; кадеты Николай Иванович Астров, Николай Михайлович Кишкин, Дмитрий Иванович Шаховской; меньшевик-оборонец Владимир Николаевич Розанов; генерал-лейтенант Василий Георгиевич Болдырев и другие. «Союз» имел отделения в Петрограде, Вологде, Киеве и иных городах, военные организации. Он ставил целью свергнуть Советскую власть, создать правительство национального единства, воссоединить с Россией отторгнутые от нее Германией (по Бре-

стскому договору) территории, возобновить боевые действия совместно с прежними союзниками, созвать Учредительное собрание, образовать в переходный период Директорию... «Союз» сотрудничал с «Национальным центром», куда входили в основном кадеты,— «Центр» претендовал на роль главного антибольшевистского штаба, установил тесную связь с Добровольческой армией, с белым генералитетом, с подпольными военными организациями.

### 3

Именно этот «Союз» предложил Керенскому выехать за границу для переговоров с бывшими союзными правительствами. Он без раздумий согласился, польщенный доверием и признанием, не подумав сгоряча — постоянное его качество,— что не получил никаких письменных полномочий, никаких удостоверений личности, принадлежности к данной организации. Правда, ему выдал визу на въезд в свою страну английский генеральный консул в Москве Роберт Брюс Локкарт. Позже он признался Керенскому, что его министерство иностранных дел такой визы не выписало бы никогда.

Отъезд назначили на конец мая<sup>1</sup> через Мурманск. Керенского сопровождал некто В. Фабрикант, общественное, партийное положение и роль его при Керенском — еще одна загадка для автора.

Ехать в порт предстояло в так называемом экстерриториальном поезде, предназначенном для репатриации сербских офицеров, с документами на имя капитана этой армии Милютина Марковича.

Добирались несколько дней, поезд по однопутной дороге двигался медленно, с долгими остановками на разъездах, иногда с ночными стоянками в лесу. Александр Федорович томился, не зная, что это — его последняя поездка по России.

Мурманск — грязный и заброшенный, еще занятый союзными войсками в марте, с началом вступления в Россию вооруженных сил Антанты... Трое суток Александр Федорович и его спутник провели на борту французского крейсера «Адмирал Об». Здесь наконец Керенский сбросил маскарад: парикмахер сбрил нелепую бороду, отстриг длинные космы, вос-

<sup>1</sup> Начиная отсюда все даты приводятся по новому стилю.

становил знаменитый «ежик»; надоевшие очки улеглись в сак-  
вояж.

Пересели на английский тральщик — крохотное суденышко с командой всего в пятнадцать человек, капитан уступил гостю свою — единственную на кораблике — одноместную каюту, отношения между ним и экипажем установились прекрасные, и великолепная стояла погода, и не встретилась ни одна германская подводная лодка, — только и беды оказалось, что двухсуточный шторм, почему-то не измотавший, но принесший Керенскому душевное облегчение, какое случается после грозы. Осознав, что выполняет важную миссию и срок приближается, он начал в деталях обдумывать предстоящие встречи с руководителями Англии и Франции. Он, конечно, знал, как те относятся (мягко говоря, неприязненно) к Временному правительству и к нему лично. Но Керенский решил пренебречь. Он ощущал себя представителем иной России, той, что отказалась признать большевистский сепаратный по-  
х а б н ы й мир с Германией, его миссия заключалась в том, чтобы немедленно заручиться активной военной помощью союзников для восстановления русского фронта и тем самым (при условии, естественно, свержения большевиков) обеспечить демократической его стране место среди союзных держав на предстоящих мирных переговорах, которые надеялись и планировали провести примерно через год, добив с помощью Соединенных Штатов явно гибнущую кайзеровскую Германию...

...На горизонте показался — на севере Британских островов — Оркнейский небольшой архипелаг. Ошвартовались в малом порту Тюрсо. Впервые в жизни Керенский ступил на чужеземный берег.

20 июня они поездом прибыли в Лондон. Россия осталась позади — для него навсегда.

#### 4

На вокзале Черинг-кросс в Лондоне его ожидал представитель Временного правительства доктор Я. О. Гавронский, отвез в свою официальную резиденцию, где бывшему министру-председателю отвели подходящие апартаменты и где его посетил секретарь премьер-министра Великобритании Ф. Керр, передав приглашение на дружескую встречу. Его навестил русский поверенный в делах К. Д. Набоков. Его принял в здании правительства

на Даунинг-стрит, 10, глава правительства его величества сэр Дэвид Ллойд Джордж, лидер либеральной партии, невысокий, коренастый, благородной наружности, с моложавым свежим лицом под копной белоснежных волос, с пронзительными, блестящими глазами; приветствовал со всюю сердечностью, как старого друга, внимательно слушал часовой монолог о положении в России, задавал вопросы — и не высказал отношения к услышанному, предложив напоследок встретиться с военным министром лордом Мильнером, а также поехать с ним, Ллойд Джорджем, в Версаль, на совещание Верховного Совета союзников, официальное приглашение он будет иметь честь прислать... И в тот же вечер Керенский беседовал с Мильнером, хладно учтивым, не подавшим даже виду, о чем он думает...

И приезжал из Парижа специально повидаться с ним блестящий математик, академик, недавний военный министр Франции Поль Пенлеве, восхищался годичной давности наступлением русских войск, горячо обнимал, клялся в вечной дружбе.

А через несколько дней Александр Федорович, вослед за Ллойд Джорджем, поехал в Париж, как условились. Ему, по западной традиции, оказывали почести как главе государства, его возили по городу в сопровождении охраны, показывали достопримечательности, давали в его честь завтраки, обеды, ужины, устраивали коктейли. Помощник и доверенное лицо премьера и военного министра мсье Жорж Мандель передал приглашение патрона. И здесь выяснилась цена протокольной мишуры. Встреча с Жоржем Клемансо, стариком лет под восемьдесят, с огромным черепом и глубоко упрятыми, невидными глазами, и с министром иностранных дел Стивенем Пишоном прошла с виду деловито, но речь Керенского была без извинений прервана, когда он заговорил о помощи вновь создаваемому, альтернативному Советам, русскому правительству, помощи, обещанной еще в Москве; впервые об этом слышу, сказал непроницаемый Клемансо, и Пишон подтвердил, да, впервые. И еще премьер вручил гостю каблограмму от государственного секретаря США Роберта Лаусинга: считаю поездку Керенского в Соединенные Штаты нежелательной; причины не объяснялись; надо ли говорить, как был уязвлен Александр Федорович.

Он был еще раз оскорблен, не получив обещанного приглашения в Версаль на Совет пятерых, для чего, собственно,

и переплывал Ла-Манш, не ради же экскурсий и званых обедов. Однако и это оказалось не самым большим унижением.

14 июля, в день национального праздника Франции, у Триумфальной арки предстоял парад союзных войск в присутствии дипломатического корпуса. Накануне чиновник министерства изъял уже врученные приглашения у русских дипломатов: поверенного в делах Матвея Марковича Севастопуло и военного атташе графа Алексея Алексеевича Игнатьева; командующему русскими подразделениями во Франции генералу Лохвицкому не прислали просьбы вывести на парад вверенный ему полк, начальник французского Генерального штаба заявил генералу Игнатьеву: поскольку Россия стала нейтральной страной, заключившей мир с врагом Франции, а друзья наших врагов — наши враги... Игнатьев доложил об оскорблении своему начальнику Севастопуло, тот выяснять отношения отказался. Тогда генерал поспешил к Керенскому, убежденный, что бывший министр-председатель, военный министр и Верховный главнокомандующий сумеет защитить честь России.

Было это полночь 14 июля — час последнего наступления немецких войск, провал которого ознаменовал крах Германии. На следующее утро, так рано, как позволяли приличия, Александр Федорович был у Клемансо, тот встретил его благодушно, радовался новой победе... Не тратя слов, Керенский сжато и резко изложил претензии. Премьер побагровел и отчеканил: Россия — нейтральная страна, она заключила сепаратный мир с Германией, а друзья наших врагов — наши враги.

Совершенно очевидно: эти слова уже стали общепринятой формулой.

В таком случае, господин премьер, у меня нет оснований оставаться долее в вашем кабинете, еле сдерживаясь, ответил Керенский и удалился, заставив себя попрощаться коротким кивком.

На следующий день к нему явился председатель палаты депутатов Дешанель, изяшно и витиевато приносил извинения. Пригласил президент Раймон Пуанкаре, адвокат по профессии, употребил все красноречие, чтобы замять скандал. Все это были пустые слова, слова, слова...

Керенский вернулся в Лондон.

Русский поверенный в делах в Великобритании К. Д. Набоков писал в книге «Испытания дипломата»: «Керенский, не вполне в то время понимая, что политическая роль его в России безвозвратно окончена, принял крайне резкий тон, ссылаясь

на свою «силу», упрекал меня в «пособничестве козням англичан» и тому подобное. Он выказал при этом мало самообладания и много злобы. Обо всем этом я тотчас же протелеграфировал Авксентьеву (с сентября — глава Временного Всероссийского правительства, Директории.— *В. Е.*) и вскоре получил ответ из Омска, что «Керенский находится в Лондоне в качестве частного лица», что никаких полномочий от «Союза возрождения» ему не дано... Копия этой телеграммы была мною передана Керенскому — около 25 октября,— и с тех пор с ним я не встречался».

«Ко мне, как обычно, когда ему случалось быть в Лондоне, зашел Альбер Тома... «Скажите,— спросил я,— какова цель интервенции союзников в России? Что за нею кроется?» — «Вы вправе знать, но только вы один...» И... я понял разгадку.

В конце 1917 года, через два месяца после большевистского переворота в Петрограде, представители французского и английского правительства... заключили тайную конвенцию о разделе сфер действий... Сразу же после победы в войне балтийские провинции и прилегающие к ним острова, а также Кавказ и Закавказская область войдут в английскую зону, а Франция получает такие же права на Украину и Крым... Союзники сочли себя абсолютно свободными от всяких обязательств перед Россией», — писал Керенский.

Он не упомянул о том, как расценил это предательство. Ведь помимо государственных договоров, была *м а с о н с к а я* *к л я т в а*, ведь он свято ее держал, ведь ему стоило огромных усилий при каждой смене состава Временного правительства обеспечить в нем «контрольный пакет акций» министров-массонов, совершать непонятные действия, вызывая недовольство общества. Ведь он мог в августе — сентябре семнадцатого свободно заключить сепаратный мир с Германией, и тогда не было бы у власти никаких большевиков, не было бы никаких переворотов, а была бы — демократическая Россия, и было бы Учредительное собрание, и, возможно, во главе новой республики стал бы он, Александр Федорович Керенский, президент или глава правительства, а не частное лицо, бездомный, с натальной дареной иконкой в саквояже,— все, что осталось у него от России,— не то эмигрант, не то изгнанник, всеми преданный, всеми брошенный, всеми отвергнутый и обманутый...

Спровадив жизнерадостного, как всегда, друга Альбера Тома, он напился в ресторане, взял там опрятную, миловидную юную женщину, заперся с нею в номере отеля и не выходил трое суток.

Еще раньше, в сентябре, на просьбу к правительству Англии дать ему возможность вернуться домой он получил ответ от Ллойд Джорджа: это противоречило бы английской политике невмешательства во внутренние дела других стран. Смысл был ясен: ему не разрешат вернуться на родину, поскольку это могло помешать осуществлению британских планов...

Он мешал и в России — большевикам, «Союзу возрождения», с п л а в и в ш е м у его за границу и теперь отрешемся от «частного лица», мешал с в о е й партии, эсерам, что пошли на сговор с большевиками ради собственной шкуры, ради куска от пирога власти...

Он был не нужен. Не нужен никому.

После, в советской литературе, о нем будут писать: эмигрировал.

А он — не эмигрировал. Его обманули. Его вытолкали взащей. И даже не большевики, а — свои, чтобы избавиться от конкурента.

Всю жизнь он был одинок, он быстро порастерял немногих друзей молодости: Александра Овсянникова, Бориса Моисеенко, Сергея Васильева, Владимира Барановского, Николая Суханова. Потерял жену и сыновей.

Потерял Родину. Россию.

Не эмигрант. Не беженец. Не военнопленный. Не перемещенное лицо. Никто. Nihil.

Протрезвевшая проститутка обнимала его, гладила по голове, уговаривала по-женски; он ее языка не понимал, но казалось — она говорит: да ты не плачь, ты не плачь, миленький, что тебе приснилось, ты выпей виски или джину, ты выпей, миленький, ты иди ко мне...

Но и она говорила на чужом языке, а его речь не понимала вовсе.

«Так кончилась замечательная политическая карьера бурного темпераментом, слабого духом, расхлябанного русского

интеллигента, искреннего демократа, театрально-шумливого, но бессильно-неумелого диктатора, присяжного поверенного Керенского. Это был позорный финал. Керенский пожал то, что посеял. Его личность не заслуживала такой судьбы», — Николай Николаевич Суханов.





## ЭПИЛОГ

(1919—1970 гг.)

В памяти вновь возникли счастливые дни моего детства в Симбирске, и желание бросить все и снова, как тогда, забраться на вершину холма было почти непреодолимым. Только бы снова увидеть ее (Волгу.— *В. Е.*) и снова, как в бытность мальчишкой, задохнуться от радости. Весь во власти этой тоски по прошлому, я вдруг ощутил в душе зловещее предчувствие, что мне уже никогда более не увидеть моей родной Волги. С огромным трудом подавил я этот необъяснимый страх, казавшийся тогда абсолютно безосновательным.

*А. Ф. Керенский* (1916 год)

И вот этой бессонной ночью на борту судна снова вернулось это ощущение и снова появилось зловещее предчувствие, что я уже никогда не увижу ни Волги, ни Симбирска, никогда не ступлю на русскую землю. Эта мысль была непереносима, но она владела сознанием столь властно, что я впал в состояние полного отчаяния.

*А. Ф. Керенский* (1918 год, июнь)

## 1

Итак, 25 октября 1918 года,— если, для пущей выразительности, пренебречь двумя неделями разницы между старым и новым стилями, то ровно через год,— бывший глава правительства и Верховный главнокомандующий России Александр

Федорович Керенский стал официально беспаспортным частным лицом, *persona non grata*, выдавленным, вышвырнутым Родиной, отринутым союзными английскими властями. Правда, деньги у него, очевидно, водились, на отсутствие их, тем более нищету он в ту пору не жаловался, не прибегал к часто унижительным заработкам и способам выжить. В Лондоне его не преследовали, попросту не замечали, но оставаться здесь он не захотел, перебрался во Францию, жил в Париже и его окрестностях, — временами выезжая надолго в Берлин — вплоть до непосредственной угрозы германской оккупации в 1940 году. Затем до самой смерти его прибежищем — не ставшим второй или третьей (Франция — тоже ведь целых двадцать с лишком лет!) родиной — сделались Соединенные Штаты.

Он с ужасом следил по газетам за тем, что творили в России большевики. Его приемник, его земляк, «мальчик из хорошей семьи», как принято было тогда выражаться, тот, кого он, Керенский, не посмел, не отважился закатать в Петропавловку, судить всенародным судом (несомненно, подходил под понятие «государственный преступник»), этот, по аттестации Федора Михайловича Керенского, «весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный... достойнейший по успехам... и поведению» теперь вовсю свирепствовал в России. Только за второе полугодие 1918 года потопили в крови левозероковский мятеж (тоже, сказать правду, кровавый), без суда и следствия, как на бойне, истребили Николая Александровича Романова и его семью, после покушения на самого вождя объявили повсеместно красный террор, подготовили и в январе 1919-го ввели продовольственную разверстку — «законное» ограбление крестьян, вскоре отменили свой же Декрет о земле, объявив все земли государственными... Даже в сухом, кратком пересказе английских газет это выглядело устрашающе, даже читать было невозможно, а каково было переживать это там... И это, можно было сказать с уверенностью, только начало, только цветочки их любимого красного колера...

Еще не началась массовая белая, как ее окрестили большевики, эмиграция: поначалу, сразу за Февралем, уехали от греха подальше сравнительно немногочисленные высшие аристократы и чиновники (или остались за рубежом, застигнутые там отречением Николая II); после ленинского переворота к ним присоединились сотрудники дипломатических предста-

вительство Временного правительства, деятели буржуазных партий, торгово-промышленных кругов, просто зажиточные люди, некоторые литераторы, актеры, ученые,— выжидали, надеялись на скорый крах большевистской власти, на помощь союзных держав. С начала 1919-го до конца 1920 года эмиграция пополнялась в основном остатками обреченных в России на гибель белых воинских формирований, они прихватывали с собой и часть гражданского населения. В 1921—1922 годах начался массовый исход и насильственное выдворение властями лучшей части людей умственного труда, тех, о ком смачно, с чисто российской выразительностью высказался не причислявший, видимо, себя к их числу В. И. Ульянов-Ленин: интеллигенция — не мозг нации, а говно. (Николай II однажды, услышав сказанное кем-то интеллигент, заявил: как мне противно это слово; все-таки вполне цензурно выразился.) К концу Гражданской войны, по официальным данным советских историков, за рубежом накопилось два миллиона эмигрантов из России.

Конечно, «цветом нации» было меньшинство из них, основную массу составляли солдаты (150 тысяч «Русской армии» вывез только генерал П. Н. Врангель), казаки генерала Краснова, евреи из местечек, бежавшие в вечном страхе перед любой, кому угодно грозящей бедой, где им доставалось первым, мелкие дельцы, офицеры Добровольческой армии, вовсе не жаждавшие виселицы, авантюристы, люди без роду без племени. Иначе и быть не могло: интеллигенция в любой стране не является преобладающей частью населения (в России 1917 года насчитывалось 1,5 миллиона людей умственного труда, но это включая офицеров, рядовых врачей, учителей, адвокатов, служащих, чиновников), и не все могли, не все хотели бежать, уезжать, покидать родину. Аристократы, генералы, сановники не могли в Европе и Штатах найти себе применения, становились шоферами, швейцарами, шулерами, мелкими торговцами, устроителями тараканьих бегов, некоторые женились на богатых старухах, шли в сутенеры. Все так. Но скольких физиков, математиков, биологов, философов, историков, писателей, художников, актеров, инженеров, организаторов производства, экономистов с мировыми именами потеряла Россия, каких лишилась умов, насколько обеднел ее мозг нации, сколько открытий, изобретений было создано там русскими, российскими людьми, сколько произведений искусства... Правдивой книги об этом нет, как нет и списка тех, кого

выгнали, выжили, вышвырнули, вывезли, выдворили из страны ее новые хозяева... Очистившись от говна, они, уподобившись средневековым алхимикам, решили производить свое собственное золото: уже 17 сентября 1920 года, еще до окончания Гражданской войны, создали так называемые «рабочие факультеты» (рабфаки), куда принимали исключительно детей рабочих и крестьян с образованием в три класса, чтобы затем зачислять их в институты. Конечно, среди массы рабфаковцев, как и всюду, находились люди старательные, усердные, талантливые, и немало их выпускников стали выдающимися специалистами. Но процент их был невелик, и адекватной замены буржуйского говна пролетарским золотом, увы, не произошло...

Когда огляделись, обустроились кто как мог, возобновилась в иных условиях российская политическая жизнь — союзы, партии, собрания, объединения, дискуссии, ссоры, примирения, — Керенский во всем этом участвовал не слишком активно и без особой охоты, да его не очень-то и привлекали и вовлекали.

В Париже, в 1919-м, он составил и выпустил на французском языке объемистый автоапокриф с длинным названием: «Русская революция. Величие и падение Александра Федоровича Керенского. Дело Корнилова. Великий день и большевистский государственный переворот. Июнь — ноябрь 1917». Между прочим, книгу эту прислал Ленину командированный за границу сотрудник Наркоминдела.

Под редакцией Александра Федоровича в Берлине, а затем в Париже выходила газета «Дни» (1922 — 1932), сначала ежедневно, а с 1928 года — еженедельно. Литературный раздел в ней вели Марк Александрович Алданов и Владислав Фелицианович Ходасевич, через них Керенский перезнакомился со многими русскими писателями и поэтами-эмигрантами.

Он активно сотрудничал с журналом «Современные записки», наиболее значительным из эмигрантских «толстых» журналов, памятником эпохи 1920 — 1940-х годов, особой частью культуры нашего столетия. Журнал выходил в Париже 34 раза в год; всего увидели свет 70 его книжек объемом в 400 — 500 страниц. Издатели — правые эсеры Марк Вениаминович Виш-

няк, Александр Исаевич Гуковский, Вадим Викторович Руднев, Николай Дмитриевич Авксентьев, Илья Исидорович Фондаминский — стремились создать «орган внепартийный», с программой «демократического обновления», игнорируя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке. На его страницах впервые увидели свет новые произведения Ивана Бунина, Марины Цветаевой, Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Бориса Зайцева, Ивана Шмелева, Георгия Иванова, историка и публициста Павла Милюкова, философов Георгия Федотова, Николая Бердяева и многих других выдающихся деятелей литературы и мыслителей. Статью «Февраль и Октябрь» и фрагменты «Из воспоминаний» напечатал здесь в 1928-м и 1929 годах и Керенский.

Он подолгу жил в Берлине, где в 1921 — 1923 годах находилось русское издательство Зиновия Исаевича Гржебина и образовалась большая колония российских писателей. Здесь в 1922-м он познакомился с Ниной Николаевной Берберовой, молодой женой Владислава Ходасевича, начинающим прозаиком («Дни» напечатала ее первый рассказ). «Ходасевич меня предупредил: «Это Керенский. Он страшно кричит», — пишет Н. Берберова в воспоминаниях.

У него и в самом деле была привычка — или особенность? — кричать; быть может, осталась от бесконечных митингов (голос у него был то ли бас, то ли сильный низкий тенор, мемуаристы свидетельствуют по-разному), а может, иным казалось, будто он кричит, если слушали его после многочасовых речей, когда голос садился и приходилось его напрягать. На человека непривычного крик его производил впечатление: или пугал, или вызывал ответную реакцию. Так, после «дела Корнилова» Керенский вызвал генерала Александра Михайловича Крымова и заорал: я с вас эполеты сорву! И услышал: не ты, мальчишка, их дал, не ты и сорвешь... Крымов был старше на десять лет, не столь велика разница, но ведь субординация... Напомним, что после этого разговора Крымов застрелился... И не напрасно, видно, Ходасевич для характеристики Керенского выбрал именно эту черту: в эмиграции Александра Федоровича недолюбливали, часто недобром вспоминали его прошлые дела.

Ездил он ради заработка с лекциями в постылый Лондон, где встречался со старым приятелем Робертом Брюсом Локкартом, теперь известным журналистом; в личном его дневнике

есть интересные, хотя не совсем точные в биографических деталях, записи о Керенском. Приведем три цитаты.

«Керенский не был знаком ни с Лениным, ни с Троцким и только видел их раз или два издали. Макс (Уильям Макссуэлл Эйткен Бивербрук — английский государственный и политический деятель.— *В. Е.*) спросил Керенского, почему он не расстрелял Троцкого в 1917 году? Керенский ответил, что Троцкий не участвовал в июльском восстании. Он также спросил его — какова была причина его падения? Керенский ответил, что немцы заставили большевиков начать восстание, потому что Австрия, Болгария и Турция были накануне сепаратного мира с Россией...

Макс. Смогли бы вы одолеть большевиков, если бы заключили сами сепаратный мир?

Кер. Мы были бы сейчас в Москве.

Макс. Почему же вы этого не сделали?

Кер. Мы были слишком наивны» (1931 год).

О масонском честном слове он, конечно, умолчал.

Через два года Локкарт записал следующую встречу.

«Керенский убежден, что, если бы Германия заранее не знала положения и не обделала это дело с большевиками, Россия в 1917 году заключила бы мир с Болгарией и Турцией и Керенский сейчас был бы у власти. Керенский клянется, что переговоры были на волосок от успеха».

И еще через два года, в 1935-м:

«Керенский совсем пропадает, разорен дотла. (После мирового экономического кризиса 1929 — 1933 гг.— *В. Е.*) Деньги, какие были, подошли к концу, газету его пришлось закрыть. Госпожа Соломон (в эти годы приятельница и домохозяйка Керенского.— *В. Е.*) спрашивала меня: не могу ли я достать работу журналистскую, не столько для денег (у него есть друзья, которые не позволят ему голодать), сколько для того, чтобы вернуть ему собственное достоинство. Восемнадцать лет тому назад он мог бы иметь первую страницу любой газеты в мире. Сегодня ему цена — грош. Sic transit...» (Неоконченное латинское выражение Sic transit Gloria mundi — «Так проходит земная слава». — *В. Е.*)

Самая тяжелая кара для политика — кара забвения, — писала Н. Берберова. — Керенский? — Он еще жив? — Не может быть!..

Однако те, кому надо, — помнили.

В 1936 году, готовя «большие процессы», Сталин замыслил завладеть тремя нужными «для дела» архивами: Л. Д. Троцкого, А. М. Горького и А. Ф. Керенского.

Архив Александра Федоровича взяли без всяких затей, побандитски: взломали двери скромной парижской квартиры. Он даже не заявил полиции, прессе, самым близким друзьям не сказал. Был предельно уничтожен? Боялся?

Но не побоялся ведь опубликовать целиком в своем журнале «Новая Россия» № 71, 1 октября 1939 года (единственная публикация; следующая была в России, в 1972-м, в «Материалах Самиздата») предсмертное Открытое письмо И. В. Сталину активного участника Октября, члена РСДРП(б) с 1910 года Федора Федоровича Раскольников-Ильина (1892—1939), полномочного представителя СССР в Болгарии, отозванного в Союз явно для расправы. Написав этот документ о преступлениях Сталина, документ, потрясающий мощью аргументов, силой логики и отваги, великолепием стиля, «мичман Ильин», как его звали во время революции, выбросился из окна пятого этажа лечебницы в Ницце, где он лежал. Смерть была мгновенной. В тот же день бесследно исчезли его жена и дочь.

Александр Федорович не побоялся. А ведь у Сталина были длинные руки.

Керенский был одинок. В беседе с Локкартом обмолвился, что двое сыновей — в Англии, оба инженеры. Об Ольге Львовне Барановской, ее семье, своих родителях, сестрах — ни слова.

Женитьба его в конце тридцатых годов всегда упоминается как вторая.

Ее звали Тереза Нелль (потом кто-то прибавил — Керенский? — третье имя, Лидия), девичья фамилия Трайтон, англичанка, родилась и жила в Австралии, была замужем за русским певцом, эмигрировавшим в Англию, Николаем Надеждиным, после недолгого брака и развода обвенчалась с Ке-

ренским, изрядно старше ее. За два дня до вступления немцев в Париж, 12 июня 1940 года, выехали в США, поселились в Нью-Йорке. Общительная, красивая, спокойная, любительница ухаживать за растениями, прекрасная наблюдательная рассказчица, ласковая жена, она только понимала (кое-как) по-русски.

Стареющий Керенский был с нею счастлив.

Когда Германия начала войну с Советским Союзом, он часто говорил и писал, что равно ненавидит обоих их вождей, но уверен, что русская армия сперва расколошматит фюрера, а затем уничтожит Сталина и его режим. Так полагали, на это рассчитывали многие и на Западе да кое-кто и в России.

И еще, видимо, жила в нем надежда, он спросил близкого друга словно бы полушутя: а не въеду ли я в Москву на белом коне? Нет, не въедете, жестко и честно ответил истинный друг...

В 1946 году Керенские, прожив вместе лет семь или восемь, поехали в Австралию навестить ее родителей. В середине февраля Нелль тяжело заболела, прекрасное ее тело стало безобразным, 10 апреля она скончалась.

В письме Нине Берберовой, по ее признанию, Александр Федорович вырастает во весь рост своей человеческой сущности, и я думаю, говорит она, приводя текст, что у большинства читателей останется впечатление, что у писавшего были если и не дни, то, во всяком случае, часы раскрытия подлинной своей человечности.

Но в обыденной жизни,— особенно после крушения карьеры, потери родины,— он всегда казался большинству человеком малой воли, но огромного хотения, не давал убедить себя, отличался безумным упрямством, большой самоуверенностью и неглубоким интеллектом. Он не любил давать советов, касаться чужих проблем и забот, поскольку в каждом совете заключен риск. Он как бы с намеренной настойчивостью отталкивал от себя людей, расположенных к нему, зато проявлял постоянное желание подчинить себе других. У него был недобрый, оловянный, скользкий мимо всего взгляд. И еще:



он был начисто лишен чувства юмора и понимания комичности положений, что отчетливо заметно в его сочинениях.

Трудный он был человек.

## 2

В Соединенных Штатах он читал лекции, был редактором и составителем документальных публикаций по истории русской революции, в «Новом журнале» (Нью-Йорк) напечатал статьи «Накануне Версаля» (1945. № 11), «О революции 1917» (1947. № 15), «Два Октября» (1947. № 17), «Как это случилось» (1950. № 24), «Моя жизнь в подполье» (1966. № 84 — за четыре года до смерти!), долго занимался мемуарами «Россия на историческом повороте» (последние издания — Лондон, 1966; Москва, 1933) — работы эти трудно отнести к числу наиболее интересных и достоверных исторических источников, хотя определенную ценность для исследователей (и читателей) они, несомненно, представляют.

Работал в Стенфордском университете (город Пало-Альто, штат Калифорния), в Гуверовском институте войны, революции и мира...

В шестидесятых годах он практически ослеп, стал меньше ростом, спина согнулась, щеки обвисли, бобрик на голове не поседел, а стал серым, голос не изменился, почерк сделался вовсе неразборчивым.

Это — по воспоминаниям Нины Берберовой. И дальше, дословно.

«Соль, потерявшая свою соленость, человек еще живой, но внутренне давно мертвый. Одинокий, несмотря на детей и внуков в Англии, похоронивший всех своих современников и сверстников, человек, постепенно прислоняющийся к церкви, к ее обрядности...

— Это кто, Керенский? Перейдем на другую сторону.

— У вас завтра Керенский? Я лучше приду послезавтра.

Он любит говорить о том, сколько километров он может пройти пешком (12, 15); он говорит о том, что любит авиопланы, — надеется разбиться когда-нибудь; он признается, что никогда не был в кино, — он носит траур по России вот уже

сорок семь лет. Когда его приглашают, он смотрит в книжечку: нет, не могу, занят. Может быть, загляну ненадолго. На самом деле он совершенно свободен, некуда ходить, и к нему мало кто ходит.

По полутемным комнатам... он бродил ощупью между своей спальней, библиотекой и столовой, операция катаракты не дала результатов, а правый глаз был потерян давно...

Ничего не было. Была страшная бедность, запуганность, усталость от пережитого... Он считал себя единственным и последним законным главой Российского государства».

Жалкий, одинокий, больной, беспомощный старик...

А между тем Всевышний был щедр к нему. Александр Федорович существовал в этом мире восемьдесят девять лет, один месяц и три дня. Он знал несколько пластов истории, несколько эпох: родился через сорок дней после убийства царя-освободителя Александра II, пережил двух императоров — Александра III и Николая II, большевистских «вождей» Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиту Хрущева, скончался при Леониде Брежневе. Сам около восьми месяцев — и каких! — стоял «у руля» Российского государства.

Почти до последних дней его, практически слепого, не покидали рассудок и память, интерес к политическим событиям в России (и значительно меньший — во Франции, Германии, США, где он жил). Представить только: русско-японская, две мировые, постыдная советско-финская войны; три (по большевистскому счету) революции; создание и уничтожение ГУЛАГа; коллективизация, фальсифицированные процессы 20-х, 30-х годов (в них проходили и те, кого он знал); голод в стране, спровоцированный Сталиным; начало новой эмиграции; диссиденты, «врачи-отравители», самиздат, смерть «грузинского царя» — словом, вся история страны, той страны, которую он знал, любил и жалел. И — счастлив его Бог, — все эти беды не коснулись непосредственно его. Какая долгая жизнь, как много в нее вместились.

Но, если вдуматься, настоящая жизнь, полная, насыщенная, наделенная захватывающими взлетами, победами, омраченная ошибками, тоже необходимыми для понимания того, что такое — жизнь, — длилась неполных восемь месяцев.

«Он был раздавлен, абсолютно раздавлен после выезда из России...» (Н. Берберова)

### 3

Последним из россиян, кто виделся и разговаривал с Керенским, был московский писатель Генрих Боровик. Это произошло 31 октября 1966 года в нью-йоркской квартире Александра Федоровича, репортаж (без видеозаписи) передавался по Центральному телевидению. Приведу самое существенное, переведа речь собеседников в третье лицо.

Телефон Керенского Боровик узнал с трудом: нет ни в одном справочнике, никто не помнит, о ком речь. Наконец доискался.

Керенский крайне удивился: какой февраль, о чем речь, ну, была Февральская революция, я в ней участвовал, ну и что?

После объяснений и уговоров встретились.

Почти сразу начался долгий, сбивчивый, по-стариковски непоследовательный монолог...

...До сих пор эмигранты — уж какого поколения — называют заглазно Александрой Федоровной, повторяют тогдашнюю глупость, будто я спал в Зимнем в постели бывшей последней императрицы; никто не хочет истины, все распространяют легенды... Не хотят понять, что Керенский был воистину русским, болел душой за народ, даже не менял подданства, остался вообще без него, и советское гражданство не получил по вине Косыгина, а его ценил за реформы; Россия никогда не вернется к капитализму, это пройденный этап... А в Октябре не было революции, был переворот, и мы, Временное правительство, дали крестьянам землю, дали свободу женщинам; дамы во время моих выступлений бросали мне кольца, ожерелья в помощь бедным, я был лучшим оратором двадцатого века; был бы великолепным актером-трагиком, прекрасно одевался... Ненавидел Ленина, но с большим уважением относился к Сталину: он еще до войны стал императором... А я живу так долго по велению Свыше, чтобы сказать истинную Правду, видите у меня перстень, ему две тысячи лет, он вызывает тягу к самоубийству, а я не боюсь... Эмигранты не любят меня, а в России мои книги издавать не хотят; если

даже издадут — меня осмеют и здесь, и там... Из крупных российских политиков остался один я, нет Ленина, Сталина, Корнилова. Несчастный я человек. Знал все, а поделиться не с кем, жена давно умерла, она родом из Австралии. Двое сыновей от первого брака, Олег и Глеб, оба в Лондоне, от меня отреклись, большое горе...

Они встречались еще раз, а после Г. Боровик беседовал с Еленой Петровной, секретарем, экономкой, другом Керенского, когда его уже не стало.

Рассказывала: в последнее время ослаб, диктовал редко и мало, на лекции не приглашали. В 1967 году выступал в Колумбийском университете о годовщине Февраля, получил гроши. В ноябре того же года оперировали желудок, вставили трубку, сделался калеккой. Хозяйка квартиры написала сыновьям, один из них приехал, увез в Лондон, положил в муниципальную больницу для бездомных и нищих. Узнав об этом, Елена Петровна доставила Александра Федоровича обратно в Нью-Йорк. Живет бедно, деньги тают. В 1970 году упал, получил небольшую травму. Просил Лену принести яд: хочу умереть, пока могу это совершить достойно... Она отказалась... Он показал ей тот самый перстень, сказал: миссия или наказание — я все живу, а Христос умер в тридцать три года... Воля к смерти, борьба за смерть — это, как ни парадоксально, держало его живым...

Оставил ей на видном месте записку: люблю тебя так же крепко, как всегда (она была на полвека моложе)...

#### 4

За год до кончины А. Ф. Керенского навестил еще один писатель, поляк Александр Минковский. Его рассказ «Премьер и Элен» опубликован в варшавском еженедельнике «Литература», 1981, № 36 и перепечатан в Москве журналом «Мир Паустовского» (1996, № 9, перевод Сергея Ларина). Элен — она же у Минковского Аленушка — та же Елена Петровна. Она — политолог, готовила диссертацию о тоталитаризме.

Приведем фрагменты (иногда в пересказе), имеющие непосредственное отношение к портрету Александра Федоровича. «Нам открывает темнокожая девушка в халатике медсестры.

В глубине просторной прихожей я замечаю мужчину в серых брюках и белой сорочке, под подбородком у него крапчатый галстук-бабочка.

— Пиджак! — в отчаянии, гневно кричит он по-русски, не двигаясь с места...

Медсестра исчезает, возвращается с пиджаком, помогает хозяину надеть его. Старик... твердым, заученным шагом направляется в мою сторону. Он щуплый, маленький, с подстриженными бобриком густыми седыми волосами, черты лица исполнены достоинства, величавости.

— Здравствуйте. Керенский Александр Федорович.

Я пожимаю застывшую в воздухе руку. Представляюсь. Зрачки старца за толстыми стеклами в темно-коричневой оправе — большие, бесцветные. От ноздрей к подбородку сбегает две глубокие морщины. Шея выдает возраст: сморщенная, худая, с резко обозначенными струнами сухожилий.

...Ощущение некоего величия, дистанции, границы, переступить которую невозможно: живой человек и сама история.

Аленушка понимает это. Легко улыбается, угощает сигаретами... Потом разливает виски по трем бокалам. Керенский затягивается, отпивает глоток.

Великий человек — Сталин, говорит он. Двое было таких: Петр Великий и он. Оба сделали Россию державой.

— Сталина восхваляешь? — с улыбкой спрашивает Аленушка. — Этого деспота?

— Только деспотизм способен из хаоса и нищеты создать истинно великое. Добром в политике ничего не добьешься. Я слишком поздно это понял. Насилие, железная дисциплина, но ради высокой цели можно и пострадать. Россия пребывала в спячке, он разбудил ее...

— Но какой ценой! — вставляет Аленушка.

— Что значит цена, если речь идет о мощи народа?.. Индустриальный гигант, военный колосс! Это его заслуга. Провел народ сквозь ад и вернул ему чувство собственного достоинства. Ныне каждый вынужден считаться с Россией. Сколько раз мы спасали мир. В 1812 году от Наполеона. В 1914 году от кайзеровской Германии, в 1945-м от Гитлера. Бедный, истрадавшийся народ. И несокрушимо великий. Еще не раз выпадет ему на долю спасти мир от катастрофы.

— Вы учились с Ульяновым в одной гимназии,— начинаю я,— и могли быть с ним знакомы, спорить друг с другом...

— Вовсе нет,— холодно обрывает Керенский.— Он старше меня... Мне никогда этого не понять. Почему народ пошел за ним?.. Типичный интеллигент, воспитанный матерью в духе старой немецкой культуры. Ему постоянно приходилось укрываться за границей... Что в нем было такого, что позволило ему повести за собой массы?

— Может быть, идея...— вполголоса отзываюсь я.— Сама его личность?

Он обрывает меня, нетерпеливо поведя плечом.

— Я мог помешать им захватить власть. Если бы завершил войну, заключил мир с Германией. Мои генералы, великолепные солдаты, пламенные патриоты — Алексеев, Брусилов... Они (видимо, большевики.— *В. Е.*) не позволили мне сделать это. А народ уже по горло был сыт, жаждал мира... Большевики сумели этим воспользоваться...

Керенский подается вперед, находит мое плечо, кладет на него невесомую руку.

— Но во всем виновата Англия. Да, да, только она одна! Она добила победы большевиков.

— Не понимаю,— бормочу я.

— Никто не понимает! Между тем это по-детски очевидно, молодой человек. В глазах Англии Россия представлялась ненавистной конкуренткой. Речь шла о нашем крахе. Англичане решили, что большевизм ниспровергнет Россию в хаос, на долгие века выведет ее из строя. Поэтому они не оказали нам никакой помощи. И что же? Просчитались! Что нынче значит Англия в сравнении с Россией? Пылинка!..

...У меня возникает ощущение, что старик самым непосредственным образом переживает те мгновения, словно все происходит только сейчас и еще можно что-то сделать, обратив события вспять.

— Я все обдумал подробнейшим образом, времени у меня было достаточно. Следовало подавить в себе интеллигентскую слабость, отбросить либерализм, действовать твердо, решительно. У меня оказались никудышные советники и дельные военные. Если б я выгнал тех и других, разоблачил козни англичан и заключил мир с Германией, история развивалась бы по-иному.

— Я жил и продолжаю жить только для России,— сухо произносит он, подавая мне руку.— Жить для родины — самая высокая цель. Прощайте!

...Минул год... Аленушка в черных брюках и свитере.

— Он мог еще долго жить, но не захотел. Просто решил умереть.

...Уже в больнице Керенский предложил Аленушке замужество. Она ответила отказом.

...Ему девяносто лет... Старый и слепой он уже никому не нужен. Россия его не призовет. Мир мчится вперед без оглядки, все более непостижимый, все более обезумевший. Это не для него. Поумирали его друзья и враги, умерла сама эпоха, в которой он жил, настал и его черед. К счастью, его ум достаточно ясен, чтобы осознать это и принять решение... Конец необходимо ускорить.

...Он начал борьбу с жизнью так, как борются со смертью — упорно, настойчиво. Сначала отказался принимать лекарства. Феномен его природы проявился и в том, что он вопреки всему стал поправляться. Тогда Керенский заявил докторам, что есть он отказывается и просит оставить его в покое.

Врачам выполнять подобные желания запрещено. Керенского привязали ремнями к кровати и прибегли к капельному вливанию. Иногда ему рывком удавалось выдернуть иглу из вены. Медсестра не отходила ни на шаг. Организм больного противился его воле, не сдавался. Потом наступил период временного умопомрачения: Керенский при виде врачей начинал буйствовать: хрипел, плевался... В истерзанном теле сердце отбивало удары, как колокол.

...Керенский слабел, но продолжал жить. Профессор заверил Аленушку, что после вмешательства психиатров состояние пациента улучшится: имеются психотропные препараты, которые нейтрализуют упорство.

— Вы хотите нейтрализовать его мозг?

— Это необходимо.

С той минуты он ни на что уже не реагировал. Его снова привязали ремнями к кровати, установили капельницу. Психотропные препараты, к удивлению специалистов, не действо-

вали. Он тяжело дышал, начались спазмы. На двенадцатый день Керенский скончался».

## 5

13 июня 1970 года Центральный орган КПСС «Правда» на пятой странице сообщила:

«Смерть Керенского

Нью-Йорк. ТАСС. Вчера в Нью-Йорке на девяностом году жизни умер бывший глава буржуазного Временного правительства России Керенский».

И это — все. Даже без имени и отчества, хотя бы с инициалами. Без упоминания о годе рождения. Без любых биографических данных. И без любых оценок.

(На самом деле Александр Федорович умер не 12-го, как получается из текста заметки, а 11 июня 1970 года. Дело в том, что в ту пору наши газеты в большинстве случаев зарубежные сообщения печатали с опозданием.)

Свою книгу «Россия на историческом повороте. Мемуары» А. Ф. Керенский заканчивает так:

«В конце своей долгой жизни, которая полностью прошла в критические годы нынешнего поворотного пункта истории, я со всей очевидностью вижу, что никому не суждено уйти от ответственности за свои деяния и что за все приходится платить. Никому не уйти от ответственности за макиавеллиевскую политику, которая учит, что политика и мораль не имеют ничего общего и что все, что считается аморальным и преступным в жизни одного человека, не только допустимо, но даже необходимо во имя блага и мощи государства. Так было всегда, но так не должно быть в будущем. И если это будет продолжаться и впредь, тогда наружу вырвутся разрушительные силы, аккумулировавшиеся в глубинах бездушной механической цивилизации современного мира. Человек должен научиться жить, руководствуясь не ненавистью и жадной мщеньем, а любовью и всепрощением.

Пришло время, когда люди должны превыше всего ставить завет Льва Толстого, чей моральный авторитет безоговорочно признан всем цивилизованным миром, всеми народами без различия расы и цвета кожи. Чудовишный культурный и духовный распад современного мира, писал он,



свидетельство моральной слепоты и духовного краха тех, кто продолжает верить, будто человека, живущего в обществе, можно облагородить только посредством материального прогресса. Для того, чтобы преодолеть современное варварство, подчеркивал Толстой, необходимо преобразование самого человека».

Эти слова вполне приложимы к нашим дням, к концу XX века и второго тысячелетия нашего летосчисления.

\* \* \*

Олег Александрович Керенский, шестидесятилетний преуспевающий инженер, получив телеграмму из Нью-Йорка, короткую, с непонятно-фамильярной подписью «Элен» (впрочем, он вспомнил, поразмыслив, кто она), сунул в «дипломат» лишь самое необходимое, поехал в лондонский аэропорт Хитроу, пересек в люкс-классе самолета океан, в Нью-Йорке велел водителю такси везти в ближайшее похоронное бюро, там положил перед скорбно-вежливым агентом продуманный список всего, что необходимо сделать, узнал, сколько времени это займет, выписал чек, сказал, что будет ждать в представительском холле аэровокзала, купил обратный билет, долго и вкусно ел и пил в вокзальном ресторане, пренебрегши поминальной рюмкой русской водки с кусочком черняшки. Агент с четверкой здоровенных грузчиков прибыл без опоздания в крытом пикапе, почтительно доложил, что все о'кей, привычно погнал пикап к грузовому отсеку, затем у пассажирского входа получил еще зелененькие, для себя и четверых верзил, пожелал счастливого пути, не соображая, что говорит бестактность. Взлет прошел почти незаметно, Олег Александрович выпил двойной виски и ментально уснул, пробудившись, когда шли на посадку. У грузового трапа ждал снова пикап с похожими на американских здоровилами, они управились мигом. Шофер получил приказание везти к самому дешевому муниципальному кладбищу, профессионально не удивился, хотя это не соответствовало импозантному облику пассажира, севшего в кабину, лихо воткнулся в поток на шоссе и за полтора часа, поторчав в пробках, доставил куда велено, молча кивнул,

получив распоряжение ждать, не разгружаясь. Кладбище походило на те, виданные в кино, немецкие, для солдат, погибших в России, только вместо крестов из березовых плашек ровными рядами торчали бетонные плиты с надписями в две строки: «Неизвестный» и дата — конечно, захоронения. Решительно никаких чувств и мыслей эта геометрическая картинка не вызвала, даже сигарету изо рта он не вынул.

Здесь, видимо, не принято было ни о чем расспрашивать, клерк попросил свидетельство о смерти и получил его в виде нескольких фунтов стерлингов, записал в регистрационную книгу вместо фамилии и прочих сведений о погребаемом то же слово *н е и з в е с т н ы й*, а в графе «кем доставлено тело» — первое, вымышленное, что пришло в голову Керенскому-сыну. Клерк почтительно осведомился только, положить ли усопшего в отдельную или в общую могилу, за отдельную полагается незначительная плата. Явно небедный господин сказал: не имеет значения, однако добавил еще два фунта, служитель решил, что все равно закопают, конечно, в общую яму вместе с нищими, бродягами, умершими от истощения, выловленными из Темзы самоубийцами, пьяницами, сбитыми на шоссе и прочей подобной швалью.

Не высказав — и не выказав — желания попрощаться с запаянным цинковым ящиком, не спросив номера, под каким записан упрятанный в него, не узнав, где его зароят, господин расплатился с шофером и четырьмя громилами, сел в подвернувшееся такси, не узнав и названия кладбища и не запомнив дорогу к нему. В пути он остановился еще выпить виски — не за упокой души, а чтобы взбодриться после всей этой суеты, хотя суетой занимались другие.

Как прекрасно начиналась эта жизнь и сколь постыдно и жалко она кончилась...

Если бы можно было отыскать и кладбище, и могилу, и определить останки, — а это все немыслимо и невозможно, — но свершись по воле Всевышнего такое чудо, то на плите над могилой очень пригодилось бы сказанное об Александре Федоровиче его доброй знакомой писательницей Ниной Николаевной Берберовой:

**ЧЕЛОВЕК, В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ УБИТЫЙ  
1917 ГОДОМ**

И добавить ниже — восьмую заповедь:

**БЛАЖЕННИ ИЗГНАНИ ПРАВДЫ РАДИ, ЯКО ТѢХ ЕСТЬ  
ЦАРСТВІЕ НЕБЕСНОЕ**

## ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

### 1881 год

*22 апреля* — Александр Федорович Керенский родился в г. Симбирске (ныне Ульяновск).

### 1899—1904 годы

После получения аттестата зрелости в Ташкентской гимназии обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, по окончании которого вступил в столичную коллегию адвокатов.

### 1905—1906 годы

Служил юрисконсультom в Народном доме графини С. В. Паниной.

### 1905 год

Входил в состав комитета присяжных поверенных по оказанию помощи жертвам Кровавого воскресенья.

*21 декабря* арестован по подозрению в принадлежности к боевым дружинам эсеров.

### 1906 год

*В апреле* освобожден из-под ареста.

*В октябре* провел свой первый политический процесс в Ревеле (ныне Таллин) по делу крестьян, разграбивших поместье местного барона, чем приобрел широкую известность, в дальнейшем выступал защитником во многих политических процессах.

### 1912 год

Избран депутатом IV Государственной думы по списку партии «трудовиков», стал лидером их думской фракции.

Принят в масонскую организацию, став одним из ее руководителей, а в 1915—1916 гг. — секретарем Верховного Совета масонов России.

### 1913 год

23 октября — инициатор принятия коллегией адвокатов Петербурга протеста против фальсифицированного антисемитского судебного дела М. Бейлиса, за что приговорен к 8 месяцам тюрьмы.

### 1917 год

27 февраля, объявив о своей принадлежности к партии эсеров, избран товарищем (заместителем председателя) исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

2 марта вошел в состав возглавляемого князем Г. Е. Львовым Временного правительства в качестве министра юстиции; опираясь на других министров-масонов, с самого начала играл в правительстве доминирующую роль.

5 мая получил пост военного и морского министра в первом коалиционном Временном правительстве, возглавляемом тем же Г. Е. Львовым.

24 июля стал министром-председателем, военным и морским министром второго коалиционного Временного правительства.

Август. Принял деятельное участие в организации и поддержке антиреволюционного вооруженного выступления генерала Л. Г. Корнилова, но затем объявил его изменником родины. Назначил себя Верховным главнокомандующим.

1 сентября возглавил переходный орган власти — Директорию, или Совет пяти.

25 сентября стал министром-председателем третьего Временного коалиционного правительства, сохранив за собой должность главковерха.

25 октября, после захвата власти большевиками, бежал из Петрограда, пытался силами конного корпуса генерала П. Н. Краснова свергнуть Советскую власть, потерпел поражение. Укрывался в отдаленных селениях под Петроградом и Новгородом.

### **1918 год**

*Январь — июнь.* Тайно жил в Петрограде, Финляндии, Москве, пытаясь установить контакты с антибольшевистскими организациями.

*Июнь.* Выехал за рубеж, вел неудачные переговоры об иностранной военной интервенции в Россию. Остался в качестве эмигранта во Франции.

### **1940 год**

Переехал в США. Вел издательскую и журналистскую деятельность антисоветского характера.

### **1970 год**

*11 июня,* потеряв зрение и близкий к старческому слабоумию, скончался в Нью-Йорке. Похоронен в Лондоне, где жили двое его сыновей, на неизвестном кладбище, в безымянной могиле.

## ОБ АВТОРЕ

**Ерашов Валентин Петрович** — современный русский писатель старшего поколения. Родился в 1927 году в одной из деревень Татарстана. Трудовую деятельность начал в 1943 году. В 1944 — 1958 гг. служил в Советской Армии, участник Отечественной войны (солдат, сержант). Будучи офицером, в 1954 году окончил исторический факультет Калининградского государственного педагогического института. Печатался в периодике (стихи, очерки, рассказы) с 1944 года. Первый сборник прозы «Рассвет над рекой» вышел в 1958 году, с тех пор выпустил около трех десятков книг (с начала 1970-х годов работает исключительно в историко-биографическом жанре). Член Союза писателей с 1961 года — ныне Союза российских писателей. За литературную работу награжден орденом «Знак Почета», за воинскую службу — медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.

Роман-хроника об А. Ф. Керенском публикуется впервые.

## СОДЕРЖАНИЕ

Керенский А. Ф. <i>Биографическая статья</i> . . . . .	5
<b>Валентин Ерашов. КЕРЕНСКИЙ. Историко-публицистический роман</b>	
От автора . . . . .	9
Прелюдия (1887 г.) . . . . .	13
Часть первая (1881—1916 гг.) . . . . .	22
Часть вторая (Январь — июнь 1917 г.) . . . . .	151
Часть третья (Июль—ноябрь 1917 г.) . . . . .	357
Эпилог (1919—1970 гг.) . . . . .	498
Хронологическая таблица . . . . .	517
Об авторе . . . . .	520



**К ЧИТАТЕЛЯМ!**

*Издательство просит отзывы об этой книге и  
Ваши предложения по серии «Временное правительство»  
присылать по адресу:*

*125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 37б  
Издательство АРМАДА*

**К 36 Керенский:** Ерашов В. П. Керенский: Исторический роман-хроника /Оформл. В. И. Харламова.— М.: АРМАДА, 1998.— 521 с.: ил.— (Временное правительство).

ISBN 5-7632-0647-9

Роман Валентина Петровича Ерашова представляет собой глубокое исследование событий 1917 года — Февральской и Октябрьской революций — и той роли, которую сыграл в это решающее время Александр Федорович Керенский, «выдающийся российский демократ, не оцененный и по сей день на родине», как сказал о нем Дмитрий Волкогонов.

УДК 82-311.6(02)  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я5

РЕДАКЦИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

*Литературно-художественное издание*

**Временное правительство**

**КЕРЕНСКИЙ**

**ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ЕРАШОВ**

**КЕРЕНСКИЙ**

Заведующая редакцией

*Е. В. Леонова*

Ответственный редактор

*Н. А. Рыльникова*

Художественный редактор

*В. В. Голубева*

Технический редактор

*И. В. Поддубный*

Изд. лицензия ЛР № 040627 от 12.05.93. Формат 84×108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Бум. кн.-журн. Гарнитура «Ньютон». Печать высокая.

Усл. печ. л. 27,46. Тираж 20 000 экз. Изд. № 1246.

Заказ № 108

Издательство АРМАДА

125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 37б

**Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера»**

163002, Архангельск, Новгородский просп., 32

OCR - Давид Титиевский, февраль 2017 г., Хайфа







# **ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО**

**АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ  
КЕРЕНСКИЙ**

**1881 - 1970**



ISBN 5-7632-0647-9



9 785763 206470